8.1971

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

8 АВГУСТ 1971

СОДЕРЖАНИЕ

РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР—Стихи *(Вступление Павла Грушко)* 3

АРТУР ХЕЙЛИ — Аэропорт *(Роман)* 10

АЛЬБЕРТО МОРАВИА — Из сборника «Рай» *(Рассказы. Послесловие Н. Томашевского)* 99

УИЛЬЯМ КАРЛОС УИЛЬЯМС — Стихи *(Вступление А. Зверева)* 141

ДЖАМАЛ МИР САДЕКИ — Рассказы *(Вступление В. Кляшториной)* 151

Критика

Ю. АХРИПОВ — Истории об истории (Заметки о современном австрийском романе) 172

Т. ГРИГОРЬЕВА — Читая Кавабата Ясунари 181

Публицистика

Б. ГИЛЕНСОН — Социальная сила, преобразующая мир (К 100-летию со дня рождения Теодора Драйзера) 191

ЛОУРЕНС ДЖ. ПИТЕР, РЕЙМОНД ХАЛЛ — Принцип Питера (Главы из книги. *Послесловие Е. Амбарцумова)* 197

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Э. Араб-Оглы — «Всемирная деревня» в океане информации. Андрей Нуйкин — В поисках автономной территории. Л. Зонина — Неистовые ревнители «новых практик» 237

Наши гости

Л. Харлап — Писатель «непотерянного поколения» (Макс Вальтер Шульц в «Иностранной литературе») 252

Очерки

РОЛАНД РОБИНСОН — Аборигены сегодня 254

Среди книг

Издано в СССР

Юрий Рытхэу — Словно в капле воды... ◇ М. Харитонов — Новеллы Рикарды Хух. ◇ Л. Громковская — В трудном пути 261

Издано за рубежом

Василие Калезич — Роман о предательстве. ◇ Хосе Мигель Варас — Урок Мадрида. ◇ Сэнгийн Эрдэнэ — Этапы революции — рубежи в творчестве 265

Из месяца в месяц (Хроника) 269

Авторы этого номера 287

На обложке: «Несущая знамя» Скульптура АЛЬБЕРТО САНЧЕСА ПЕРЕСА (Испания).

РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР

Перевод с испанского СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Под острыми лучами гаванского солнца — высокий худощавый человек с кипой книг под мышкой, во рту сигара, и еще две в нагрудном кармане полотняной белой гуайяберы. Большой лоб с залысинами, прищуренные глаза, сжатые губы, растянутые в ироническую улыбку,— типичный гаванец второй половины XX столетия.

На рубеже пятидесятых и шестидесятых годов — 1 января 1959 года, когда в Гавану вступила Повстанческая армия Фиделя,— он пишет стихотворение «Смена», выразившее чувства нового поколения:

Мы, пережившие умерших,—
кому обязаны мы жизнью?
Кто за меня погиб в застенке?
Кто пуле, метившей в меня,
свое подставил сердце?..

Поколение это, к которому вместе с Роберто Фернандесом Ретамаром относится тонкий лирик Файяд Хамис, подробно наблюдающий будничную жизнь Луис Суардиас, сдержанный Луис Марре, безвременно умершие после триумфа революции Эскардо и Бараганьо и другие, формировалось в суровые пятидесятые годы диктатуры — годы зализанных проборов, аккуратных галстучков и темных очков, за которыми скрыты глаза, испуганные, растерянные, думающие, ненавидящие. Это было время, когда, по словам Файяда Хамиса, «юность ощетинилась кольями, камнями, тенями своей нелюдимости», когда человек, «проросший из страха, из праха, из слез», бродил по лабиринту такого солнечного и такого страшного города, карабкался по его лестницам, «перескакивая со смерти на смерть».

Кто-то должен подняться,
что-то сказать, или сделать,
или бросить первый булыжник...—

заклинал другой поэт этого поколения Роландо Томас Эскардо. Их сверстники и они сами принимали участие в революции, и когда она победила (им было в ту пору по двадцать восемь — тридцать лет), они знали, что делать, о чем писать.

Все они начали публиковаться незадолго до этого. Роберто Фернандес Ретамар (родился в 1930 году в Гаване, учился в университетах Гаваны, Лондона, Парижа) — один из наиболее сложившихся к тому времени поэтов. Его творческий портрет в канун триумфа революции был точно очерчен замечательным кубинским поэтом и критиком Синтио Витьером в книге «Кубинское в поэзии»: «Поэт сверхинтуиции... Изящный, нежный певец застенчивых радостей домашнего очага, добрых сумерек родного квартала, любви и дружбы, а также и бесприютности человеческого существа, объятого пламенем загадок...»

Стихотворение «Смена» стало своеобразным водоразделом в его творчестве. Ощущение долга перед теми, кто остался, сраженный пулями, в мангровых дебрях кубинского побережья, в горах Сьерра-Маэстра и на городских перекрестках — «ведь я пишу чужой рукой вот эти рваные слова»,— определило фон многих последующих произведений Фернандеса Ретамара, отразивших «рваными словами» кубинскую действительность пореволюционных лет.

Куба в его стихах живописуется точно, но сдержанно: как поэт нового литературного поколения, Ретамар придирчиво оглядывает свои стихи со стороны, избегая всего, что может показаться любованием экзотикой. По меткому наблюдению Синтио Витьера, легко распознать на Кубе креольское, но гораздо труднее — кубинское.

Не потому ли, что креольское — это внешняя оболочка, цвет кожи, а кубинское — сама душа народа. Стихи Фернандеса Ретамара позволяют прорвать «оболочку» — понять состояние души кубинского общества в один из величайших моментов его современной истории.

Стремление к поэзии подчеркнуто ангажированной привело к поискам нового языка, новых поэтических средств. Не случайно эпиграфом к своей последней книге «Даты в огне» (из которой выбраны стихи для настоящей публикации) Ретамар взял строки из поэмы Вл. Маяковского «Во весь голос»:

Для вас, которые
здоровы и ловки,
поэт
вылизывал
чахоткины плевки
шершавым языком плаката...

Это поэзия «разговорная», и не от неумения писать традиционно — у того же Фернандеса Ретамара, в ранних его стихах мы найдем виртуозно инструментованные десятистишья-десимы, сонеты и т. п. Поэты этого направления хотят, насколько это возможно, вырвать поэзию из утонченной и замкнутой атмосферы предшествующих десятилетий. Примером для новых поэтов Кубы служили те предшественники (и не только кубинцы), кто любовно относился к реальному миру,— и прежде всего великий перуанец Сесар Вальехо. По словам самого Фернандеса Ретамара (а он еще и хороший критик, написавший немало статей о поэзии сверстников), новая кубинская поэзия, «возвращаясь из своих приключений, хочет проникнуть в повседневную жизнь, питаться ею и питать ее самое. Этой поэзии не чужд прозаизм, разговорный тон... социальный и политический пафос». Среди поэтов «разговорного» стиля не все современные поэты Кубы поднимаются до уровня истинной поэзии. Стихи Фернандеса Ретамара, Хамиса, Суардиаса отличает глубокий лиризм, взволнованная заинтересованность в судьбах родины и умелое использование возможностей свободного стиха, мелодики современного испанского языка на Кубе. Ведь помимо «очеловечивания» поэзии прозаизацией, по словам Фернандеса Ретамара — критика, важно «не забывать и о завоеваниях в области выразительности, которые остаются непреходящей ценностью...»

Советский читатель знаком со стихами Роберто Фернандеса Ретамара по многим публикациям в нашей периодике, в том числе и на страницах «Иностранной литературы», а также по книге «Своими руками» (издательство «Прогресс»), собравшей в 1967 году стихи из семи его поэтических сборников. Перечитывая его стихи, я с волнением вспоминаю поездки на Кубу, встречи с ее людьми и многие беседы с Роберто Фернандесом Ретамаром в Москве и в Гаване, где в мае 1969 года я сфотографировал его в редакции журнала «Каса де лас Американас». Однако нажать на спуск фотоаппарата — дело нехитрое. Настоящий портрет поэта — «то, чем он и интересен»,— сами стихи, и радостно, что Роберто Фернандес Ретамар нашел в лице молодого поэта Сергея Гончаренко достойного переводчика, уловившего, на наш взгляд, пульс и дыхание поэзии Ретамара, поэта, который мечтает, что «его имя поставят вместе с другими под эпиграфом р е в о л ю ц и я».

ПАВЕЛ ГРУШКО

Обязанность и право писать обо всем

Какой вздор, что ты-де обречен писать лишь о себе,
о микродрамах своего случайного тела и жизни,
заточенной в клетке собственных дат.
Да разве все, что произошло в этом мире,
не случилось также и с тобой? Да разве
каждая полночь, наливавшаяся черным соком,
не предчувствовала издревле тебя?
И эти утонувшие в песках,
захлебнувшиеся в пучине сельвы империи —
не были разве твоим прологом?
И эта звезда, блуждающая в лесу мирозданья,
и другие — теперь уже мертвые звезды,
и задумчивые туманности —
не залог ли этой минуты, когда
ты пишешь стихотворение,
в котором слились вздох Ксенофонта
и ратное дыхание Миранды?

Даты в огне

Марии Лейсека, в разговоре по пути к площади Революции

Авель[1] первым пролил свою кровь.
И не было у него иных последователей, кроме
обездоленных и отринутых.
И когда они пешком перешли через море,
их оставалось двенадцать, и все началось сначала.
И снизошли они, бородатые, в самый первый день года,
и имели учеников во всей беспредельной земле.

Об этом и было записано в книге.

Но в нее еще не были занесены
деяния их безымянных последователей,
чьих имен мы не знали, покуда
не вселили они новый смысл в эти даты,
что до них пустовали, как заколоченный дом.
Теперь нам известно, что значат казармы Монкада, 26 июля,
Камило, Че, Плайя-Хирон, Эскамбрай и карибский октябрь.

Теперь и это записано в книгах.

И священный ветер овевает нагорья и долы,
где их безымянные ученики —
вернее, те, чьи имена нам пока неизвестны,—
собирают хворост в ночи,
чтобы новые даты поднялись над нами в огне.

Наш долг перед Федерико Гарсиа Лоркой

Недавно меня потрясло стихотворение, само по себе довольно слабое.
Я узнал из него, что твой знаменитый голос не сохранился.
Не записан твой голос, и это значит, что люди,
которые начинают угасать один за другим
и которым повезло быть твоими ровесниками,
унесут навсегда с собою последнюю память о нем.
Через некоторое время (скажем, лет через тридцать)
на всей планете не останется ни одного человека,
который бы помнил, как ты говорил,
пел,
смеялся
и, наверное, плакал.
Твой голос будет забыт навсегда.

И точно так же ты сам будешь предан забвенью
через триста,
три тысячи
или триста тысяч лет.

---

[1] Имеется в виду Абель Санта Мариа — герой штурма казарм Монкада в 1953 году, зверски замученный в застенках Батисты. Библейское имя Авель по-испански Абель.

Быть может, тогда забудется даже само название
той земли, где ты был господином,—
Земли Поэзии,
этого сплава крови со словом.
И поэтому мы должны торопиться
загладить свою вину перед тобою,
покуда свежа еще рана твоей смерти.

Потому что после отроческого ослепления,
когда мы восхищенно повторяли твое имя —
именно имя, а не фамилию, как имя Сократа и Леонардо
(другие были для нас Нерудой, Мачадо, Унамуно, Марти, Альберти,
но только Хуан Рамон[1] и ты
всегда оставались просто Хуаном Рамоном и Федерико),
после тех дней
пришли другие дни,
окружившие твое имя молчанием.
Какая несправедливость, Федерико!
Какая, быть может, неизбежная несправедливость:
живые питаются плотью убитых,
но молчат об этом!

Сегодня тебе должны воздать почести
не только ораторы, не только биографы,
но и негры, которых ты так любил
и которые бросают вызов собакам и белым,
и пятилапые саламандры,
и весь неприкаянный люд —
и поэты.

Теперь, когда мы вступаем в твой возраст,
в котором ты останешься навсегда,
мы должны исполнить долг справедливости
и признать, что были правы тогда, на краю детства,
когда магическое слово ФЕДЕРИКО
голубым пламенем струилось во мгле,
когда ты был для нас другом, упавшим в первую полночь
невзгодья.
Ты был мудрее нас, и странная твоя незащищенность
и целомудрие
делали тебя всесильным.

Старший брат наш, так до конца и не понятый нами!
Прежде, чем сомкнутся навечно глаза твои, полные слез,
прежде, чем сами мы уйдем навсегда,
я должен обнять тебя здесь, на этом ветру,
который ты нас учил называть светящимися словами,
как фокусник, доставая их из карманов.
Ты учил нас, хоть был уже мертв, был расстрелян
и жил только в этих страницах,
а слова твои из плоти и крови,
всколыхнувшие целый мир,
уже гасли одно за другим —
и уже начинал забываться твой голос.

---

[1] Имеется в виду Хуан Рамон Хименес, видный испанский поэт.

Сколько лет прошло с того августа тридцать шестого, когда
тебя расстреляли эти звери! Расстреляли просто так,
потому что это был ты,
потому что именно так
до сих пор кончали поэты.

Он бросился к ней...

Он остановил свою микролитражку
(а тогда еще у него ее не было)
и бросился к этой женщине,
возникшей сразу, внезапно,
как и в тот раз — теперь уже много лет назад,
когда еще не побывавшее на передовой оружие
сверкало на солнце, а знамена и лозунги
качались в такт оркестрам,
и все пели гимны — такие длинные,
что их строфы путались под конец.
Он бросился к этой женщине,
но это была не она.
И он потерянно вернулся к машине, запустил мотор
и все старался возобновить прерванную беседу,—
а в это время другие мужчины и другие
женщины,
безразличные ко всему,
все шли и шли мимо...

Хорошо бы заслужить такую эпитафию

Он подарил людям свои мысли
(много ли, мало их оказалось — это уже другой разговор)
и оставил после себя друзей и свои бумаги
(а может быть, даже и учеников, хотя это надо перепроверить),
которые могут подтвердить данный факт.
Он дарил нам свое мужество
(не важно, сколько раз,— важно, что до конца),
и наверняка найдутся люди, которые
удостоверят также и это.
Он жалел, что ему не довелось участвовать
в штурме 26 июля,
плыть на яхте «Гранма»
и партизанить в горах.
Короче, он не был причислен к лику избранных.
Однако, когда пришло его время
(и я полагаю, что это можно сказать без всякой натяжки),
он честно сделал то, что ему причиталось.

Говорят, он сокрушался, что не написал ничего
вроде «Нашей Америки» [1], «Трильсе» [2] или «Восемнадцатое брюмера»
(что уж говорить о «Капитале»!),
хотя вы наверняка
помните
(впрочем, я не настаиваю на этом)
и его заветную страницу.
Он делал ошибки — и не однажды (хотя, по чести,
всегда хотел, как лучше).
Как-то раз он проник в самую глубь истины и с тех пор
понял, что это не такое уж невозможное дело.
Когда же он подошел к последней своей черте, то вдруг заявил,
что готов начать все сначала.
При жизни о нем говорили и доброе, и худое, однако со временем,
я полагаю, про него напишут так, что он бы остался доволен:
его имя поставят вместе с другими под эпиграфом
р е в о л ю ц и я.
(Просьба к профессиональным некрологистам
упростить по возможности данный набросок
и, ради бога, не торопиться с выводами.)

Поэзия оптом

Настройте их на нужную волну!
Скажите им, что нынче актуально!
А то они боятся упустить
и эту тему...
Ведь уже бывало:
когда все погружалось в смрад и скверну,
они еще вдыхали запах лилий.
Лишь дайте указание — и тотчас
они состряпают бичующую басню
про бюрократов и про пережитки
дискриминации, поскольку ныне
она запрещена у нас законом.
Настройте их на нужную волну!
И помогите написать стихотворенье,
внезапное и меткое, как пуля,
и дерзкое, как вызов,
и, конечно,
немного запоздалое опять.

Зависть

Этот изысканный поэт —
он мечтает о славе полководца,
который хотел бы стать философом,
который стал бы видным руководителем,
который по утрам запирает в столе
стихи, написанные ночью.

---

[1] Название статьи Хосе Марти.
[2] Книга Сесара Вальехо, крупнейшего перуанского поэта и прозаика.

Спасибо тебе, зоологический сад, за повторенный урок

Согласно тому же закону,
по которому слон зачарованно смотрит на слониху,
на ноги ее в лоснящихся складках, на тяжелое опахало ушей
и, млея, внимает ее добродушному всхрапу,
а жираф трепещет при виде стройной жирафы,
при виде ее сногсшибательной шеи и дурманящих голову пятен,
согласно тому же закону,
по которому павлин околдован своею подругой,
мне нравишься ты.

И точно так же, как львица защищает своих детенышей,
как простирает левое крыло над своим гнездом орлица,
а муравьиха печется о своих личинках,
ты волнуешься, когда наши дочери переходят улицу.

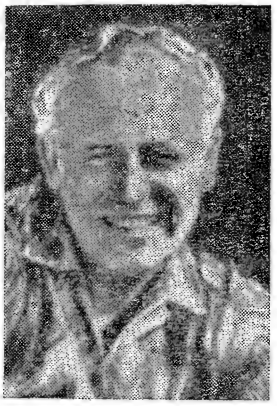
Мадригал

Итак, тогда были латифундисты,
мелкая и
компрадорская буржуазия,
пролетариат,
крестьянство,
другие классы
и ты —
сотворенная из тайны и трепета.

Как много ты потеряла

Этот человек, который так старался тебя позабыть
и в чью память как раз по этой причине
ты вторгалась снова и снова, как навязчивая песенка,
которую напеваешь против собственной воли,
как заученный лозунг или словно
броская фраза рекламы,—
этот человек сегодня, сейчас,
еще сам о том не подозревая,
наконец начал тебя забывать.

Как много ты потеряла в это мгновенье!



АРТУР ХЕЙЛИ

Аэропорт

РОМАН

Перевод с английского Т. КУДРЯВЦЕВОЙ и Т. ОЗЕРСКОЙ

Консультант — полковник авиации И. ГОЛУБЕВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(18.30 — 20.30)

1

Январь. Пятница. Шесть тридцать вечера. Международный аэропорт имени Линкольна в Иллинойсе был открыт, но все его службы работали с предельным напряжением.

Над аэропортом — как и над всеми Среднезападными штатами — свирепствовал сильнейший буран, какого здесь не было лет пять или шесть. Вот уже трое суток, не переставая, валил снег. И в работе аэропорта, как в больном, измученном сердце, то тут, то там стали появляться сбои.

Где-то на летном поле затерялся в снегу «пикап» «Юнайтед Эйрлайнз» с обедами для двухсот пассажиров. Невзирая на снег и наступившую темноту, «пикап» искали, но пока тщетно — ни машины, ни шофера найти не удалось.

Из-за этого пропавшего «пикапа» самолет «ДС-8» компании «Юнайтед Эйрлайнз», совершающий беспосадочный полет в Лос-Анджелес, был задержан уже на несколько часов. Можно было, конечно, заново приготовить и отправить на самолет еду, но тогда он вылетит еще позже. Впрочем, это был не единственный случай задержки — около сотни самолетов двадцати других авиакомпаний, использующих международный аэропорт Линкольна, не поднялись вовремя в воздух.

Объяснялось это тем, что на поле вышла из строя взлетно-посадочная полоса три-ноль: «боинг-707» авиакомпании «Аэрео-Мехикан» при взлете чуть-чуть съехал с бетонированного покрытия и сразу застрял в раскисшей под снегом земле. Вот уже два часа как люди бились, стараясь сдвинуть с места огромный лайнер. И теперь компания «Аэрео-Мехикан», исчерпав собственные ресурсы, обратилась за помощью к «ТВА».

Поскольку полоса три-ноль оказалась заблокированной, командно-диспетчерскому пункту пришлось установить жесткий контроль над воздухом и ограничить прием самолетов с близлежащих аэропортов Миннеаполиса, Кливленда, Канзас-Сити, Индианаполиса и Денвера. Несмотря на это, двадцать самолетов кружили над аэропортом, запраши-

вая посадку, так как у них кончалось горючее. А на земле в два раза больше машин ждали отправки. Тем не менее КДП отменил все вылеты, пока не разрядится обстановка в воздухе. И в результате у аэровокзала, на рулежных дорожках и у выходных ворот скопилось множество самолетов с запущенными двигателями, уже готовых к отлету.

На складах всех авиакомпаний собралось множество грузов, в том числе и срочных, но ни о каких скоростных перевозках, естественно, не могло быть и речи.

Особое волнение у служащих вызывал груз авиакомпании «Американ Эйрлайнз» — несколько тысяч индюшат, выведенных в инкубаторах всего два-три часа тому назад. График их появления в инкубаторе и последующей отправки самолетом разрабатывается за много недель до того, как индюшка садится на яйца. По этому графику птицы должны быть доставлены на Западное побережье через сорок восемь часов после рождения — предельный срок, в течение которого крошечные существа могут прожить без еды и питья. При соблюдении этих условий доставку удается осуществить без потерь. Если же индюшат в дороге покормить, от них пойдет запах, который пропитает не только мясо, но и самолет. И вот теперь график был нарушен уже на несколько часов. Поэтому решили снять один самолет с пассажирской линии и предоставить его индюшатам — хрупкий груз получал таким образом приоритет над всеми грузами и пассажирами, включая даже «особо важных персон».

В здании аэровокзала царил хаос. Залы ожидания были забиты до отказа — тысячи пассажиров ждали вылета; одни рейсы задерживались, а другие были и вовсе отменены. Всюду громоздились горы багажа. Огромный центральный зал походил на футбольный стадион в момент решающего матча или на универсальный магазин «Мейси» в канун рождества.

Самое невероятное, подумал, глядя на это сверху, Мел Бейкерсфелд, что аэропорт вообще еще как-то работает.

Управляющий аэропортом — высокий, сухощавый, удивительно собранный — стоял в башне у пульта управления «снежной командой» и всматривался в темноту. Обычно из этой стеклянной комнаты был отлично виден весь аэропорт: взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, складские помещения. Правда, все самолеты в воздухе и на земле выглядели как модели на макете, но силуэты их четко вырисовывались даже вечером при свете прожекторов. Более широкий обзор открывался только с КДП — командно-диспетчерского пункта, расположенного в той же башне и занимавшего два верхних этажа.

Но сегодня лишь расплывающиеся точки ближних огней слабо мерцали сквозь густую пелену гонимого ветром снега. Да, подумал Мел, об этой зиме еще многие годы будут вспоминать на совещаниях метеорологов.

Родилась эта снежная буря пять дней назад где-то в горах Колорадо. Она возникла в виде снежного смерча высотой с небольшой холм, и метеорологи, вычерчивая для авиалиний карты погоды, либо пренебрегли таким пустяком, либо вовсе его не заметили. И вот, словно в отместку им, смерч стал расти и превратился в настоящее бедствие, в ураган, который помчался сначала на юго-восток, а потом повернул на север.

Он пронесся над Канзасом и Оклахомой и, словно решив набраться сил, задержался в Аризоне. А на другой день, окрепнув и разъярившись, всей своей мощью обрушился на долину Миссисипи. Но только над Иллинойсом буря разыгралась вовсю: температура упала, и штат сковало холодом — за одни сутки землю покрыл десятидюймовый слой снега.

Над аэропортом сначала пошел легкий снежок. Потом он повалил

с безудержной силой: жестокий ветер наметал все новые сугробы, лишь только машины успевали расчистить старые. Люди, занятые на уборке снега, выбивались из сил.

Мел услышал, как стоявший рядом с ним Дэнни Фэрроу, его заместитель, отвечавший сейчас за расчистку снега, вызывал по радиотелефону центр по борьбе с заносами:

— Мы теряем автомобильные стоянки. Вышлите еще шесть снегоочистителей и команду «банджо» к «игрек семьдесят четыре»!

Дэнни сидел за пультом управления — собственно, даже не пультом, а скорее широкой доской с тремя консолями. Перед ним и двумя его помощниками, сидевшими справа и слева от него, выстроилась батарея телефонов, телеаппаратов и радиоприемников. На столе лежали карты, графики и бюллетени, фиксирующие местоположение каждой снегоочистительной машины, равно как и занятых на уборке снега людей. Отдельно фиксировались команды «банджо», оснащенные специальными снегоразгребателями. Сейчас в этой комнате жизнь била ключом, но кончался зимний сезон, и помещение закрывалось.

Лысина Дэнни поблескивала, усеянная капельками пота,— он непрерывно делал какие-то пометки на крупномасштабной карте аэропорта. Сложность заключалась в том — и, должно быть, именно это раздражало Дэнни, заставляя его потеть,— что те, кто трудился там, внизу, ведя неустанную борьбу со снегом, не всегда разделяли его точку зрения относительно того, где прежде всего требуется их помощь.

— Ясно, ясно!.. Еще шесть снегоочистителей!..— послышался в радиотелефоне раздраженный голос с другого конца аэропорта.— Сейчас попросим у деда-мороза. Он тут околачивается где-то поблизости.— Пауза. И более агрессивно: — Умнее ничего не придумали?

Дэнни попытался образумить смутьяна:

— Но мы же послали четыре снегоочистителя на поиски этого «пикапа» с едой. Они сейчас должны уже быть свободны.

— Они, конечно, были бы свободны... если бы нашли «пикап».

— Как, его до сих пор не нашли? Да чем же вы там, черт бы вас побрал, занимаетесь — ужинаете, что ли, или девчонок щупаете? — И Дэнни тотчас повернул ручку, микшируя звук, чтобы раздавшийся по радиотелефону голос не взорвал мембраны.

— А вы там в своем курятнике имеете хоть какое-нибудь представление о том, что происходит на поле? Не мешало бы все-таки время от времени бросать взгляд в окно! У нас же тут как на Северном полюсе — никакой разницы!

— Заткнул бы ты глотку, Эрни,— посоветовал Дэнни.— А то, неровен час, на таком ветру и простыть недолго.

Слушая этот обмен любезностями, Мел понимал, что хоть и не все в их перепалке надо принимать всерьез, однако обстановка на летном поле действительно тяжелая. Мел сам всего час назад проезжал по полю. И хотя пользовался он служебными дорожками и знал весь аэропорт наизусть, сегодня ему не просто было ориентироваться и он несколько раз едва не сбился с пути.

Мел ездил в центр по борьбе с заносами, где работа уже кипела вовсю.

Центр по борьбе с заносами, как и пульт управления здесь, в башне, функционировал только зимой. Это было большое мрачное помещение над одним из гаражей. И властвовал там диспетчер. По голосу, звучавшему сейчас в радиотелефоне, Мел понял, что диспетчера сменили — возможно, он пошел поспать в «вытрезвитель», как не без юмора называли в аэропорту общежитие для людей, занятых на снегоуборке.

Радиотелефон снова ожил, и Мел узнал на этот раз голос старшего техника:

— Мы ведь тоже волнуемся по поводу этого «пикапа», Дэнни. Беднягa шофер может здорово промерзнуть там, на поле. Хотя с голоду, конечно, не помрет, если у него котелок варит.

«Пикап» отъехал от «рейсовой кухни» и направился к аэровокзалу часа два тому назад. Путь его лежал по периметру летного поля и обычно занимал около четверти часа. Но «пикап» так и не прибыл к месту назначения — шофер явно заблудился и застрял где-то в снегу. «Юнайтед Эйрлайнз» послала за ним поисковую команду, но розыски ни к чему не привели. И теперь за дело взялось руководство аэропорта.

— А этот самолет «Юнайтед Эйрлайнз» все-таки вылетел или нет? Отправился без еды? — спросил Мел.

Дэнни Фэрроу ответил, не отрывая взгляда от карт:

— Командир корабля предоставил решать этот вопрос пассажирам. Сказал, что потребуется еще час, чтобы подогнать новый «пикап», а на борту есть выпивка, им покажут кино, и в Калифорнии светит солнце. И все высказались за то, чтоб поскорее убраться отсюда. Я бы тоже так поступил.

Мел кивнул. Ему очень хотелось самому взяться за дело и отыскать пропавший «пикап» и шофера. Но он подавил в себе это желание, хотя любая деятельность была бы для него сейчас благом. Холодная, сырая погода, стоявшая эти несколько дней, возродила боль в покалеченной ноге — воспоминание о Корее,— и она все время давала о себе знать. Он переменил позу, перенеся всю тяжесть тела на здоровую ногу. Но облегчение было лишь минутным. И боль очень скоро вернулась.

Постояв немного возле Дэнни, Мел поздравил себя с тем, что не принял опрометчивого решения. Дэнни делал все как надо: снял несколько снегоочистителей, работавших возле аэровокзала, и срочно направил их на дорогу, проложенную по краю поля. Ничего не поделаешь: приходилось отказаться на время от расчистки стоянок для машин, невзирая на любые скандалы.

Отдавая соответствующее распоряжение, Дэнни предупредил Мела:

— Приготовься к потоку жалоб. Поисковая партия вынуждена будет блокировать окружную дорогу. Придется задержать все «пикапы» с продовольствием, пока мы не найдем этого парня.

Мел кивнул. Жалобы были неотъемлемой частью его работы. В этом случае — тут Дэнни был прав — они посыплются как из рога изобилия, когда компании узнают, что их «пикапы» с продовольствием задержаны в пути, а почему задержаны — это их будет мало интересовать.

Найдутся такие, которые ни за что не поверят, что человек может погибнуть вот тут, в центре цивилизации, только оттого, что находится под открытым небом, и тем не менее это вполне могло произойти. Далекие окраины летного поля — не место для прогулок в такую ночь. Если же шофер решит сидеть в машине с включенным мотором, его быстро занесет снегом и он может умереть от скопления углекислого газа.

Капельки пота покрывали теперь уже всю лысину Дэнни. Мел понимал, что Дэнни работает на пульте скрепя сердце; ему куда больше по душе та работа, которой он обычно занимается, планируя деятельность аэропорта, строя гипотезы и логические предположения о будущем авиации, когда можно поразмыслить, заранее, не спеша прикинуть все возможности, а не решать проблему с ходу, немедленно. И Мел подумал, что есть люди, которые живут прошлым, а есть такие, как Дэнни Фэрроу, которые бегут от настоящего в будущее. Но счастлив был сейчас Дэнни или несчастлив, он все-таки справлялся с делом, хоть и потел.

Протянув руку поверх его плеча, Мел взял трубку прямого телефона, связывающего пульт с КДП. Ответил руководитель полетов.

— Как там у вас с «боингом семьсот семь» компании «Аэрео-Мехикан»?

— Да все так же, мистер Бейкерсфелд. Мы уже два часа бьемся, чтобы сдвинуть его с места. Пока ничего не получается.

Прошло два часа с тех пор, как с самолета сняли разгневанных, ворчащих пассажиров и по грязи и снегу отвели их к спешно подброшенным сюда автобусам, а огромный реактивный лайнер стоял на прежнем месте, перекрывая собой полосу три-ноль.

— Значит, полоса и рулежная дорожка все еще не введены в строй?—спросил Мел.

— Совершенно верно,— ответил руководитель полетов.— Мы задержали все вылеты у выходных ворот и направляем машины на другие полосы.

— Здорово эта история нарушает график?

— Процентов на пятьдесят. Сейчас у нас десять рейсов дожидаются разрешения выйти на рулежную дорожку и еще с десяток ждут, когда им разрешат запустить двигатели.

Вот оно, наглядное доказательство того, сколь настоятельно нужны аэропорту дополнительные взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки, подумал Мел. Уже целых три года он тщетно доказывал необходимость сооружения новой полосы параллельно полосе три-ноль, равно как и других реконструкций. Но Совет уполномоченных под нажимом городских политических боссов неизменно отклонял его предложения. Объяснялось это тем, что городской муниципалитет по тем или иным причинам не желал выпускать нового займа, что, безусловно, потребовалось бы для финансирования такого рода начинаний.

— Беда еще в том,— добавил руководитель полетов,— что выход из строя полосы три-ноль вынуждает нас направлять самолеты на Медоувуд. И оттуда уже стали поступать жалобы.

Мел чертыхнулся. Городок Медоувуд, расположенный на юго-западе от аэропорта, был как заноза у него в мозгу и немало осложнял ему работу. Хотя аэропорт был построен задолго до городка, жители Медоувуда непрестанно, в самой резкой форме жаловались на шум, который создают самолеты, пролетая у них над головой. В эту кампанию вскоре ввязалась пресса, что повлекло за собой новые жалобы и яростные нападки на аэропорт и его руководство. Наконец, после долгих переговоров, после громкой кампании в печати и, по мнению Мела Бейкерсфелда, серьезных передержек, где немалую роль уже играла политика, аэропорту и Федеральному управлению авиации пришлось пойти на уступки и обещать, что реактивные самолеты будут пролетать над Медоувудом лишь в крайних и особых случаях. Однако, поскольку взлетных полос и так не хватало, это решение значительно затрудняло деятельность аэропорта.

Более того: было решено, что самолеты, взлетающие в направлении Медоувуда, поднявшись в воздух, будут тотчас принимать меры для уменьшения звука. Это повлекло за собой протесты уже со стороны пилотов, считавших такую меру чрезвычайно опасной. Однако авиакомпании, не желая раздражать публику и вызывать нарекания, требовали, чтобы пилоты выполняли указание.

Невзирая на это, жители Медоувуда не успокаивались. Их воинственные лидеры продолжали протестовать, устраивать демонстрации, а судя по последним слухам, намеревались даже подать на аэропорт в суд.

— Много было звонков по этому поводу? — спросил Мел руководителя полетов. И мрачно подумал о том, что вместо работы снова придется часами разбирать петиции, вести споры и беспредметные обсуждения, которые все равно ничего не дадут.

— Да звонков пятьдесят, пожалуй, было. Это те, которым мы ответили, а наверняка были и такие, которых с нами не соединили. Телефоны начинают звонить, как только взлетает самолет,— причем не только

те, что значатся в телефонной книжке, но и наши незарегистрированные номера. Много бы я дал, чтобы выяснить, как они их узнают.

— Но я надеюсь, вы сказали тем, кто звонил, что мы вынуждены так поступать из-за особых обстоятельств, во-первых, из-за бурана и, во-вторых, потому что вышла из строя взлетная полоса.

— Мы все им объясняем. Но это никого не интересует. Они просто не желают, чтобы самолеты летали над ними,— и все. Есть такие, которые заявляют, что им нет дела до наших проблем, а вот извольте объяснить им, почему пилоты сегодня не уменьшают звук.

— Черт возьми, да будь я пилотом, я тоже не стал бы этого делать! — Ну как может здравомыслящий человек, подумал Мел, требовать, чтобы пилот в такую бурю, сразу после взлета, снижал нагрузку на двигатели? А только это и уменьшает силу звука.

— Я тоже,— поддержал его руководитель полетов.— Хотя, конечно, все зависит от точки зрения. Если бы я жил в Медоувуде, может, и я бы рассуждал, как они.

— Вы бы не жили в Медоувуде. Вы бы послушались нас. А мы уже много лет назад предупреждали людей, чтоб они там не строились.

— Да, пожалуй. Кстати, один мой сотрудник сообщил мне, что они там сегодня снова устраивают сборище.

— В такую погоду?

— Да, отменять его они вроде не собираются, и похоже, что-то они там затевают.

— Ну, о том, что они затевают,— заметил Мел,— мы очень скоро узнаем.

И все же, подумал он, если в Медоувуде в самом деле состоится митинг, жаль, что аэропорт как раз сегодня подбрасывает им новую пищу для трепотни. Туда, конечно, явятся и пресса, и местные политические боссы, и то, что самолеты будут летать у них над головой — хоть это и вызвано необходимостью,— даст им повод для очередных петиций и выступлений. Значит, чем скорее полоса три-ноль войдет в строй, тем лучше будет для всех.

— Через некоторое время я сам выеду на поле,— сказал он руководителю полетов,— и посмотрю, что там происходит. Ждите сообщений с места.

— Есть!

— Кстати,— спросил, переходя к другому, Мел,— мой брат сегодня дежурит?

— Так точно. Кейз сидит у радара — на Западном направлении.

Мел знал, что Западное направление — один из самых напряженных участков в воздушной диспетчерской. Работать на Западном направлении — значит наблюдать за всеми самолетами, садящимися в западном квадранте. Мел помедлил, потом решил, что достаточно хорошо знает руководителя полетов и может задать ему вопрос, который тревожил его сейчас.

— А Кейз в порядке? Он не слишком перегружен?

Руководитель полетов ответил не сразу.

— Да пожалуй. Я бы сказал даже — больше обычного.

Они прекрасно понимали друг друга, ибо младший брат Мела в последнее время был для них обоих источником немалого беспокойства.

— Честно говоря,— сказал руководитель полетов,— я бы очень хотел помочь ему, но не могу. У нас не хватает рук, все загружены до предела.— И добавил:— Включая меня.

— Я знаю. И очень ценю то, что вы следите за Кейзом.

— Так ведь при такой работе почти у каждого из нас рано или поздно нервы сдают — тут уж ничего не поделаешь.— Мел чувствовал, как руководитель полетов тщательно подбирает слова.— Иной раз выходит

из строя голова, иной раз человек падает духом. Но когда такое бывает, мы всегда выручаем друг друга.

— Спасибо.— Услышанное не развеяло тревоги Мела.— Может, я попозже загляну к вам.

— Есть, сэр.— И руководитель полетов повесил трубку.

Аэропорт — любой аэропорт — это сложный механизм, и управлять им нелегко. Нет такого человека, который отвечал бы за все, но и самостоятельно функционирующих участков тоже нет: все переплетено и взаимосвязано. Как управляющий аэропортом, Мел обладал наибольшей полнотой власти, и тем не менее были такие секторы, в деятельность которых он старался не вмешиваться. Одним из них являлся командно-диспетчерский пункт, другим — представительства авиакомпаний. Мел мог вмешиваться и вмешивался в вопросы, связанные с деятельностью аэропорта в целом или с обслуживанием пассажиров. Он мог, например, приказать авиакомпании снять с двери табличку, которая, по его мнению, сбивала с толку пассажиров или не соответствовала принятым на аэровокзале стандартам. Но то, что происходило за дверью, на которой красовалась эта табличка, естественно, находилось в ведении самой авиакомпании.

Таким образом управляющему аэропортом надлежало быть не только хорошим администратором, но и тактиком.

Мел положил трубку на рычажок. По другому телефону Дэнни Фэрроу препирался с контролером автостоянки, издерганным и совершенно замученным жалобами, которые на протяжении последних часов поступали от владельцев машин, застрявших в снегу. «Да что же это такое,— говорили ему,— неужели ваши начальники в аэропорту не знают, что идет снег? А если знают, так почему же, черт побери, никто не пошевелится и не разгребет всю эту мерзость, чтобы люди могли вывести свою машину, когда им нужно! Или мы уже лишились своих демократических прав?»

— Скажи им, что мы установили диктатуру!

Ничего не поделаешь, говорил тем временем Дэнни, придется им подождать, пока машины расчистят снег там, где это важнее. Он подбросит людей и оборудование, как только сможет. Разговор прервали — звонил руководитель полетов с КДП. Получена новая сводка погоды: судя по всему, через час переменится ветер. Значит, придется работать на других полосах, поэтому нельзя ли ускорить расчистку полосы один-семь, левой. Он постарается, сказал Дэнни. Выяснит, как обстоят дела у «Анаконды», и позвонит.

В таком постоянном, ни на минуту не отпускающем напряжении работали люди вот уже три дня и три ночи — с тех пор как началась пурга. И, в общем, справлялись. Не удивительно поэтому, что записка, врученная Мелу посыльным четверть часа назад, привела его в состояние крайнего раздражения. Она гласила:

«м!

ршила прдпрдить: комиссия борьбе заносами (по настоянию врн дмррр — почему ваш зять так вас не любит?) готовит разгромный доклад, считает взлетные плсы, и рулежные држки забиты снегом (в. д. считает), из-за взмутительно бзответственнго руководства... докладе обвиняют аэропорт (вас) задержке вылета блшинства самолетов... утверждают, если бы плса была лучше расчищена, 707 не застрял бы... а теперь материальный ущерб понесли все авиакомпании и т. д. и т. п.— ясно?.. словом, где были вы — понятно?.. слезайте со своей верхотуры и угостите меня кофе

првет

т»

«Т» означало Таня — Таня Ливингстон, агент по обслуживанию пассажиров компании «Транс-Америка» и добрая знакомая Мела. Он перечитал записку, как перечитывал обычно все послания Тани, которые никогда не мог сразу разобрать: Таня не признавала заглавных букв. В своей борьбе с этими буквами она дошла до того, что уговорила механика «Транс-Америки» снять их с ее машинки. Мел слышал, что потом кто-то из ее начальства поднял по этому поводу страшный шум: компания-де не потерпит, чтобы ее служащие намеренно причиняли ущерб казенной собственности. Но Тане, незаменимой Тане, умевшей удивительно удачно улаживать неприятности с пассажирами и развязывать самые сложные узелки возникавших с ними конфликтов, это сошло с рук. Как, впрочем, сходило с рук все.

Под «врн дмррр», упоминавшимся в записке, подразумевался капитан Вернон Димирест, пилот все той же «Транс-Америки». Это был один из опытнейших командиров воздушных кораблей и весьма активный член Ассоциации пилотов гражданской авиации; а в эту зиму он к тому же вошел в состав комиссии по борьбе с заносами в международном аэропорту Линкольна. Комиссия эта осуществляла надзор за состоянием взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек во время снегопадов и констатировала их пригодность. В состав комиссии всегда входил кто-то из действующих пилотов.

Помимо перечисленных достоинств Вернон Димирест обладал еще одним качеством — он приходился Мелу зятем, будучи женат на его старшей сестре Саре. Надо сказать, что клан Бейкерсфелдов, благодаря бракам и наследственной привязанности к определенной профессии, всеми своими корнями и ветвями врос в авиацию, подобно тому как в старину целые семьи были связаны, скажем, с мореходством. Тем не менее между Мелом и его зятем существовали весьма прохладные отношения: Мел недолюбливал Вернона за самодовольство и высокомерие, причем в этом он не был одинок. Недавно Мел и капитан Димирест отчаянно сцепились на заседании Совета уполномоченных, где Димирест выступал от имени Ассоциации пилотов. И Мел заподозрил сейчас, что разгромная докладная составлена его зятем в отместку за поражение на этом заседании.

Сама по себе докладная не слишком волновала Мела. Каковы бы ни были недостатки в работе аэропорта, он знал, что с бураном они справляются не хуже других. И тем не менее какие-то осложнения она ему принесет. Докладная будет разослана всем авиакомпаниям, и уже завтра начнутся телефонные звонки и записки с требованием объяснений.

Мел решил на всякий случай к этому подготовиться. Он лично проведет инспекцию и проверит, как обстоят дела с расчисткой снега, когда поедет на поле выяснять ситуацию с блокированной полосой и застрявшим на ней самолетом «Аэрео-Мехикан».

А тем временем Дэнни Фэрроу уже снова говорил по телефону с центром по борьбе с заносами. Когда он на секунду умолк, Мел сказал:

— Я спущусь в вокзал, а потом выеду на поле.

Он вспомнил о записке Тани и ее предложении выпить кофе. И решил зайти к себе в кабинет, а потом, проходя через аэровокзал, заглянуть к ней в «Транс-Америку». При этой мысли у него потеплело на душе.

2

Мел вошел в служебный лифт, который открывался специальным ключом, и спустился из башни на этаж, где располагалась администрация. В помещениях, прилегавших к его кабинету, стояла тишина, столы стенографисток были пусты, машинки накрыты чехлами, но всюду го-

рел свет. Мел прошел к себе. Из шкафа, встроенного в стену рядом с широким красного дерева письменным столом, за которым он днем работал, он достал толстое пальто и сапоги на меху.

Собственно, никаких специальных дел сегодня в аэропорту у Мела не было. И это было естественно. Тем не менее почти все время на протяжении этих трех дней, пока бушевала пурга, он оставался на посту — на всякий случай. «Если бы не эта пурга,— размышлял он, натягивая и зашнуровывая сапоги,— я бы сидел сейчас дома с Синди и детьми».

В самом деле сидел бы?

Сколько бы человек ни старался быть объективным, подумал Мел, он не всегда может понять, что им движет. Наверное, не будь снегопада, нашлась бы другая причина не ехать домой. С некоторых пор главным его желанием стало поменьше бывать дома. Работа, конечно, давала ему такую возможность. Она позволяла сколько угодно задерживаться в аэропорту, где в последнее время перед ним возникало немало разных проблем, помимо сегодняшней кутерьмы и неразберихи. И в то же время, если быть честным с самим собой, надо признать, что аэропорт помогал ему избегать ссор, которые неизменно вспыхивали между ним и Синди, как только они оставались вдвоем.

— А, черт! — громко воскликнул вдруг Мел в тишине кабинета.

Тяжело шагая в меховых сапогах, он подошел к письменному столу. Одного взгляда на памятку, отпечатанную секретаршей, было достаточно, чтобы подтвердить, что он не ошибся. Ведь именно сегодня вечером, вспомнил он, состоится одно из этих нудных благотворительных сборищ, которые посещает его жена. И на прошлой неделе Мел скрепя сердце обещал быть на нем. Предстоял коктейль и ужин в фешенебельном «Лейк Мичиган Инн» (так значилось в памятке). А вот в честь чего это благотворительное сборище, в памятке сказано не было. Возможно, жена и говорила ему, но он забыл. Да и не все ли равно! Синди всегда участвовала в одних и тех же сборищах, причем удивительно нудных. Главное, по ее мнению, было не в идее, а в общественном положении, которое занимали дамы-благотворительницы, заседавшие с ней в различных комитетах.

По счастью, сегодня ему, видимо, удастся сохранить мир с Синди: эта история начинается довольно поздно, и у него еще есть в запасе два часа, а учитывая скверную погоду, не один он может опоздать. Так что он вполне успеет объехать аэропорт. Затем он побреется и переоденется у себя в кабинете и довольно скоро сможет быть в городе. И все-таки лучше, пожалуй, предупредить Синди. Мел взял трубку городского телефона и набрал свой домашний номер.

Ответила Роберта, его старшая дочь.

— Привет,— сказал Мел.— Говорит твой старик.

На другом конце провода послышался спокойный голос Роберты:

— Я чувствую.

— Ну, как сегодня было в школе?

— Нельзя ли поточнее, отец? У нас была куча всяких предметов. Что именно тебя интересует?

Мел вздохнул. В иные дни ему казалось, что его домашний очаг рассыпается по частям. К примеру, Роберта сегодня была явно в «кусачем» настроении, как выражалась ее мать. Неужели все отцы, подумал Мел, теряют контакт со своими детьми уже с тринадцати лет? Всего какой-нибудь год назад они были необычайно дружны — как только могут быть дружны отец и дочь. А Мел любил обеих дочерей — и Роберту и младшую, Либби. Он часто думал о том, что только благодаря им как-то держится его брак с Синди. Он, конечно, понимал, что с годами у Роберты должны появиться интересы, которых он не сможет ни разделить, ни понять. Он был готов к этому. Но он никак не ожидал, что она так скоро

отрежет его от себя или будет относиться к нему с таким безразличием и даже пренебрежением. Правда, если быть объективным, нельзя не признать, что нелады между ним и Синди не могли не способствовать углублению этой пропасти. Дети — они ведь все чувствуют.

— Ладно, не будем об этом,— сказал Мел.— Мама дома?

— Уехала. Она сказала, что если ты позвонишь, я должна сказать тебе, что вы встретитесь в городе и чтобы ты постарался на этот раз не опаздывать.

Мел подавил в себе раздражение. Ну чего злиться: Роберта просто повторяет слова Синди. Он так и слышит, как Синди их произносит.

— Если мама позвонит, скажи ей, что я, возможно, немного опоздаю, но по независящим от меня причинам.

На том конце провода царило молчание, и он спросил:

— Ты меня слышишь?

— Да,— сказала Роберта.— Что-нибудь еще, отец? А то у меня много домашних заданий.

— Да, кое-что еще,— не выдержав, рявкнул он.— Будьте любезны, юная леди, изменить тон и проявлять немножко больше уважения к отцу. И еще одно: наш разговор будет закончен тогда, когда я сочту нужным.

— Как тебе угодно, отец.

— И перестань звать меня отцом!

— Хорошо, отец.

Мел чуть не прыснул со смеху, но сдержался. И спросил:

— Дома все в порядке?

— Да. Вот только Либби хочет с тобой поговорить.

— Одну минуту. Я как раз хотел сказать тебе: из-за бури я, возможно, не сумею приехать домой. В аэропорту у нас тут бог знает что творится. Поэтому я, наверно, вернусь сюда и буду ночевать здесь.

Снова пауза; казалось, Роберта взвешивала: сказать что-нибудь колкое или нет? Вроде, например: «Может, придумаешь что-нибудь поновее?» Но в конечном счете решила смолчать.

— Ну, а сейчас я могу позвать Либби?

— Да, можешь. Спокойной ночи, Робби.

— Спокойной ночи.

Послышался шорох — трубка переходила из рук в руки, а затем тоненький, задыхающийся от волнения голосок Либби:

— Папочка, папочка! Ну-ка угадай — что?!

Либби всегда говорила задыхающимся голоском, точно в свои семь лет бегом бежала за жизнью и очень боялась отстать.

— Дай-ка подумать,— сказал Мел.— А-а, знаю: ты сегодня играла в снежки.

— Да, играла. Только это не то.

— Ну, тогда я не знаю. Придется тебе самой мне сказать.

— Так вот: мисс Керзон сказала, что дома мы должны написать сочинение про все хорошее, чего мы ждем в будущем месяце.

Он с нежностью подумал о том, что вполне может понять энтузиазм Либби. Ей в мире все казалось волнующим и хорошим, а то, что не было хорошим, быстро отбрасывалось и забывалось. Долго ли еще продлится у нее эта счастливая пора невинности? — подумал он.

— Прекрасно,— сказал Мел.— По-моему, это очень интересно.

— Папочка, папочка! А ты мне поможешь?

— Ну, если сумею.

— Мне нужна карта февраля.

Мел усмехнулся: Либби создала собственную устную скоропись, и понятия, которыми она оперировала, бывали порой куда выразительнее

привычных слов. Но сейчас это навело Мела на мысль, что не мешало бы ему самому посмотреть карту февральской погоды.

— Календарь лежит у меня в столе, в кабинете.

Мел подробно рассказал ей, как его найти, и услышал топот маленьких ножек: Либби уже ринулась за календарем, забыв про телефон. Положила трубку на рычаг, не сказав ни слова, видимо, Роберта.

Мел вышел из своего кабинета и пошел по административному этажу. Свое тяжелое пальто он нес на руке.

Внезапно он остановился и посмотрел вниз, на кишевший, как муравейник, зал, где за последние полчаса, казалось, набралось еще больше народу. Все кресла для ожидающих были заняты. Стойки информации и справочного бюро походили на островки, окруженные морем людей, среди которых было немало военных. Перед стойками регистрации пассажиров вытянулись длинные очереди — иные, извиваясь, уходили так далеко, что конца не было видно. За стойками находилось вдвое больше кассиров и инспекторов — дежурным помогали сотрудники, задержанные из предыдущих смен, и перед ними, как партитура на дирижерском пульте, лежали расписания рейсов и схемы размещения пассажиров в самолете.

Задержки с вылетом и изменения маршрутов, вызванные бураном, подвергали серьезной проверке и расписание рейсов, и человеческое терпение. Внизу, как раз под Мелом, у стойки компании «Браниф» какой-то моложавый мужчина с длинными светлыми волосами и желтым шарфом вокруг шеи громогласно возмущался:

— Что за наглость: с какой стати я должен лететь в Канзас-Сити через Новый Орлеан?! Вы что — решили перекроить географию? Дали вам капельку власти, так вы совсем рехнулись!

Кассирша, хорошенькая брюнетка лет двадцати двух—двадцати трех, усталым жестом провела рукой по глазам и с профессиональной терпеливостью ответила:

— Мы можем направить вас и прямо, сэр, но мы не знаем когда. Погода сейчас такая, что этот кружной путь будет более скорым, а стоимость — та же.

За мужчиной в желтом шарфе вытянулись длинной цепью другие пассажиры, и у каждого — свои, совершенно неотложные, проблемы.

У стойки компании «Юнайтед Эйрлайнз» разыгрывалась другая пантомима. Какой-то хорошо одетый бизнесмен, низко пригнувшись, что-то втолковывал сотруднику компании. Судя по его лицу и жестам, Мел Бейкерсфелд легко мог догадаться, что диалог между ними развивался примерно так:

«Мне бы очень хотелось попасть на ближайший рейс».

«Сожалею, сэр, но свободных мест нет. И как видите, у нас большая очередь на разбронирование...»

Тут кассир поднял на клиента глаза и умолк. На стойке перед ним лежал портфель, и бизнесмен — не назойливо, но весьма недвусмысленно — постукивал пластиковым ярлычком по краю портфеля. Такие ярлычки выдаются членам Стотысячемильного клуба, созданного компанией «Юнайтед Эйрлайнз» для своих постоянных пассажиров — элиты, которую стремятся создать все компании. Выражение лица у кассира тотчас изменилось, и он, очевидно, сказал:

«Сейчас что-нибудь устроим, сэр».

Карандаш кассира приподнялся и вычеркнул одну из фамилий в списке пассажиров — человека, приехавшего много раньше и имевшего все основания получить билет,— а вместо него вписал имя бизнесмена. Стоявшие позади него ничего не заметили.

Такое творилось во всех авиакомпаниях, и Мел это знал. Только наивные или очень от всего далекие люди верят в нерушимость так называемых «списков на очередь» и «списков бронирования» и в беспристрастность тех, у кого они в руках.

Взгляд Мела остановился на группе, явно только что прибывшей из города и как раз входившей в аэровокзал. Все они отряхивались от снега: как видно, метель не только не утихла, а стала еще злее. Не успел он подумать об этом, как вновь прибывшие уже растворились в сутолоке вокзала.

Лишь немногие из восьмидесяти тысяч пассажиров, ежедневно проходящих через центральный зал, поднимают глаза вверх — туда, где помещается администрация, а сегодня таких было еще меньше, поэтому почти никто не видел Мела, стоявшего там и смотревшего вниз. Для большинства пассажиров аэропорт — это авиарейсы и самолеты. Многие, наверно, понятия не имеют о том, что в аэропорту вообще есть служебные кабинеты или какая-либо администрация, в то время как это сложный, хоть и невидимый механизм, состоящий из сотен людей,— механизм, который должен работать для того, чтобы аэропорт мог функционировать.

Но может быть, это и к лучшему, подумал Мел, спускаясь по эскалатору вниз. Если бы люди больше знали, они выявили бы и недостатки в работе аэропорта и то, какими это чревато для них опасностями, и уже не с таким спокойным сердцем отправлялись бы в путь.

Очутившись в центральном зале, Мел направился к крылу, занимаемому «Транс-Америкой». Когда он проходил мимо стойки регистрации пассажиров, его окликнул один из инспекторов:

— Добрый вечер, мистер Бейкерсфелд. Вы ищете миссис Ливингстон?

Любопытная штука, подумал Мел: как бы ни были заняты люди, у них всегда найдется время для сплетен и наблюдения за другими людьми. Интересно, многие ли связывают его имя с именем Тани?

— Да,— сказал он.— Именно ее.

Инспектор кивком указал на дверь, на которой значилось: «Только для персонала компании».

— Она там, мистер Бейкерсфелд. У нас тут была маленькая неприятность. Миссис Ливингстон как раз этим занимается.

3

В маленькой гостиной, которую нередко использовали для приема особо важных персон, громко всхлипывала девушка в форме кассира.

Таня Ливингстон посадила ее на стул.

— Успокойся,— деловито сказала Таня,— спешить некуда. Поговорим, когда ты придешь в себя.

И Таня тоже села, разгладив узкую форменную юбку. В комнате больше никого не было. Слышалось лишь всхлипыванье, да гудел воздушный кондиционер.

Между двумя женщинами было примерно пятнадцать лет разницы. Девушке едва исполнилось двадцать, Тане — подходило к сорока. Но глядя на нее, Таня почувствовала, что их разделяет куда большая пропасть. И пропасть эта объяснялась, видимо, тем, что Таня уже была замужем — хоть и недолго и давно, но была.

Второй раз за сегодняшний день она думала о своем возрасте. В первый раз эта мысль мелькнула у нее, когда, расчесывая утром волосы, она заметила серебряные нити в своей короткой густой ярко-рыжей гриве. Седины стало куда больше, чем примерно месяц тому назад, когда она впервые обратила на это внимание. И снова, как тогда, она

подумала о том, что сорок лет — рубеж, когда женщина должна уже четко представлять себе, куда и зачем она идет,— не за горами. А кроме того, она еще подумала, что через пятнадцать лет ее собственной дочери будет столько же, сколько этой Пэтси Смит, которая рыдала сейчас перед ней.

Тем временем Пэтси вытерла покрасневшие глаза большим полотняным платком, который дала ей Таня, и, еще давясь от слез, произнесла:

— Они бы никогда себе не позволили... так грубо разговаривать дома... даже с женой.

— Это ты про пассажиров?

Девушка кивнула.

— Да нет, многие так разговаривают и дома,— сказала Таня.— Вот выйдешь замуж, Пэтси, возможно, и тебе придется с этим столкнуться, хоть я и не пожелала бы тебе такого. Видишь ли, когда у мужчины ломаются планы, он ведет себя, как сорвавшийся с цепи медведь,— тут ты права.

— Я же очень стараюсь... мы все стараемся... весь сегодняшний день и вчера тоже... и позавчера... Но они так с нами разговаривают...

Да, подумала Таня, одному богу известно, сколько нужно выдержки, да и твердости, для того, чтобы работать с пассажирами — на любом посту.

Взять хотя бы службу бронирования.

Она понимала, что агентам по бронированию в городских отделениях достается, наверно, еще больше, чем тем, кто работает здесь, в аэропорту. С тех пор как начался буран, сотрудникам этой службы пришлось оповестить по телефону несколько тысяч пассажиров о задержках и изменении расписания. Заниматься этим никто не любит, поскольку подобные звонки неизменно вызывают у людей раздражение и нередко кончаются перепалкой. Такое впечатление, будто задержка с вылетом или прилетом самолета вдруг пробуждает дремавший в человеке инстинкт дикаря. Мужчина ни с того ни с сего обрушивает на незнакомую женщину поток оскорблений — даже люди, обычно вежливые и мягкие, становятся язвительными и грубят. Хуже всего почему-то иметь дело с теми, кто летит в Нью-Йорк. Таня частенько задумывалась над тем, какой притягательной силой обладает Нью-Йорк; в этом городе, видно, есть какая-то бацилла, поражающая тех, кто стремится туда: стоит человеку собраться в путь — и он уже умирает от желания побыстрее добраться до цели.

Таня знала, что когда сегодняшняя лихорадка спадет, многие подадут прошение о расчете — и из службы бронирования, и из других служб. Так бывало всегда. Будет и несколько случаев нервного расстройства — преимущественно среди девушек помоложе, более остро реагирующих на бестактность и грубость. Не так-то просто всегда быть вежливой, даже если ты получил хорошую тренировку.

И думая об этом, Таня порадовалась, что сумела успокоить Пэтси Смит и девушка теперь уже так не поступит.

В дверь постучали. Она приоткрылась, и на пороге появился Мел Бейкерсфелд.

— Я проходил мимо,— сказал он.— Могу зайти позже, если вы заняты.

— Нет, нет, заходите.— Таня радостно улыбнулась при виде него.— Я скоро освобожусь.

Она внимательно посмотрела на него, пока он шел через комнату, и подумала: «У него усталый вид». Потом снова повернулась к девушке, заполнила бланк и протянула ей.

— Передай это диспетчеру такси, Пэтси, он отправит тебя домой.

Отдохни как следует и выходи завтра на работу. Надеемся увидеть тебя бодрой и жизнерадостной.

Когда девушка ушла, Таня повернулась на вращающемся кресле лицом к Мелу и весело сказала:

— Ну, а теперь здравствуйте.

Мел сложил газету, которую принялся было просматривать, и улыбнулся.

— Привет!

— Получили мою записку?

— Я как раз пришел затем, чтобы поблагодарить вас. Хотя, наверно, я и без того зашел бы.— И, кивнув на дверь, за которой только что исчезла Пэтси, спросил:— В чем дело? Перенапряжение?

— Да.

Мел хмыкнул.

— Признаться, я тоже устал. Может, и меня отправите домой в такси?

Таня испытующе посмотрела на него. Взгляд ее ясных голубых глаз проникал в самую душу. Она сидела, слегка склонив голову,— в лучах света, падавшего с потолка, волосы ее отливали медью. Плотно пригнанный форменный костюм подчеркивал женственную округлость ее тоненькой стройной фигуры. И Мел, как всегда, вдруг остро почувствовал, до чего ему с ней тепло и хорошо.

— Надо подумать,— сказала она.— Что ж, я, пожалуй, отправила бы вас на такси, если бы вы поехали ко мне и согласились у меня пообедать. Я бы приготовила вам, скажем, тушеную телятину.

Он помедлил, взвешивая все «за» и «против», затем с сожалением отрицательно покачал головой.

— Очень бы мне хотелось, но... У нас тут столько неполадок, а кроме того, мне скоро надо быть в городе.— Он поднялся.— Но кофе мы выпить можем.

— Хорошо.

Мел открыл дверь, пропустил Таню вперед и вышел вслед за ней в шумный, забитый людьми зал.

Стойку «Транс-Америки» осаждала толпа — народу здесь стало еще больше, чем когда Мел проходил мимо.

— Придется поторопиться,— сказала Таня.— Мне еще два часа дежурить.

И они стали пробираться сквозь толпу, то и дело обходя груды багажа,— Таня шла медленнее обычного, приспосабливаясь к Мелу. Она заметила, что он сильно хромает. И ей захотелось взять его под руку, помочь ему. Но она понимала, что этого нельзя делать. Она была в форме, а сплетни и без того распространяются слишком быстро. В последнее время их с Мелом частенько видели в обществе друг друга, и Таня не сомневалась, что машина слухов, работавшая в аэропорту со скоростью доисторического телеграфа в джунглях или современной счетно-вычислительной машины, уже зарегистрировала это обстоятельство. По всей вероятности, все служащие аэропорта считали, что она спит с Мелом, хотя это было не так.

Они направлялись сейчас в «Кафе заоблачных пилотов» в центральном зале.

— Кстати, насчет тушеной телятины,— сказал Мел.— Не могли бы мы устроить это пиршество в другое время? Хотя бы послезавтра?

Танино приглашение застигло его врасплох. Правда, они уже не раз встречались и проводили вместе время — за рюмкой вина или в ресторане за обедом,— но до сих пор Таня не приглашала его к себе. Вполне возможно, что и на этот раз она приглашала его всего лишь на обед. Однако... могло ведь быть и иначе.

С некоторых пор Мел чувствовал, что если они будут продолжать встречаться не только на работе, их отношения, естественно, могут пойти дальше. Но он не ускорял событий: инстинкт подсказывал ему, что роман с Таней может перерасти в нечто более серьезное, чем просто флирт, и глубоко увлечь их обоих. А Мелу надо было еще учитывать свои отношения с Синди. Уладить их будет не так-то просто, если вообще удастся; человек не всегда может справиться со всеми проблемами, которые наваливаются на него. Любопытная штука, подумал Мел: когда брак прочен, завести роман легко, а вот когда брак распадается — гораздо труднее. И все же слишком было заманчиво приглашение Тани, чтобы пройти мимо него.

— Послезавтра воскресенье,— напомнила она.— Я не дежурю, но если вы сумеете освободиться, то мне это даже удобнее: у меня будет больше времени.

Мел улыбнулся.

— При свечах и с вином?

Он совсем забыл, что послезавтра воскресенье. Но ему все равно придется поехать в аэропорт: даже если буран утихнет, он оставит последствия. Ну, а Синди — она сама без всяких объяснений не раз уезжала куда-то по воскресеньям.

Таня внезапно отскочила в сторону, уступая дорогу запыхавшемуся человеку, за которым следовал носильщик в красной фуражке, толкавший перед собой тележку, нагруженную чемоданами; поверх них лежали теннисные ракетки и палки для гольфа. «Летит куда-то на юг»,— не без зависти подумала Таня.

— О'кей,— сказала она, когда они с Мелом снова оказались рядом.— При свечах и с вином.

Как только они вошли в кафе, разбитная метрдотельша, сразу узнав Мела, подошла к ним и провела в дальний угол к маленькому столику, на котором стояла дощечка «Занято» и за которым обычно обслуживали администрацию. Опускаясь на стул, Мел зацепился за ножку стола и, покачнувшись, ухватился за руку Тани. Это не укрылось от зоркой метрдотельши, и она усмехнулась. «Машина слухов уже готовит очередной бюллетень»,— подумала Таня.

— Ну и толпа,— сказала она,— вы когда-нибудь видели такое? Более напряженных дней я просто не помню.

Мел окинул взглядом переполненное кафе; сквозь гул голосов морзянкой прорывался звон посуды. За стеклянной дверью бурлило неспокойное море голов.

— Если вы считаете, что у нас сегодня столпотворение,— заметил он,— подождите, пока «С-5А» войдет в строй.

— Знаю. Мы и сейчас едва справляемся, когда летят «боинги-747», а если придется регистрировать сразу тысячу пассажиров... не приведи господь! — Таня поежилась.— А представляете себе, что будет твориться, когда все они начнут получать багаж? Даже думать об этом неохота.

— Не только вам, но и многим другим неохота, хотя им-то следовало бы задуматься — и уже сейчас.— Мела забавляло то, что их беседа, не успев начаться, перескочила на авиацию. Все, связанное с рейсами и самолетами, притягивало Таню как магнит, и она любила потолковать об этом. Любил это и Мел, чем отчасти и объяснялось то, что ему нравилось бывать в ее обществе.

— Кто же еще не желает над этим задумываться?

— Те, в чьем ведении находятся наземные сооружения — аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки. Большинство ведет себя так, точно реактивные самолеты всегда будут такими, как сейчас. Они считают, что если сидеть тихо и спокойно, новые большие само-

леты не появятся и никаких сложностей не возникнет. И перестраивать наземные службы не придется.

— Но во всех аэропортах идет такое большое строительство,— задумчиво заметила Таня.— Всюду, куда ни прилетишь.

Мел предложил ей сигарету, но она отрицательно покачала головой. Тогда он закурил сам.

— В большинстве своем это строительство — всего лишь заплаты, небольшие изменения и расширения аэропортов, построенных в пятидесятых или в начале шестидесятых годов. Пока почти ничего не делается с учетом будущего. Есть, конечно, исключения — например, Лос-Анджелесский аэропорт, или аэропорт Тампа во Флориде, или Даллас-Форт Уэрт. Это будут первые в мире аэропорты, готовые к принятию новых гигантских реактивных и сверхзвуковых самолетов. Неплохо обстоит дело в аэропортах Канзас-Сити, Хьюстона и Торонто. Есть план реконструкции Сан-Францисского аэропорта, хотя наши политики могут его завалить. Вот, пожалуй, и все в Северной Америке.

— А в Европе?

— В Европе — одно старье,— сказал Мел,— кроме Парижа. Новый северный аэропорт, который заменит Ле-Бурже, будет, пожалуй, одним из лучших. А в Лондоне — такая бестолковщина, какую способны создать только англичане.— Он помолчал, задумавшись.— Впрочем, не надо принижать другие страны: у нас у самих плохи дела. Нью-Йорк в ужасающем состоянии, хотя в аэропорту Кеннеди и производятся некоторые изменения, но слишком уж забито небо над городом. Скоро я сам стану ездить туда только поездом. Вашингтон — еще кое-как справляется, хотя Национальный аэропорт — это жуткая дыра. А вот аэропорт Даллеса — это гигантский шаг вперед. Скоро и Чикаго поймет, что он отстал на двадцать лет.— Мел помолчал, подумал.— Помните, в те годы, когда стали летать первые реактивные, что творилось в аэропортах, построенных в расчете на «ДС-4» и «констеллейшн»?

— Помню,— сказала Таня.— Я именно в таком и работала. И в обычные-то дни не протолкнешься, а в тяжелые дни — хоть помирай.

— В семидесятых годах,— заметил Мел,— будет хуже, много хуже. И не только из-за обилия пассажиров. Нас задушит другое.

— Например?

— Трудно будет со взлетно-посадочными полосами и диспетчеризацией движения, но это уже особая статья. А главное, чего никак не предусматривают те, кто планирует аэропорты, это то, что скоро — и очень скоро — наступит день, когда грузовые перевозки намного превысят пассажирские. Так было на всех видах транспорта, начиная с каноэ. Сначала перевозят людей и немного груза, а не успеешь оглянуться, и грузы начинают вытеснять человека. В авиации мы уже подошли к этому рубежу, хотя еще мало кто это сознает. Когда грузовые перевозки получат перевес — а это произойдет в ближайшие десять лет,— наши нынешние представления о том, каким должен быть аэропорт, окажутся безнадежно устаревшими. Хотите доказательства? Взгляните, куда стремится попасть молодежь, поступающая на работу в управленческий аппарат авиации. Еще совсем недавно почти никто не хотел идти в отделы грузовых перевозок. Это рассматривалось как ссылка — возможность блеснуть была лишь у тех, кто занимался пассажирами. А теперь это уже не так! Теперь все, у кого есть голова на плечах, хотят работать на грузовых перевозках. Они уже поняли, что в этом — будущее и возможность быстрой карьеры.

Таня рассмеялась.

— Ну, значит, я старомодная, потому что я предпочитаю иметь дело с людьми. Грузовые перевозки как-то...

К их столику подошла официантка.

— Порционных уже нет, и если народ не схлынет, то скоро вообще ничего не останется.

Они заказали кофе, и к нему Таня — лимонный пирог, а Мел — сандвич с яичницей. Когда официантка отошла, Мел усмехнулся.

— Я, кажется, произнес что-то вроде речи. Извините.

— Наверно, захотелось попрактиковаться.— Она пытливо посмотрела на него.— В последнее время не так уж много вам приходится выступать.

— Да, я ведь больше не президент Совета руководителей аэропортов. Я не езжу ни в Вашингтон, ни в другие места.— Однако не только этим объяснялось то, что Мел нигде больше не выступал и вообще стал менее заметной фигурой. И он подозревал, что Таня знает об этом.

Как ни странно, но именно одно из выступлений Мела и свело их.

Однажды на совместном совещании, какие изредка проводятся авиакомпаниями, Мел говорил о грядущих изменениях в авиации и об отставании наземных служб от прогресса, намечающегося в воздухе. Он воспользовался совещанием как поводом для того, чтобы «обкатать» речь, которую собирался произнести на общеамериканском форуме через неделю. Таня была там в числе представителей «Транс-Америки» и на другой день прислала ему одну из своих «обезглавленных» записок:

«мр б.
отлчная речь. все мы назмники с удовлтврнием узнали чт творцы аэропортов заснули над чертежными досками. кто-то должен был это сказать. можно прдложение? речь прзвчит живее, если поменьше тхнки побольше нсчет члвков. пассажир в пузе (все равно самолета или кита — помните Иону?) думает только о себе, не о мироздании.

тл.»

Записка эта не только позабавила Мела, но и заставила призадуматься. А ведь и в самом деле, решил он: все его внимание сосредоточено на цифрах и системах машин, а люди оказались за бортом. Он пересмотрел набросок речи и переставил акценты, как предлагала Таня. В результате выступление его имело огромный успех — как никогда. Ему горячо аплодировали и широко цитировали потом в газетах и журналах всего мира. Он, разумеется, позвонил Тане и поблагодарил ее. С тех пор они начали искать встреч друг с другом.

Вспомнив об этом первом послании Тани, Мел по ассоциации вспомнил и о записке, которую он получил от нее сегодня вечером.

— Спасибо, что вы сообщили мне насчет докладной комиссии по борьбе с заносами, хоть я и не очень понимаю, как вам удалось увидеть ее раньше меня.

— В этом нет ничего таинственного. Ее печатали у нас в бюро «Транс-Америки». И я видела, как капитан Димирест просматривал ее и хихикал.

— Вернон показал вам докладную?

— Нет, просто листы лежали перед ним, а я умею читать вверх ногами. Кстати, вы не ответили на мой вопрос: почему ваш зять так вас не любит?

Мел нахмурился.

— Должно быть, догадывается, что и я не слишком в восторге от него.

— Если хотите, можете ему сейчас об этом сказать,— заметила Таня.— Великий человек здесь собственной персоной.— Она мотнула головой в сторону кассы, и Мел оглянулся.

Капитан Вернон Димирест, высокий широкоплечий красавец, на голову выше всех окружающих, расплачивался по счету. Хотя он был в

обычном штатском костюме — твидовом пиджаке от Харриса и безукоризненно отутюженных брюках,— от всей его фигуры исходило удивительное ощущение властного превосходства («Ну прямо генерал в гражданском платье»,— подумал Мел). Его волевое, с правильными чертами лицо было замкнуто и холодно,— выражение его не изменилось и когда он заговорил с другим пилотом «Транс-Америки», стоявшим с ним рядом. Видимо, Димирест давал пилоту указания, потому что тот выслушал его и кивнул. Димирест тем временем окинул взглядом кафе и, заметив Мела с Таней, слегка наклонил голову. Потом посмотрел на часы, еще что-то сказал пилоту и направился к выходу.

— Видно, спешит,— заметила Таня.— Правда, времени у него не так уж много. Он летит сегодня рейсом два в Рим.

Мел улыбнулся.

— Рейсом «Золотой аргос»?

— Вот именно. Я вижу, сэр, вы читаете нашу рекламу.

— А ее трудно не читать.— Мел, конечно, знал, как знали миллионы людей, любовавшихся четырехцветным разворотом в «Лайфе», «Луке», «Посте» и других крупных журналах, что рейс два «Транс-Америки», именуемый «Золотой аргос», является самым фешенебельным, самым рекламным рейсом этой компании. Знал он и то, что выполняют такого рода рейсы лишь пилоты самого высшего класса.

— К тому же общеизвестно,— заметил Мел,— что Вернон на сегодня — один из наиболее опытных наших пилотов.

— О, да. Наиболее опытных и наиболее наглых.— Таня помедлила и все-таки решилась:— Если вы не прочь послушать сплетни, могу сказать, что вы не одиноки в оценке вашего зятя. Я слышала, как недавно один из наших механиков сказал: жаль, что нет больше у самолетов пропеллеров, тогда хоть была бы надежда, что капитан Димирест попадет под лопасть.

— Не слишком-то гуманная шутка,— сурово оборвал ее Мел.

— Согласна. Я лично больше склоняюсь к мнению мистера Янгквиста, президента нашей компании. Насколько мне известно, он сказал про капитана Димиреста так: «Держите этого надутого индюка от меня подальше, но летать я буду только с ним».

Мел усмехнулся. Он знал обоих мужчин: да, Янгквист мог сказать такое. Мел, конечно, понимал, что не следовало ему опускаться до обсуждения Вернона Димиреста, но известие о докладной, составленной комиссией по борьбе с заносами, и мысль о неприятностях, которые она ему причинит, все еще вызывали у него раздражение. Интересно, подумал он, куда спешит сейчас его зять,— наверно, на какое-нибудь очередное любовное свидание: говорят, он на этот счет не промах. Мел посмотрел вслед Димиресту, но толпа в центральном зале уже поглотила его.

Сидевшая напротив Таня быстрым жестом разгладила юбку. Мел давно подметил эту ее привычку, и она ему нравилась. В этом было что-то удивительно женственное, притягивавшее взгляд и заставлявшее вспомнить, что лишь немногим женщинам идет форма, а Тане она шла и вовсе не лишала ее обаяния.

Словно угадав его мысли, Таня сказала:

— Я, видимо, скоро сниму эту форму.

— Почему?

— Нашему управляющему пассажирскими перевозками предложили аналогичный пост в Нью-Йорке. Заместителя переводят в управляющие, и я подала заявление с просьбой предоставить мне освобождающееся место.

Мел посмотрел на нее со смесью восхищения и любопытства.

— Что ж, я думаю, вы его получите. И пойдете дальше.

Она удивленно подняла брови.

— Вы, может, считаете, что я и вице-президентом стать могу?

— А почему бы и нет? Конечно, если захотите. Я имею в виду: захотите стать руководящим деятелем.

— Я еще не уверена, хочу я этого или чего-то другого,— задумчиво ответила Таня.

Официантка принесла заказ. Когда она ушла, Таня сказала:

— Правда, у нас, работающих женщин, не всегда есть выбор. Если не хочешь торчать на одном месте до самой пенсии — а многим из нас это вовсе не улыбается,— единственный путь: карабкаться вверх.

— А замужество вы исключаете?

Таня долго и тщательно выбирала, какой кусок лимонного пирога ей взять.

— Нет, не исключаю. Но однажды я уже обожглась, значит, могу обжечься и снова. Да и не так уж много претендентов — я имею в виду холостых — на руку женщины с ребенком.

— Но может ведь найтись исключение.

— Этак я могу и Ирландский кубок выиграть. Вот что я вам скажу, дорогой Мел, на основе собственного опыта: мужчины предпочитают свободных женщин. Можете спросить моего бывшего супруга. Если вы, конечно, разыщете его. Мне это пока что не удалось.

— Он оставил вас, когда у вас родился ребенок?

— Что вы! Нет, конечно! Тогда Рою пришлось бы целых полгода заботиться обо мне. По-моему, в четверг я сказала ему, что беременна — я просто не могла больше держать это в себе,— а в пятницу, когда я вернулась домой с работы, уже не было ни Роя, ни его вещей. Вот так-то.

— И с тех пор вы его ни разу не видели?

Она отрицательно покачала головой.

— Но в итоге это намного облегчило развод: ушел — и все. И никаких объяснений. Впрочем, нельзя быть совсем уж стервой. Рой не был законченным подлецом. К примеру, он не снял ни доллара с нашего общего счета в банке, хотя и мог. Я нередко думала потом, было ли это от доброты или просто он забыл. Так или иначе, все восемьдесят долларов, которые там лежали, достались мне.

— Вы никогда мне об этом раньше не рассказывали,— заметил Мел.

— А следовало?

— Возможно — чтобы я мог посочувствовать.

Она отрицательно покачала головой.

— Если бы вы лучше меня знали, вы бы поняли, что я рассказала вам это сейчас вовсе не потому, что нуждаюсь в сочувствии. В результате все ведь сложилось для меня не так уж плохо.— Таня улыбнулась.— Я даже могу стать со временем вице-президентом компании. По вашим словам.

За соседним столиком какая-то женщина воскликнула:

— О господи! Ты только взгляни, который час!

Инстинктивно Мел посмотрел на часы. Прошло сорок пять минут с тех пор, как он расстался с Дэнни Фэрроу. Он быстро поднялся на ноги, сказав Тане:

— Подождите меня здесь. Мне надо позвонить.

Возле кассирши стоял телефон, и Мел набрал один из незарегистрированных номеров пульта управления «снежной командой». В трубке послышался голос Дэнни Фэрроу: «Обождите!» — прошло несколько секунд, потом Дэнни сказал:

— Я как раз собирался звонить тебе. Насчет этого самолета «Аэрео-Мехикан», который блокировал полосу.

— Ну, слушаю.

— Тебе известно, что компания запросила о помощи «ТВА»?

— Да.

— Так вот, им туда нагнали грузовиков, кранов, уйму всякой техники. Вся взлетная полоса и рулежная дорожка забиты машинами. Но чертов самолет так и не удалось сдвинуть с места. Мне сообщили, что «ТВА» послала за Джо Патрони.

— Рад это слышать,— сказал Мел,— жаль только, что они раньше не додумались послать.

Джо Патрони был главный механик ремонтной бригады «ТВА». Человек это был деловой, динамичный, буквально незаменимый при авариях и к тому же — большой приятель Мела.

— Да они вроде сразу попытались найти Патрони,— сказал Дэнни.— Но он был дома, и не так-то просто оказалось добраться до него. Говорят, из-за бурана повреждено много телефонных линий.

— Но теперь-то его известили? Ты уверен?

— В «ТВА» утверждают, что он уже выехал в аэропорт.

Мел мысленно прикинул: он знал, что Джо Патрони живет в Глен-Эллине, милях в двадцати пяти от аэропорта, и даже при идеальных условиях, чтобы добраться оттуда, нужно сорок минут. Сегодня же, когда дороги покрыты снегом и запружены машинами, Джо крупно повезет, если он управится меньше чем за полтора часа.

— Да,— сказал Мел,— если кто и сумеет сдвинуть этот самолет с места, так только Джо Патрони. Но это вовсе не значит, что я предлагаю сидеть сложа руки и ждать его. Доведи до сведения всех, что нам нужна взлетная полоса три-ноль — и срочно.

— Да я уже им говорил,— сказал Дэнни.— Могу повторить еще раз. Кстати, есть и хорошие вести: мы все-таки нашли этот «пикап» компании «Юнайтед».

— Шофер в порядке?

— Был без сознания. Машину занесло снегом, а мотор продолжал работать, и, как мы и предполагали, скопился углекислый газ. Но шоферу сейчас дают кислород, и он, конечно, очухается.

— Хорошо. Я выезжаю на поле, чтобы лично проверить обстановку. Буду радировать оттуда.

— Одевайся теплее,— сказал Дэнни.— Ночь — хуже некуда.

Когда Мел вернулся к столику, Таня уже собиралась уходить.

— Подождите,— сказал он,— пойдем вместе.

Пока Мел расплачивался, двое служащих «Транс-Америки» вошли в кафе. Один из них, заметив Таню, тотчас направился к ней.

— Извините, мистер Бейкерсфелд... Миссис Ливингстон, вас ищет управляющий перевозками. У него к вам срочное дело... На восьмидесятом рейсе из Лос-Анджелеса обнаружен безбилетный пассажир.

— И только-то? — Таня была явно удивлена: на всех авиалиниях попадались безбилетные пассажиры, и это никогда не было поводом для серьезных беспокойств.

— Видите ли,— сказал инспектор,— на этот раз пассажир, как я слышал, с приветом. Получена радиограмма от пилота, и к выходу выслана охрана. Так или иначе, миссис Ливингстон, вас зовут.

Мел вместе с Таней вышли из кафе в центральный зал. У лифта, который должен был доставить Мела в подземный гараж, где находилась его машина, они остановились.

— Осторожнее ездите по полю,— предупредила его Таня.— Не попадите под самолет.

— Если попаду, то вы, конечно, об этом скоро узнаете.— Он надел теплое пальто.— Сегодняшний ваш безбилетник, видно, особенный. Я постараюсь заглянуть к вам перед тем, как ехать в город: интересно,

почему подняли такой шум.— Он помедлил и добавил:— По крайней мере, у меня будет повод еще раз увидеть вас сегодня.

Они стояли очень близко. Внезапно их словно ветром качнуло друг к другу; руки их встретились. Таня мягко сказала:

— Разве для этого нужен повод?

В лифте, спускаясь вниз, он все еще чувствовал ласковое тепло ее руки и слышал ее голос.

4

Джо Патрони, как и доложили Мелу Бейкерсфелду, действительно выехал в аэропорт из своего дома в Глен-Эллине.

Выехал он минут двадцать назад. Но, как и предполагал Мел, ехать приходилось очень медленно.

А затем «бьюик» Джо Патрони попал в пробку и вообще встал. Впереди и позади, насколько хватал глаз, стояли машины. Джо Патрони откинулся на сиденье и при свете хвостовых огней передней машины закурил сигару.

Через некоторое время он посмотрел на часы. И его машина, и та, что перед ним, стояли уже несколько минут. Стояли не только они — и дальше впереди, и справа непрерывной цепью тянулись автомобили. Он отметил про себя, что давно уже не видел и встречных машин — должно быть, где-то на дороге произошла авария и застопорила движение всех четырех потоков. Ладно, решил он, если в ближайшие пять минут ничего не изменится, придется выйти и посмотреть, в чем дело, хотя так мело и валил такой густой снег, что ему крайне не хотелось высовывать нос наружу. Он еще успеет намерзнуться за ночь в аэропорту. А пока он настроил радио на волну рок-н-роллов и, включив его на полную мощность, затянулся сигарой.

5

Расставшись с Таней, Мел Бейкерсфелд спустился на лифте в подземный гараж. Его радиофицированная служебная машина горчично-желтого цвета стояла неподалеку, в специально отведенном для нее боксе.

Мел выехал на поле недалеко от того места, где находились галереи-гармошки для посадки в самолет. Ветер и снег со страшной силой тотчас обрушились на ветровое стекло его машины. «Дворники» отчаянно метались туда и сюда, но расчищенное ими стекло сразу застилал снег. В неплотно прикрытое окно вдруг ворвался порыв ледяного ветра и швырнул горсть снега в кабину. Мел поспешно поднял стекло. Уж очень резким оказался переход от уютного тепла аэровокзала к этой дикой злой мгле.

Впереди, там, где кончались галереи-гармошки, замаячили самолеты. За зданиями было тише, не так крутила пурга, и Мел увидел сквозь освещенные окна, что самолеты уже заполнены пассажирами. Видимо, несколько рейсов готовились к взлету — пилоты только ждали указания из диспетчерской, чтобы запустить двигатели, но их задерживали из-за того, что была блокирована полоса три-ноль. На поле и на взлетно-посадочных полосах виднелись смутные очертания и навигационные огни других самолетов, только что прибывших и еще не успевших заглушить двигатели. Их держали в так называемой «предвариловке» — в ожидании, пока освободятся места у галерей-гармошек. Так же, наверно, обстояло дело и у других семи отсеков аэровокзала.

Приемник в машине Мела, работавший двухсторонней связью и настроенный сейчас на прием передач с земли, внезапно ожил.

— Диспетчер вызывает «Истерн» семнадцатый,— раздался голос одного из воздушных диспетчеров,— даю взлет с полосы два-пять. Настройтесь на частоту взлета.

Послышался треск.

— Говорит «Истерн» семнадцатый. Вас понял.

И тотчас чей-то раздраженный голос:

— Наземный диспетчер, говорит «Пан-Американ» пятьдесят четвертый, иду по рулежной дорожке к полосе два-пять. Впереди — двухмоторная каракатица — частная «чессна». Жму на тормоза, чтоб не врезаться.

— «Пан-Американ» пятьдесят четвертый, стоп! — Короткая пауза, и снова голос диспетчера: — «Чессна-73», говорит диспетчер. Сверните на первом пересечении направо. Пропустите самолет компании «Пан-Американ».

И вдруг приятный женский голос:

— Наземный диспетчер, говорит «чессна-73». Я сворачиваю. Можешь лететь, «Пан-Американ». У-у, медведь!

Смешок. И голос:

— Спасибо, лапочка. Подмажь губки, пока я взлечу.

И грозный голос диспетчера:

— Диспетчер — всем самолетам! Предлагаю использовать радио только в служебных целях.

Диспетчер был раздражен: Мел чувствовал раздражение, прорвавшееся сквозь профессиональную выдержку. Да и кого бы не вывела из себя сегодняшняя погода и неразбериха в воздухе и на земле? И Мел с тревогой вспомнил о своем брате Кейзе, который сидел сейчас в радарной КДП и принимал самолеты с Запада, самого перегруженного направления.

Из диспетчерской шли непрерывные указания самолетам, и радио работало без передышки. Подождав, пока закончится очередной диалог, Мел включил свой микрофон:

— Наземный диспетчер, говорит машина номер один. Нахожусь у выходных ворот шестьдесят пять, следую в направлении полосы три-ноль, к застрявшему самолету «Аэрео-Мехикан».

Диспетчер дал указания двум только что севшим самолетам, и Мел услышал:

— Диспетчер — машине номер один. Вас понял. Следуйте за «ДС-9» «Эйр-Канады», который выруливает за ворота впереди вас. Остановитесь, не доезжая полосы два-один.

Мел подтвердил прием. Он увидел, как самолет «Эйр-Канады» вырулил за ворота,— его высокий изящный хвост плыл в воздухе под прямым углом к фюзеляжу.

Откатившись немного, самолет тотчас стал набирать скорость. Мел нажал на акселератор, стараясь не отстать. Он как-то увереннее себя чувствовал, когда видел впереди хвостовые огни «ДС-9»: «дворники» на его ветровом стекле не справлялись со снегом, и он по сути дела ехал вслепую. В смотровом зеркальце он заметил надвигавшийся на него сзади силуэт другого реактивного самолета. По радио зазвучал предупреждающий голос наземного диспетчера:

— «Эр-Франс» четыре-ноль-четыре, между вами и «Эйр-Канадой»— служебная машина.

Только через четверть часа Мел добрался до пересечения рулежной дорожки со взлетно-посадочной полосой, где застрял самолет «Аэрео-Мехикан».

Он остановил машину и вышел. Здесь, в безлюдии и тьме, ветер буйствовал, казалось, еще безудержнее. Он свистел и завывал над пустынной взлетной полосой. «Появись здесь сегодня волки,— подумал Мел,— я бы ничуть не удивился».

Какая-то призрачная фигура окликнула его из снежной мглы:

— Это вы, мистер Патрони?

— Нет, это не Патрони.— Мел обнаружил, что и ему приходится кричать, чтобы перекрыть вой ветра.— Но Джо Патрони — в пути.

Человек подошел ближе. Он был закутан в доху, и тем не менее лицо у него посинело от холода.

— Мы, конечно, будем рады увидеть Джо Патрони, но черт меня побери, если я понимаю, что он тут может сделать. Мы почти все перепробовали, чтобы вытащить эту махину.— И он показал на самолет, черневший позади.— Застрял напрочь.

Мел назвал себя и поинтересовался, с кем он разговаривает.

— Моя фамилия Ингрем, сэр. Я — старший техник «Аэрео-Мехикан». И признаться, очень бы хотел сейчас, чтоб у меня была другая работа.

Продолжая разговаривать, они подошли поближе к застрявшему «боингу-707», инстинктивно ища укрытия под его крыльями и фюзеляжем. Красный свет ритмично мигал под брюхом большого лайнера. При этом неверном свете Мел увидел под снегом раскисшую землю, в которой завязли колеса самолета. На взлетно-посадочной полосе и прилегающей к ней рулежной дорожке, словно родственники, сгрудившиеся у постели умирающего, стояли грузовики и подсобные машины — топливозаправщик, тележки для багажа, почтовый фургон, два автобуса для команды и ревущий передвижной генератор.

Мел поднял воротник пальто.

— Нам совершенно необходима эта взлетная полоса — срочно, сегодня. Что вы для этого сделали?

За эти два часа, доложил Ингрем, с аэровокзала подогнали к самолету старые трапы и спустили по ним пассажиров. Командир экипажа и первый пилот находятся на местах.

— А вы пытались сдвинуть самолет после того, как выгрузили пассажиров?

Старший техник кивнул.

— Мы дважды запускали двигатели. Командир корабля включал их на всю мощь, какую считал возможной. Но вытащить самолет не удалось. Похоже, что он еще глубже увяз.

— А сейчас что делаете?

— Снимаем груз — вдруг поможет. Большая часть горючего,— добавил Ингрем,— уже откачана топливозаправщиками, а это немало, поскольку баки были заполнены для полета. Освободили также багажные и грузовые отсеки. Почтовый фургон забрал мешки с почтой.

Мел кивнул. Почта-то улетит — в этом он не сомневался. Почтовое отделение в аэропорту поминутно следило за соблюдением воздушного графика. Там было точно известно, на каком самолете находятся мешки с почтой, и в случае задержки почтовые служащие мгновенно перебрасывали их с одного рейса на другой. Словом, почте с застрявшего самолета повезет куда больше, чем пассажирам. Максимум через полчаса она уже отправится по назначению—в случае необходимости кружным путем.

— Вам не нужна дополнительная помощь? — спросил Мел.

— Нет, сэр, пока нам никто не нужен. У меня тут почти вся наша бригада «Аэрео-Мехикан» — двенадцать человек. Половина из них греется сейчас в автобусе. Но Патрони, конечно, может понадобиться больше народу. Все будет зависеть от того, что он задумает.— Ингрем повернулся и мрачно посмотрел на неподвижный лайнер.— Если хотите знать мое мнение, дело это долгое, и нам потребуются подъемные краны, домкраты, а может, и пневматические мешки, чтоб приподнять крылья. Однако большую часть оборудования мы сможем пустить в дело, только когда рассветет. Так что на эту операцию может уйти почти весь завтрашний день.

— Исключено: я не могу вам дать не только завтрашний день, но даже сегодняшнюю ночь,— резко оборвал его Мел.— Полоса должна

быть очищена...— Он вдруг умолк, вздрогнув от предчувствия, неожиданно нахлынувшего с такою силой, что ему стало страшно.

По телу его снова прошла дрожь. Что с ним? Да ничего особенного, уверил он себя: это от непогоды, от резкого, холодного ветра на поле. Но странное дело: он ведь не сейчас вышел из машины и, казалось бы, уже должен был привыкнуть к холоду.

С другого конца поля, перекрывая вой ветра, долетел рев двигателей реактивного самолета. Шум нарастал и потом сразу стал тише — самолет взлетел. Это повторилось еще. И еще раз. Значит, там все в порядке.

А здесь? И снова на какую-то долю секунды им овладело предчувствие беды. Даже не предчувствие, а что-то неуловимое, как дыхание надвигающейся серьезной опасности. Нельзя, конечно, придавать таким вещам значение: интуиции, предчувствиям не место в жизни прагматика. Правда, однажды, много лет назад, у него было точно такое же чувство, будто надвигается нечто неотвратимое, что приведет к гибельному концу. Мел вспомнил и то, каким оказался этот конец, которого он не в состоянии был предотвратить...

Он снова посмотрел на «боинг». Машину засыпало снегом, и очертания ее стали расплывчатыми. Собственно говоря, ведь помимо того, что оказалась заблокированной взлетно-посадочная полоса и приходится взлетать над Медоувудом,— ничего страшного не произошло. Ну, увяз в снегу самолет, но никто при этом не пострадал, никакого материального ущерба не нанесено — словом, ничего особенного.

— Пошли ко мне в машину,— предложил он старшему технику.— Выясним по радио, что происходит.

По дороге он вспомнил, что Синди уже наверняка с нетерпением ждет его в городе.

Мел не выключал обогревателя, и в машине сейчас было тепло и уютно. Ингрем удовлетворенно крякнул. Он слегка распахнул доху и, нагнувшись, подставил руки под струю теплого воздуха.

Мел настроил радио на частоту аэропортовских служб.

— Машина номер один вызывает пульт «снежной команды». Дэнни, я на взлетной дорожке три-ноль, у застрявшего самолета. Позвони в ремонтную «ТВА» и узнай насчет Джо Патрони. Где он? Когда должен прибыть? Все.

В ответ заскрипел голос Дэнни Фэрроу:

— Пульт «снежной команды» — машине номер один. Вас понял. Кстати, Мел, звонила твоя жена.

— Она оставила номер телефона?

— Точно.

— Машина номер один — пульту «снежной команды». Позвони ей, пожалуйста, Дэнни. Скажи, что, к сожалению, я немного задержусь. Но сначала выясни насчет Патрони.

— Ясно. Жди.

И радио умолкло.

Мел сунул руку в карман пальто, вытащил пачку «Марлборо» и предложил Ингрему сигарету.

— Спасибо.

Они закурили, глядя на то, как «дворники» ходят туда и сюда по ветровому стеклу.

— Там, наверху,— Ингрем движением головы указал на освещенную кабину самолета,— эта сволочь капитан, наверно, льет крокодиловы слезы в свое сомбреро. Теперь уж он будет следить за синими огнями — глаз от них не оторвет, точно от свечей на алтаре. Вы знаете, куда должен был лететь этот самолет?

Мел отрицательно покачал головой.

— В Акапулько. И до того, как это случилось, я согласился бы полгода поститься, лишь бы полететь на нем.— Старший техник ухмыльнулся:— Представляете себе, каково это: сел в самолет, уютно устроился— и нате, вылезай. Слышали бы вы, как бранились пассажиры, особенно женщины. Я узнал от них сегодня немало словечек.

Снова ожило радио.

— Пульт управления «снежной командой» — машине номер один,— раздался голос Дэнни Фэрроу.— Я выяснял у «ТВА» насчет Джо Патрони. Они связывались с ним, но дело в том, что он застрял по дороге. На шоссе — «пробка», и он будет не раньше чем через час. Он передал указания. Все понял?

— Понял,— сказал Мел.— Валяй указания.

— Патрони опасается, как бы самолет не увяз еще глубже. Говорит, это легко может случиться. Поэтому я считаю: если команда не уверена в успехе, пусть лучше ничего не предпринимает, пока не приедет Джо.

— Конечно.

— О'кей. Слушай дальше. «ТВА» срочно вызывает дополнительный персонал для помощи. И еще, Мел: снова звонила твоя жена. Я передал ей то, что ты сказал.

Мел почувствовал: Дэнни недоговаривает, зная, что его могут услышать и другие, чье радио включено на частоту аэропортовских служб.

— Ей это не понравилось? — спросил Мел.

— По-моему, нет.— Секундная пауза.— Я советую, как только сможешь, доберись до телефона.

Должно быть, Синди говорила с Дэнни яростнее обычного, подумал Мел, но тот, как верный друг, не стал об этом сейчас распространяться.

Тем временем Ингрем уже застегивал пальто и натягивал толстые рукавицы.

— Спасибо за обогрев,— сказал он и вышел на ветер и снег, поспешно захлопнув за собой дверцу машины.

Мел видел, как он бредет по сугробам, направляясь к машинам, сгрудившимся на рулежной дорожке.

По радио пульт управления «снежной командой» разговаривал с центром по борьбе с заносами. Мел дождался, пока переговоры закончатся, затем включил свой микрофон.

— Дэнни, говорит машина номер один. Еду к «Анаконде».

И он двинулся вперед, осторожно ведя машину сквозь крутящийся снег, в темноте, прорезаемой лишь редкими огнями на взлетно-посадочной полосе.

Снегоуборочная команда «Анаконда», передовой отряд и главное звено в аэропортовской системе борьбы с заносами, находилась в этот момент на взлетно-посадочной полосе один-семь, левой. Сейчас он сам убедится, мрачно подумал Мел, есть ли хоть доля правды в неблагоприятной для него докладной, состряпанной капитаном Димирестом от имени комиссии по борьбе с заносами, или же это лишь его злопыхательские измышления.

6

Предмет раздумий Мела — капитан Вернон Димирест — находился в этот момент в трех милях от аэропорта. Он ехал на своем «мерседесе-230», и путешествие это по сравнению с тем, которое он проделал ранее — из дома в аэропорт,— было много легче, ибо он выбирал улицы, по которым недавно прошелся снегоочиститель. Снег по-прежнему ва-

лил вовсю, но здесь он не успел еще лечь толстым слоем, и потому езда была не трудной.

Димирест направлялся к группе четырехэтажных зданий неподалеку от аэропорта, известных среди летчиков под названием «Квартал стюардесс». Именно здесь жили многие стюардессы, работавшие на разных авиалиниях в аэропорту Линкольна. Обычно две-три девушки снимали одну квартиру, и те, кто заглядывал к ним, называли эти квартиры «стюардессиными гнездышками».

Здесь в часы, свободные от работы, частенько устраивались веселые пирушки и завязывались романы, регулярно возникавшие между стюардессами и мужской половиной экипажей.

Впрочем, «стюардессины гнездышки» не отличались особой распущенностью нравов — в них происходило то же, что и везде, где живут одинокие молодые женщины.

Вернону Димиресту за время работы в авиации приглянулось немало стюардесс — да и он приглянулся многим из них. Он то и дело заводил романы с хорошенькими и неглупыми молодыми женщинами, взаимности которых мог бы добиваться какой-нибудь монарх или модный киноактер — и тщетно. Потому что стюардессы, с которыми был знаком — и притом весьма интимно — Димирест и его коллеги-пилоты, не были ни проститутками, ни распутными женщинами. Просто это были веселые, компанейские и весьма искушенные в плотских радостях существа, которые умели оценить настоящего мужчину и не отказывались приятно провести время без особых забот и хлопот.

Одной из тех, кто, так сказать, оценил по достоинству капитана Вернона Димиреста, и притом, по-видимому, всерьез, была пикантная привлекательная брюнетка по имени Гвен Мейген. Она была дочерью английского фермера и десять лет тому назад, покинув родину, переехала в Штаты. Прежде чем поступить на службу в «Транс-Америку», она некоторое время работала манекенщицей в одном из домов моделей в Чикаго. Возможно, поэтому она умела с таким изяществом и достоинством держаться на людях, ничем не выдавая буйного темперамента, которым отличалась в постели.

К этой-то девушке и направлялся сейчас Вернон Димирест.

Через несколько часов оба они полетят в Рим — капитан Димирест в пилотской кабине в качестве командира экипажа, а Гвен Мейген — в пассажирском салоне в качестве старшей стюардессы. В Риме экипаж получит трехдневный отдых — «на пересып», в то время как другой экипаж, который сейчас отдыхает в Италии, поведет самолет обратно в аэропорт Линкольна.

Слово «пересып» давно вошло в официальный жаргон, которым пользовались служащие авиакомпаний. Тот, кто его изобрел, по-видимому, обладал чувством юмора, и слово это вошло в обиход: летчики на отдыхе и буквально и фигурально следовали его значению. Вот и Димирест с Гвен Мейген намеревались интерпретировать его по-своему. Они решили по прибытии в Рим тотчас уехать в Неаполь и устроить там 48-часовой «пересып». Это была мечта, идиллия, и Вернон Димирест улыбнулся сейчас, подумав об этом. Он уже подъезжал к «Кварталу стюардесс» и, вспомнив, как удачно для него сегодня все складывается, улыбнулся еще шире.

Попрощавшись со своей женой Сарой, которая, как всегда, пожелала ему удачного полета, он рано приехал в аэропорт. Живи Сара в другом веке, она бы наверняка занималась вышиванием или вязанием в отсутствие своего повелителя. Но она жила сейчас, и потому, как только он уедет, она с головой погрузится во всякую светскую чепуху — будет ходить в свой клуб, играть в бридж и писать маслом: то есть займется тем, что составляет основу ее жизни.

Сара Димирест была на редкость бесстрастная и унылая женщина; муж сначала примирился с этими ее качествами, а потом — в силу своеобразной извращенности — даже начал их ценить. Когда во время полетов или романов с более интересными женщинами ему случалось вспомнить о доме, он мысленно — впрочем, не только мысленно, но и в беседах с друзьями — называл свое возвращение к родному очагу: «в ангар на постой». Были у его брака и другие преимущества. Пока он существовал, женщины, с которыми Димирест заводил романы, вольны были влюбляться в него по уши и выдвигать любые требования, но ни одна не могла надеяться, что он пойдет с ней под венец. Таким образом брак прочно защищал его от скоропалительных решений, которые он в угаре страсти мог принять. Ну, а Сара... время от времени он снисходил до интимных отношений с нею подобно тому, как хозяин иной раз бросает старой собаке мозговую кость. Сара покорно отвечала на его посягательства и вела себя как положено, хотя он и подозревал, что и вздохи, и прерывистое дыхание были скорее результатом привычки, чем страсти, и что прекрати он супружеские отношения совсем, ее бы это мало тронуло. Не сомневался он и в том, что Сара догадывалась о его похождениях на стороне: она инстинктивно чувствовала, что он ей изменяет, хоть и не располагала фактами. Однако она предпочитала ничего об этом не знать, что вполне устраивало Вернона Димиреста.

Радовало его сегодня и еще одно — докладная комиссии по борьбе с заносами, с помощью которой он крепко дал под дых этому надутому индюку, своему шурину Мелу Бейкерсфелду.

Идея такой докладной принадлежала самому Димиресту. Два других представителя авиакомпаний в комиссии сначала держались иной точки зрения: руководство аэропорта, говорили они, делает все возможное в создавшихся чрезвычайных обстоятельствах. Капитан Димирест утверждал обратное. Наконец ему удалось склонить их на свою сторону, и было решено поручить Димиресту самому написать докладную, что он и сделал, не пожалев яда. Он даже не дал себе труда проверить факты, безоговорочно утверждая, что дело поставлено плохо — и все: ну, чего еще проверять, когда вокруг столько снега? Зато уж он постарался пошире разослать докладную, чтобы причинить максимум неприятностей Мелу Бейкерсфелду и как следует досадить ему. Как только докладная будет размножена, ее направят вице-президентам всех авиакомпаний, а также в конторы авиакомпаний в Нью-Йорке и в других городах. Зная, как приятно найти козла отпущения и свалить на кого-то вину за неполадки, капитан Димирест был уверен, что телефоны и телетайпы сразу заработают, как только она поступит.

Словом, он отомстил своему родственничку, не без удовольствия подумал Вернон Димирест,— не бог весть как страшно, но все же отомстил. Теперь его хромоногий шурин дважды подумает, прежде чем выступать против капитана Димиреста и Ассоциации пилотов гражданской авиации, как он это сделал публично, не стесняясь, две недели тому назад.

Капитан Димирест развернул свой «мерседес», аккуратно затормозил на стоянке у домов и вышел из машины. Оказывается, он приехал даже немного раньше — на четверть часа раньше, чем обещал Гвен заехать за ней. Тем не менее он решил к ней подняться.

Отпирая наружную дверь ключом, который дала ему Гвен, он вдруг заметил, что тихонько напевает про себя «O Sole Mio»[1], и улыбнулся. А почему бы, собственно, и нет? Вполне подходящая песенка. Неаполь... теплая южная ночь, а не снежная, вид на залив при свете звезд, тихие звуки мандолины, «кьянти» за ужином и рядом — Гвен. И от всего это-

[1] «О мое солнце» *(итал.)*.

го его отделяют какие-то двадцать четыре часа. Естественно, что он поет «O Sole Mio».

И, поднимаясь в лифте, он продолжал напевать. Тут ему вспомнилось еще одно приятное обстоятельство: ему предстоял очень легкий полет.

Хотя капитан Димирест и был командиром экипажа, выполнявшего рейс номер два «Золотой аргос», сегодня ему почти ничего не придется делать. На этот раз он полетит в качестве пилота-контролера. Самолет же поведет другой пилот — Энсон Хэррис, по рангу почти равный Димиресту. Это он будет сегодня сидеть в командирском кресле слева. А Димирест будет сидеть справа — там, где обычно сидит первый пилот,— и наблюдать за действиями Хэрриса, чтобы потом доложить о его полете.

Хэррису был назначен контрольный полет в связи с тем, что «Транс-Америка» решила перевести его с внутренних линий на международные. Однако прежде он должен был совершить два полета за океан с пилотом, имеющим ранг инструктора. А Вернон Димирест как раз имел этот ранг.

После того как Хэррис совершит два полета — а сегодняшний был вторым по счету,— его проэкзаменует старший пилот, и лишь потом ему доверят международный рейс.

В подобного рода полетах — равно как и во время контрольных полетов, которые регулярно, каждые полгода, обязаны совершать все пилоты всех авиакомпаний,— проводилась тщательная проверка навыков поведения в воздухе и умения летать. Испытания проходили на обычных рейсовых самолетах, и пассажиры могли догадаться об этом, лишь увидев двух капитанов с четырьмя нашивками на рукаве, сидящих в пилотской кабине.

Хотя пилоты по очереди проверяли друг друга, они обычно серьезно и требовательно подходили к делу. Пилот, проходивший проверку, знал, что его действия должны во всем отвечать стандарту. И если он в чем-то этому стандарту не соответствовал, на него поступал неблагоприятный отзыв, что могло повлечь за собой более строгую проверку со стороны старшего пилота авиакомпании, от которого уже зависело, оставить или уволить испытуемого.

Не давая испытуемым никаких поблажек, коллеги, однако, относились к ним с подчеркнутым уважением. Все — кроме Вернона Димиреста.

Димирест же относился ко всем пилотам, проходившим у него испытание, как учитель к провинившимся школьникам, которых надо распечь. Более того: в роли такого школьного учителя Димирест держался неизменно официально, был высокомерен, резок и жесток. Он не скрывал своей убежденности в том, что никто не может сравниться с ним в искусстве пилотирования. Коллеги, которым приходилось все это выносить, внутренне кипели от негодования, но выбора не было, и они подчинялись. Зато потом они клялись друг другу, что когда наступит черед Димиреста проходить проверку, они будут так придираться к нему, так его третировать, что он не обрадуется. И они выполняли свою угрозу — с одним неизменным результатом: Вернон Димирест безукоризненно вел самолет и придраться было не к чему.

Вот и сегодня, перед контрольным полетом, Димирест, следуя обычной линии поведения, позвонил Энсону Хэррису домой.

— Вечером будет трудно ехать,— без всякого вступления сказал Димирест.— Поскольку я люблю, чтобы мой экипаж был вовремя на месте, прошу вас выехать заблаговременно в аэропорт.— Энсон Хэррис, который за двадцать два года безупречной службы ни разу не опоздал на работу, едва не задохнулся от возмущения. К счастью, прежде чем

он сумел выдавить из себя хоть слово, капитан Димирест повесил трубку.

Все еще внутренне негодуя, но не желая дать повод Димиресту в чем-либо его упрекнуть, капитан Хэррис прибыл в аэропорт не за час до вылета, как предписывалось, а почти за три часа. Капитан Димирест увидел его в «Кафе заоблачных пилотов», куда он зашел после схватки с комиссией по борьбе с заносами. Димирест был в твидовом пиджаке и брюках — форменный костюм, как всегда, висел у него в шкафчике, и он намеревался переодеться позже. А капитан Хэррис, уже немолодой мужчина с проседью, пилот-ветеран, которого молодежь именовала не иначе, как «сэр», был в форме «Транс-Америки».

— Привет, Энсон! — Вернон Димирест опустился рядом с ним на табурет у стойки.— Я вижу, вы послушались моего доброго совета.

Капитан Хэррис крепче сжал чашку с кофе, но в ответ сказал только:

— Добрый вечер, Вернон.

— Подготовка к полету начнется на двадцать минут раньше обычного,— предупредил его Димирест.— Я хочу проверить, в порядке ли у вас бортовой журнал и на месте ли все инструкции.

Какое счастье, подумал Хэррис, что жена только вчера проверила инструкции и внесла туда последние изменения. Но еще надо будет просмотреть в экспедиции почту, не то этот мерзавец может потом поставить ему в вину, что он не внес какого-нибудь изменения, сделанного только сегодня. Чтобы чем-то занять руки и успокоиться, капитан Хэррис набил трубку и закурил.

Он почувствовал на себе критический взгляд Димиреста.

— У вас неформенная рубашка.

На секунду Хэррис не поверил, что его коллега говорит это всерьез. Но когда понял, что тот и не думает шутить, лицо его стало цвета спелой сливы.

Форменные рубашки вызывали крайнее раздражение у пилотов не только «Транс-Америки», но и других авиакомпаний. Рубашки эти приобретались у поставщиков авиакомпании и стоили девять долларов; они были плохо сшиты, притом из материала весьма сомнительного качества. В обычном же магазине можно было купить рубашку куда лучше и дешевле, причем по виду она почти не отличалась от форменной. Многие пилоты ходили поэтому в неформенных рубашках. В том числе и *Вернон Димирест*. Энсон Хэррис не раз слышал, как презрительно отзывался Димирест о рубашках, поставляемых компанией, и противопоставлял им те, которые носил сам.

Димирест велел официантке подать кофе и примирительно сказал Хэррису:

— Ничего страшного. Я не напишу в рапорте о том, что видел вас в неформенной рубашке. Только переоденьтесь до того, как явитесь на мой корабль.

«Сдержись! — сказал себе Энсон Хэррис.— Великий боже, дай мне силы! Только бы не сорваться — ведь именно этого добивается сукин сын. Но почему? Почему?»

Ладно. Ладно, решил он про себя: он проглотил обиду, сменит рубашку и наденет форменную. Он не даст Димиресту повода упрекнуть его хоть в чем-то — пусть даже в самой малости. Правда, не так-то просто будет добыть сегодня форменную рубашку. Наверно, придется взять напрокат — поменяться с каким-нибудь капитаном или первым пилотом. Когда он скажет, зачем ему это нужно, никто не поверит. Он сам еле поверил своим ушам.

Ну, ничего, у Димиреста тоже будет контрольный полет, и пусть он поостережется... *и в очередной раз и во все последующие.* У Энсона Хэр-

риса немало добрых друзей среди старших пилотов. И уж он позаботится о том, чтобы Димиреста заставили надеть форменную рубашку, заставили следовать правилам во всем — во всем, вплоть до мелочей... а не то... Впрочем, эту хитрую сволочь не так-то легко поймать, мрачно подумал Хэррис. Он всегда все помнит.

— Эй, Энсон! — в голосе Димиреста звучал смешок.— Вы сейчас откусите мундштук у своей трубки.

Ведь и в самом деле чуть не откусил.

Вспомнив сейчас эту сцену, Вернон Димирест хмыкнул. Да, полет будет легкий — для него.

Лифт остановился на четвертом этаже, и мысли Димиреста вернулись к настоящему. Он вышел в коридор, выстланный ковром, и уверенно свернул налево — к квартире, которую Гвен Мейген занимала вместе со стюардессой «Юнайтед Эйрлайнз». Димирест знал от Гвен, что ее соседки не будет дома — она улетела в ночной рейс. Он по обыкновению отстучал на звонке свои инициалы азбукой Морзе — точка-точка-точка-тире тире-точка-точка,— затем вошел, воспользовавшись тем же ключом, которым отпер дверь подъезда.

Гвен была в душе. Он услышал грохот воды. Когда он подошел к двери ее спальни, она окликнула его: «Вернон, это ты?» Даже сейчас, перекрывая шум воды, голос ее звучал мягко и мелодично. И Димирест подумал: «Не удивительно, что Гвен имеет такой успех у пассажиров». Он сам видел, как они буквально тают — особенно мужчины,— когда она с присущим ей обаянием обращается к ним.

Он крикнул в ответ:

— Да, крошка.

— Я рада, что ты пришел пораньше,— снова крикнула она.— Мне хотелось поговорить с тобой до полета.

— Отлично — время у нас есть.

— Если хочешь, можешь пока приготовить чай.

— О'кей.

Она приучила Вернона к английской манере пить чай в любое время дня, хотя прежде, до их знакомства, он вообще не прикасался к чаю. А теперь он так к нему пристрастился, что даже пил чай дома; это крайне удивляло Сару, особенно когда он требовал, чтобы чай был заварен по всем правилам, как учила его Гвен: сначала нагреть чайник, потом кипящей водой заливать чай.

Он прошел в крошечную кухоньку, где ему было все знакомо, и поставил чайник на конфорку. Потом отыскал в холодильнике пакетик с молоком, вылил его в молочник, отпил немного сам, а остальное поставил обратно. Он, конечно, предпочел бы виски с содовой, но, как большинство пилотов, уже за сутки до полета не брал в рот ни капли спиртного. По привычке он посмотрел на часы — было без трех минут восемь. И он машинально подумал о том, что в аэропорту сейчас уже кипит работа и какие-то люди готовят для него изящный и надежный «боинг-707», на котором он будет совершать свой пятитысячемильный полет в Рим.

В ванной закрыли кран, вода перестала литься. И в наступившей тишине Димирест снова стал напевать: «O Sole Mio». На душе у него было легко.

7

Резкий, холодный ветер по-прежнему бушевал над аэропортом, по-прежнему валил густой снег.

Сидя в своей машине, Мел Бейкерсфелд вдруг снова почувствовал озноб. Он направлялся к взлетно-посадочной полосе один-семь, левой,

по которой только что прошли снегоочистители. Откуда этот озноб? — подумал Мел. Дает себя знать холод или боль в покалеченной ноге или это опять предчувствие беды, которое посетило его недавно?

Ногу Мел повредил себе шестнадцать лет тому назад у берегов Кореи, когда служил в морской авиации и летал с авианосца «Эссекс». Тогда, за полсуток до рокового вылета (он это отчетливо помнил), у него возникло предчувствие беды. Это не был страх — подобно многим своим коллегам, он научился жить рядом с опасностью,— а скорее подсознательная уверенность в том, что на него надвигается что-то неотвратимое и это может кончиться гибелью для него. На другой день в бою с «МИГ-15» самолет Мела подстрелили над морем.

Он сумел немного спланировать, но левая нога у него попала под педаль, которую заело, и он никак не мог ее высвободить. Самолет быстро погружался в воду — он шел ко дну со скоростью кирпича,— и Мел, выхватив охотничий нож, в последнем, отчаянном усилии полоснул по педали и по ноге. Уже под водой ему каким-то чудом удалось высвободить ногу. И он вынырнул, преодолевая адскую боль.

Целых восемь часов его носило по волнам, и он уже начал терять сознание, когда его подобрали. Потом он узнал, что перерезал себе сухожилия и нога у него перестала сгибаться в щиколотке.

Со временем флотские медики подлечили ему ногу, но с тех пор Мел уже не летал. Правда, боль время от времени вдруг возвращалась, всякий раз напоминая о том, как много лет тому назад инстинкт предупредил его о надвигавшейся беде. Вот такое же предчувствие посетило его и теперь.

Осторожно ведя машину, чтобы не сбиться в темноте с пути, Мел продвигался к взлетно-посадочной полосе один-семь, левой. По словам руководителя полетов, именно эта полоса будет нужна диспетчерам, когда переменится ветер, а это, судя по прогнозам, должно было вот-вот произойти.

В настоящее время в аэропорту функционировали две полосы — два-пять и один-семь, правая. А всего взлетно-посадочных полос было пять. И здесь, на этих полосах, вот уже три дня и три ночи буран давал аэропорту жестокий бой.

Самой длинной и широкой была полоса, перекрытая самолетом «Аэрео-Мехикан». Она была почти в две мили длиной и шириной с городской квартал; в аэропорту шутили, что с одного ее конца не видно другого, потому как земля-то ведь круглая.

Остальные четыре полосы были на полмили короче и много уже.

С тех пор как начался снегопад, все полосы безостановочно расчищали, освобождали от снега, подметали и посыпали песком. Машины останавливались лишь для заправки или смены обслуживающего персонала. Этой работы никто из пассажиров не видел, потому что самолеты выпускали уже на расчищенную полосу и притом лишь после того, как ее поверхность была обследована и признана безопасной. На этот счет существовали очень строгие требования. Полдюйма твердого снегового покрова или три дюйма пушистого снега — максимум того, что разрешалось оставлять на полосе, используемой реактивными самолетами. Если оставить более толстый покров, снег будет всосан двигателями и они могут заглохнуть.

А жаль, подумал Мел Бейкерсфелд, что снегоуборочные команды не работают на глазах у публики. Зрелище это было грандиозное и захватывающее. Даже сейчас, в буран, в темноте, вид движущихся машин производил внушительное впечатление. Каскады снега гигантской дугой низвергались с высоты ста пятидесяти футов. Они сверкали и переливались в лучах фар и двадцати вращающихся прожекторов, установленных на крышах машин.

В аэропорту эту снегоуборочную команду называли «Анакондой». У нее была голова, хвост, туловище и все аксессуары змеи, и продвигалась она вперед, извиваясь, словно в танце.

Во главе ехал «лидер», старший техник аэропортовских служб на легковой машине — ярко-желтой, как и все остальные машины «Анаконды». «Лидер» устанавливал скорость движения, которая обычно была довольно большой. В его распоряжении имелось два радиопередатчика, и он поддерживал постоянную связь с пультом управления «снежной командой» и с диспетчерской. С помощью системы световых сигналов он общался с теми, кто следовал за ним: зеленый сигнал — «набрать скорость», желтый — «так держать», красный — «сбавить скорость», а многократное повторение красного сигнала — «стоп». «Лидер» обязан был знать назубок всю карту аэропорта и уметь ориентироваться даже в такую темную ночь.

За «лидером» — подобно тому как концертмейстер следует по положению за дирижером — следовал снегоочиститель номер один: сегодня это был гигант «Ошкош» с огромным ножом впереди и другим ножом поменьше — сбоку. Чуть позади и правее снегоочистителя номер один шел снегоочиститель номер два. Первый снегоочиститель отгребал снег в сторону; второй подбирал все, что счищал первый, и, добавив свое, отгребал всю массу снега еще дальше.

За снегоочистителями шел «Сноубласт» — шестьсот ревущих лошадиных сил. Мощными насосами он всасывал снег, который отгребали оба снегоочистителя, и выбрасывал его могучим каскадом за пределы взлетно-посадочной полосы.

Во втором эшелоне, еще правее, шли два других снегоочистителя и второй «Сноубласт».

За снегоочистителями и «Сноубластами» шли грейдеры — пять в ряд — и ножами счищали все неровности и шероховатости, оставшиеся после снегоочистителей. За ножом у грейдеров были установлены крутящиеся щетки. Они подметали полосу, словно гигантская метла.

Следом шли машины с песком.

Песок здесь применялся не такой, как везде. Повсюду за пределами аэропорта — на шоссе, на городских улицах и площадях — к песку прибавляют соль, ускоряющую таяние льда. Но этого никогда не делают на поле. Соль разъедает металл, укорачивает его жизнь, а к самолетам относятся более бережно, чем к автомобилям.

Последним в «Анаконде» ехал «хвостовой Чарли» — младший техник на легковой машине. Его обязанностью было наблюдать за строем и подгонять отстающих. Он поддерживал радиосвязь с «лидером», которого подчас и не видел за пеленою снега, в темноте.

Кроме того, было еще и «окружение»: резервный снегоочиститель — на случай, если какой-нибудь выйдет из строя; ремонтная машина с механиками; цистерна с бензином и дизельным топливом, а также вызываемый в определенное время по радио «пикап» с кофе и пончиками.

Мел дал газ, обогнал «окружение» и притормозил рядом с машиной младшего техника. Его появление тотчас было замечено. Он услышал, как «лидер» сообщил по радио: «К нам подъехал Бейкерсфелд».

«Анаконда» двигалась быстро — со скоростью сорока миль в час вместо обычных двадцати пяти. «Лидер» явно спешил, учитывая предполагаемую перемену ветра и необходимость в связи с этим срочно подготовить взлетно-посадочную полосу.

Переключив свое радио на волну наземной службы, Мел услышал, как «лидер» докладывает диспетчеру:

— ...идем по полосе один-семь, левой, приближаемся к пересечению с полосой два-пять. Прошу разрешения пересечь.

Полоса два-пять действовала — на нее один за другим садились самолеты.

— Наземный диспетчер — «лидеру» «Анаконды»: остановитесь у пересечения. Два самолета идут на посадку. Не разрешаю, повторяю: не разрешаю пересекать полосу. Подтвердить прием.

В голосе диспетчера звучало сожаление. Там, наверху, понимали, как трудно остановить «Анаконду» и потом снова двинуть ее вперед. Но приближавшиеся самолеты, по всей вероятности, снижались вслепую, по приборам, и уже шли на посадку — один за другим. В такую погоду только в случае крайней необходимости диспетчер мог приказать летчику снова набрать высоту и сделать еще один круг.

Мел увидел, как впереди вспыхнули и повелительно замигали красные огни: «Анаконда» сбавила скорость и замерла.

Младший техник, веселый молодой негр, выпрыгнул из своей машины и подошел к машине Мела. Когда он открыл дверцу, внутрь ворвался ветер — Мел его почувствовал, но не услышал из-за рева работавших вхолостую дизелей. Младший техник пригнулся к самому уху Мела:

— Послушайте, мистер Би, хотите прокатиться с нами? Я тогда велю кому-нибудь из ребят присмотреть за вашей машиной.

Мел улыбнулся. Все в аэропорту знали, как он любил в свободную минуту посидеть за баранкой тяжелой машины. «А почему бы и нет?» — подумал Мел. Ведь он выехал на поле для того, чтобы проверить, как убирают снег и соответствует ли это докладной Вернона Димиреста. Теперь ему было ясно, что докладная — сплошная ложь и все идет как надо. Но, может быть, не мешает еще немного задержаться и понаблюдать «изнутри».

Он кивнул в знак согласия и крикнул:

— О'кей, я поеду на втором «Сноубласте».

— Отлично, сэр!

Младший техник включил ручной фонарик и, сгибаясь под напором ветра, пошел впереди Мела мимо застывших в неподвижности грузовиков с песком и щеток. Мел заметил, что на полосе, расчищенной всего несколько минут назад, уже снова лежал снег. Сзади, с ремонтного грузовика, соскочил человек и бегом направился к машине Мела.

— Поторапливайтесь, мистер Би. Остановка короткая.— Молодой негр посветил фонариком, пока Мел забирался в кабину «Сноубласта». Где-то на полпути острая боль в покалеченной ноге вдруг пронзила его, но времени пережидать ее не было. Впереди красные огни уже сменились зелеными: очевидно, оба самолета сели и прокатили мимо пересечения. «Анаконде» надо было спешить, чтобы пересечь полосу до посадки очередного самолета, а это могло произойти через минуту или две. Обернувшись назад, Мел увидел, как младший техник помчался к своему «хвостовому Чарли».

«Сноубласт» уже двинулся и с глухим ревом набирал скорость. Шофер бросил искоса взгляд на Мела, опустившегося рядом с ним на одно из двух сидений с мягкой обивкой.

— Здравствуйте, мистер Бейкерсфелд.

— Как дела, Вилл? — Мел сразу узнал в шофере клерка, который обычно выдавал жалованье в аэропорту.

— Отлично, сэр. Немного устал только.

Он старательно держал дистанцию между своей машиной и третьим и четвертым снегоочистителями: прожектора на них были отсюда еле видны. Огромные полукруглые ножи «Сноубласта» уже заработали, сгребая снег и направляя его к всасывающему устройству. Белый каскад взвился вверх и, образуя стройную арку, упал за пределами полосы.

Здесь, наверху, было такое ощущение, точно ты находишься на капитанском мостике. Шофер, совсем как рулевой, легко держал баранку. На панели перед ним мерцало в темноте множество разных дисков и кнопок. Как и на корабле, стремительно двигались скоростные «дворники», расчищая веером налипший на стекло снег и обеспечивая ясную видимость.

— Все, конечно, устали,— заметил Мел.— В утешение могу лишь сказать, что всю жизнь так не будет.

Несколько лет назад в такую снежную бурю аэропорт наверняка бы закрыли. А сейчас он мог работать главным образом потому, что наземная техника — правда, только в этой области — шла в ногу с прогрессом в воздухе. Но много ли таких примеров? Мел мрачно вынужден был признать, что немного.

— А впрочем,— добавил шофер,— почему бы и не уйти на время со счетной машины и не поработать на этой; к тому же — чем дольше продержится такая погода, тем больше сверхурочных я получу.— Он нажал на кнопку, и кабина накренилась вперед, давая ему возможность проверить, как работают ножи. С помощью соседней кнопки он слегка изменил их положение и затем выровнял кабину.— Я ведь не обязан этим заниматься — вы это знаете, мистер Бейкерсфелд. Я добровольно сюда пошел. Мне здесь нравится. Тут как-то...— Он помедлил.— Сам не знаю.

— Ближе к природе? — подсказал Мел.

— Да, пожалуй.— Шофер рассмеялся.— Может, я снег люблю.

— Да нет, Вилл, не думаю.

Мел повернулся и стал смотреть вперед — по направлению движения «Анаконды». Да, стихия разбушевалась вовсю. И все-таки он любил здесь бывать, пожалуй, потому, что на поле, среди этого огромного пустого пространства, когда человек один на один со стихией, чувствуешь себя как-то ближе к полету. А когда слишком долго сидишь в аэропорту или в конторах авиакомпаний, утрачиваешь это чувство. «Наверно, всем нам, авиационным чиновникам,— подумал Мел,— надо время от времени выходить на поле — встать в дальнем конце взлетно-посадочной полосы и почувствовать, как ветер хлещет лицо. Тогда легче нам будет отделить побочное от главного. Да и мозги проветрятся».

Мел нередко выходил вот так на поле, когда ему нужно было подумать, спокойно что-то взвесить наедине с собой. Он не намеревался заниматься этим сегодня, но вдруг обнаружил, что мысль сама заработала: он думал, как это часто бывало с ним в последние дни, о будущем аэропорта и о своем собственном.

8

Всего лет пять тому назад аэропорт Линкольна считался одним из лучших и самых современных в мире.

Аэровокзал его до сих пор выглядел весьма внушительно. Недостатки начинались там, где начиналась собственно авиация, и касались они прежде всего взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек.

Лишь немногие из восьмидесяти тысяч пассажиров, которые ежедневно прилетали и улетали с этого аэродрома, представляли себе, насколько все здесь несовершенно — и, следовательно, опасно для жизни. Уже год назад взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек едва хватало для приема и отправки самолетов, а сейчас они были перегружены сверх меры. В обычное время на двух главных полосах самолеты взлетали и садились каждые 30 секунд. Учитывая жалобы жителей Медоувуда и стремление руководства аэропорта пойти им навстречу, приходилось в часы «пик» пользоваться полосой, пересекавшей одну из

упомянутых двух. В результате самолеты взлетали и садились на пересекавшихся полосах, и бывали минуты, когда воздушным диспетчерам оставалось лишь затаить дыхание и молиться, чтобы ничего не произошло. Всего неделю назад Кейз, брат Мела, мрачно предрек:

«Ну, хорошо, мы в диспетчерской лезем из кожи вон и разводим самолеты, когда они буквально на волоске от столкновения, так что пока никакой аварии на этом пересечении не произошло. Но рано или поздно у кого-нибудь из нас на секунду отключится внимание или кто-то что-то неправильно вычислит — и тогда столкновение неизбежно. Я только молю бога, чтобы это случилось не в мое дежурство и не у меня».

Кейз имел в виду как раз то пересечение полос, которое только что миновала «Анаконда». Мел снова посмотрел из кабины «Сноубласта» назад. «Анаконда» проехала пересечение, и сквозь на миг поредевший снегопад Мел увидел, как на полосе мелькнули навигационные огни стремительно взлетавшего самолета. А в нескольких ярдах позади — Мел глазам своим не поверил — уже надвигались огни другого самолета, севшего, казалось, в ту же секунду.

Шофер «Сноубласта» тоже оглянулся. И присвистнул.

— Ого, эти двое чуть не столкнулись!

Мел кивнул. Они были так близки к столкновению, что у него даже холодок пробежал по коже. Должно быть, диспетчер, дававший указания пилотам обоих самолетов, предельно сократил допуск. Опытный диспетчер все правильно рассчитал, но это был риск. И то, что диспетчерам частенько приходилось принимать такие решения, создавало атмосферу постоянной неуверенности в исходе.

Мел неоднократно указывал на это Совету уполномоченных и городским боссам, от которых зависит финансирование аэропорта. Он не только ратовал за то, чтобы немедленно приступить к строительству дополнительных взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, но и убеждал прикупить земли вокруг аэропорта, чтобы постепенно его расширить. Это вызывало бесконечные дискуссии, а порой весьма горячие споры. Некоторые члены Совета уполномоченных и руководители города смотрели на дело так же, как Мел, но были и такие, которые резко выступали против. Трудно было убедить людей в том, что аэропорт, построенный для реактивных самолетов в конце пятидесятых годов, мог так быстро устареть и что его эксплуатация в таком виде, как сейчас, чревата опасностью для жизни людей. Никого не интересовало то, что так же обстояли дела и в других аэропортах — в Нью-Йоркском, Сан-Францисском, Чикагском и прочих,— политики просто не желали ничего об этом знать.

Зато предложение построить трехэтажные гаражи мгновенно получило одобрение города. Еще бы: ведь гаражи — это нечто, так сказать, зримое и осязаемое для широкой публики, иными словами, для избирателей. А вот взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки — другое дело. Да к тому же каждая новая полоса стоит несколько миллионов долларов и на строительство ее требуется два года.

Однако в аэропорту Линкольна дело скоро дойдет до точки. Должно дойти. За последние месяцы Мел все чаще и чаще наблюдал симптомы, указывавшие на приближение критической минуты, и знал, что, когда час пробьет, придется решать: либо усиленно развивать наземные сооружения в соответствии с прогрессом в воздухе, либо из передового аэропорта постепенно превратиться в один из самых отсталых. В авиации не может быть статус-кво.

Ко всему этому примешивалось еще одно обстоятельство.

С будущим аэропорта было связано будущее самого Мела. Каким

будет аэропорт, таким и престиж Мела в глазах тех, с чьим мнением приходится считаться.

Еще совсем недавно все знали Мела Бейкерсфелда как человека, активно выступавшего за логическое развитие наземных сооружений в аэропортах; о нем говорили как о многообещающем молодом даровании в руководстве авиацией. Потом случилась беда, и все изменилось. С тех пор прошло четыре года, и будущее Мела в глазах других людей — да и в его собственных — уже не было столь ясным и безоблачным.

Событием, столь резко повлиявшим на судьбу Мела, было убийство Джона Ф. Кеннеди.

— Вот и конец полосы, мистер Бейкерсфелд. Вы поедете с нами назад или останетесь? — прервал размышления Мела голос шофера «Сноубласта».

— Что вы сказали?

Шофер повторил вопрос. Впереди снова замигали красные огни, и «Анаконда» остановилась. Правая половина полосы была очищена от снега. Теперь «Анаконда» развернется и поедет назад, чтобы расчистить левую половину. Со всеми остановками «Анаконде» требуется от сорока пяти минут до часа, чтобы очистить от снега и посыпать песком одну полосу.

— Нет,—сказал Мел.— Я здесь выйду.

— Есть, сэр.

Шофер посигналил светом машине младшего техника, и тот сейчас же помчался куда-то. А когда Мел спустился со «Сноубласта», его машина уже стояла рядом. С других снегоочистителей и грузовиков тоже спрыгивали люди и бежали к «пикапу» с кофе.

Возвращаясь к аэровокзалу, Мел связался по радио с пультом управления «снежной командой» и подтвердил Дэнни Фэрроу, что полоса один-семь, левая, скоро войдет в строй. Потом переключил радио на наземного диспетчера.

Когда он сидел в кабине «Сноубласта», ему вспомнилось то, что так сильно повлияло на весь дальнейший ход его жизни.

Было это четыре года тому назад.

Да, уже целых четыре года, с удивлением подумал Мел, прошло с того серого ноябрьского дня, когда он почти машинально, едва понимая, что делает, придвинул к себе стоявший на его столе переносной микрофон — микрофон, которым он редко пользовался и который перекрывал все остальные в аэровокзале,— и, врезавшись в сообщение о прилете какого-то самолета, громко объявил — голос его эхом прокатился по огромным залам, где тотчас наступила мертвая тишина,— объявил всем страшную весть, которую сам лишь несколько секунд назад узнал из Далласа.

Он говорил, а сам смотрел на фотографию, висевшую на стене его кабинета,— фотографию с надписью: «Моему другу Мелу Бейкерсфелду, который, как и я, жаждет расширить тесные земные границы. *Джон Ф. Кеннеди*».

Фотографию эту он хранит с тех пор — как хранит многие воспоминания.

Воспоминания начинались с того дня, когда Мел произнес речь в Вашингтоне.

В ту пору Мел был не только управляющим аэропортом, но и президентом Совета руководителей аэропортов — самым молодым из всех, кто когда-либо возглавлял этот небольшой, но весьма влиятельный орган, объединяющий администрацию крупнейших аэропортов мира. Штаб-квартира Совета находилась в Вашингтоне, и Мел часто туда летал.

А речь свою он произнес на всеамериканском конгрессе по планированию.

Авиация, заявил тогда Мел, является единственной сферой, где с успехом может развиваться международное сотрудничество.

Весьма существенную роль в ней играет международная торговля. Переброска грузов по воздуху, уже и сейчас достигшая большого размаха, неизбежно будет возрастать. Новые гигантские реактивные самолеты, которые вступят в строй в семидесятых годах, будут самым быстрым и дешевым средством для переброски грузов; через какие-нибудь десять лет океанские суда поставят в доки, и они станут музейной редкостью: их вытеснят грузовые самолеты — так же, как пассажирские самолеты в свое время нокаутировали «Куин Мэри» и «Куин Элизабет». В техническом отношении, сказал тогда Мел, авиация сможет выполнять эту — и даже большую — роль еще при жизни тех, кто сейчас уже вступил в зрелый возраст.

Однако, продолжал он, в то время как конструкторы самолетов ткут из тонких нитей мечты плотную ткань реальности, в строительстве наземных сооружений по большей части преобладает либо близорукость, либо неоправданная спешка. Аэропорты, взлетно-посадочные полосы, аэровокзалы созданы по требованиям вчерашнего дня, без всякой — за очень небольшим исключением — попытки предвидеть будущее. Короче говоря, темпы развития авиации либо недоучитываются, либо просто игнорируются. Аэропорты строятся по частям, как попало, в соответствии со вкусами тех или иных городских заправил. Как правило, основная часть средств тратится на аэровокзал, то есть на «показуху», и меньшая — на оперативные участки. Строительство аэропортов никем не координируется и не планируется — ни в национальном, ни в международном масштабе.

«Мы прорвали звуковой барьер,— сказал тогда Мел.— Но мы еще не прорвали барьер наземный».

Он перечислил области, требующие особого изучения, и призвал к созданию международного органа по проектированию аэропортов.

Его речь была встречена овацией — зал стоя аплодировал ему — и вызвала широкий отклик в газетах.

На другой день Мел получил приглашение в Белый дом.

Президент принял его очень тепло. Между ними состоялась приятная, непринужденная беседа в личном кабинете президента на втором этаже. Джон Ф. Кеннеди, как обнаружил Мел, разделял многие его взгляды.

За этой встречей последовали другие, иногда в присутствии «мозгового треста», то есть помощников Кеннеди,— в тех случаях, когда правительство собиралось рассматривать вопросы, связанные с авиацией. После нескольких таких совещаний в Белом доме, за которыми следовали неофициальные беседы с президентом, Мел вполне там освоился. Его отношения с Джоном Ф. Кеннеди, любившим окружать себя знающими, умными людьми, постепенно приобрели самый дружеский характер.

Примерно через год после первой встречи президент спросил Мела, что бы он сказал, если бы его поставили во главе Федерального управления авиации. После своего переизбрания — а это уже считалось делом решенным — Кеннеди намеревался передвинуть Хейлеби, тогдашнего главу Федерального управления авиации, на другой пост. Так вот, взял бы на себя Мел проведение в жизнь тех мер, за которые он так ратовал, не будучи у руководства? Мел сказал, что это было бы очень интересно и если ему сделают такое предложение, он не ответит отказом.

Слух об этом, без участия Мела, тотчас распространился вокруг. И престиж Мела, уже и так достаточно высокий, еще больше возрос. Совет руководителей аэропортов снова выбрал его президентом. Совет уполномоченных по его аэропорту основательно повысил ему жалованье.

Не достигнув еще и сорока, он уже стал Маленьким Голандом[1] в авиации.

А через полгода Джон Ф. Кеннеди отправился в свое роковое путешествие в Техас.

В первые минуты Мел был просто ошарашен вестью о гибели президента; потом зарыдал, как дитя. И лишь позже он понял, что пули убийцы рикошетом сразили и многих других, в том числе его самого. Он обнаружил, что уже не является «своим» в Вашингтоне. Наджиб Хейлеби действительно ушел из Федерального управления авиации на пост первого вице-президента «Пан-Американ», но Мел не был назначен на его место. К тому времени власть и влияние перешли к другим людям. Как узнал потом Мел, его имя даже не значилось среди кандидатов, предложенных президенту Джонсону на пост главы Федерального управления авиации.

Поездки Мела в Вашингтон прекратились. И в известном смысле он воспринял эту перемену с облегчением. Дел в аэропорту у него стало много больше: объем воздушных перевозок резко возрастал. Он усиленно занимался планированием и отдавал немало сил Совету уполномоченных, пытаясь склонить его на свою сторону. Словом, забот у него хватало — и на работе, и дома. Его дни были заполнены до краев.

И тем не менее его не покидало чувство, что он упускает время и возможности. Это чувствовали и другие. И Мел пришел к выводу, что если не произойдет какой-то коренной перемены, его карьера так и кончится на том, с чего началась.

— Диспетчерская — машине номер один: сообщите местонахождение.— Голос по радио резко вернул Мела к действительности, нарушив ход его мыслей.

Он повернул рычажок и ответил. Он подъезжал к главному зданию аэровокзала — огни его были уже отчетливо видны, несмотря на снегопад. Стоянки для самолетов, как он заметил, были по-прежнему забиты, а у галерей-гармошек, дожидаясь своей очереди, вытянулись вереницей прибывшие самолеты.

— Машина номер один, задержитесь, дайте пройти «Лейк-Сентрал», затем следуйте за ним.

— Говорит машина номер один. Вас понял.

Выждав две-три минуты, Мел въехал в подземный гараж аэровокзала.

Рядом с его «боксом» находилась запертая будка с внутренним телефоном. Мел открыл ее своим ключом и набрал номер пульта управления «снежной командой».

— Есть что-нибудь новое? — спросил Мел.— Как там обстоят дела с этим самолетом «Аэрео-Мехикан»?

— Все так же,— ответил Дэнни Фэрроу.

— Поставь меня в известность, как только Джо Патрони прибудет на место,— распорядился Мел.— Где бы я ни был.

— Насколько я понимаю, ты будешь уже в городе.

Мел помолчал. Собственно, у него не было никаких оснований задерживаться дольше в аэропорту. И тем не менее предчувствие надвигающейся беды, возникшее на поле, почему-то не проходило. Он вспомнил о своем разговоре с руководителем полетов, о самолетах, дожидавшихся своей очереди, чтобы подойти к галереям-гармошкам. И неожиданно для себя решил:

— Нет, я не еду в город. Нам позарез нужна эта полоса, и я не тро-

[1] Герой старинной шотландской баллады, который с помощью волшебника Мерлина отправился на поиски своей сестры и вывел ее из страны эльфов, куда ее утащили злые духи.

нусь с места, пока не буду точно знать, что Патрони прибыл и взялся за дело.

— В таком случае,— сказал Дэнни,— я советовал бы тебе сейчас же позвонить жене. По этому номеру.

Мел записал, опустил трубку на рычажок и тотчас набрал городской номер. Он попросил позвать Синди и после недолгой паузы услышал ее резкий голос:

— Мел, почему тебя до сих пор нет?

— Извини, я задержался. У нас тут, в аэропорту, столько всяких дел. Буран этот...

— Плевала я на буран! Приезжай сюда — и быстро!

Голос жены звучал приглушенно, и Мел понял, что рядом с ней кто-то есть. Тем не менее Синди сумела вложить в эти несколько слов достаточно злости.

Слушая голос жены, Мел иногда вспоминал ту Синди, какую он знал до их замужества, пятнадцать лет назад. Ему казалось, что она была много мягче тогда. Ведь именно ее мягкость, ее женственность и покорили его, когда они встретились в Сан-Франциско, куда он приехал в отпуск из Кореи. Синди была актрисой на совсем маленьких ролях (ее надежды стать «звездой» не оправдались и явно не могли оправдаться). Ей поручали все более и более скромные роли в летних программах и на телевидении, и впоследствии в минуту откровенности она призналась, что замужество явилось для нее счастливым выходом из положения.

С годами это получило несколько иное освещение, и Синди стала играть на том, что она-де пожертвовала ради Мела своей карьерой и отказалась от возможности выйти в «звезды». Однако в последнее время Синди перестала упоминать о своем актерском прошлом. Объяснялось это тем, что, как она вычитала в какой-то статье, опубликованной в «Городе и деревне», актрисы, за редким исключением, не заносятся в «Справочник именитых людей», а Синди больше всего на свете хотела видеть там свое имя.

— Я приеду, как только смогу,— сказал ей Мел.

— Это меня не устраивает,— безапелляционно заявила Синди.— Тебе уже давно следовало быть здесь. Ты же прекрасно знаешь, как важен для меня сегодняшний вечер, и еще неделю назад твердо обещал быть.

— Неделю назад я понятия не имел, что разразится такой буран, какого мы шесть лет не видали. У нас вышла из строя очень важная взлетно-посадочная полоса, застрял самолет — речь идет о безопасности пассажиров.

— Но там же есть люди, которые на тебя работают! Или ты подобрал себе таких бестолковых помощников, что не можешь оставить их без присмотра?

— Они достаточно толковые,— с раздражением сказал Мел.— Но мне платят за то, чтобы я тоже что-то делал.

— Очень жаль, что только для меня ты ничего не желаешь делать. Не в первый раз я еду на важные для меня собрания, а ты мне все портишь...

По этому вдруг обрушившемуся на него водопаду слов Мел чувствовал, что Синди вот-вот взорвется. Он отчетливо представлял себе, как она стоит сейчас, выпрямившись, на высоких каблуках, решительная, энергичная, голубые глаза сверкают, светлая, тщательно причесанная голова откинута назад,— она всегда была чертовски привлекательна, когда злилась. Должно быть, отчасти поэтому в первые годы брака Мела почти не огорчали сцены, которые устраивала ему жена. Чем больше она распалялась, тем больше его влекло к ней. В такие минуты

Мел опускал глаза на ноги Синди — а у нее были удивительно красивые ноги и лодыжки,— потом взгляд его начинал ползти вверх, отмечая все изящество ее ладной, хорошо сложенной фигуры.

Он чувствовал, как между ними начинал пробегать ток, взгляды их встречались, и они в едином порыве устремлялись в объятия друг друга. Тогда исчезало все — гнев Синди утихал; захлестнутая волною чувственности, она становилась ненасытной, как дикарка, и, отдаваясь ему, требовала: «Сделай мне больно, черт бы тебя побрал! Да сделай же мне больно!» А потом, вымотанные и обессиленные, они и не вспоминали о причине ссоры: возобновлять перебранку уже не было ни сил, ни желания.

Так они не столько разрешали, сколько откладывали разрешение своих разногласий, которые — Мел понимал это уже тогда — носили отнюдь не шуточный характер. И с годами, по мере того как остывала страсть, они стали все больше отдаляться друг от друга.

Затем уже и физическая близость перестала быть панацеей, а в последний год супружеские отношения между ними вообще почти прекратились. Собственно, Синди, которая всегда отличалась изрядным аппетитом в постели, каковы бы ни были отношения между ними, в последние месяцы, казалось, утратила всякий интерес к плотским радостям. Мела это удивляло. Не завела ли она себе любовника? Вполне возможно, и в таком случае Мелу следовало бы на это реагировать. Но самое печальное заключалось в том, что ему легче было ничего не замечать.

Тем не менее бывали минуты, когда вид разгневанной Синди или звук ее повелительного голоса по-прежнему возбуждали его, вызывая желание. Вот и сейчас, слушая, как она честит его по телефону, он почувствовал знакомое волнение.

Улучив удобный момент, он поспешно вставил:

— Это неправда, у меня нет ни малейшего желания портить твои встречи. Как правило, я всегда езжу, куда ты хочешь, даже если считаю, что это не так уж важно. Мне, например, куда больше хотелось бы проводить вечера дома с детьми.

— Пустая болтовня,— отрезала Синди.— И ты это прекрасно знаешь.

Он почувствовал, как весь напрягся и рука его крепче сжала телефонную трубку. Потом подумал: а ведь, пожалуй, она права — в известной мере. Еще сегодня вечером он сам раздумывал над тем, что иной раз засиживается в аэропорту, когда мог бы поехать домой,— засиживается только потому, что ему хочется избежать очередной ссоры с Синди. Разве в таких случаях он учитывал интересы Роберты и Либби,— впрочем, никто, наверное, не считается с интересами детей, когда брак трещит по швам. Не надо было ему сейчас говорить о них.

Но сегодня-то дело было не в этом. Он должен оставаться в аэропорту по крайней мере до тех пор, пока не будет уверен, что блокированной полосой занялись всерьез.

— Послушай,— сказал Мел,— давай уточним одно обстоятельство. Я этого не говорил тебе до сих пор, но в прошлом году я сделал кое-какие подсчеты. Ты просила меня пойти с тобой на пятьдесят семь благотворительных сборищ. Мне удалось пойти на сорок пять, хотя сам бы я, конечно, никогда на них не пошел. Согласись, что процент получается не такой уж плохой.

— Мерзавец! Что ты там считаешь — я же не в кегли с тобой играю! Все-таки я твоя жена.

— Полегче на поворотах! — оборвал ее Мел. И, чувствуя, как и в нем закипает гнев, добавил: — Кстати, позволь тебе заметить, что ты повысила голос. Или ты хочешь, чтобы все эти милые люди, которые тебя окружают, узнали о том, как ты командуешь мужем?

— А мне плевать! — Но произнесла она это все же много тише.

— Я прекрасно знаю, что ты моя жена, и потому намерен приехать туда, к тебе, как только смогу.— Интересно, подумал Мел, что бы произошло, если бы Синди сейчас находилась рядом и он мог бы обнять ее? Ожила старая магия? Пожалуй, нет, решил он.— Так что займи мне место и скажи официанту, чтобы он подержал мой суп на огне. Кроме того, извинись и объясни, почему я задерживаюсь. Я полагаю, кое-кто там, наверно, все-таки слышал, что существует такая вещь, как аэропорт... Кстати,— внезапно вспомнил он,— а по какому поводу сегодня сборище?

— Я же объясняла тебе на прошлой неделе.

— Ну так скажи еще раз.

— Коктейль и ужин в рекламных целях — для костюмированного бала, который в будущем месяце проводит Фонд помощи детям Арчидоны. Присутствует пресса. Будут снимать.

Теперь Мел понял, почему Синди так хотела, чтобы он приехал побыстрее. При нем у нее больше шансов попасть в объектив фотоаппарата, а затем — и на светскую страничку завтрашней газеты.

— Все остальные члены нашего комитета уже здесь,— добавила Синди,— и почти все с мужьями.

— Но не все?

— Я же сказала: почти все.

— И ты еще сказала, что это в Фонд помощи детям Арчидоны?

— Да.

— Какой Арчидоны? Есть два таких города: один в Эквадоре, другой в Испании.— В колледже Мел увлекался географией, а память у него была хорошая.

Впервые Синди ответила не сразу.

— Ну какое это имеет значение? — с досадой сказала она.— Сейчас не время для идиотских вопросов.

Мел едва удержался, чтобы не расхохотаться. *Так, значит, Синди не знает!* Ну, конечно, в этом благотворительном мероприятии ее интересовало не то, ради *чего* оно затевается, а *кто* его затевает.

И он спросил лукаво:

— И сколько писем ты рассчитываешь получить после сегодняшнего вечера?

— Не понимаю.

— Ну что ты, отлично понимаешь.

Человеку, желавшему попасть в «Справочник именитых людей», надо было представить восемь рекомендательных писем от лиц, уже фигурировавших в нем. В последний раз Мел слышал, что Синди набрала четыре.

— Честное слово, Мел, если ты скажешь что-либо подобное — сегодня или вообще когда-нибудь...

— А эти письма будут бесплатные или ты собираешься платить за них, как за два предыдущих? — Он чувствовал, что взял над ней верх. А это бывало редко.

— Это грязная инсинуация,— возмущенно заявила Синди.— Как можно купить себе право появиться...

— Ерунда! — сказал Мел.— Ведь у нас с тобой общий счет, и мне пересылают все оплаченные чеки. Ты что — забыла?

Наступило молчание.

— Слушай меня! — заявила Синди тихо, звенящим от злости голосом.— Я советовала бы тебе приехать сюда и побыстрее. Если ты не приедешь или приедешь и будешь ставить меня в глупое положение какими-нибудь своими идиотскими высказываниями вроде тех, которые я только что слышала, между нами все будет кончено. Ясно?

— Не уверен.— Мел произнес это нарочито спокойно. Инстинктивно он почувствовал, что это важная минута для них обоих.— Может, ты мне все-таки объяснишь, что именно ты имеешь в виду.

— Сам поймешь,— сказала Синди.

И повесила трубку.

Пока Мел шел из гаража в свой кабинет, гнев его с каждым шагом все возрастал. Он вообще не так быстро вскипал, как Синди. Но сейчас он был в ярости.

Что именно так бесило его, он и сам не знал. Главным образом, конечно, Синди, но были и другие причины: то, что он в профессиональном плане не сумел как следует подготовиться к вступлению в новую эру авиации; то, что он оказался не способен внушить другим свои убеждения; то, что надежды его не сбылись. Словом, думал Мел, и в личной жизни и в работе он не достиг ничего. Брак его близок к краху — во всяком случае, есть все основания так полагать,— а это значит, что он может потерять и детей. Да и аэропорт, где он отвечает за жизни тысяч людей, ежедневно доверчиво приходящих в его стены, несмотря на все его усилия и попытки убедить других, приходит в упадок. Высокий уровень, которого ему хотелось здесь достичь во всех областях, не прививался.

По пути к себе он не встретил никого из подчиненных. Тем лучше: обратись сейчас к нему кто-нибудь с вопросом, он мог бы ответить резкостью. Войдя в свой кабинет, он сбросил пальто прямо на пол. И закурил сигарету. Вкус у нее был какой-то горький, и он тут же ее затушил. Шагнув к столу, он почувствовал, как снова — еще сильнее, чем прежде,— заныла нога.

Было время — как давно, казалось, это было,— когда в такие вот вечера, если больная нога начинала его беспокоить, он отправлялся домой, и Синди укладывала его в постель. Сначала он принимал горячую ванну, потом ложился ничком на кровать, и она массировала ему спину и шею холодными крепкими пальцами, пока боль не утихала. Сейчас трудно даже представить себе, чтобы Синди стала этим заниматься, а если и стала бы, едва ли бы это теперь ему помогло. Когда нарушается связь между людьми, она нарушается во всем — не только в том, что люди перестают друг друга понимать.

Сев за стол, Мел опустил голову на руки.

И вдруг, совсем как раньше, на поле, его пронизала дрожь. В эту минуту в тишине кабинета зазвонил телефон. Мел не сразу снял трубку. Звонок продолжал трещать, и неожиданно Мел понял, что это звонит красный телефон, который стоит на столике рядом с его письменным столом, телефон особого назначения. В два прыжка он подскочил к нему.

— Бейкерсфелд слушает.

Он услышал какое-то позвякиванье и шумы на линии: его подключали к нужному номеру.

— Говорит КДП,— услышал он голос руководителя полетов.— У нас в воздухе ЧП третьей категории.

9

Кейз Бейкерсфелд, брат Мела, уже отработал треть своей восьмичасовой смены в радарной КДП.

В радарной буран тяжело сказывался на людях, хотя физически они и не ощущали его. Стороннему наблюдателю, подумал Кейз, не понимающему, о чем повествует все это множество экранов, могло по-

казаться, что буран, бушевавший за стеклянными стенами диспетчерской, разыгрался за тысячи миль отсюда.

Радарная находилась в башне, этажом ниже застекленного помещения — так называемой «будки»,— откуда руководитель полетов давал указания о передвижении самолетов на земле, их взлетах и посадках. Власть тех, кто сидел в радарной, простиралась за пределы аэропорта: они отвечали за самолет в воздухе, после того как он выходил из-под опеки местных наземных диспетчеров или ближайшего КДП.

В противоположность верхней части башни радарная не имела окон. Днем и ночью в международном аэропорту Линкольна десять диспетчеров и старших по группе работали в вечной полутьме, при тусклом лунном свете экранов. Все четыре стены вокруг них были заняты всякого рода оборудованием — экранами, контрольными приборами, панелями радиосвязи. Обычно диспетчеры работали в одних рубашках, поскольку температура зимой и летом была здесь около двадцати восьми градусов, чтобы не портилось капризное электронное оборудование.

В радарной принято держаться и говорить спокойно. Однако под этим внешним спокойствием таится непрестанное нервное напряжение. Сейчас это напряжение было сильнее обычного из-за бурана — оно особенно возросло за последние несколько минут. Впечатление было такое, точно кто-то до предела натянул и так уже натянутую струну.

Напряжение усилил появившийся на экране сигнал, в ответ на который в диспетчерской сразу замигал красный огонек и загудел зуммер. Зуммер умолк, но сигнал продолжал мигать. На полутемном экране вдруг возникла так называемая «двуглавка», похожая на дрожащую зеленую гвоздику: она оповещала о том, что где-то самолет терпит бедствие. Это был военный самолет «КС-135»; находясь высоко над аэропортом, он попал в шторм и запрашивал о срочной посадке. У экрана, на плоском лице которого возник сигнал бедствия, работал Кейз Бейкерсфелд; к нему тотчас подключился старший по группе. Оба стали срочно давать указания соответствующим диспетчерам — по внутреннему телефону и другим самолетам — по радио.

Руководитель полетов на верхнем этаже был немедленно поставлен в известность о сигнале бедствия. Он в свою очередь объявил ЧП третьей категории и оповестил об этом все наземные службы аэропорта.

Экран, на котором сосредоточено было сейчас всеобщее внимание, представлял собой стеклянный круг величиной с велосипедное колесо, горизонтально вмонтированный в крышку консоли. Стекло было темно-зеленое, и на нем загоралась ярко-зеленая точка, лишь только какой-нибудь самолет появлялся в воздухе в радиусе сорока миль.

В этот вечер на экране было необычно много самолетов, и кто-то даже заметил, что зеленые точки плодятся с быстротою муравьев.

Кейз сидел на сером стальном стуле у самого экрана, низко пригнув к нему длинное тощее тело. В его позе чувствовалось предельное напряжение: ноги так крепко обхватили ножки стула, что, казалось, приросли к нему. В зеленоватом отблеске экрана его глубоко запавшие глаза были как два черных провала. Всякого, кто хорошо знал Кейза, но не видел его этак с год, поразила бы происшедшая в нем перемена — изменилось все: и внешность, и манера держаться. От прежней мягкости, добродушия, непринужденности не осталось и следа. Кейз был на шесть лет моложе своего брата Мела, но теперь выглядел много старше.

Его коллеги, работавшие с ним в радарной, разумеется, заметили эту перемену. Знали они и ее причину и искренне сочувствовали Кей-

зу. Однако их работа требовала точности. Вот почему главный диспетчер Уэйн Тевис так пристально наблюдал за Кейзом и видел, как нарастает в нем напряжение. Худой длинный техасец с медлительной, певучей речью, Тевис сидел в центре радарной на высоком табурете и через плечи диспетчеров, работавших каждый у своего экрана, наблюдал за происходящим.

Еще час назад Уэйн Тевис обратил внимание на Кейза и с тех пор не выпускал его из поля зрения. Тевису хотелось быть наготове на случай, если придется срочно заменить Кейза, а инстинкт подсказывал ему, что такая необходимость может возникнуть.

Главный диспетчер был человек добрый, хотя и вспыльчивый. Он понимал, как может подействовать на Кейза такая замена, и ему очень не хотелось ее производить. Но если будет надо, он это сделает.

Не сводя глаз с экрана Кейза, Тевис неторопливо протянул:

— Кейз, старина, ведь этот «Браниф» может столкнуться с «Истерном». Надо бы завернуть «Браниф» вправо, тогда «Истерн» может следовать прежним курсом.

Это Кейз должен был заметить сам, но не заметил.

Главная проблема, над которой лихорадочно трудилась сейчас вся радарная, заключалась в том, чтобы расчистить путь для военного самолета «КС-135», который уже начал спуск по приборам с высоты в десять тысяч футов. Это было нелегко, потому что под большим военным самолетом находились пять гражданских самолетов, круживших на расстоянии тысячи футов друг от друга в ограниченном воздушном пространстве. И все они ждали своей очереди, чтобы приземлиться. А на расстоянии двух-трех миль от них с каждой стороны летели другие самолеты, и еще ниже три самолета уже заходили на посадку. Между ними были оставлены коридоры для взлетов, тоже сейчас забитые самолетами. И вот среди всех этих гражданских машин надо было как-то провести военный самолет. Даже при нормальных условиях это была задача для очень крепких нервов. А сейчас положение осложнялось тем, что на «КС-135» отказало радио и связь с пилотом прекратилась.

Кейз Бейкерсфелд включил микрофон:

— «Браниф» восемьсот двадцать девятый, немедленно сверните вправо, направление ноль-девять-ноль.

В такие минуты, как бы сильно ни было напряжение и в каком бы взвинченном состоянии ни находился человек, голос его должен звучать спокойно. А голос Кейза звенел, выдавая волнение. Он заметил, как Уэйн Тевис бросил на него настороженный взгляд. Но на экране приближавшиеся друг к другу огоньки начали расходиться. Пилот «Бранифа» точно выполнил указание. В решающие минуты — а именно такой была эта минута — воздушные диспетчеры благодарили бога за то, что пилоты быстро и точно выполняли их указания. Они могут возмущаться и даже нередко возмущаются потом вслух по поводу того, что им вдруг изменили курс и они вынуждены были сделать внезапный резкий поворот, так что пассажиры полетели друг на друга. Но если диспетчер говорит: «немедленно», они повинуются, а уже потом спорят.

Через минуту-другую «Браниф», как и «Истерн», летевший на той же высоте, получит новые указания. Но прежде надо дать новый курс двум самолетам «ТВА» — тому, что летит выше, и тому, что летит чуть ниже,— а кроме того, самолетам «Лейк-Сентрал», «Эйр-Канады» и «Свисс-Эр», только что появившимся на экране. Пока «КС-135» не пройдет на посадку, все эти самолеты будут летать зигзагами в пределах ограниченного пространства, поскольку ни один из них не должен выйти из своей зоны. В известном смысле это напоминало слож-

ную шахматную игру, только в этой игре все пешки находились на разном уровне и передвигались со скоростью нескольких сот миль в час. Причем в ходе игры их надо было не только двигать вперед, но и поднимать или опускать — да так, чтобы каждая фигура отстояла от всех других минимум на три мили по горизонтали и на тысячу футов по вертикали и ни одна из них не вылезала за край доски. А пока шла эта опасная игра, тысячи пассажиров сидели в своих воздушных креслах и с нетерпением ждали, когда же, наконец, завершится их полет.

Стоило напряжению на секунду ослабнуть, и Кейз тотчас вспоминал о пилоте военного самолета — каково-то ему сейчас пробиваться сквозь буран и забитый самолетами воздух. Наверно, ему очень там одиноко. Таким же одиноким чувствовал себя и Кейз — все люди одиноки, даже в толпе. У пилота есть второй пилот и команда, и у Кейза рядом коллеги — только протяни руку. Но важна не эта близость. Она ничего не значит, когда человек замыкается в своем внутреннем мире, куда никому нет доступа и где ты остаешься один на один со своими воспоминаниями, с пониманием и сознанием происходящего, со своим страхом. Совсем один — с той минуты, как появился на свет, и до самой смерти. Всегда, вечно один.

Кто-кто, а Кейз Бейкерсфелд знал, как одинок может быть человек.

Кейз отдал указания о новом курсе самолетам «Свисс-Эр», «ТВА», «Лейк-Сентрал» и «Истерн». Он услышал, как за его спиной Уэйн Тевис вновь пытался вызвать по радио «КС-135». По-прежнему никакого ответа, но сигнал бедствия, посылаемый пилотом «КС-135», продолжал мигать на экране. Местонахождение зеленой точки показывало, что пилот правильно выполнял указания, которые были даны ему перед тем, как отказало радио.

Обычно, в нормальных условиях, военные самолеты держатся вдали от гражданских аэропортов. Но в такой буран пилот, естественно, запросил их о помощи и тут же получил ее.

С каждого диспетчерского поста непрерывным потоком шли по радио приказания: надо было по возможности преградить самолетам доступ в опасную зону. А они ждали, когда, наконец, им разрешат приземлиться, и число их с каждой минутой все возрастало. *Один из диспетчеров тихим напряженным голосом бросил через плечо: «Чак, у меня тут горит. Можешь взять на себя «дельту» семь-три?» Другой голос: «Черт!.. У меня своих хватает... Подожди!.. Ладно, беру твою «дельту» на себя». Секундная пауза. «Дельта» семь-три, говорит центр наблюдения за воздухом аэропорта Линкольна. Сделайте левый поворот, держитесь направления один-два-ноль. Высота прежняя — четыре тысячи!..»*

Кейз Бейкерсфелд отчаянно старался сосредоточиться, чтобы держать в памяти свой сектор и все самолеты в нем. Нужно было мгновенно запоминать местонахождение самолетов, их опознавательные знаки, типы, скорость, высоту полета, последовательность посадки — словом, диаграмму, в которой непрерывно происходили изменения, конфигурацию, которая ни секунды не была в покое. Самое страшное для диспетчера — «потерять картинку», а такое могло случиться, если усталый мозг взбунтуется, и тогда все вдруг исчезнет. Время от времени это и случалось — даже с самыми лучшими работниками.

А Кейз был одним из лучших. Еще год назад именно к нему обращались коллеги, когда перенапряжение выводило их из игры: «Кейз, тону. Можешь выручить на несколько минут?» И он всегда выручал.

Но в последнее время роли переменились. Теперь коллеги помогали ему, сколько могли, хотя, конечно, есть предел помощи, которую один человек может оказать другому без ущерба для своей работы.

Тем временем надо было давать по радио новые указания. А Кейз был предоставлен самому себе: Тевис вместе со своим высоким табуретом переехал на другой конец комнаты, чтобы проверить другого диспетчера. Мозг Кейза отщелкивал решения: «Завернуть «Браниф» влево, «Эйр-Канаду» — вправо, «Истерну» — изменить курс на сто восемьдесят градусов». Приказания были тотчас выполнены: на экране радара светящиеся точки перестроились. «Самолет «Лейк-Сентрал» — менее скоростной, с ним дело терпит, «Свисс-Эр» — реактивный: может столкнуться с «Истерном». Надо дать «Свисс-Эр» новый курс и немедленно — но какой? Да думай же скорее! Завернуть вправо на сорок пять градусов — только на минуту, потом снова выпрямить курс. Не забывай о «ТВА» и «Ориент»! Появился новый самолет, идет с запада на большой скорости — опознавай, находи ему место. Думай, думай!»

Стиснув зубы, Кейз мрачно думал: *«Только не потерять сегодня картинку, только не потерять сейчас, только не потерять».*

Боязнь именно сегодня «потерять картинку» объяснялась одним обстоятельством — тайной, о которой не знал никто, даже его жена Натали. Лишь Кейз — один лишь Кейз — знал, что сегодня он в последний раз сидит перед экраном и несет вахту. Сегодня последний день его работы в пункте наблюдения за воздухом, и скоро этот день подойдет к концу.

А затем подойдет к концу и его жизнь.

— Передохните, Кейз,— послышался голос руководителя полетов.

Кейз не заметил, как он вошел. Он бесшумно возник в комнате и сейчас стоял возле Уэйна Тевиса.

Минуту назад Тевис спокойно сказал руководителю полетов:

— По-моему, Кейз в полном порядке. Был момент, когда я волновался за него, но он вроде сдюжил.

Тевис был рад, что ему не пришлось прибегать к крайней мере и заменять Кейза. Но руководитель полетов тихо сказал:

— Надо все-таки дать ему передышку.— И, подумав, добавил: — Я сам ему скажу.

Кейзу достаточно было одного взгляда на этих двоих, чтобы понять, почему ему дают передышку. Обстановка не разрядилась, и они боялись, что он не справится. Вот и решили сменить его, хотя ему положено было отдыхать лишь через полчаса. Отказаться? Ведь для диспетчера его класса это было оскорбительно, тем более что все, конечно, заметят. А потом он подумал: ну чего ради поднимать шум? Не стоит. К тому же десятиминутный перерыв поможет ему прийти в себя. За это время ЧП будет ликвидировано, он вернется и спокойно доведет смену до конца.

Уэйн Тевис нагнулся к нему:

— Ли сменит вас, Кейз.— И подозвал диспетчера, только что вернувшегося после положенного по графику перерыва.

Кейз молча кивнул, но продолжал оставаться на месте и давать по радио инструкции самолетам, пока его сменщик «запоминал картинку». На передачу дел одним диспетчером другому уходило обычно несколько минут. Заступавший должен был изучить расположение точек на экране и как следует запомнить обстановку. Кроме того, он должен был соответствующим образом настроиться, напрячься.

Это умение напрячься — напрячься намеренно и сознательно — было особенностью их профессии. Диспетчеры говорили: «Надо обостриться»,— и Кейз за пятнадцать лет работы в службе наблюдения за воздухом постоянно видел, как это происходило с ним самим и с другими. «Надо обостриться», потому что без этого нельзя приступать к работе. А в другое время действовал рефлекс — скажем,

когда диспетчеры ехали вместе в аэропорт на служебном автобусе. Отъезжая от дома, все свободно, непринужденно болтали. На небрежно брошенный кем-нибудь вопрос: «Пойдешь играть в кегли в субботу?» — следовал столь же небрежный ответ: «Конечно» или: «Нет, на этой неделе не смогу». Однако по мере приближения к аэропорту беседа становилась все менее оживленной, и на тот же вопрос в четверти мили от аэропорта уже отвечали лишь коротко: «Точно» или: «Исключено», а то и вовсе ничего.

Наряду с умением обострять мысли и чувства от диспетчера требовалась еще и собранность и железное спокойствие. Эти два требования, трудно совместимые в одном человеке, изнуряли нервную систему и в конечном счете разрушали здоровье. У многих диспетчеров развивалась язва желудка, что они тщательно скрывали, боясь потерять работу. По этим соображениям они лечились у частных врачей, которым платили сами, вместо того чтобы пользоваться бесплатной медицинской помощью, предоставляемой авиакомпаниями. Они прятали бутылки с «Маалоксом» — средством от повышенной кислотности — в своих шкафчиках и во время перерыва втихомолку потягивали белую сладкую жидкость.

Сказывалось это и в другом. Иные диспетчеры, Кейз Бейкерсфелд знал таких, распускались дома, становились мелочными, придирчивыми и, чтобы хоть немного расслабиться после дежурства, устраивали сцены — «для разрядки». Если еще добавить то, что работали они по сменам и часы отдыха у них все время менялись, а это чрезвычайно осложняло семейную жизнь,— нетрудно себе представить результат. У воздушных диспетчеров был длинный список разрушенных семей и большой процент разводов.

— О'кей,— сказал диспетчер, заступавший на место Кейза.— Я готов.

Кейз слез с кресла и снял наушники.

Руководитель полетов сказал ему:

— Ваш брат просил передать, что, наверно, заглянет попозже.

Кейз кивнул и вышел из радарной. Он не обиделся на руководителя полетов — ведь ему приходилось отвечать за все — и был сейчас даже рад, что не стал возражать и воспользовался предложенной передышкой. Больше всего на свете Кейзу хотелось закурить сигарету, глотнуть кофе и посидеть одному. Рад был он и тому, раз уж так получилось, что не ему придется возиться с этим ЧП.

В международном аэропорту Линкольна, как и в любом крупном аэропорту, ЧП возникали по нескольку раз за день. Это могло произойти в любую погоду — не только в такой буран, как сегодня, а и в самый ясный день. Когда случалось ЧП, о нем узнавали лишь немногие, потому что, как правило, ЧП завершались благополучно и даже пилотам в воздухе далеко не всегда сообщали, почему тому или иному самолету не дают посадки или вдруг велят изменить курс. Во-первых, им вовсе и не обязательно было об этом знать, а во-вторых, не было времени давать по радио объяснения. Зато наземные службы — аварийные команды, «скорая помощь» и полиция, а также руководство аэропорта — немедленно оповещались и принимали меры в зависимости от категории бедствия. Первая категория была самой серьезной и в то же время самой редкой, поскольку бедствие первой категории означало по сути дела, что самолета уже нет. Вторая категория указывала на наличие опасности для жизни или на серьезные повреждения. Третья категория, объявленная сейчас, являлась просто предупреждением: соответствующие службы аэропорта должны быть наготове, их услуги могут понадобиться. А вот для диспетчеров ЧП любой категории оз-

начало дополнительное напряжение со всеми вытекающими последствиями.

Кейз вошел в гардеробную, примыкавшую к радарной. Сейчас, получив возможность спокойно размышлять, он от души пожелал, чтобы пилот «КС-135» и все другие пилоты, находившиеся сегодня в воздухе, благополучно сели, несмотря на буран.

В гардеробной, маленькой квадратной комнатке с одним-единственным окном, вдоль трех стен стояли металлические шкафчики, а посредине — деревянная скамья. У окна висела доска для объявлений, на которой были небрежно наляпаны официальные бюллетени и оповещения различных комиссий и общественных организаций аэропорта. Свет голой лампочки, свисавшей с потолка, казался ослепительно ярким после полутьмы радарной. В гардеробной никого больше не было, и Кейз выключил свет. На крыше башни стояли прожекторы, и в комнату проникало достаточно света.

Кейз закурил сигарету. Потом открыл свой шкафчик и достал пластмассовое ведерко, куда Натали укладывала ему завтрак. Наливая из термоса кофе, он подумал: интересно, вложила ли она ему в завтрак записку, а если не записку, то какую-нибудь вырезку из газеты или журнала. Натали частенько это делала — иной раз что-то одно, а иной раз и то и другое, должно быть, в надежде развлечь его. Она много думала об этом с тех пор, как с ним случилась беда. Сначала она прибегала к простейшим способам, а потом, видя, что это не помогает, к более сложным, хотя Кейз неизменно понимал — и это не трогало его, но и не раздражало,— зачем Натали так поступает и чего она добивается. Впрочем, последнее время записки и вырезки стали появляться реже.

Должно быть, и Натали в конце концов отчаялась. Она уже не находила для него слов, а по ее покрасневшим глазам он понимал, что она частенько плачет.

Когда Кейз заметил это, ему захотелось ей помочь. Но как мог он помочь ей, когда не в состоянии был помочь самому себе?

Фотография Натали была приклеена к дверце его шкафчика с внутренней стороны — цветная фотография, снятая самим Кейзом. Он принес ее сюда три года назад. Сейчас при свете, падавшем из окна, на ней почти ничего нельзя было различить, но он так хорошо знал ее, что ему не требовалось яркого света.

На фотографии Натали была в купальном костюме. Она сидела на скале и смеялась, приложив тонкую красивую руку к глазам, чтобы защитить их от солнца. Ее светло-каштановые волосы были отброшены назад, на маленьком задорном личике виднелись веснушки, неизменно выступавшие летом. Вообще Натали Бейкерсфелд была похожа на шаловливую, своевольную дриаду, но в то же время в ней чувствовалась сила воли, и аппарату удалось зафиксировать и то и другое. Она сидела на фоне синего озера, скал и высоких елей. Кейз и Натали отправились тогда на машине в Канаду и проводили отпуск на Халибертонских озерах, впервые оставив своих детей Брайана и Тео в Иллинойсе с Мелом и Синди. Впоследствии оба вспоминали об этом отпуске, как о самых счастливых днях своей жизни.

Пожалуй, именно сегодня, подумал Кейз, стоит еще раз вспомнить об этом.

Из-за фотографии торчала сложенная бумажка. Это была одна из записок, которую Натали сунула ему как-то в завтрак. Было это месяца два-три тому назад, но почему-то он решил ее сохранить. И хотя Кейз наизусть знал содержание записки, он достал ее сейчас и подошел к окну, чтобы прочесть. Это была вырезка из журнала, а под ней — несколько строк, приписанных рукой жены.

Натали многим интересовалась, иногда вещами совершенно неожиданными, и неизменно пыталась приобщить к кругу своих интересов Кейза и мальчиков. Вырезка касалась экспериментов, проводимых американскими генетиками. В ней говорилось о том, что можно замораживать человеческую сперму. При низкой температуре она сохраняется бесконечно долго, совершенно не утрачивая своих свойств. Затем ее можно оттаять и использовать для оплодотворения женщины в любое время — и в наши дни, и через несколько поколений.

Натали под этим приписала:

Ковчег мог бы быть вдвое меньше, если б Ною
Был известен способ замораживания сперматозоид;
Оказывается, можно иметь сколько угодно детей,
Лишь бы в холодильнике был мороз посильней.
Я рада, что наши
Родились от папаши и мамаши.

Тогда она еще пыталась — отчаянно пыталась — вернуть их жизнь в прежнее русло... склеить ее, склеить семью... чтобы было так, как раньше.

В эту борьбу включился и Мел, пытаясь вместе с Натали вырвать брата из пучины тоски и депрессии.

И что-то в душе Кейза поддалось, откликнулось. В глубине его сознания зажглась искорка воли, он попытался найти в себе силы и выйти с помощью близких из своего оцепенения, ответить любовью на любовь. Но ничего не получилось. Не получилось — впрочем, он знал, что не получится,— потому что в нем не осталось ни чувств, ни эмоций. Он не мог разжечь в себе ни тепла, ни любви, ни даже злости. Только пустота, самобичевание и всеобъемлющее отчаяние.

Теперь, видимо, и Натали почувствовала всю тщету своих усилий — он был уверен, что это так. Наверно, потому она и плачет украдкой.

А Мел? Должно быть, и Мел тоже сдался. Хотя, видимо, еще не совсем — Кейз вспомнил, что сказал ему руководитель полетов: «Ваш брат просил передать, что, наверно, заглянет попозже».

Было бы куда проще, если бы Мел этого не делал. Кейз почувствовал, что ему сейчас не по силам эта встреча, хотя всю жизнь они были очень близки — как только могут быть близки братья. Приход Мела может все осложнить.

А Кейз слишком выдохся, слишком устал, чтобы вынести новые осложнения.

Он снова подумал: интересно, вложила ли Натали сегодня записку в его завтрак. И надеясь, что вложила, стал осторожно вынимать еду.

Сандвичи с ветчиной и салатом, коробочка с деревенским сыром, груша, оберточная бумага. И больше ничего.

Теперь, когда он знал, что никакой записки нет, ему отчаянно захотелось, чтобы она была,— любая записка, пусть даже совсем пустячная. Потом он вдруг вспомнил: ведь он же сам виноват, что ее нет, у Натали просто не было времени что-либо написать. Ему нужно было сегодня успеть кое-что сделать до работы, и он уехал из дома раньше обычного. Натали заранее он не предупредил, и ей пришлось в спешке готовить ему еду. В какую-то минуту он даже заявил, что ему вообще ничего не нужно: можно ведь позавтракать в одном из аэропортовских кафетериев. Но Натали, зная, что в кафетериях обычно многолюдно и шумно, а Кейз этого терпеть не может, сказала: «Нет» — и быстро что-то ему приготовила. Она не спросила его, почему он уезжает раньше обычного, хотя он понимал, что это не могло не интересовать ее. Но к

счастью для Кейза, вопроса не последовало. Если бы она спросила, ему пришлось бы что-то выдумать, а ему не хотелось в эти последние часы ей лгать.

Времени у него хватило на все. Он приехал в район аэропорта и снял номер в гостинице «О'Хейген», который забронировал раньше по телефону. Он все тщательно рассчитал и продумал еще много недель назад, но не осуществлял своего плана, решив хорошенько поразмыслить, прежде чем приступать к его выполнению. На минуту заглянув к себе в номер, Кейз тут же вышел из гостиницы и прибыл в аэропорт как раз к началу дежурства.

Гостиница «О'Хейген» находилась в нескольких минутах езды от аэропорта. Через два с небольшим часа смена Кейза окончится, и он быстро доберется туда. Ключ от номера лежал у него в кармане, и Кейз вынул его, чтобы удостовериться, что он на месте.

10

Сообщение, полученное Мелом Бейкерсфелдом от руководителя полетов о том, что медоувудцы задумали устроить митинг, оказалось правильным.

Этот митинг в зале воскресной школы при медоувудской баптистской церкви — в пятнадцати секундах лета на реактивном самолете, поднявшемся с полосы два-пять,— шел уже полчаса. Начался он позже, чем предполагалось, так как почти всем присутствовавшим — а их собралось человек шестьсот, не считая детей,— пришлось с большим трудом, пешком или на автомобилях, прокладывать себе путь по глубокому снегу. Но так или иначе они явились.

Это было весьма смешанное сборище, типичное для таких мест, где живут люди не очень большого достатка — преимущественно чиновники средней руки, ремесленники и местные торговцы.

Народу в зале набилось с избытком — было душно, в воздухе висел дым. Все стулья были заняты, и еще человек сто, а то и больше стояли.

Уже одно то, что столько людей покинули теплый дом и пришли сюда в такую непогоду, достаточно ясно свидетельствовало об их заинтересованности и тревоге. А кроме того, все они были разъярены до предела.

Их ярость — столь же ощутимая в воздухе, как табачный дым,— питалась двумя источниками. Во-первых, у медоувудцев давно уже накопилось раздражение против аэропорта, который день и ночь обрушивал на их крыши и барабанные перепонки оглушительный грохот, нарушавший мир и покой, не дававший ни спать, ни бодрствовать. А во-вторых, этот грохот раздражал их и сейчас, когда на протяжении почти всего митинга собравшиеся то и дело не слышали друг друга.

Правда, они были подготовлены к тому, что так будет. Собственно, из-за этого и созывался митинг и был взят напрокат из церкви переносной микрофон. Однако никто не предполагал, что в этот вечер самолеты будут взлетать как раз над их головой, выводя из строя и человеческие уши и микрофон.

В наступившем на миг молчании председатель, красный как рак, заорал что было мочи:

— Леди и джентльмены, вот уже много лет мы пытаемся договориться с руководством аэропорта и авиакомпаниями. Мы неоднократно подчеркивали, что аэропорт нарушает наше спокойствие. Мы доказывали с помощью сторонних, незаинтересованных свидетелей, что нормальная жизнь при том звуковом вале, который на нас обрушива-

ют, невозможна. Мы говорили, что наша психика находится под угрозой, что наши жены, наши дети и мы сами живем на грани нервного расстройства, а многие его уже заработали.

Председателя, лысеющего мужчину с квадратной челюстью, медоувудского домовладельца и управляющего книгопечатной фирмой, звали Флойд Занетта.

Он стоял на небольшом возвышении в конце зала, а рядом с ним сидел безукоризненно одетый мужчина помоложе. Этого мужчину звали Эллиот Фримантл, и он был адвокат.

— Что же делают аэропорт и авиакомпании? — продолжал Занетта.— Я сейчас скажу, что они делают. Они притворяются — притворяются, будто слушают нас. И дают лживые обещания — одно за другим, хотя вовсе не собираются их выполнять. И руководство аэропорта, и Федеральное управление авиации, и авиакомпании — все они лгуны и обманщики...

Слова «обманщики» уже никто не слышал.

Оно потонуло в расколовшем воздух грохоте, который, нарастая в немыслимом крещендо, достиг поистине чудовищной силы — казалось, чья-то гигантская рука схватила здание и сотрясла его. Кувшин с водой на столе у председателя покачнулся и, не подхвати его Занетта, неминуемо упал бы на пол и разбился.

Звук затих почти так же стремительно, как возник. Самолет «Пан-Американ», вылетавший рейсом пятьдесят восемь, был уже далеко, на расстоянии нескольких тысяч футов от земли, и продолжал забираться все выше и выше, пробиваясь сквозь буран и мглу к ясным высям, где он ляжет на курс, чтобы лететь во Франкфурт, в Германию. А за ним по полосе два-пять, высвобожденной для взлетов над Медоувудом, уже катил самолет «Континентл Эйрлайнз», рейс двадцать три, направлявшийся в Денвер, штат Колорадо.

Торопясь договорить, Занетта продолжал:

— Так вот, я сказал, что они лгуны и обманщики. Все, что происходит здесь сейчас, убедительно свидетельствует об этом. Они обязаны хотя бы принимать меры по приглушению звука, но сегодня даже это...

— Господин председатель,— послышался женский голос из глубины зала,— все это мы уже слышали. Мы это знаем, и сколько ни повторяй, ничего от этого не изменится.— Все взоры обратились к говорившей, которая уже поднялась с места. У нее было энергичное, умное лицо; прядь длинных, до плеч, каштановых волос упала ей на лоб, но молодая женщина нетерпеливым жестом отбросила ее назад.— А я, как и все остальные, хочу знать, что мы все-таки можем сделать и на что мы можем рассчитывать?

Раздался взрыв аплодисментов и одобрительные возгласы.

— Будьте любезны, дайте мне закончить...— раздраженно сказал Занетта.

Но ему это так и не удалось.

Снова оглушительный грохот обрушился на воскресную школу.

Как только он утих, чей-то мужской голос сварливо буркнул:

— Да продолжайте же!

Занетта кивнул. И продолжал свою речь, выбирая паузы между взрывами грохота, совсем как альпинист, перескакивающий со скалы на скалу. Жители Медоувуда, заявил он, должны отбросить вежливость и попытки договориться с руководителями аэропорта, воззвав к их разуму. Пора перейти в атаку, опираясь на закон. Но какую выбрать тактику? По счастью, на нашем собрании согласился присутствовать известный юрист — мистер Эллиот Фримантл, хотя его контора и находится далеко отсюда, в городе. Мистер Фримантл хорошо знаком с зако-

нами о чрезмерном шуме, нарушении спокойствия и использовании воздушного пространства, и очень скоро те, кто, невзирая на буран, пришел на собрание, будут иметь удовольствие услышать этого уважаемого джентльмена. Собственно говоря, он пришел сюда с готовым предложением...

Слушая эти стереотипные фразы, Эллиот Фримантл ерзал на стуле. Он легонько провел рукой по своим аккуратно подстриженным седеющим волосам, пощупал, тщательно ли выбриты подбородок и щеки — а он брился за час до собрания,— и его острый нюх подтвердил, что запах дорогого одеколона, который он всегда употреблял после бритья и облучения кварцем, все еще ощущается. Закинув ногу на ногу, он полюбовался двухсотдолларовыми блестящими ботинками из крокодиловой кожи и провел рукой по складке брюк своего твидового костюма, сшитого на заказ. Эллиот Фримантл давно обнаружил, что клиенты предпочитают процветающих юристов. Если юрист выглядит процветающим, значит, он умеет добиваться успеха в суде, а как раз успеха жаждут те, кто затевает тяжбу.

Именно на это и рассчитывал Эллиот Фримантл: он надеялся, что большая часть присутствующих скоро обратится в суд и что он будет представлять их там. А пока он с нетерпением дожидался той минуты, когда эта старая курица Занетта перестанет кудахтать, усядется наконец на место и он, Фримантл, возьмет слово. Легче всего потерять доверие аудитории или присяжных, если дать им время поразмыслить и догадаться, о чем ты будешь говорить, прежде чем ты раскрыл рот. Остро отточенная интуиция подсказывала Фримантлу, что именно это сейчас и происходит. А значит, придется потрудиться больше обычного, чтобы утвердить свою компетентность и превосходство своего интеллекта.

Кое-кто из его коллег мог бы поставить под сомнение превосходство интеллекта Эллиота Фримантла. Они, пожалуй, могли бы даже возразить, когда председатель назвал его джентльменом.

Кое-кто из коллег-юристов рассматривал Фримантла, как эксгибициониста, добивавшегося высоких гонораров главным образом благодаря врожденному умению подать себя и привлечь к себе внимание. Все, правда, соглашались с тем, что у него было завидное чутье на выгодные дела, вызывавшие много шума.

Ситуация в Медоувуде возникла словно по заказу для Эллиота Фримантла.

Он где-то прочел о проблеме, вставшей перед населением этого городка, и попросил знакомых порекомендовать его кому-нибудь из домовладельцев как единственного юриста, способного им помочь. В результате комитет домовладельцев обратился к нему. Готовясь к встрече с ними, он полистал законы и последние решения судов, связанные с проблемой шума и нарушения спокойствия — а надо сказать, что этот вопрос был для него абсолютно новым,— и когда представители комитета прибыли к нему, он уже говорил с ними уверенно, как человек, посвятивший этой проблеме всю жизнь.

Через некоторое время он предложил им план действий, что и привело к данному собранию и его появлению на нем.

Слава богу, кажется, Занетта завершает свое многословное вступление. Оставаясь до конца банальным, он изрек:

— Итак, я имею честь и удовольствие представить вам...

Не успел Занетта произнести его имя, как Эллиот Фримантл уже вскочил на ноги. И начал говорить еще до того, как тот опустил свой зад на стул. По своему обыкновению он обошелся без вступления.

— Если вы ждете от меня сочувствия, можете сразу уходить, потому что его не будет. Вы не услышите от меня ни слова сочувствия

ни сегодня, ни при других наших встречах, если таковые будут. Я не из тех, кто поставляет носовые платки для слез, поэтому, если они вам нужны, запаситесь ими сами или подарите их друг другу. Мой бизнес — закон. Закон, и только закон.

Он говорил намеренно резко и знал, что шокирует их, но именно этого он и добивался.

Он заметил, что репортеры подняли на него глаза и обратились в слух. Их было трое за столиком возле президиума, отведенным для прессы: двое молодых людей из крупных ежедневных городских газет и пожилая дама из местного еженедельника. Все трое были ему нужны, и он позаботился о том, чтобы узнать их имена и еще до собрания перекинуться с ними несколькими словами. И вот карандаши уже забегали по бумаге. Отлично! Эллиот Фримантл при осуществлении любого из своих проектов неизменно высоко ставил сотрудничество с прессой и по опыту знал, что легче всего достичь расположения газетчиков, дав им материал для живого рассказа.

Чуть поубавив агрессивности, Фримантл продолжал:

— Если мы решим, что я буду представлять ваши интересы, мне придется задать вам ряд вопросов — о влиянии шума на ваши очаги, ваши семьи, ваше физическое и моральное состояние. Но не думайте, что я стану задавать вам эти вопросы, потому что меня волнует ваша участь. Честно говоря, нисколько. Пора вам узнать, что я чрезвычайно эгоистичен. Если я стану задавать вам эти вопросы, то лишь затем, чтобы выяснить, насколько велик с точки зрения закона нанесенный вам ущерб. А я уже сейчас убежден в том, что известный ущерб вам нанесен — быть может даже значительный, — и, следовательно, по закону вы имеете право на компенсацию. Однако, каких бы ужасов вы мне ни наговорили, я не лишусь сна: благополучие моих клиентов не интересует меня за пределами моей конторы и суда. Но...— Фримантл сделал тут эффектную паузу и выбросил палец вперед, как бы подчеркивая свои слова: — ...но у меня в конторе и в суде вам как моим клиентам будет отдан максимум моего внимания и умения во всем, что касается вопросов права. И в этом отношении, если мы, конечно, будем работать вместе, обещаю вам, что вы будете рады иметь меня на своей стороне, а не на стороне противника.

Теперь Фримантл уже завладел вниманием всего зала. Правда, на некоторых лицах появилось выражение враждебности, но не на многих. Однако он почувствовал, что надо сбавить тон. Он позволил себе улыбнуться — быстрой, мгновенно потухающей улыбкой — и, снова став серьезным, продолжал:

— Я сообщаю вам об этом для того, чтобы мы лучше понимали друг друга.

Несколько человек закивали и заулыбались.

Фримантл внимательно следил за аудиторией и увидел, как солидный мужчина в очках с толстой роговой оправой наклонился к сидевшей рядом с ним даме и что-то прошептал. По выражению их лиц Фримантл догадывался, что мужчина сказал: «Вот это похоже на дело! Именно это мы и хотели услышать».

Эллиот Фримантл по обыкновению сумел весьма точно оценить настроение собравшихся и рассчитал, как ему себя вести. Он сразу понял, что эти люди устали от общих фраз и изъявлений сочувствия— благожелательных, но малоэффективных. Его же слова, грубоватые и резкие, действовали как холодный, отрезвляющий душ. Теперь, не давая им передышки, чтобы не рассеивалось внимание, надо перейти к иной тактике. Настало время оперировать фактами и соответствующими статьями закона.

— Внимание! — скомандовал он.— Сейчас я буду говорить о специфике вашей проблемы.

Закон о борьбе с шумом, объявил он, непрерывно изучается судами страны. Меняются старые концепции. Согласно новым судебным постановлениям, чрезмерный шум может рассматриваться как нарушение спокойствия и попрание прав собственности. Более того, суды склонны налагать запреты и штрафы в тех случаях, когда такое нарушение прав, включая чрезмерный шум от самолетов, может быть доказано.

Эллиот Фримантл помолчал, пока не стих возникший над головой грохот, и поднял руку.

— Я думаю, для вас не составит труда доказать это здесь.

Карандаши всех трех репортеров за столиком прессы забегали по бумаге.

Фримантл привел несколько примеров из судебной практики. Речь его была краткой и впечатляющей. Когда он упомянул конкретную сумму — 10 тысяч долларов, полученных в виде компенсации одним домовладельцем,— это, как он и рассчитывал, еще больше разожгло интерес аудитории. Его слова звучали авторитетно, убедительно и казались основанными на многолетнем опыте. Только сам Фримантл знал, что все его «факты» почерпнуты из вырезок одной городской газеты, в картотеке которой он провел вчера два часа.

Дело в том, что юриста Фримантла вовсе не интересовало, будет ли выиграна тяжба в суде. Ему нужно было одно: заполучить медоувудских домовладельцев в качестве клиентов и притом за максимальный гонорар.

С этой целью он уже подсчитал присутствующих и мысленно проделал кое-какие арифметические выкладки. Результат окрылил его.

Из шестисот человек, находившихся в зале, человек пятьсот, а то и больше — домовладельцы. Если учесть, что присутствуют не только мужья, но и жены, значит, он может рассчитывать, как минимум, на двести пятьдесят клиентов. Далее: если каждый из них подпишет соглашение, в соответствии с которым он, Фримантл, будет представлять интересы этого клиента за гонорар в сто долларов — а Эллиот Фримантл надеялся, что до конца вечера сумеет это провернуть,— то общая сумма вознаграждения может составить свыше 25 тысяч долларов.

Ему уже не раз удавались такие трюки. Просто удивительно, чего можно добиться при известной напористости, особенно когда люди накалены и жаждут настоять на своих правах. В портфеле у него лежала довольно солидная пачка бланков следующего содержания: «Настоящее соглашение между..., именуемым (ми) отныне истцом (ами), и Фримантлом и Саем, юристами..., которые берут на себя представительство законных интересов истца (ов) по делу об ущербе, наносимом самолетами, базирующимися на международный аэропорт Линкольна..., составлено в том, что истец (цы) согласен (ны) выплатить указанным Фримантлу и Саю 100 долларов, в четыре приема по 25 долларов, с внесением первого взноса немедленно и выплатой остатка поквартально... По успешном завершении тяжбы Фримантл и Сай получают 10 процентов от общей суммы штрафа, выплаченного истцу (ам) за нанесение ущерба...»

Эти десять процентов были вставлены на всякий случай, поскольку едва ли удалось бы добиться какого-либо возмещения. Однако в юриспруденции тоже случаются порою странные вещи, а Эллиот Фримантл старался предусмотреть все.

— Я информировал вас о существующих законах,— сказал он.— Теперь я намерен дать вам один совет.— И он озарил аудиторию одной из своих редких улыбок, которая вспыхнула и тотчас погасла.—

Этот совет будет бесплатным, совсем как рекламный тюбик зубной пасты, но за каждый последующий тюбик вам уже придется платить.— Раздался смех, который он резко оборвал мановением руки.— Совет мой заключается в том, что время не ждет, пора действовать. И действовать немедленно.

Это вызвало рукоплескания и еще больше одобрительных кивков.

Моложавый мужчина в пиджаке из альпаки и спортивных брюках, сидевший в одном из передних рядов, вскочил на ноги.

— Скажите же, с чего начать!

— Для начала, если хотите, можете нанять меня представителем ваших законных интересов.

Двести-триста голосов разом ответили:

— Да, хотим.

Теперь, в свою очередь, на ноги вскочил председатель и поднял руку, требуя тишины. Он был явно доволен. Репортеры с интересом наблюдали за возбужденной аудиторией.

Сработало — как и рассчитывал Эллиот Фримантл. Теперь все пойдет по заведенному образцу. В ближайшие полчаса большинство соглашений, лежавших в его портфеле, будет подписано, а остальные унесут домой, там их обсудят и, скорей всего, завтра отправят ему по почте. Эти люди не боялись подписывать бумаги или обращаться в суд: они привыкли к тому и к другому, когда приобретали свои дома. Да и сто долларов — не такая уж крупная сумма. Кое-кому она может даже показаться заниженной. И лишь немногим придет в голову заняться подсчетом, который проделал в уме Эллиот Фримантл. Но даже если они и поднимут разговор об общей сумме, он всегда может сказать, что столь высокий гонорар объясняется большим количеством клиентов, чьи интересы ему придется защищать.

К тому же за эти денежки он покажет им недурной спектакль с фейерверком — и в суде и еще кое-где. Он взглянул на часы: пора закругляться. Теперь, когда он уже был связан с ними, ему хотелось закрепить эту связь, поставив первый акт пьесы. Как и все, что он делал до сих пор, это тоже было заранее спланировано и должно было привлечь внимание читателей завтрашних газет куда больше, чем собрание. А кроме того, это явится подтверждением его слов о том, что он не намерен терять зря время.

Актерами в пьесе будут жители Медоувуда, пришедшие на собрание, а Фримантл рассчитывал, что все присутствующие согласятся покинуть зал и не сразу вернуться домой.

Местом действия будет аэропорт.

Время — сегодняшний вечер.

11

Примерно в те же часы, когда Эллиот Фримантл наслаждался успехом, бывший строитель-подрядчик по имени Д. О. Герреро, озлобленный и доведенный до крайности своими неудачами, решил сдаться и прекратить борьбу с жизнью.

Герреро находился в пятнадцати милях от аэропорта; он сидел запершись в одной из комнат жалкого, неблагоустроенного дома на южной окраине города. Квартира его помещалась как раз над шумной грязной закусочной на 51-й улице, недалеко от складов.

Д. О. Герреро был худой, долговязый, сутуловатый. На длинном, узком лице с острым подбородком тускло поблескивали глубоко запавшие глаза, тонкие губы были бескровны, а над ними выделялась тоненькая полоска рыжеватых усов. На тощей шее выступал острый кадык. Лоб из-за поредевших волос казался даже высоким. Руки его

вечно что-то крутили, пальцы никогда не знали покоя. Он курил не переставая, прикуривая одну сигарету от другой. Ему было около пятидесяти, но выглядел он старше. Небритый, в несвежей рубашке, он сидел весь взмокший, хотя в комнате было прохладно.

Герреро был женат уже восемнадцать лет. Брак его принадлежал к числу удачных, хоть и не самых ярких. Д. О.— так звали его друзья и знакомые — и Инес Герреро относились друг к другу терпимо, и даже мысль о том, что можно было найти другого спутника жизни, не приходила ни тому, ни другому в голову. Во всяком случае, Д. О. Герреро никогда не интересовался женщинами, бизнес и финансовые дела куда больше занимали его. Однако за последний год в отношениях между супругами образовалась трещина, и Инес, как ни старалась, не сумела ее залатать. Объяснялось это отчасти целым рядом неудач в делах, которые привели к тому, что семья от сравнительного благополучия была низведена до бедности: Герреро пришлось расстаться со своим уютным и просторным, хоть и заложенным за большую сумму пригородным домом и переехать в менее респектабельное жилище, а оттуда — в эту жалкую, продуваемую сквозняками, зараженную тараканами двухкомнатную квартиру.

Хотя Инес Герреро это крайне огорчало, она бы стойко снесла все беды, если бы муж с каждым днем не становился все мрачнее и не вскипал по каждому пустяку, так что порой с ним просто невозможно было разговаривать. Недели две назад, вспылив, он ударил Инес, рассек ей лицо и даже не извинился и ни разу не вспомнил об этом потом, хотя, попроси он прощения, она, конечно, простила бы его. Опасаясь подобных вспышек, она отослала двух детей-подростков, мальчика и девочку, к своей замужней сестре в Кливленд, а сама осталась с мужем и устроилась официанткой в кафе. Работа была тяжелая, платили мало, но она, по крайней мере, зарабатывала себе на хлеб. Муж, казалось, совершенно не интересовался ею и даже не замечал отсутствия детей; настроение его становилось все более подавленным, и он все больше замыкался в себе.

Сейчас Инес была на работе. Д. О. Герреро находился в квартире один. Он мог бы и не запирать дверь маленькой спальни и все-таки запер ее, чтобы никто не мог ему помешать.

Д. О. Герреро, как и многим другим персонажам этого повествования, предстояло вскоре ехать в аэропорт. У него было забронировано место — что подтверждалось билетом — на самолет «Транс-Америки», вылетавший сегодня рейсом два «Золотой аргос» в Рим. Сейчас билет этот находился в кармане его пальто, которое лежало рядом с ним, на колченогом стуле.

Инес Герреро ничего не знала ни о предстоявшем полете в Рим, ни о причинах, побудивших ее мужа решиться на него.

Билет этот давал право на полет туда и обратно и стоил 474 доллара. Правда, Герреро с помощью обмана удалось получить кредит. Он заплатил всего 47 долларов, которые добыл, заложив последнюю ценность своей жены — кольцо ее матери (Инес еще не заметила его исчезновения),— и подписал обязательство выплатить остальную сумму плюс проценты путем ежемесячных взносов в течение двух лет.

Однако это свое обязательство он вовсе не собирался выполнять.

Ни одна уважающая себя финансовая компания или банк не дали бы Д. О. Герреро взаймы даже на автобусный билет до ближайшего городка, не говоря уже о билете на самолет да еще в Рим. Они бы прежде всего изучили состояние его дел и обнаружили, что он уже многие годы неплатежеспособен и у него куча долгов, а его компания по строительству домов «Герреро контрактинг инкорпорейтед» год назад объявлена банкротом.

Более тщательное расследование выявило бы, что на протяжении последних восьми месяцев, используя имя жены, Герреро пытался сколотить капитал для земельных спекуляций, но и тут потерпел неудачу. Естественно, что при этом он все больше и больше запутывался в долгах. И вот теперь некоторые подтасовки, на которые он пошел, а также то обстоятельство, что он по-прежнему числился в банкротах, грозили ему уголовным преследованием и почти неизбежно тюрьмой. Нависала над ним и другая угроза — менее серьезная, но столь же неотвратимая: он уже три недели не платил за свою жалкую квартиру, и хозяин грозился завтра выселить его. А если их выселят, им некуда будет деваться.

Д. О. Герреро дошел до полного отчаяния. Все его средства иссякли.

Общеизвестно, что авиакомпании легко предоставляют кредит, а если выплата долга задерживается, не слишком строги при взыскании его. Словом, Герреро все рассчитал. За многие годы существования авиации выяснилось, что пассажиры ведут себя на удивление честно и большинство авиакомпаний терпит лишь незначительные убытки. Неудачники вроде Д. О. Герреро редко прибегают к их помощи, чтобы поправить свои дела, поэтому авиакомпании — за отсутствием надобности — не разработали системы, которая позволила бы им вскрыть уловку, использованную Герреро.

С помощью двух простейших приемов он исключил всякую возможность хотя бы поверхностного обследования своего финансового положения. Во-первых, он изготовил «справку с предприятия», отпечатав ее на бланке усопшей компании, которую сам же раньше возглавлял (другой, не той, что обанкротилась), и указав в качестве адреса компании собственный почтовый адрес. Во-вторых, печатая эту справку, он намеренно переврал свою фамилию, изменив букву «Г» на «Б»; таким образом, обычная проверка кредитоспособности некоего «Берреро» не могла дать никаких результатов. Затем в качестве удостоверения личности он предъявил свой билет социального страхования и водительские права, предварительно изменив на обоих заглавную букву своей фамилии, а потом вернул все в прежнее состояние. И наконец, заполняя долговое обязательство, он постарался поставить подпись так неразборчиво, чтобы никто не мог понять — Герреро это или Берреро.

В результате кассир, выдавая ему вчера билет, проставил в нем: «Д. О. Берреро», и Герреро призадумался, взвешивая, как это обстоятельство может отразиться на его ближайших планах. Он решил, что все будет в порядке. Если впоследствии начнется дознание, то изменение одной буквы можно объяснить просто опиской. Доказать, что он это сделал нарочно, не удастся. Тем не менее он решил, что, регистрируясь в аэропорту, он попросит исправить свою фамилию — и в списке пассажиров, и у себя на билете. Ему было крайне важно лететь под собственной фамилией, чтобы тут все было в ажуре. Так уж он задумал.

А задумал Герреро взорвать самолет. Вместе с самолетом он, естественно, уничтожит и себя, но это его не пугало: он пришел к убеждению, что жизнь его не приносит больше пользы ни ему, ни другим.

Зато смерть его может принести пользу, и на это-то он и делал ставку.

Прежде чем взойти на борт самолета «Транс-Америки», он застрахует свою жизнь на 75 тысяч долларов в пользу жены и детей. Он рассуждал так: до сих пор он мало что сделал для них, зато этим своим последним поступком сразу им все возместит. Это будет жертва, продиктованная любовью.

В его исковерканном жизнью, затуманенном отчаянием мозгу не возникало даже и мысли о команде самолета или о пассажирах, которые полетят вместе с ним и должны будут вместе с ним погибнуть. Подобно всем психопатам, он смотрел на остальных людей лишь как на возможную помеху в осуществлении его плана.

Ему казалось, что он предусмотрел все.

То, каким путем он приобрел билет, уже не будет иметь значения, лишь только самолет поднимется в воздух. Никто не сможет доказать, что он и не намеревался платить по своему долговому обязательству, и даже если выплывет наружу то, что «справка с предприятия» фальшивая — а по всей вероятности, это все-таки выплывет,— наличие ее докажет лишь, что он получил кредит незаконно. А это само по себе никак не может повлиять на выплату страховой премии, ибо эти два действия юридически не взаимосвязаны.

Ведь он намеренно купил билет туда и обратно, чтобы создать видимость, будто не только намеревался долететь до места назначения, но и вернуться. А рейс в Рим он выбрал потому, что в Италии жил у него двоюродный брат, которого он никогда не видел, но не раз говорил, что хотел бы его навестить, об этом знала Инес. Таким образом, по крайней мере, то, что он отправился именно в Рим, выглядело вполне логично.

Д. О. Герреро уже несколько месяцев вынашивал свой план, в то время как положение его все ухудшалось. Он тщательно изучил историю авиационных катастроф — те случаи, когда самолеты были взорваны людьми, стремившимися таким путем получить страховку. Число подобных случаев оказалось на удивление большим. Причина взрыва неизменно выявлялась в ходе расследования после катастрофы, и в тех случаях, когда злоумышленник оставался жив, его привлекали к суду как убийцу. Страховка же, естественно, объявлялась недействительной.

Само собой разумеется, узнать, какой процент неразгаданных катастроф следует отнести за счет диверсий, не представлялось возможным. Главную роль играло наличие или отсутствие обломков. Если удавалось найти обломки самолета, опытные эксперты собирали их вместе и по ним пытались разгадать тайну катастрофы. Как правило, им это удавалось. Значит, рассудил Д. О. Герреро, надо разработать такой план, чтобы не осталось обломков.

По этой-то причине он и выбрал беспосадочный международный рейс в Рим.

Значительная часть трассы рейса два «Золотой аргос» пролегала над океаном, а там, если самолет рассыплется в воздухе, ничего уже не найдешь.

С помощью брошюрок авиакомпании, где для удобства пассажиров указаны воздушные трассы и скорость полета и вам даже предлагают «определить ваше местонахождение в пути», Герреро высчитал, что после четырех часов лета при более или менее благоприятном ветре самолет будет находиться где-то над центральной частью Атлантики. Герреро намеревался проверить свои расчеты в пути и при необходимости изменить их. Первым делом он установит точное время взлета, затем будет внимательно слушать объявления, которые в ходе полета делает командир экипажа по радио. Располагая такой информацией, он без труда сообразит, запаздывает ли самолет или, наоборот, летит с опережением графика и насколько. После чего в заранее намеченном пункте — примерно в восьмистах милях к востоку от Ньюфаундленда — он произведет взрыв. И тогда самолет или то, что от него останется, упадет прямо в океан.

И никаких обломков никто никогда не найдет.

Останки самолета навсегда будут погребены в таинственных глу-

бинах Атлантического океана. И никаких расследований, никаких последующих выяснений причины гибели самолета. Живые будут раздумывать, гадать, строить предположения; они могут даже догадаться об истине, но узнать — никто никогда ничего не узнает.

И страховка — за отсутствием доказательства диверсии — будет полностью выплачена.

Весь этот план зиждился на одном, на взрыве. Естественно, взрыв должен быть достаточно сильным, чтобы уничтожить самолет, и кроме того, что не менее важно, он должен произойти в нужный момент. По этой-то причине Д. О. Герреро решил держать взрывное устройство при себе и самому произвести взрыв. И вот сейчас, запершись в спальне, он изготовлял механизм взрыва, и хотя, как строитель, привык обращаться с взрывчаткой, за эти четверть часа он успел изрядно вспотеть.

Механизм состоял из пяти частей — трех динамитных шашек, небольшого детонатора с двумя ответвлявшимися от него проводами и батареи от радиотранзистора. Динамитные шашки были маленькие — каждая дюйм с четвертью в диаметре и восемь дюймов в длину,— но чрезвычайно мощные: в них содержалось сорок процентов нитроглицерина. Герреро скрепил их вместе черной изоляционной лентой и для маскировки уложил в коробочку из-под кукурузных хлопьев с аккуратно оторванным торцом.

Все это было разложено в определенном порядке на стареньком покрывале, которым была застелена кровать, где работал Герреро. Тут же лежал и небольшой плоский чемоданчик, в каких бизнесмены возят свои бумаги и книги. Туда-то и вкладывал сейчас Герреро взрывной механизм. С этим чемоданчиком в руках он войдет в самолет.

Устройство он изготовил наипростейшее. Действительно, подумал Герреро, настолько простое, что человек, никогда не имевший дела с взрывчаткой, даже и не поверил бы, что эта штука может сработать. И тем не менее она сработает и разнесет в щепы самолет, все уничтожит.

В одну из динамитных шашек он всунул карандаш, сделав в ней дырку дюйма в полтора глубиной. Потом вынул карандаш и вложил детонатор того же диаметра. От него тянулись два изолированных провода. Теперь надо только пропустить по этим проводам ток — и три шашки динамита взорвутся.

Клейкой лентой он прочно прикрепил коробочку из-под кукурузных хлопьев, в которой лежали динамитные шашки, к внутренним стенкам чемоданчика. Рядом пристроил деревянную прищепку для белья и батарею. Прищепка была с металлической пружинкой и должна была служить рубильником, который в нужный момент пропустит от батареи ток.

Один из проводов от детонатора он подключил к батарее.

Руки у него дрожали. Он чувствовал, как пот струйками стекает под рубашкой. Сейчас, когда детонатор уже вмонтирован в схему, достаточно одной ошибки, одного неловкого движения — и он взорвет себя, эту комнату и большую часть здания: все разлетится на куски.

Теперь настала очередь прищепки для белья.

В каждую из ножек изнутри он воткнул по кнопке. Если нажать на прищепку, ножки вместе с кнопками сойдутся и пропустят ток. А пока он вложил между ними изолятор — кусочек пластика.

Затаив дыхание, он подключил провод от детонатора и динамитной шашки к одной из кнопок на прищепке. Теперь настала очередь взяться за второй провод.

Он посидел неподвижно, чувствуя, как колотится у него сердце, потом вытер платком потные руки. Нервы его были натянуты как стру-

на, все чувства обострены до предела. Матрас под ним был тонкий, весь в буграх. Когда он переменил позу, старенькая железная кровать возмущенно взвизгнула.

Он снова принялся за работу. С огромной осторожностью подключил он коротенький провод сначала к другой клемме батареи, а потом — к другой кнопке. Теперь — шнурок. Один конец он пропустил через дырочку в пластике и крепко завязал. Оставалось только сделать с внешней стороны петлю: он вытянул шнурок из чемоданчика так, чтобы можно было просунуть палец — получилось что-то похожее на петлю висельника в миниатюре,— и отрезал лишнее.

Ну вот, теперь все готово.

Достаточно пропустить палец в петлю и потянуть за шнурок! В чемоданчике кусок пластика выскочит из прищепки и провода соединятся. По ним пробежит электрический ток, и раздастся взрыв, оглушающий, разрушительный, все уничтожающий.

Теперь, когда дело было сделано, Герреро вздохнул с облегчением и закурил сигарету. Он иронически усмехнулся, подумав о том, насколько более сложной представляют себе бомбу люди,— в том числе и сочинители детективных историй. В книгах он читал о мудреных механизмах, бикфордовых шнурах, часах, которые тикают, или шипят, или трещат и действие которых можно приостановить лишь с помощью воды. На самом же деле никаких таких сложностей не требовалось: несколько самых обычных, ничуть не романтических предметов, и вот она — бомба. И притом такая, что взрыв ее ничто не способно предотвратить, если он дернет за шнурок,— ни вода, ни пули, ни человеческая отвага.

Зажав сигарету в зубах и щурясь от дыма, Д. О. Герреро осторожно вложил в чемоданчик разные бумаги, накрыв ими динамитные шашки, прищепку, провода, батарею и шнурок. Он позаботился о том, чтобы бумаги в чемоданчике не скользили, в то время как шнурок мог бы свободно двигаться под ними. Даже если по каким-то причинам ему придется открыть чемоданчик, содержимое его покажется вполне невинным. Он закрыл чемоданчик и запер.

Потом посмотрел на дешевенький будильник, стоявший у кровати,— ручные его часы давно уже исчезли в закладе. Было самое начало девятого, до отлета оставалось меньше двух часов. Пора ехать. Он доберется на метро до городского аэровокзала и там сядет на аэропортовский автобус. Он оставил себе как раз столько денег, сколько требуется на автобусный билет и на страховку. Тут ему пришла в голову мысль, что нужно ведь время для приобретения страховки в аэропорту. Он быстро натянул пальто, предварительно проверив, что билет на Рим лежит у него во внутреннем кармане.

Затем он отпер дверь спальни, взял чемоданчик и, осторожно неся его, вышел в жалкую, бедную гостиную.

Еще одно. Письмо Инес. Он отыскал кусочек бумаги и карандаш и, подумав секунду, написал:

«Несколько дней меня не будет. Уезжаю. Надеюсь скоро удивить тебя добрыми вестями». И подписался: «*Д. О.*»

Еще секунду он помедлил, что-то в нем смягчилось. Не слишком-то он расщедрился в этой записке, а ведь она подводила черту под восемнадцатью годами супружеской жизни. Потом он все же решил, что хватит и этого; было бы ошибкой сказать больше. Даже если от самолета ничего не останется, расследование пойдет своим чередом и список пассажиров будут изучать под микроскопом. Тогда и эту записку, и другие оставшиеся после него бумаги будут вертеть во все стороны.

Он положил записку на стол, где Инес не могла ее не обнаружить.

Спускаясь по лестнице, Д. О. Герреро услышал голоса и музыку, доносившуюся из автомата в закусочной. Крепко держа чемоданчик, он одной рукой поднял воротник пальто. Под пальцами, сжимавшими ручку, он чувствовал петлю, похожую на петлю висельника.

На улице, когда он вышел из дома, все еще валил снег.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(20.30—23.00)

1

Вернувшись в теплую машину, Джо Патрони, главный механик «ТВА», вызвал по радиотелефону аэропорт. Он сообщил, что все еще находится в пути — на дороге из-за аварии пробка,— но надеется скоро добраться до цели. А как там с самолетом «Аэрео-Мехикан», спросил он, все еще не вытащили? Нет, сообщили ему, не вытащили, и он нужен позарез: каждые две-три минуты звонят в «ТВА» и спрашивают, где Патрони и сколько еще его ждать.

Немного обогревшись, Джо Патрони выскочил из машины и, преодолевая буран, увязая в снегу, заспешил по шоссе к месту аварии.

Там уже вовсю работала полиция, сигналя фонариками, помогая рассосаться грандиозной пробке. Гул самолета, пронесшегося над головой, снова напомнил Джо Патрони, что главная его забота — впереди.

Лейтенант полиции, к которому он подошел, снял фуражку и стряхнул с нее снег. Потом кивнул Патрони:

— Хорошо, мистер, сейчас вас пропущу.

С обочины на шоссе вырулила патрульная машина. Лейтенант ткнул в нее пальцем:

— Держитесь за машиной. Я скажу им, что вы поедете следом, и велю побыстрее проложить вам дорогу в аэропорт.

Джо Патрони кивнул и поспешил назад к своему «бьюику».

2

Капитан Вернон Димирест отворил дверцу шкафа, отступил на шаг и протяжно свистнул.

Все четыре полки были плотно уставлены бутылочками. Это были маленькие бутылочки вместимостью в полторы унции, какие авиакомпании выдают пассажирам в полете. На большинстве над этикеткой с названием была наклеена марка авиакомпании. Ни одна из бутылочек не была откупорена. Быстро произведя в уме подсчет, Димирест решил, что их здесь — штук триста.

Он и раньше видел казенное вино в квартирах стюардесс. Но никогда не видел в таком количестве.

— У нас есть припасы еще и в спальне,— услышал он за спиной веселый голос Гвен.— Мы собираем для вечеринки. По-моему, достаточно набрали, правда?

Он не слышал, как она вошла, и обернулся. До чего же она хороша и свежа; с тех пор как начался их роман, всякий раз при виде ее он испытывал это чувство восхищения. В такие минуты, как ни странно, он, обычно уверенный в своем успехе у женщин, удивлялся, что Гвен принадлежит ему. Она была в узкой форменной юбке и блузке, которые делали ее совсем юной. Ее живое лицо с высокими скулами было слегка запрокинуто, густые черные волосы блестели в электрическом свете. Темные глубокие глаза с улыбкой и нескрываемым восхищением смотрели на него.

— Можешь поцеловать меня,— сказала она.— Я еще не намазалась.

Он улыбнулся: чистый музыкальный голос с английским акцентом придавал ей еще больше очарования. Подобно многим девушкам, окончившим дорогую английскую частную школу, Гвен усвоила все благозвучие английских интонаций. Порой Вернон Димирест нарочно втягивал Гвен в беседу — с единственной целью насладиться мелодичностью ее речи.

Но сейчас они стояли, крепко прижавшись друг к другу, и губы ее жадно отвечали на его поцелуи.

— Нет! — решительно заявила Гвен, внезапно отстраняясь от него.— Нет, Вернон, не надо. Не сейчас.

— Почему? У нас достаточно времени.— Голос Димиреста звучал глухо, в нем слышалось нетерпение.

— Я же сказала, что мне надо с тобой поговорить, а на то и на другое у нас времени нет.— Гвен заправила блузку, выбившуюся из юбки.

— А, черт! — буркнул он.— Доводишь меня черт-те до чего, а потом... Ну, ладно, подожду до Неаполя.— Он легонько поцеловал ее.— Пока будем лететь в Европу, думай о том, что я сижу в кабине и тихо плавлюсь.

— Ничего, я снова доведу тебя до кондиции. Можешь на меня положиться.— И, рассмеявшись, она сняла его руки со своей талии. Потом повернулась и подошла к шкафу, который он открыл.

— Постой, постой. Ты так и не объяснила мне, что это значит.— И Димирест указал на миниатюрные бутылочки с наклейками авиакомпании.

— Это? — Гвен, подняв брови, окинула взглядом четыре уставленных бутылочками полки и придала своему лицу выражение оскорбленной добродетели.— Скромные отходы, то, что не потребовалось пассажирам. Неужели, капитан, вы намерены донести на меня и сообщить об отходах?

— Отходы в таком количестве? — скептически проронил он.

— А почему бы и нет? — Гвен взяла бутылочку джина «Бифитер», снова поставила ее и взяла другую — виски «Канедиен клаб».— А все-таки одно можно сказать в пользу авиакомпании: алкоголь они покупают самого высокого качества. Хочешь выпить?

Он отрицательно покачал головой.

— Ты могла бы предложить мне кое-что получше.

— Могла бы, если бы ты не изображал из себя строгого судью.

— Я просто не хочу, чтобы ты попалась.

— Никто не попадается, хотя все это делают. Посуди сам: каждому пассажиру первого класса положено две бутылочки, но есть такие, которые выпивают только одну, и всегда есть такие, которые вообще не пьют.

— В правилах сказано, что вы обязаны возвратить неоткупоренные бутылки.

— О господи! Так мы и делаем: возвращаем две-три для вида, а остальное девочки делят между собой. Так же поступаем мы и с вином.— Гвен хихикнула.— Мы очень любим пассажиров, которые просят подать вина перед самой посадкой. Тогда можно на законных основаниях откупорить бутылку, налить пассажиру бокал, а остальное...

— Ясно. А остальное унести домой?

— Хочешь взглянуть? — Гвен открыла другую дверцу шкафа. На полках стояло около дюжины бутылок вина.

Димирест усмехнулся.

— Ну и ну!

— Это не все мои. Моя напарница и одна из девчонок, что живет рядом, дали мне свою долю на сохранение — для вечеринки.— Она взяла его под руку.— Ты ведь тоже придешь, конечно?

— Если пригласят, наверно, приду.

Гвен закрыла дверцы шкафа.

— Можешь не сомневаться: пригласят.

Они прошли на кухню, и она налила в чашки приготовленный им чай. Он любовался каждым ее движением. У Гвен был какой-то удивительный дар даже вот такое чаепитие на ходу обставлять со всей торжественностью.

Теперь, когда она достала из другого шкафа чашки и Димирест увидел, что они тоже с маркой «Транс-Америки», он только усмехнулся. Не следовало ему проявлять такую щепетильность при виде бутылочек с ярлыками авиакомпании, подумал он: в конце концов «уловки» стюардесс ни для кого не секрет. Просто его изумило количество этих бутылочек.

Он знал, что все стюардессы довольно быстро обнаруживают, что экономное расходование припасов в самолетных «подсобках» может существенно облегчить их жизнь дома. Кто-то даже уверял Димиреста, что предприимчивая стюардесса может наполовину сократить свой счет у бакалейщика.

Все это, разумеется, было строго запрещено правилами всех авиакомпаний и тем не менее шло своим чередом.

Стюардессы знали, что по окончании полета никакой инвентаризации не производится. Во-первых, на это просто нет времени, и, во-вторых, возмещение убытков обходится авиакомпаниям дешевле, чем обошлось бы их выявление. Благодаря этому многие стюардессы сумели за счет авиакомпаний обзавестись одеялами, подушками, полотенцами, льняными салфетками, рюмками и столовыми приборами в поистине ошеломляющем количестве: Вернону Димиресту доводилось посещать «гнездышки», где почти все предметы повседневного обихода были явно почерпнуты из кладовых авиакомпаний.

В размышления его вторгся голос Гвен.

— Я вот что хотела сказать тебе, Вернон: я беременна.

Она произнесла это столь небрежно, что смысл ее слов не сразу дошел до его сознания. И потому он ошарашенно спросил:

— Ты — что?

— Беременна: бе-ре-ме...

— Можешь не произносить по слогам,— раздраженно оборвал он ее. Но мозг его все еще не желал воспринять услышанное.— Ты в этом уверена?

Гвен рассмеялась своим приятным, серебристым смехом и глотнула чаю. Димирест видел, что она забавляется его растерянностью. Но до чего же она была сейчас желанна и хороша.

— Дорогой мой,— заметила она,— какой старый как мир, банальный вопрос! Во всех книгах, какие я читала, мужчина в таких случаях задает вопрос: «А ты уверена?»

— Черт побери, Гвен! — взорвался Димирест.— Ты *все-таки уверена или нет?*

— Конечно. Иначе я бы тебе этого не сказала.— Она протянула руку к стоявшей перед ним чашке.— Еще чаю?

— Нет!

— Все очень просто,— спокойно сказала Гвен.— Это произошло во время «пересыпа» в Сан-Франциско... Помнишь, мы еще ночевали в этом роскошном отеле на Ноб-Хилл, где открывается такой вид из окон... Как он назывался, этот отель?

— «Фейрмонт». Да, помню. Продолжай.

— Ну вот: боюсь, я там была неосторожна. Я перестала принимать пилюли, потому что начала от них полнеть, и кроме того, я считала, что в тот день могу не беспокоиться, но, видно, ошиблась. Словом...

Наступило молчание. Потом он, запинаясь, сказал:

— Вероятно, я не должен об этом спрашивать...

Она прервала его:

— Нет, должен. Ты имеешь право спросить.— Темные глаза Гвен открыто и прямо смотрели на него.— Ты хочешь знать, был ли кто-то еще и уверена ли я, что это твой ребенок. Так?

— Послушай, Гвен...

Она дотронулась до его руки.

— Не надо стыдиться. Всякий на твоем месте задал бы такой вопрос.

Он с несчастным видом махнул рукой.

— Забудь об этом и извини меня.

— Но я готова тебе ответить.— Она заговорила быстрее и более сбивчиво: — Никого другого не было. И быть не могло. Видишь ли... дело в том, что я люблю тебя.— Впервые она не смотрела на него. И, помедлив, продолжала: — По-моему, я любила тебя... я даже уверена, что любила... еще до той нашей поездки в Сан-Франциско. Сейчас, когда я думаю об этом, я рада, что это так, потому что надо любить человека, от которого у тебя ребенок, правда?

— Послушай меня, Гвен.— Он накрыл ее руки своими. Пальцы у Вернона Димиреста были сильные, тонкие, привыкшие управлять и подчинять себе, но умевшие и ласкать. И сейчас они ласково гладили ее руки. Обычно грубый и резкий с мужчинами, Вернон Димирест был неизменно нежен с женщинами, которые ему нравились.— Нам надо серьезно поговорить и все обдумать.— Теперь, оправившись от неожиданности, он привел свои мысли в порядок. Ему стало ясно, что делать дальше.

— А тебе ничего не нужно предпринимать.— Гвен вскинула голову, голос ее был спокоен.— И, пожалуйста, не волнуйся: я не стану устраивать сцен и осложнять тебе жизнь. Я этого не сделаю. Я ведь знала, на что я шла, знала, что это может произойти. Я, правда, этого не ожидала, но так получилось. И я решила сказать тебе об этом сегодня только потому, что ребенок твой: это часть тебя, и ты должен знать. А теперь, когда ты знаешь, я говорю тебе: можешь не волноваться. Я сама со всем справлюсь.

— Не горячись, я тебе, конечно, помогу. Не воображаешь же ты, что я отвернусь от тебя и сделаю вид, будто это меня не касается.— А про себя он думал: «Главное — не тянуть: чем быстрее избавиться от маленького негодника, тем лучше. Надо бы еще выяснить, насколько она религиозна: есть ли у нее предубеждения против аборта?» В разговорах с ним Гвен никогда не касалась вопросов веры, но бывает, что люди, от которых меньше всего можно этого ожидать, оказываются вдруг верующими. И он спросил:

— Ты католичка?

— Нет.

Ну, это уже лучше, подумал он. В таком случае ей, пожалуй, надо побыстрее слетать в Швецию — на это понадобится всего несколько дней. «Транс-Америка» тут, конечно, поможет — авиакомпании всегда помогают в таких случаях, при условии, что официально им ничего не известно: нужно лишь намекнуть на аборт, но не произносить этого слова. Тогда Гвен сможет полететь на самолете «Транс-Америки» в Париж, а оттуда «Эр-Франс» доставит ее в Стокгольм — по служебному билету, на основе взаимности. Конечно, даже если она бесплатно

полетит в Швецию, все равно придется выложить немалую сумму за операцию: среди авиационных служащих даже ходила шутка, что шведы чистят не только внутренности, но и карманы своих пациенток. Все это, конечно, обошлось бы много дешевле в Японии. Многие стюардессы летят в Токио и делают там аборт за пятьдесят долларов. И даже как будто в клиниках. Но Димиресту почему-то Швеция или Швейцария представлялись более надежным местом. Если он когда-нибудь сделает стюардессе ребенка, заявил однажды Димирест, то избавляться от него она будет по первому классу.

Но то, что с Гвен это произошло именно сейчас, было чертовски некстати и нарушало все его планы: он задумал расширять дом и уже вышел за рамки бюджета. Ничего не поделаешь, мрачно решил он, придется продать кое-что из акций — пожалуй, «Дженерал дайнамикс»: он уже неплохо на них заработал и пора получать барыши. Надо будет позвонить маклеру, как только они вернутся из Рима... и из Неаполя.

И он спросил:

— Но ты все же поедешь со мной в Неаполь?

— Конечно. Я так давно мечтала об этом. К тому же я купила новую ночную рубашку. Ты ее увидишь завтра вечером.

Она подошла к нему, и он начал ее целовать — в губы, в щеки, в ухо, чувствуя, как напряглись ее руки, обвившие его шею. И он шепнул:

— Я люблю тебя.— В эту минуту он был уверен, что говорит правду.

— Вернон, дорогой...

— Да?

Голос ее звучал глухо — она говорила, уткнувшись ему в плечо:

— Как я тебе сказала, так и будет. Тебе не придется мне помогать. Только если ты в самом деле захочешь.

— А я и хочу.— Он решил, что нащупает почву насчет аборта по пути в аэропорт.

Гвен высвободилась из его объятий и посмотрела на свои часики: восемь двадцать.

— Пора, капитан. Поехали.

— Я думаю, ты понимаешь, что тревожиться тебе не о чем,— говорил Вернон Димирест, ведя машину.— Авиакомпании привыкли к тому, что их незамужние стюардессы беременеют. Это случается на каждом шагу. Согласно последнему отчету, десять процентов стюардесс ежегодно оказываются беременными.

Вот теперь, не без удовольствия отметил он про себя, они уже подходят к сути дела. Прекрасно! Важно отвлечь Гвен от всяких сентиментальных глупостей, связанных с этим будущим ребенком. Димирест знал: если она расчувствуется, тут, вопреки здравому смыслу, могут произойти самые нелепые вещи.

Он осторожно вел машину, твердо, но бережно держа руль,— он всегда бережно обращался с любым механизмом, будь то автомобиль или самолет. На окраине города улицы были покрыты толстым слоем снега, хотя их только что расчищали, когда он ехал из аэропорта к Гвен. Снег продолжал валить, и в местах, открытых ветру, особенно там, где не было зданий, громоздились высокие сугробы. Капитан Димирест осторожно огибал их. Ему вовсе не улыбалось застрять где-нибудь по дороге или вылезти хотя бы на минуту из машины, пока они не доберутся до гаража «Транс-Америки».

Гвен, уютно пристроившаяся рядом с ним на кожаных подушках сиденья, недоверчиво спросила:

— Неужели... неужели правда, что ежегодно десять стюардесс из ста оказываются беременными?

— Год на год, конечно, не приходится, но обычно это более или менее так,— подтвердил он.— Таблетки, несомненно, изменили это соотношение, но, насколько мне известно, ненамного. Как один из руководителей нашей ассоциации, я имею доступ к такого рода данным.— Он сделал паузу, дожидаясь реакции Гвен. Но она молчала, и он продолжал: — Нельзя забывать, что в стюардессы идут главным образом девушки из фермерского сословия, а если и городские, то из скромных семей. Они росли в глуши, жили более чем заурядно. И вдруг перед ними открывается совсем другая жизнь: новые города, номера в дорогих отелях, встречи с интересными людьми. Словом, они начинают приобщаться к la dolce vita [1].— Он усмехнулся.— Ну, и в итоге на донышке бокала иной раз остается осадок.

— Какое свинство! — Гвен вспылила впервые за все время их знакомства.— Какое высокомерие! — возмущенно продолжала она.— Одно слово: мужчина. Так вот если в *моем* бокале или *во мне* кое-что и осталось, то позволь тебе напомнить, что это твое, и хотя мы вовсе не собирались ничего оставлять, я бы подыскала для этого иное определение. И еще: меня, черт возьми, отнюдь не устраивает то, что ты сваливаешь меня в одну кучу со всеми этими девочками «из фермерского сословия» и «из скромных семей».

— Не сердись, пожалуйста.— Димирест сбавил скорость и остановился у светофора, искрившегося мириадами красных точек сквозь падающий снег. Они молча подождали, пока свет не стал зеленым, ярким, как на рождественской открытке. Когда они двинулись дальше, он мягко сказал: — Ни в какую кучу сваливать тебя я не собирался, потому что ты — исключение. Ты же умница и только по неосторожности попала в беду. Ты сама так сказала. Просто мы, наверно, оба были неосторожны.

— Ладно, хватит об этом.— Вспышка гнева у Гвен уже прошла.— Но никогда не суди обо мне по другим. Я — это я и никто другой.

— Видишь ли, Гвен, я ведь хотел только сказать, что авиакомпании привыкли к подобным вещам. Ты знаешь о существовании такого документа: «Один-три», или «Три пункта о беременности»?

Она коротко сказала:

— Да.— И добавила: — Я знала девушек, которые прибегали к его помощи. Но никогда не думала, что и мне придется этим воспользоваться.

— Большинство из них, наверно, тоже этого не предполагали.— И помолчав, он добавил: — Но ты не должна волноваться. Авиакомпании не склонны это рекламировать, и все делается шито-крыто. Как у нас со временем?

Гвен приблизила руку с часами к освещенному щитку с приборами.

— Будем вовремя.

Он осторожно вывел свой «мерседес» на среднюю полосу, угадывая ее границы под мокрым снегом, и обогнал неуклюжий грузовик. Несколько человек, по всей вероятности аварийная команда, стояли на ступеньке, уцепившись за борт грузовика. Одежда на них была мокрая, они выглядели усталыми и несчастными. И Димирест подумал: «Интересно, как бы они реагировали, если б узнали, что мы с Гвен через несколько часов будем под теплым неаполитанским солнцем».

[1] Сладкой жизни *(итал.)*.

— Не знаю, право,— промолвила вдруг Гвен,— не знаю, найду ли я в себе силы воспользоваться этим документом.

Как и Димирест, Гвен понимала, чем руководствовалось аэропортовское начальство, составляя специальный документ на случай беременности стюардесс. Ни одной компании не хотелось расставаться со своими стюардессами. Их обучение стоило дорого, и квалифицированная стюардесса являлась крупным капиталовложением. Да и кроме того, не так-то просто найти подходящих девушек с хорошей внешностью, манерами и обаянием.

Программа помощи была составлена с таким расчетом, чтобы ее было легко и просто осуществлять. Если беременная стюардесса не собиралась выходить замуж, она, естественно, стремилась по окончании беременности вернуться на прежнее место, причем авиакомпания обычно была только рада ее возвращению. Поэтому, согласно программе, ей предоставлялся официальный отпуск с сохранением занимаемой должности. В отделе же персонала существовали специальные секции, которые заботились об этих молодых женщинах, помогая им, в частности, выбрать больницу, а потом поместить ребенка на воспитание либо по месту жительства матери, либо в более отдаленном месте — по ее желанию. Если после родов стюардессе не хотелось возвращаться на прежнюю базу, ее переводили в другое место по ее выбору.

За это авиакомпания брала со стюардесс три обязательства — отсюда и название документа: «Один-три».

Во-первых, девушка обязана была оповещать отдел персонала о своем местонахождении в течение всего периода беременности.

Во-вторых, она обязана была сразу после рождения ребенка отдать его в приют для усыновления. Впоследствии ей никогда не сообщалось о том, кто его усыновил, и таким образом ребенок навсегда уходил из ее жизни. Авиакомпания, правда, гарантировала соблюдение всех необходимых процедур при усыновлении или удочерении и заботилась о том, чтобы ребенок попал в хорошую семью.

В-третьих, стюардесса могла воспользоваться программой «Один-три» лишь в том случае, если она сообщала авиакомпании фамилию отца ребенка. После этого представитель отдела персонала — человек, искушенный в такого рода делах,— немедленно вызывал отца, чтобы добиться от него денежной помощи. Представитель отдела персонала должен был получить у него письменное согласие оплатить расходы по пребыванию стюардессы в больнице и по выкармливанию ребенка, а если удастся, то и возместить с его помощью, хотя бы частично, ее потери в заработке. Авиакомпании предпочитали, чтобы такие соглашения заключались по доброй воле и без шума. Однако в случае необходимости они могли осуществить нажим на неподатливых отцов, используя свой немалый вес в обществе.

Компании, конечно, почти не приходилось прибегать к таким методам, когда отцом ребенка был кто-нибудь из членов экипажа — сам командир, или первый, или же второй пилот. В таких случаях, особенно при желании отца сохранить все в тайне, достаточно было легкого увещевания. И тогда уж компания действительно сохраняла все в тайне. Устанавливалась разумная сумма, которая выплачивалась в течение определенного срока по частям, или же компания вычитала соответствующий процент из жалованья своего служащего. А для того, чтобы избежать излишних расспросов дома, эти вычеты проводились по графе: «Персональные издержки».

Все деньги, полученные таким путем, выплачивались беременной стюардессе.

— Видишь ли, программа тем хороша,— сказал Димирест,— что ты постоянно будешь чувствовать внимание и заботу о себе.

До сих пор он старательно избегал одного — всякого упоминания слова «аборт». Ни одна авиакомпания не могла, да и не желала открыто связываться с абортом. Советы такого рода обычно давались в неофициальном порядке инспекторами из отдела персонала. Если девушка решалась на аборт, их задача была помочь ей сделать его в хороших клинических условиях, чтобы она не попала в лапы шарлатанов или плохих врачей, к которым иной раз обращаются доведенные до отчаяния женщины.

Гвен с любопытством посмотрела на своего спутника.

— Скажи мне вот что. Откуда ты так хорошо об этом осведомлен?

— Я же говорил тебе: как один из руководителей нашей ассоциации...

— Все это так, но это ассоциация летчиков. И стюардессы не имеют к тебе никакого отношения — во всяком случае в таком плане.

— Непосредственно мне, конечно, не приходилось этим заниматься.

— Значит, Вернон, ты уже сам попадал в такого рода истории... какая-то стюардесса уже была беременна от тебя... Ведь так, Вернон?

Он нехотя кивнул.

— Да.

— Тебе, конечно, не сложно укладывать к себе в постель стюардесс, этих, по твоим словам, доверчивых деревенских девчонок. Или, может, они были из «скромных городских семей»? — В голосе Гвен звучала горечь.— Ну и сколько же их было? Десяток, два? Я не прошу точной цифры — приблизительно.

Он вздохнул:

— Одна, всего одна.

Ему, конечно, невероятно везло. Их могло бы быть гораздо больше, но он сказал правду... почти правду: ведь был же еще тот случай с выкидышем. Впрочем, это можно не считать.

До аэропорта оставалось всего каких-нибудь четверть мили. Яркие огни огромного аэровокзала даже сквозь снегопад освещали небо.

Гвен сказала:

— Та девушка, которая забеременела от тебя... мне не важно знать ее имя...

— Да я и не сказал бы.

— Она воспользовалась этой штукой — документом «Один-три»?

— Да.

— И ты помогал ей?

— Я уже спрашивал тебя: за кого ты меня принимаешь? — нетерпеливо отрезал он.— Конечно, я ей помогал. Если уж тебе непременно надо все знать, изволь: компания вычитала из моего жалованья определенный процент. Поэтому я и знаю, как это делается.

Гвен улыбнулась.

— «Персональные издержки»?

— Да.

— И твоя жена знала об этом?

Он помедлил, прежде чем ответить.

— Нет.

— А что произошло с ребенком?

— Он был отдан на воспитание.

— Кто это был?

— Ребенок.

— Ты прекрасно понимаешь, о чем я спрашиваю. Это был мальчик или девочка?

— По-моему, девочка.

— По-твоему!

— Я знаю. Девочка.

Вопросы Гвен вызвали у него чувство неловкости. Они оживили воспоминания, которые он предпочитал похоронить.

Оба молчали, когда «мерседес» свернул к широкому и внушительному главному подъезду аэропорта. Высоко над входом, залитым ярким светом прожекторов, устремлялись в небо футуристические параболы — творение общепризнанного победителя международного конкурса скульпторов, символизирующее, как тогда было сказано, благородные мечты авиации. Взору Димиреста открылся сложный серпантин шоссейных дорог, «восьмерок», мостов и туннелей, спроектированных с таким расчетом, чтобы машины могли идти, не снижая скорости, хотя сегодня из-за трехдневного снегопада они ехали медленнее, чем всегда. Высокие сугробы громоздились даже на проезжей части. Общую сумятицу еще усиливали снегоочистители и грузовики, старавшиеся удержать снег хотя бы за пределами уже расчищенного пространства.

После нескольких коротких остановок Димирест, наконец, свернул на служебную дорогу, которая вела к главному ангару «Транс-Америки», где они оставят машину и сядут на автобус для летного состава.

Гвен вдруг сбросила с себя оцепенение.

— Вернон!

— Да?

— Спасибо за то, что ты был честен со мной.— Она протянула руку и дотронулась до его руки, лежавшей на руле.— У меня все будет в порядке. Просто слишком много сразу на меня свалилось. И я по-прежнему хочу ехать с тобой в Неаполь.

Он улыбнулся, кивнул, потом снял руку с руля и крепко сжал пальцы Гвен.

— Мы отлично проведем там время. Обещаю тебе, что мы оба запомним эту поездку.

И он постарается, сказал себе Димирест, выполнить это обещание. Собственно, это будет не так уж и трудно. Его тянуло к Гвен; ни к кому он еще не испытывал такой нежности, никто не был ему душевно так близок. Если бы не то, что у него есть жена... И снова, уже не в первый раз, у него мелькнула мысль порвать с Сарой и жениться на Гвен. Но он тут же прогнал эту мысль. Он знал немало своих коллег, переживших подобное,— пилотов, которые после многих лет совместной жизни бросали жен ради более молодых женщин. И в итоге чаще всего оказывались у разбитого корыта с солидным грузом алиментов на плечах.

Так или иначе, во время этого полета, а может быть в Риме или в Неаполе, ему придется провести еще один серьезный разговор с Гвен. До сих пор они говорили не совсем в том ключе, как ему бы хотелось, и вопрос об аборте не был затронут.

А пока ему предстояло более неотложное дело: рейс «Транс-Америки» номер два.

3

Ключ был от комнаты 224 в гостинице «О'Хейген».

В полутемной гардеробной, примыкавшей к радарной, Кейз Бейкерсфелд вдруг осознал, что он уже несколько минут сидит, уставившись на ключ с пластмассовым ярлычком. А может быть, лишь несколько секунд? Возможно. Просто он перестал ощущать течение времени, как и многое другое,— утратил способность ориентироваться. Иной раз дома Натали вдруг замечала, что он стоит, застыв, и смотрит в пространство. И только когда она озабоченно спрашивала: «Что ты тут делаешь?» — к нему словно возвращалось сознание, способность действовать и думать.

Сквозь единственное окно в гардеробную проникало достаточно све-

та от прожекторов, установленных на башне. Но Кейзу свет не был нужен. Он сидел на одной из деревянных скамей, так и не притронувшись к сандвичам, которые приготовила ему Натали, и, глядя на ключ от номера в гостинице «О'Хейген», раздумывал над тем, какой загадкой является человеческий мозг.

Человеческий мозг может рождать смелые образы, создавать поэзию и радары, вынашивать идею Сикстинской капеллы и сверхзвукового самолета «конкорд». И в то же время мозг — благодаря своей способности хранить воспоминания и осознавать происшедшее — может терзать человека, мучить его, не давая ни минуты покоя, так что лишь смерть способна положить этому конец.

Смерть... стирающая воспоминания, несущая забвение и покой.

Это и побудило Кейза Бейкерсфелда принять решение сегодня ночью покончить с собой.

Пора уже было возвращаться в радарную. До конца смены оставалось еще несколько часов, а Кейз заключил сам с собой договор: довести до конца сегодняшнюю вахту в радарной. Он не мог бы сказать, почему он так решил,— просто считал это правильным и привык быть добросовестным во всем. Добросовестность была у них в крови — это, пожалуй, единственное, что роднило его с Мелом.

Так или иначе, когда смена закончится и его последнее обязательство будет выполнено, ничто уже не помешает ему пойти в гостиницу «О'Хейген» и там, не теряя времени, принять сорок таблеток нембутала, которые лежали у него в кармане. Он собирал их по две-три штуки на протяжении нескольких месяцев. Врач прописал ему это снотворное, и каждый раз, когда Натали покупала его в аптеке, Кейз незаметно откладывал и прятал половину. А на днях пошел в библиотеку и по учебнику клинической токсикологии выяснил, что количество нембутала, которым он располагал, значительно превышало роковую дозу.

Смена его закончится в полночь. Вскоре после этого он примет таблетки и быстро заснет последним сном.

Он посмотрел на свои ручные часы, повернув циферблат к свету, падавшему из окна. Было почти девять. Пора возвращаться в радарную? Нет, надо еще немного подождать. Ему хотелось прийти туда совершенно спокойным, чтобы нервы были готовы к любым случайностям, которые могут произойти в течение этих последних оставшихся ему часов.

Кейз Бейкерсфелд снова повертел в руках ключ от номера в гостинице. Комната 224.

Странное совпадение: номер комнаты, которую он снял, оканчивался на «двадцать четыре». Есть люди, которые верят в нумерологию, в оккультное значение цифр. Кейз не верил, и тем не менее цифра «двадцать четыре» вторично врывалась в его жизнь.

Первый раз это была дата — 24 число, и было это полтора года назад. Глаза Кейза увлажнились. День этот врезался в его память, вызывая чувство укоризны и душевной тоски всякий раз, когда он вспоминал о нем. Отсюда и возник мрак, окутавший постепенно его сознание, отсюда возникло его отчаяние. Это же привело его к решению покончить сегодня с жизнью.

Летнее утро. Четверг. Двадцать четвертое июня.

Это был день, точно специально созданный для поэтов, влюбленных и фотографов, снимающих на цветную пленку,— один из тех дней, которые человек сохраняет в памяти и потом извлекает из нее, как листок старого календаря, когда много лет спустя хочет вспомнить что-то радостное и прекрасное. В Лисберге, штат Вирджиния, при восходе солн-

ца небо было таким ясным, что в сводке погоды стояло «ПИВБ» — на языке авиаторов это значит: «Потолок и видимость безграничны»; лишь после полудня то тут, то там стали появляться облачка, похожие на рваные клочки ваты. Солнце грело, но не пекло, легкий ветерок с гор Блу-Ридж приносил аромат клевера.

По пути на работу в то утро — а он ехал в Вашингтонский центр наблюдения за воздухом в Лисберге — Кейз видел дикие розы в цвету. Ему даже вспомнилась строка из Китса, которого он учил в школе: «И пышноцветье лета...» Она как-то очень перекликалась с этим днем.

Он пересек границу Вирджинии: ехал он из Адамстауна, штат Мериленд, где они с Натали снимали для себя и двух своих сыновей славный небольшой домик. Крыша его «фольксвагена» была опущена; он вел машину не спеша, наслаждаясь мягким воздухом и нежарким солнцем, и когда впереди показались знакомые низкие современные строения центра, чувствовал себя в более размягченном состоянии духа, чем обычно. Впоследствии он не раз спрашивал себя, не явилось ли это причиной того, что произошло потом.

Даже в главном здании — доме с глухими толстыми стенами, куда не было доступа дневному свету,— Кейзу казалось тогда, что вокруг все еще сияет летний день. Среди семидесяти с лишним диспетчеров, сидевших в одних рубашках без пиджаков, царила какая-то атмосфера легкости и не чувствовалось напряжения, обычного при их работе. Одной из причин, очевидно, было то, что при такой удивительно ясной погоде им меньше приходилось следить за полетами. Многие некоммерческие самолеты — частные, военные и даже некоторые лайнеры — летели сегодня, пользуясь визуальным наблюдением, иными словами, по методу: «Ты меня видишь — я тебя вижу», когда пилот сам следит за своим местонахождением в воздухе и ему нет нужды связываться по радио с КДП и сообщать, где он находится.

Лисбергский центр играл в авиации важную роль. Отсюда велось наблюдение за движением по всем авиалиниям над шестью восточными прибрежными штатами и давались указания самолетам. Зона наблюдения превышала сто тысяч квадратных миль. Как только самолет, летящий по приборам, покидал аэропорт в этой зоне, он тут же попадал под наблюдение и контроль Лисберга. И находился под контролем до тех пор, пока не заканчивал полета или не покидал зоны. Если же какой-то самолет подлетал к зоне, сведения о нем тотчас поступали от одного из двадцати аналогичных центров, разбросанных по всем Соединенным Штатам. Лисбергский центр считался одним из самых загруженных в стране. В нем осуществлялось наблюдение за южным концом «Северо-восточного коридора», занимающего первое место в мире по числу самолетов, пролетающих в течение дня.

Как ни странно, близ лисбергского центра не было ни одного аэропорта, ближайший, по которому он и назывался, находился в Вашингтоне, то есть на расстоянии сорока миль. Центр — группа низких современных строений с площадкой для машин — был расположен среди вирджинских полей; с трех сторон его окружала возделанная земля. А с четвертой протекала маленькая речушка под названием Бычий Ручей, навеки прославившаяся благодаря двум сражениям Гражданской войны. Кейз Бейкерсфелд как-то раз после работы ходил к этому ручью, размышляя о превратностях судьбы — о прошлом Лисберга и таком непохожем на прошлое настоящем.

В это утро, несмотря на ясный, солнечный день за окном, в просторной и высокой, как неф собора, главной диспетчерской люди работали как всегда. Диспетчерская — огромное помещение, больше футбольного поля — была по обыкновению слабо освещена, чтобы яснее видны были экраны двух-трех десятков радаров, установленные в несколько

рядов и ярусов под нависающими сверху козырьками. Вошедшего прежде всего оглушал шум. Из помещения, где сосредоточиваются данные о полете и где установлены огромные счетно-вычислительные машины, соответствующая электронная аппаратура и автоматические телетайпы, доносился непрерывный гул и стрекот машин. А над десятками диспетчеров, дающих указания самолетам, стоял непрекращающийся гул голосов, переговаривавшихся по радио на разных частотах.

Над аппаратурой и диспетчерами во всю длину помещения пролегал мостик для наблюдения, куда иногда приводили посетителей наблюдать за происходящим внизу. Отсюда, с этой высоты, диспетчерская очень походила на биржу. Диспетчеры редко смотрели вверх, на мостик: они привыкли ни на что не обращать внимания, чтобы не отвлекаться от работы.

В комнате, примыкавшей к диспетчерской, Кейз стащил с себя куртку и вошел в помещение в свежей белой рубашке, которая была своего рода формой для диспетчеров. Никто не знает, почему диспетчеры работают в белых рубашках — такого правила нет, просто так заведено. Пока Кейз шел к своему месту, несколько коллег дружелюбно пожелали ему «доброго утра», и это тоже было необычно. Как правило, в диспетчерской царило такое невероятное напряжение, что люди лишь поспешно кивали друг другу или бросали коротко «привет», а иногда обходились и без этого.

Кейз работал в секторе Питтсбург — Балтимор. Наблюдение за сектором осуществляли трое. Кейз был диспетчером на радаре; в его обязанности входило поддерживать связь с самолетами и давать им по радио указания. Два младших диспетчера занимались сбором данных о полете и связью с аэропортами. Старший по группе координировал деятельность всех троих. В тот день с ними работал стажер, которого Кейз натаскивал на протяжении нескольких недель.

Вместе с Кейзом Бейкерсфелдом в помещение вошло еще несколько человек; все они встали за теми, кого пришли сменить: требовалось несколько минут на то, чтобы «запомнить картинку».

Став у своего сектора, позади сдававшего работу диспетчера, Кейз сразу почувствовал, как обострилось его восприятие, усилилась работа мысли. Так будет работать его мозг в течение ближайших восьми часов, не считая двух коротких перерывов.

— «Картинку запомнил»,— спокойно сказал Кейз.

Диспетчер, которого он сменял, кивнул и встал с места.

Старший по группе — Перри Юнт — надел наушники и, нагнувшись над головою Кейза, стал вглядываться в экран, оценивая ситуацию. Перри, высокий стройный негр, был на несколько лет младше Кейза. Голова его работала быстро, и он обладал хорошей памятью, способной хранить уйму всевозможной информации и затем выдавать ее по частям или всю сразу с точностью счетно-вычислительной машины. В трудные минуты легче дышалось, когда Перри был рядом.

Кейз уже принял три самолета и передал несколько самолетов другим центрам, когда старший дотронулся до его плеча.

— Кейз, я сегодня работаю за двоих — в твоей группе и в соседней. Не вышел один человек. У тебя пока все в порядке?

Кейз кивнул.

— Вас понял.— Он передал по радио коррекцию к курсу самолету компании «Истерн», затем указал на стажера Джорджа Уоллеса, опустившегося в кресло рядом с ним.— При мне Джордж — он подстрахует меня.

— О'кей.

Перри Юнт снял наушники и перешел к соседней группе. Такого рода случаи бывали и прежде, и все протекало гладко. Перри Юнт и Кейз

уже несколько лет работали вместе, каждый знал, что может вполне положиться на другого.

Кейз повернулся к стажеру, сказал:

— Джордж, «запоминай картинку».

Джордж Уоллес кивнул и ближе пригнулся к экрану. Ему было лет двадцать пять, и он уже два года работал стажером; до этого он проходил военную службу в авиации. Уоллес успел показать, что у него живой, быстрый ум и что он обладает способностью не терять головы в минуты напряжения. Через неделю он должен был стать полноправным диспетчером, хотя практически уже сейчас мог занять этот пост.

Кейз намеренно дал сблизиться самолетам «Американ Эйрлайнз» и «Нейшнл»: он был уверен, что мигом сумеет развести их, если возникнет опасность. Однако Джордж Уоллес сразу заметил непорядок и предостерег Кейза, тот выправил положение.

Это был единственный надежный способ проверить способности нового диспетчера. Стажера иногда специально оставляли одного у экрана и, если возникали сложности, давали ему возможность проявить изобретательность и справиться самому. В такие минуты диспетчеру-инструктору полагалось сидеть спокойно и, сжав кулаки, обливаться потом. Кто-то однажды сказал: «Это все равно что висеть в воздухе, зацепившись ногтями за карниз». Все зависело от выдержки, от умения не слишком рано и не слишком поздно вмешаться и взять на себя ответственность. Вмешавшись, инструктор может навсегда подорвать у стажера уверенность в себе, и тогда из него никогда уже не выйдет хорошего диспетчера. С другой стороны, если инструктор не вмешается в нужную минуту, в воздухе может произойти страшная катастрофа.

Риск и нервное напряжение при этом так возрастают, что многие диспетчеры отказываются брать стажеров. Они ссылаются на то, что не получают за это ни благодарности, ни дополнительной оплаты. Более того: в случае катастрофы инструктор целиком в ответе. Так зачем же взваливать на себя и ответственность и дополнительную нагрузку?

Однако Кейз охотно выступал в роли инструктора и терпеливо готовил стажеров. И хотя порой он тоже терзался и потел, но все же брался за эту работу, потому что считал ее нужной. И сейчас гордился тем, что из Джорджа Уоллеса получался отличный диспетчер.

Время близилось к полудню.

Без десяти одиннадцать Кейз почувствовал потребность отправиться в туалет. За последние месяцы он перенес несколько вспышек желудочного гриппа и опасался, что начинается новая. Он поманил Перри Юнта и доложился ему. Старший кивнул.

— Джордж справляется?

— Не хуже ветерана.— Кейз сказал это достаточно громко, чтобы Джордж мог услышать.

— Я присмотрю,— сказал Перри.— Можешь быть свободным, Кейз.

— Спасибо.

Кейз отметил в журнале своего сектора время ухода, Перри нацарапал свои инициалы на следующей строке, тем самым принимая на себя руководство Уоллесом. Через несколько минут, когда Кейз вернется, та же процедура будет повторена.

Кейз Бейкерсфелд, выходя из диспетчерской, видел, как старший по группе всматривался в экран, слегка опершись на плечо Джорджа Уоллеса.

Уборная, куда направился Кейз, находилась этажом выше. Несмотря на замазанное белым стекло, в нее все же проникал яркий свет дня. Облегчившись и вымыв руки, Кейз подошел к окну и распахнул его. Ему захотелось взглянуть, не изменилась ли погода. День сиял по-прежнему.

Задняя стена здания, в которой было прорезано окно, выходила на

служебный двор, за ним расстилались цветущие зеленые луга, виднелись деревья. Воздух уже успел нагреться. В знойном мареве стоял навевавший дремоту гул насекомых.

Кейз застыл у окна — уж очень не хотелось ему расставаться с этим радостным, солнечным пейзажем и возвращаться в полумрак диспетчерской. За последнее время нежелание идти в диспетчерскую часто возникало в нем — пожалуй, даже слишком часто,— и он подумал, что если признаться по чести, то оно объяснялось не столько полумраком, который там царит, сколько напряжением, вызываемым работой.

Пока Кейз Бейкерсфелд стоял у окна и раздумывал, «боинг-727» компании «Ориент», следовавший из Миннеаполиса-Сент-Пола, приближался к Вашингтону. В салоне самолета стюардесса склонилась над пожилым мужчиной. Лицо его было мертвенно бледно, он молчал, видимо, не в силах произнести ни слова. Стюардесса решила, что у него, должно быть, сердечный приступ. Она поспешила к летчикам, чтобы оповестить о случившемся командира экипажа. Через несколько минут, по приказу командира, первый пилот запросил Вашингтонский центр наблюдения за воздухом о специальном разрешении совершить срочную посадку в Вашингтонском аэропорту.

Кейз не раз уже задумывался, как задумался он сейчас, сколько еще сможет выдержать его усталый мозг. Ему недавно исполнилось тридцать восемь. Он работал диспетчером добрых полтора десятка лет.

Самым удручающим было то, что хотя на этой работе человек в сорок пять — пятьдесят лет уже полностью изнашивался и чувствовал себя стариком, до выхода на пенсию надо было тянуть еще десять—пятнадцать лет. Многим воздушным диспетчерам это оказывалось не под силу, и они не дотягивали до конца.

Кейз знал, как знали и другие диспетчеры, что о влиянии их работы на организм уже давно официально известно. У врачей, которые наблюдали за состоянием здоровья авиационного персонала, накопились горы материалов на этот счет. В числе болезней, являвшихся прямым следствием профессии диспетчера, фигурировали: нервное истощение, стенокардия, язва кишечника, тахикардия, психические расстройства и множество других, менее тяжелых заболеваний.

Вооруженное этими данными — да и не только этими,— Федеральное управление авиации обращалось в Конгресс с предложением установить для воздушных диспетчеров срок выхода на пенсию в пятьдесят лет или после двадцати лет службы. Двадцать лет работы воздушным диспетчером, утверждали врачи, равнялись сорока годам работы в любой другой профессии. Федеральное управление авиации предупреждало законодателей, что от их решения зависит безопасность граждан: на диспетчеров, прослуживших свыше двадцати лет, уже нельзя полагаться. Кейз вспомнил, что Конгресс игнорировал это предупреждение и отказался утвердить законопроект.

А затем и специальная комиссия, созданная президентом, проголосовала против предложения о сокращении срока службы для диспетчеров, и Федеральному управлению авиации посоветовали прекратить свои попытки и успокоиться. Официально оно так и поступило. Однако, насколько было известно Кейзу, да и другим тоже, люди, работавшие в Вашингтоне в Федеральном управлении авиации, были убеждены, что этот вопрос снова возникнет, но лишь после того, как по вине усталого диспетчера произойдет очередная авиационная катастрофа или ряд катастроф и пресса вместе с общественностью поднимут по этому поводу шум.

Мысли Кейза снова перенеслись к расстилавшемуся перед ним пейзажу. День был поистине великолепный, и даже отсюда, из окна убор-

ной, свежесть лугов так и манила к себе. Хорошо бы выйти туда, растянуться и поспать на солнышке. Но, увы, это не для него, и вообще пора было возвращаться в диспетчерскую. Он сейчас и вернется — вот только постоит еще немного у окна.

Получив разрешение из Вашингтонского центра, «боинг-727» компании «Ориент» уже начал снижаться. Другим самолетам, летевшим ниже, были спешно даны указания либо изменить курс, либо покружить на безопасном расстоянии от снижавшегося самолета. В возросшем к полудню потоке машин был проложен по нисходящей коридор, по которому самолет компании «Ориент» и продолжал снижаться. Об этом был предупрежден КДП Вашингтонского аэропорта, которому предстояло принять самолет от Вашингтонского центра и посадить его. А пока полетом этого самолета и всех прочих самолетов в этом секторе руководила группа, соседняя с группой Кейза,— та самая, за которой, в дополнение к своему основному сектору, наблюдал молодой негр Перри Юнт.

В этот момент в воздухе, на площади всего в несколько миль, находилось пятнадцать машин. Все они должны были лететь на известном расстоянии друг от друга. И сквозь их строй надо было провести и посадить самолет компании «Ориент».

Перри Юнт, как всегда спокойно и уверенно, давал указания.

Все шло хорошо. Самолет компании «Ориент» спускался по проложенному курсу. Еще несколько минут — и чрезвычайное положение будет ликвидировано.

Хотя напряжение было предельным, Перри Юнт все же улучил минуту и переключился на соседнюю группу, которой вообще-то должен был уделять все свое внимание, чтобы проверить, как идут дела у Джорджа Уоллеса. Все вроде бы обстояло хорошо, хотя, конечно, Перри чувствовал бы себя спокойнее, если бы Кейз Бейкерсфелд был на месте. Он бросил взгляд на дверь. Но Кейз не появлялся.

Кейз тем временем продолжал стоять у раскрытого окна. Он смотрел на поля Вирджинии, и ему вдруг вспомнилась Натали. Он вздохнул. Последнее время между ними стали возникать ссоры из-за его работы. Натали очень беспокоило здоровье Кейза. Она хотела, чтобы он бросил работу воздушного диспетчера и, пока еще молод и не совсем растратил здоровье, нашел себе другое занятие.

Над Мартинсбергом, штат Западная Вирджиния, милях в тридцати к северо-западу от Вашингтонского центра, четырехместный частный самолет «бич-бонанза», летевший на высоте семи тысяч футов, свернул с авиатрассы В-166 на авиатрассу В-44. Маленький самолетик с хвостом, похожим на бабочку, летел со скоростью 175 миль в час в Балтимор. Он вез семейство Редфернов — Ирвинга Редферна, инженера-экономиста, работавшего консультантом по договорам, его жену Мерри и двух детей — Джереми, десяти лет, и Валери, девяти лет.

Ирвинг Редферн был человек педантичный и осторожный. В такую ясную погоду он мог бы лететь по методу визуального наблюдения. Однако он счел более благоразумным лететь по приборам и с тех пор как покинул свой родной аэропорт в Чарлстоне, штат Западная Вирджиния, на протяжении всего полета поддерживал контакт с соответствующими диспетчерскими пунктами. Только что Вашингтонский центр дал ему новый курс, приказав свернуть на

авиатрассу В-44. Он свернул на нее — стрелка его магнитного компаса слегка качнулась и успокоилась.

Диспетчером, давшим такое указание Ирвингу Редферну, был Джордж Уоллес. Он тотчас обнаружил самолет Редферна, как только тот появился у него на экране в виде яркой зеленой точки, меньшей по размеру, чем остальные, и передвигавшейся медленнее других. Около «бич-бонанзы» никаких машин вроде бы не было, и самолет мог спокойно лететь дальше. Перри Юнт, старший по группе, в этот момент снова переключился на соседний участок. Время от времени он все же поглядывал на Джорджа, а раз даже спросил: «Все в порядке?» Джордж Уоллес кивнул, хотя уже взмок от напряжения. Сегодня что-то раньше обычного стал ощущаться перегруз в воздухе.

Неведомо для Джорджа Уоллеса, или Перри Юнта, или Ирвинга Редферна в нескольких милях к северу от авиатрассы В-44 лениво кружил тренировочный самолет воздушных сил Национальной гвардии марки «Т-33». Самолет был приписан к аэропорту Мартина, близ Балтимора, а национальный гвардеец, пилотировавший его, занимался в обычной жизни продажей автомобилей и звали его Хэнк Нил.

Сейчас лейтенант Нил проходил военную переподготовку без отрыва от работы и в одиночестве выполнял тренировочный полет с виражами. Поскольку ему было приказано летать в строго определенной зоне к северо-западу от Балтимора, об этом полете никого не уведомляли, и Вашингтонский центр понятия не имел о том, что «Т-33» находится в воздухе. Все это не имело бы значения, если бы Нилу не надоело выполнять задание и если бы он не был пилотом-лихачом. Пока его самолет лениво описывал круги, он время от времени поглядывал наружу и заметил, что забрался немного южнее положенного, тогда как на самом деле довольно далеко отклонился на юг. Несколько минут назад он вошел в район, контролируемый Джорджем Уоллесом в Лисберге, и появился у него на экране в виде зеленой точки, более яркой, чем та, что обозначала «бич-бонанзу» с семейством Редфернов на борту. Опытный диспетчер сразу понял бы, что это за точка. А Джордж, занятый другими самолетами, даже не заметил появившегося на экране нового сигнала.

Тем временем лейтенант Нил, летевший на высоте 15 тысяч футов, решил закончить свою практику акробатическим трюком — сделать две мертвые петли, пару бочек и вернуться на базу. Он круто развернул свой «Т-33» и повел его по кругу, чтобы, согласно правилам, посмотреть, нет ли самолетов над ним или под ним. При этом он еще больше приблизился к авиатрассе В-44.

Нет, раздумывал тем временем Кейз Бейкерсфелд, жене его, видимо, не понять, что даже если тебе и очень хочется, нельзя вот так взять и уйти с работы. Особенно когда у тебя семья, дети, которых надо учить. А тем более, когда для своей работы ты терпеливо накапливал знания, которые нигде больше не сможешь применить. Есть профессии, позволяющие человеку перейти на другое место и там использовать свой опыт и свои знания. Для воздушного диспетчера это исключено. Его работа не нужна в частной промышленности, да и вообще он нигде больше не нужен.

Сознание, что ты находишься в капкане — а именно так обстояло дело,— приходило вместе с другими разочарованиями. В их числе была оплата труда. Когда ты молод, полон энтузиазма, горишь желанием работать в авиации, шкала оплаты воздушного диспетчера кажется тебе

вполне приемлемой и даже высокой. И только позже ты начинаешь понимать, насколько она не соответствует той страшной ответственности, которая лежит на тебе.

Да и в смысле продвижения по службе воздушному диспетчеру в противоположность людям многих других профессий не на что особенно рассчитывать. Постов старших по группе очень немного, и лишь редкие счастливчики получают их.

И тем не менее... уходить нельзя. Поэтому, решил Кейз, он и дальше будет тут сидеть. Придется еще раз поговорить с Натали: пора ей примириться и понять, что перемены невозможны. Да и не намерен он в этом возрасте заново пробивать себе путь в жизни.

Нет, теперь ему уже действительно пора возвращаться на место. Взглянув на свои часы, он не без чувства вины обнаружил, что прошло почти 15 минут с тех пор, как он покинул диспетчерскую. Большую часть этого времени он провел в состоянии какой-то сонной одури, что бывало с ним редко, а сейчас, видимо, объяснялось размагничивающим действием летнего дня. Кейз закрыл окно в уборной. И выйдя в коридор, поспешно зашагал в главную диспетчерскую.

Высоко над округом Фредерик, штат Мериленд, лейтенант Нил выровнял свой «Т-33» и полетел прямо. Он окинул небрежным взором окружающее пространство: никаких самолетов поблизости не было. Тогда он круто пошел вниз, начиная первую петлю и последующую бочку.

Войдя в диспетчерскую, Кейз Бейкерсфелд сразу почувствовал, что темп работы изменился. Гул голосов стал более громким. Все диспетчеры были заняты и уже не поднимали на него глаз, когда он проходил мимо. Кейз расписался в журнале и проставил время, затем встал за Джорджем Уоллесом, «запоминая картинку», стараясь приучить глаза к полутьме диспетчерской, особенно ощутимой после яркого солнечного света. Когда Кейз появился, Джордж буркнул: «Привет!» — и продолжал передавать по радио инструкции самолетам. Через минуту-другую, «запомнив картинку», Кейз сменит Джорджа и сядет на свое место. А все-таки Джорджу, подумал Кейз, наверно, полезно было побыть одному — он теперь увереннее будет себя чувствовать. Перри Юнт, наблюдавший за соседней группой, заметил, что Кейз вернулся.

Кейз изучил экран и передвигавшиеся по нему точки — самолеты, опознанные Джорджем, затем переключил внимание на маленькие передвижные указатели курса. В этот момент неопознанная ярко-зеленая точка бросилась Кейзу в глаза. Он резко спросил Джорджа:

— Это что за самолет рядом с «бич-бонанзой» четыреста третий?

Лейтенант Нил закончил первую петлю и бочку. Он снова взмыл вверх на высоту 15 тысяч футов, все еще находясь над округом Фредерик, хотя чуть южнее. Он выровнял свой «Т-33», затем резко опустил его носом вниз, вошел в пике и начал вторую петлю.

— Какой самолет?..— Джордж Уоллес взглядом проследил за пальцем Кейза и ахнул. Потом сдавленным голосом произнес:— О господи!

Быстрым движением Кейз сорвал с Джорджа наушники и плечом вытолкнул его из кресла. Затем включил рычажок нужной частоты, нажал кнопку передачи:

— «Бич-бонанза» четыреста третий, говорит Вашингтонский центр. Слева от вас — неопознанный самолет. Немедленно развернитесь вправо!

«Т-33» достиг самой нижней точки петли. Лейтенант Нил взял штурвал на себя и, дав полный газ, стремительно пошел вверх. А как раз над ним по авиатрассе В-44 летел крошечный «бич-бонанза» с Ирвингом Редферном и его семьей.

В диспетчерской... затаив дыхание... стиснув зубы... молча следили за сближением ярких зеленых точек.

В наушниках вдруг загрохотало:

— Вашингтонский центр, говорит «бич»... — И все — связь прервалась.

Инженер-экономист Ирвинг Редферн был довольно опытным пилотом-любителем, но не профессионалом.

Пилот, привыкший водить самолеты по трассе, получив указание Вашингтонского центра, тотчас круто развернул бы самолет вправо. Он почувствовал бы по голосу Кейза, что это необходимо, и действовал бы, не раздумывая и ничего не выясняя — пока. Пилот-профессионал плюнул бы на все возможные последствия перемены курса, лишь бы — главное! — избежать аварии, потому что этим несомненно объяснялись указания центра. Позади него, в пассажирской кабине мог пролиться кофе, могли разлететься во все стороны тарелки с завтраком и даже кое-кого могло слегка ранить. Позже могли начаться жалобы, обвинения, быть может, даже расследование со стороны Совета гражданской аэронавтики. Но при минимальном везении все остались бы живы. Для этого достаточно было быстро отреагировать — и все. Семейство Редфернов в таком случае тоже не погибло бы.

У пилотов-профессионалов, благодаря тренировкам и опыту, рефлексы работают быстро и точно. Ирвинг Редферн этим качеством не обладал. Человек он был педантичный, ученого склада, привыкший сначала думать, а потом действовать, и действовать при этом по всем правилам. Поэтому прежде всего он подумал о том, что надо подтвердить Вашингтонскому центру получение радиограммы. На это и ушло у него две или три секунды — все время, каким он располагал. «Т-33», выходя из петли, взмыл вверх и протаранил «бич-бонанзу» — раздался визг металла, и левое крыло отлетело. «Т-33», тоже тяжело поврежденный, некоторое время еще продолжал лететь вверх по инерции, но его передний отсек стал рассыпаться. И тогда лейтенант Нил, еще не очень понимая, что происходит — а он лишь на миг уловил очертания промелькнувшего мимо другого самолета,— выбросился из кабины и повис на раскрывшемся парашюте. Под ним, потеряв управление и нелепо крутясь в воздухе, «бич-бонанза» с семейством Редфернов падал вниз.

У Кейза дрожали руки, когда он снова нажал кнопку микрофона:

— «Бич-бонанза» четыреста третий, говорит Вашингтонский центр. Вы меня слышите?

Джордж Уоллес стоял подле Кейза, губы его безмолвно шевелились. В лице не было ни кровинки.

Пока они, застыв от ужаса, смотрели на экран, зеленые точки на нем сблизились, произошла яркая вспышка, и все погасло.

Перри Юнт, почувствовав что-то неладное, подъехал к ним на своем табурете:

— В чем дело?

У Кейза пересохло во рту, он с трудом произнес:

— По-моему, произошло столкновение в воздухе.

Вот тогда-то и раздался этот голос, возникнув словно из кошмарного сна, и все, кто его слышал, дорого бы дали, чтобы никогда его не слышать, но теперь он уже на всю жизнь врезался в их память.

В обреченном «бич-бонанзе», который, крутясь, летел на землю, Ирвинг Редферн, по-прежнему сидя в кресле пилота,— возможно, непроизвольно, а возможно, в отчаянной попытке хоть что-то сделать, предпринять,— нажал на передаточную кнопку своего микрофона, и радио заработало.

В Вашингтонском центре ожил консольный динамик, который включил Кейз, как только возникло ЧП. Сначала раздался грохот, потом пронзительные, отчаянные крики, от которых стыла кровь. В диспетчерской все головы повернулись к консоли. Лица побелели. Джордж Уоллес истерически всхлипывал. Старшие по группам, бросив свои посты, кинулись к группе Кейза.

И вдруг, перекрывая эти крики и шум, отчетливо и ясно раздался голос, испуганный, одинокий, молящий. Сначала не все слова можно было разобрать. Только потом, когда снова и снова прокручивали ленту магнитофона, различили все слова и опознали голос — он принадлежал девятилетней девочке, Валери Редферн.

— ...Мамочка!.. Папочка!.. Помогите мне, я не хочу умирать... Милый боженька, я же хорошая... Пожалуйста! Я не хочу...

По счастью, передача на этом оборвалась.

«Бич-бонанза» упал и сгорел у селения Лиссабон, штат Мериленд. Ни одного из четверых пассажиров нельзя было опознать, и то, что от них осталось, похоронили в общей могиле.

А лейтенант Нил благополучно опустился на парашюте в пяти милях от места катастрофы.

Все три диспетчера, имевшие отношение к трагедии,— Джордж Уоллес, Кейз Бейкерсфелд и Перри Юнт,— были тотчас освобождены от работы до окончания расследования.

Стажера Джорджа Уоллеса впоследствии полностью оправдали, так как в момент катастрофы он еще не был законченным диспетчером. Тем не менее его уволили с государственной службы и навсегда запретили работать в этой области.

Вся ответственность пала на молодого негра Перри Юнта. Комиссия по расследованию на протяжении многих дней и недель гоняла ленту на магнитофоне, изучала доказательства и проверяла решения, которые Юнту пришлось принимать в течение секунд в обстановке страшного напряжения, и наконец решила, что ему следовало не уделять столько времени самолету компании «Ориент», а заняться лучше наблюдением за Джорджем Уоллесом во время отсутствия Кейза Бейкерсфелда. То обстоятельство, что Перри Юнт по доброй воле нес двойную нагрузку, от чего он вполне мог бы отказаться,— не было принято во внимание комиссией. Юнту вынесли порицание и понизили его в чине.

Кейза Бейкерсфелда полностью оправдали. Комиссия по расследованию особо постаралась отметить, что Кейз официально отпросился с дежурства, что просьба его была оправдана и что, покидая помещение и возвращаясь на свой пост, он, согласно инструкции, расписался в журнале. Более того: по возвращении он сразу уловил угрозу катастрофы и попытался ее предотвратить. Комиссия похвалила его за умение быстро ориентироваться и действовать, хотя это и не предотвратило катастрофы.

Первоначально вопрос о том, сколько времени отсутствовал Кейз в диспетчерской, не возникал. Но ближе к концу расследования Кейз, чувствуя, как складываются дела Перри Юнта, сам попытался заговорить об этом и принять на себя всю тяжесть вины. Его любезно выслушали, но было совершенно ясно, что комиссия рассматривает его показания лишь как благородный поступок — и ничего больше. Кейза даже не дослушали до конца, как только стало ясно, куда он клонит. В окончательном докладе комиссии о нем вообще не было сказано ни слова.

Воздушные силы Национальной гвардии провели собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что лейтенант Хэнк Нил по легкомыслию нарушил приказ оставаться в районе Мидлтаунской воздуш-

ной базы и приблизился на своем «Т-33» к авиатрассе В-44. Однако доказать, где именно он находился, не представлялось возможным, поэтому никаких обвинений против него выдвинуто не было. И лейтенант продолжал продавать автомобили, а по уик-эндам — летать.

Когда Перри Юнт узнал о решении комиссии, у него случился нервный шок. Пришлось положить его в больницу, в психиатрическое отделение. Он уже пошел было на поправку, когда вдруг получил по почте из анонимного источника отпечатанный типографским способом бюллетень, который издавала некая правая группа в Калифорнии, выступавшая, в частности, против предоставления неграм гражданских прав. В бюллетене содержалось намеренно искаженное описание редферновской трагедии. Перри Юнт был изображен там невеждой и тупицей, не способным понять возложенной на него ответственности и оставшимся безразличным к гибели семейства Редфернов. Этот инцидент, утверждал бюллетень, должен послужить предостережением «добросердечным либералам», которые помогают неграм получать ответственные посты, никак не отвечающие их умственным способностям. Бюллетень призывал «гнать метлой» всех негров, работающих воздушными диспетчерами, «пока не повторилось еще раз такое».

В любое другое время человек, обладавший умом Перри Юнта, внимания бы не обратил на этот бюллетень — ну, стоит ли связываться с маньяками? Но Юнт не вполне еще оправился, и бюллетень оказал на него роковое действие: состояние его резко ухудшилось, и он надолго застрял бы в больнице. Однако правительственная комиссия отказалась оплачивать больничные счета на том основании, что его болезнь не была вызвана травмой, полученной при исполнении служебных обязанностей. Юнта выписали из больницы, но в диспетчерскую он не вернулся. Кейз слышал, что он нанялся на работу в балтиморский портовый бар и стал сильно пить.

Джордж Уоллес вообще исчез с горизонта. Ходили слухи, что он записался в армию — на сей раз в пехоту, а не в авиацию — и что у него серьезные неприятности с военной полицией. Говорили, что Уоллес частенько ввязывался в ссоры и драки и при этом делал все, чтобы его избили. Впрочем, слухи эти ничем не подтверждались.

Что же до Кейза Бейкерсфелда, то какое-то время казалось, что жизнь его потечет по-прежнему. Когда расследование закончилось, ему разрешили возобновить работу — на прежнем месте и в прежней должности. И он вернулся в Лисберг. Коллеги, понимая, что трагедия, случившаяся с Кейзом, легко могла произойти с любым из них, относились к нему дружелюбно и сочувственно. И первое время все шло хорошо.

После того как ему не удалось привлечь внимание комиссии к тому, что в тот роковой день он слишком долго бил баклуши в уборной, Кейз больше ни с кем на эту тему не заговаривал, даже с Натали. Однако память об этом прочно засела в его мозгу.

Натали была внимательной и любящей женой. Она понимала, что Кейз травмирован и что после такого шока человек не может сразу прийти в себя, и всячески старалась подстраиваться под его настроение: она болтала и была оживлена, когда чувствовала, что ему это по душе, и молчала, когда он молчал. Оставаясь наедине с Брайаном и Тео, Натали терпеливо объясняла сыновьям, почему они должны бережно относиться к отцу.

Кейз не мог не понимать и не ценить усилий Натали. И тактика ее могла бы дать результаты, если бы не одно обстоятельство: воздушному диспетчеру необходим сон. Кейз же мало спал, а случалось, что и не спал всю ночь.

Когда же он засыпал, его преследовал один и тот же кошмар: ему снилась диспетчерская в Вашингтонском центре за несколько минут до

воздушной катастрофы... сближающиеся точки на экране... он слышал свой собственный голос, дающий по радио указания... затем — крики и голос маленькой Валери Редферн...

Иногда сон несколько видоизменялся. Вот Кейз хочет шагнуть к своему месту, чтобы сорвать с головы Джорджа Уоллеса наушники и предупредить Редферна, но ноги его не слушаются, все его движения замедленны, точно воздух вокруг загустел и надо взламывать его. Мозг Кейза работал с невероятной четкостью; если бы только быстрее двигаться, он успел бы, предотвратил бы трагедию... Но как он ни старался, как ни напрягал все силы, наушники слишком поздно оказывались у него в руках. В другой раз ему удавалось вовремя схватить наушники, тогда отказывал голос. Если б только он мог произнести хоть слово, он бы успел предупредить, спасти их. Он напрягал легкие, голосовые связки, посылая им мысленный приказ, но ни звука не вылетало из его горла.

Словом, так или иначе, кончался сон всегда одним и тем же — последними словами, долетевшими по радио с «бич-бонанзы», которые Кейз столько раз слышал с магнитофонной ленты во время расследования. Он просыпался и, лежа рядом со спящей Натали, думал, вспоминал, мечтая о чуде — чуде, которое изменило бы прошлое. А потом он уже боялся заснуть, гнал от себя сон, чтобы избежать кошмара и новой пытки.

Вот тогда-то в тишине ночи совесть и стала все чаще и чаще напоминать ему об украденных у работы минутах — роковых минутах, когда он мог и должен был раньше вернуться на свое место, но по беспечности не сделал этого, погруженный в думы о своем, личном. Кейз ведь знал то, чего не знали другие: что трагедия с Редфернами произошла по его вине. А вовсе не по вине Перри Юнта.

Снова и снова... час за часом в ночи, словно привязанная к жернову, мысль Кейза возвращалась к начальной точке, терзая его, заставляя корчиться от угрызений совести. Порой он засыпал в изнеможении — и снова приходил кошмар, и снова он просыпался.

Мысль о Редфернах ни днем, ни ночью не покидала его.

Бессонница, потеря душевного равновесия стали вскоре сказываться на его работе. Он утратил быстроту реакции, начал колебаться, прежде чем принять решение. Раза два он даже «терял картинку» и вынужден был обращаться за помощью к коллегам.

Его вызывали к начальству, неофициально дружески с ним беседовали — это ничего не дало. Тогда по рекомендации Вашингтона и с согласия самого Кейза его перевели с Восточного побережья на Средний Запад, в международный аэропорт имени Линкольна, в надежде, что перемена места благотворно скажется на нем. К тому же чиновники, проявляя чуткость, учитывали, что старший брат Кейза, Мел, работает в этом аэропорту управляющим и, возможно, сумеет как-то повлиять на Кейза. Натали, хотя и любила Мериленд, без малейших возражений переехала на новое место.

И ничего не помогло.

Чувство вины не покидало Кейза, как не покидали его и кошмары — они только усугубились, приобрели иные формы, но не изменились по существу. Спать без снотворного, выписанного ему приятелем Мела, он уже не мог.

Мел понимал, что происходит с братом, но далеко не все: Кейз по-прежнему ни словом не обмолвился о своем затянувшемся пребывании в уборной в лисбергском центре. Через некоторое время Мел, видя, как ухудшается состояние брата, настоятельно посоветовал ему сходить к психиатру, но Кейз отказался. Рассуждал он весьма просто. Что толку искать какую-то панацею, какое-то заклинание, которое избавило бы его от чувства вины, если сам он сознает свою вину и ничто на земле или на небе, никакая клиническая психиатрия ничего тут не могут изменить?!

Состояние Кейза все ухудшалось, так что под конец уже и Натали, при всем ее умении применяться к обстоятельствам, стало невмоготу. Натали знала, что он плохо спит, но она понятия не имела об его кошмарах. И потому, потеряв терпение, она как-то раз спросила с досадой:

— Мы что, теперь до конца жизни должны носить власяницу? И мы уже не можем ни повеселиться, ни посмеяться? Если ты намерен и дальше так жить, то учти: я так жить не стану, и я не позволю, чтобы Брайан и Тео жили в такой атмосфере.

Кейз молчал, и Натали продолжала:

— Я уже не раз говорила тебе: наша жизнь, наш брак, дети — все это куда важнее твоей работы. Если она тебе не по силам, зачем себя изнурять? Брось и займись чем-то другим. Я знаю, ты всегда говоришь мне: у нас будет меньше денег, и полетит пенсия. Но это же еще не все в жизни. Как-нибудь справимся. Трудностей я не боюсь, Кейз Бейкерсфелд, и примирюсь с ними. Возможно, я и похнычу, но совсем немного, потому что дальше так жить нельзя.— Она еле сдерживала слезы, но совладав с собой, докончила: — Предупреждаю тебя, надолго меня не хватит. Если ты будешь упорствовать, тебе придется идти дальше одному.

Впервые Натали намекнула на возможность разрыва. И тогда же Кейзу впервые пришла в голову мысль о самоубийстве.

Потом эта мысль утвердилась и вылилась в решение.

Дверь погруженной во мрак гардеробной распахнулась. Щелкнул выключатель. Кейз сощурился от яркого света над головой: он снова был в башне международного аэропорта имени Линкольна.

В комнату вошел другой диспетчер — тоже на перерыв. Кейз спрятал в ведерко сандвичи, к которым так и не притронулся, запер шкафчик и направился назад, в радарную. Его коллега с любопытством поглядел ему вслед. Ни тот, ни другой не произнесли ни слова.

Интересно, подумал Кейз, посадили ли тот военный самолет, у которого отказало радио. Скорее всего, что посадили и экипаж при этом не пострадал. Во всяком случае, Кейз надеялся, что все сошло благополучно. Ему очень хотелось, чтобы в этот вечер хоть у кого-то что-то было хорошо.

Направляясь к радарной, он сунул руку в карман и нащупал ключ от номера гостиницы, желая лишний раз удостовериться, что он на месте. Скоро этот ключ понадобится ему.

4

Прошел почти час с тех пор, как Таня Ливингстон рассталась с Мелом Бейкерсфелдом в центральном зале аэропорта. Но даже и сейчас — хотя многое успело за это время произойти — она все еще чувствовала прикосновение его руки и вспоминала, каким тоном он ей сказал, когда они ехали в лифте: «По крайней мере, у меня будет повод увидеть вас сегодня еще раз».

Тане хотелось верить, что и Мел тоже помнит об этом и найдет время заглянуть к ней, хотя она знала, что ему надо ехать в город.

«Повод», о котором упомянул Мел, заключался в известии, полученном Таней в кафе. «На борту рейса восемьдесят обнаружен «заяц»,— пояснил Тане сотрудник «Транс-Америки».— Вас вызывают.— И добавил: — Как я слышал, придется вам повозиться: на этот раз «заяц» вроде с приветом».

Сотрудник оказался прав.

Сейчас Таня снова была в маленькой гостиной, расположенной позади стоек «Транс-Америки», только теперь перед ней сидела маленькая старушка из Сан-Диего.

— Вы, видно, не новичок в этом деле,— заметила Таня.— Верно?

— Ну, конечно, моя дорогая. Я уже не раз так летала.

Старушка удобно расположилась в кресле; сложив на коленях ручки, она теребила отороченный кружевами носовой платочек. Вся в черном, в старомодной блузке с высоким воротником, она вполне могла бы сойти за чью-то прабабушку, собравшуюся в церковь. На самом же деле она была поймана с поличным, когда летела без билета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

Безбилетные пассажиры, прочитала где-то Таня, попадались еще в семисотом году до рождества Христова на кораблях финикийцев, бороздивших восточную часть Средиземного моря. В ту пору в случае поимки их ждала смерть: взрослым вспарывали животы, а детей живьем сжигали на жертвенном огне.

С тех пор наказания стали менее жестокими, но число «зайцев» не уменьшилось.

Интересно, подумала Таня, представляют ли себе люди — кроме, конечно, узкого круга сотрудников авиакомпаний,— какого размаха достигла «заячья эпидемия» с тех пор, как появились реактивные самолеты и резко возросло количество пассажиров и скорость их передвижения. По всей вероятности, никто и понятия об этом не имеет. Авиакомпании усиленно стараются хранить тайну из опасения, как бы обнародование этих данных не ударило по ним же и не привело к тому, что «зайцев» станет еще больше. Тем не менее кое-кто уже раскусил, что проехать без билета — крайне просто; к числу таких людей принадлежала и старушка из Сан-Диего.

Звали ее миссис Ада Квонсетт — Таня проверила это по карточке социального обеспечения, которую предъявила ей старушка,— и она, несомненно, спокойно долетела бы до Нью-Йорка, если б не допустила промаха. Она поведала своему соседу по креслу, что летит без билета, и тот сообщил стюардессе. Стюардесса доложила командиру корабля, который в свою очередь радировал об этом в ближайший аэропорт, и кассир с охранником уже поджидали самолет в международном аэропорту имени Линкольна, чтобы снять с борта старушку. Ее привели к Тане, в обязанности которой входили и беседы с «зайцами», когда компании удавалось их поймать.

Таня привычном жестом разгладила свою узкую форменную юбку.

— Ну, ладно,— сказала она,— расскажите-ка лучше, как было дело.

Старушка разжала и снова сжала ручки — кружевной платочек при этом немного переместился.

— Видите ли, я вдова, и у меня есть дочь — она замужем и живет в Нью-Йорке. Временами мне становится очень одиноко и хочется повидать ее. Тогда я еду в Лос-Анджелес и сажусь на самолет, который летит в Нью-Йорк.

— Вот так просто — садитесь и летите? Без билета?

Миссис Квонсетт была явно возмущена.

— Ах, душенька, откуда же мне взять денег на билет! Я живу на то, что получаю по социальному страхованию, да еще на маленькую пенсию за покойного мужа. Я могу заплатить только за автобус из Сан-Диего до Лос-Анджелеса — вот и все.

— А в автобусе, значит, вы платите?

— Ну, конечно. Там народ суровый. Я как-то раз попыталась купить билет до первой остановки, а поехать дальше. Но они в каждом городе проверяют билеты, и шофер обнаружил, что мой билет уже не-

действителен. Они очень некрасиво себя вели тогда. Совсем не то, что служащие авиакомпании.

— Интересно,— спросила Таня,— а почему вы не воспользовались аэропортом Сан-Диего?

— Да боюсь я, душенька: знают они меня там.

— Вы хотите сказать, что вас уже ловили в Сан-Диего?

Старушка потупилась.

— Да.

— А вы летали без билета и на самолетах других компаний? Не только нашей?

— Ну, конечно. Но «Транс-Америка» нравится мне больше всех других.

Тане очень хотелось, чтобы голос ее звучал сурово, но выдержать нужный тон было трудно: казалось, речь шла о прогулке до ближайшего магазина на углу. И тем не менее ей удалось с бесстрастным лицом спросить:

— Чем же вам так нравится «Транс-Америка», миссис Квонсетт?

— Да видите ли, уж очень разумные люди работают у вас в Нью-Йорке. Я вот поживу недельку-другую у дочки и решаю, что пора домой. Иду в вашу компанию и все им рассказываю.

— И вы рассказываете все, как есть? Что прилетели в Нью-Йорк без билета?

— Ну, конечно, милочка. Тогда меня спрашивают, когда я прилетела и номер рейса — я всегда это записываю, чтобы не забыть. Потом они смотрят в какие-то бумаги.

— В журнал,— подсказала Таня. «Неужели этот разговор происходит наяву, а не во сне»,— мелькнула у нее мысль.

— Да, душенька, по-моему, как раз так это и называется.

— Продолжайте, пожалуйста.

Старушка удивленно посмотрела на нее.

— А что же еще продолжать-то? После этого они отправляют меня домой. Обычно в тот же день, на одном из ваших аэропланов.

— И все? И никто ничего не говорит вам?

Миссис Квонсетт мило улыбнулась — ну прямо как если бы сидела за чайным столом у викария.

— Иной раз случается, конечно, что и пожурят. Скажут, что я плохо себя вела и не должна больше так поступать. Но ведь это же пустяки, правда?

— Нет,— сказала Таня.— Это вовсе не пустяки.

Самое невероятное, подумала Таня, что все это правда. Авиакомпании знают, что такие случаи нередки. «Заяц» спокойно садится в самолет — а есть много способов туда попасть — и тихо сидит до отлета. Поймать его довольно трудно, если только он не забредет в «первый класс», где лишний пассажир сразу заметен, или если самолет вдруг окажется забитым до отказа. Да, конечно, стюардессы пересчитывают пассажиров по головам, и их цифра может не сойтись с количеством пассажиров по списку, который вручает экипажу контролер у выхода на поле. В этот момент могут возникнуть подозрения, что кто-то едет без билета, но тогда перед контролером, производящим посадку, встает дилемма: либо он говорит, что самолет может лететь, но отмечает в журнале, что подсчет по головам не совпал с количеством выданных билетов, либо он должен заново проверять билеты у всех, находящихся на борту.

Такая проверка билетов может занять добрых полчаса, а каждая минута пребывания самолета на земле обходится в огромную сумму. Кроме того, нарушается расписание движения — и данного самолета, и всех, следующих за ним. Да и пассажиры, которым предстоит пере-

садка или которые спешат к определенному часу, начинают злиться и выходить из себя, а командир корабля, понимая, что рушится его репутация пунктуального летчика, злится на сотрудника компании. Сотрудник начинает думать, что, может, он и ошибся. Да к тому же, если он не докажет, что у него были достаточно веские основания для задержки самолета, ему грозит «баня» от управляющего перевозками. В итоге пусть даже безбилетник будет обнаружен, но потеря в долларах и нервах намного превысит стоимость поездки одного человека.

Поэтому авиакомпании в таких случаях делают единственно разумную вещь: закрывают двери и отправляют самолет.

На этом обычно все и кончается. В полете стюардессам уже не до проверки билетов, а по окончании пути пассажиры не станут ждать, пока у них проверят билеты. В результате «заяц» без всяких неприятностей и расспросов спокойно выходит из самолета.

Рассказывая Тане о том, каким способом она возвращается домой, маленькая старушка ничего не прибавила. Авиакомпании считают, что безбилетников быть не должно. А если таковые все же попадаются, значит, виноваты сами авиакомпании, не сумевшие этому помешать. И нарушители летят назад обычным путем, получая обычное обслуживание вплоть до еды.

— А вы симпатичная,— сказала миссис Квонсетт,— я сразу узнаю симпатичных людей, с первого взгляда. Только вы моложе большинства сотрудников, которых мне приходилось встречать.

— Вы имеете в виду тех, кто работает с безбилетниками и плутами?

— Совершенно верно.— Старушку просто невозможно было смутить. Она одобрительно оглядела Таню.— На мой взгляд, вам не больше двадцати восьми.

Таня коротко отрезала:

— Тридцать семь.

— А выглядите вы все же очень молодо, хоть и видно, что женщина зрелая. Это, наверно, оттого, что вы замужем.

— Оставьте вы свои штучки,— сказала Таня.— Это вам не поможет.

— Но вы все-таки замужем.

— Была. Когда-то.

— Какая жалость! У вас могли бы быть прелестные детки. С такими же золотисто-рыжими волосами.

С золотисто-рыжими возможно, но без седины, подумала Таня. Седину эту она заметила утром. А что до детей, то она могла бы сказать, что у нее есть ребенок, который сейчас дома и, надо надеяться, спит. Вместо этого она сурово сказала миссис Квонсетт:

— Ведь это бессовестно — то, что вы делаете. Обманываете, нарушаете закон. Вы хоть понимаете, что вас можно отдать под суд?

Впервые на детски-наивном старческом личике промелькнула победоносная улыбка.

— Но этого же никто не сделает, правда? За это под суд не отдают.

Продолжать, видимо, не имело смысла. Таня, как и миссис Квонсетт, отлично знала, что авиакомпании никогда не отдают под суд «зайцев», так как связанная с этим шумиха может принести куда больше вреда, чем пользы.

Правда, если порасспросить как следует старушку, от нее можно получить информацию, которая наверняка пригодится в будущем.

— Миссис Квонсетт,— сказала Таня,— вы столько раз летали бесплатно на самолетах «Транс-Америки», что, думается, могли бы немного нам помочь.

— С радостью.

— Я бы хотела знать, как вы попадаете на борт самолета.

Старушка улыбнулась.

— Видите ли, душенька, есть разные способы. И я стараюсь по возможности их менять.

— Ну, расскажите мне все-таки.

— Так вот: как правило, я стараюсь приехать в аэропорт заранее, чтобы получить посадочный талон.

— Разве это так просто?

— Получить посадочный талон? Ну что вы, очень даже просто. Сейчас авиакомпании вместо посадочных талонов часто используют конверты от билетов. Так вот я подхожу к какой-нибудь стойке и говорю, что потеряла свой конверт и не могут ли они дать мне другой. Я выбираю стойку, где побольше народу и обслуживающий персонал очень занят. И мне всегда дают.

Еще бы не дать, подумала Таня. Это вполне естественная просьба и ее часто слышишь. С той только разницей, что в отличие от миссис Квонсетт другие пассажиры просто хотят иметь свежий конверт для своего билета — без всякого тайного умысла.

— Но ведь конверт-то вам выдается пустой,— заметила Таня.— Он же не заполнен.

— Я сама его заполняю — в дамском туалете. У меня всегда с собой несколько старых посадочных талонов. Так что я знаю, где и что надо писать. И всегда держу в сумочке толстый черный карандаш.— Положив кружевной платочек на колени, миссис Квонсетт открыла сумочку из черных бусин.— Видите?

— Вижу,— сказала Таня и, потянувшись к сумке, извлекла карандаш.— Не возражаете, если я оставлю это себе?

Миссис Квонсетт сделала слегка оскорбленное лицо.

— Но это же мой. Впрочем, если он вам нужен, я, конечно, могу купить другой.

— Продолжайте,— сказала Таня.— Итак, у вас есть посадочный талон. Что происходит дальше?

— Я направляюсь к тому месту, откуда должна идти посадка на аэроплан.

— К выходу?

— Совершенно верно. Я дожидаюсь той минуты, когда молодой человек, который проверяет билеты, очень занят — а он всегда занят, когда на посадку проходит сразу большая группа,— тогда я проскальзываю мимо него и — прямо в аэроплан.

— А если кто-нибудь попытается вас остановить?

— Кто же станет меня останавливать, если у меня есть посадочный талон?

— Даже стюардессы не проверяют?

— Они молоденькие девочки, душенька. Обычно они болтают друг с другом, а если и уделяют кому-то внимание, то лишь мужчинам. Их интересует только номер рейса, а уж я стараюсь, чтобы номер был правильный.

— Но вы сказали мне, что не всегда пользуетесь посадочным талоном.

Миссис Квонсетт покраснела.

— Тогда, видите ли, мне приходится прибегать к небольшим уловкам. Иногда я говорю, что мне надо пройти, чтобы проститься с дочкой— почти все компании разрешают это, вы же знаете. Или, если аэроплан прилетел откуда-нибудь и здесь у него только стоянка, я говорю, что хочу вернуться на свое место, а билет, мол, оставила в аэроплане. Или говорю, что тут мой сын только что прошел на посадку и забыл свой

бумажник, ну и мне надо его отдать. В таких случаях я всегда держу в руке бумажник, и это действует лучше всего.

— Да, могу себе представить,— сказала Таня.— Я вижу, вы очень тщательно все продумали.— Теперь у нее есть материал на целый бюллетень для контролеров и стюардесс, размышляла она. И тут же усомнилась: а будет ли от этого бюллетеня какой-нибудь толк?

— Это я унаследовала от моего покойного супруга... Он преподавал геометрию и всегда говорил, что каждый угол надо учитывать.

Таня в упор посмотрела на миссис Квонсетт. Она что, издевается над ней? Но лицо старушки из Сан-Диего оставалось невозмутимо спокойным.

— Есть еще одна чрезвычайно важная вещь, о которой я вам не сказала.

В другом конце комнаты зазвонил телефон. Таня встала, чтобы снять трубку.

— Эта старая перечница все еще у вас? — раздался голос управляющего перевозками.

— Да,— ответила Таня.

— Удалось из нее выудить что-нибудь полезное?

— Немало. Я пришлю вам отчет.

— Когда будете его отсылать, не забудьте о заглавных буквах, чтобы его можно было прочесть.

— Слушаюсь, сэр.

«Сэр» прозвучало столь ядовито, что на другом конце провода на минуту воцарилось молчание. Потом УП буркнул:

— Извините, Таня. Я, видно, пережал — очень мне досталось сейчас из Нью-Йорка. Могу я вам чем-нибудь помочь?

— Мне нужен билет на сегодня в один конец до Лос-Анджелеса для миссис Ады Квонсетт.

— Это так зовут старую курицу?

— Совершенно верно.

УП кисло произнес:

— Очевидно, за счет компании?

— Боюсь, что да.

— Больше всего мне претит то, что придется отправить ее раньше честных людей, которые живыми деньгами заплатили за свои билеты и уже сколько часов ждут возможности вылететь. Но я думаю, что вы правы: лучше побыстрее сбросить этот груз с плеч.

— Я тоже так думаю.

— Я велю зарезервировать один билет. Можете забрать его в билетной кассе. Только не забудьте предупредить Лос-Анджелес, чтобы они вызвали аэропортовскую полицию и выдворили эту старую калошу из аэропорта.

Таня улыбнулась и повесила трубку. Затем повернулась к миссис Квонсетт.

— Вы не рассказали мне еще об одной важной вещи — насчет того, как вы ведете себя уже в самолете.

Старушка явно медлила. Когда Таня, разговаривая по телефону, упомянула об обратном билете в Лос-Анджелес, миссис Квонсетт поджала губы.

— Вы ведь уже сказали мне почти все,— не отступалась Таня.— Так заканчивайте. Если, конечно, есть что добавить.

— Безусловно, есть.— Миссис Квонсетт утвердительно кивнула.— Я хотела вам еще сказать, что лучше всего не выбирать популярных рейсов: ну, тех, что через всю страну и без посадок. Они часто бывают забиты до отказа и даже в туристском классе вам дают номер места.

Тогда все сложнее, хотя мне много раз пришлось летать и такими рейсами, потому что не было других.

— Значит, вы выбираете не прямые маршруты. Но неужели вас не обнаруживают на посадках?

— Я притворяюсь, будто сплю. Ну и меня, конечно, не беспокоят.

— А на сей раз побеспокоили?

Тонкие губы миссис Квонсетт растянулись в усмешке: у нее был такой сокрушенный вид.

— Все из-за этого человека, который сидел со мной рядом. Такой оказался мерзкий человечишка. Я доверилась ему, а он тут же выдал меня стюардессе. Вот и доверяй после этого людям.

— Миссис Квонсетт,— сказала Таня,— я надеюсь, вы слышали, что мы намерены отправить вас назад в Лос-Анджелес.

В серых старческих глазках мелькнул огонек и погас.

— Слышала, душенька. Я боялась, что этим кончится. Но можно мне пока выпить чайку? Я уж тогда пойду, а вы скажите, когда мне надо вернуться...

— Ну нет! — Таня решительно замотала головой. — Одна вы никуда не пойдете. Чаю выпить вы можете, но только с вами будет кто-нибудь из сотрудников. Я сейчас пошлю за кем-нибудь, чтобы вы ни минуты не были одна, пока не сядете в самолет и не улетите в Лос-Анджелес. Стоит только отпустить вас — и я знаю, что будет дальше. Мы и глазом не успеем моргнуть, как вы будете сидеть в самолете на Нью-Йорк.

По враждебному взгляду, который миссис Квонсетт метнула на нее, Таня поняла, что угадала.

Через десять минут все было сделано. Для миссис Квонсетт зарезервировали место на рейс сто три, вылетавший в Лос-Анджелес через полтора часа. Рейс был беспосадочный, так что она никак не могла выйти из самолета в пути и повернуть назад. Управляющему перевозками в Лос-Анджелесе было сообщено обо всем по телетайпу; соответствующая записка лежала для команды рейса сто три.

Маленькую старушку из Сан-Диего поручили заботам сотрудника «Транс-Америки», недавно нанятого юноши, который по возрасту годился ей во внуки. Этому сотруднику, которого звали Питер Кокли, Таня дала самые точные указания:

— Будете находиться при миссис Квонсетт до момента отлета. Она говорит, что хочет выпить чаю. Отведите ее в кафе и дайте ей поесть, если она попросит, хотя в полете будет подан ужин. И что бы она ни делала, будьте при ней. Если ей понадобится пойти в туалет, ждите у дверей и ни при каких обстоятельствах не выпускайте ее из виду. Когда настанет время отлета, подведите ее к выходу, пройдите вместе с ней к самолету и сдайте с рук на руки старшей стюардессе. Не забудьте напомнить, чтобы ей ни под каким предлогом не разрешали выходить из самолета. Это хитрющая старушенция, так что будьте с ней осторожны.

Выходя из комнаты, старушка схватила молодого сотрудника под руку и повисла на нем.

— Надеюсь, вы не станете возражать, молодой человек. Старые люди нуждаются в опоре. А вы мне так напоминаете моего дорогого зятя. Он был вот такой же красавчик, хотя теперь он, конечно, много старше вас. Вообще ваша компания, я смотрю, подбирает очень приятных людей.— И миссис Квонсетт с укором поглядела на Таню.— Во всяком случае, таких у вас большинство.

— Запомните, что я вам сказала,— напутствовала Таня Питера Кокли.— У нее неиссякаемый запас всяких трюков.

— Не очень-то это любезно с вашей стороны,— сурово парировала миссис Квонсетт.— Я уверена, что молодой человек сам сумеет составить обо мне мнение.

Молодой сотрудник смущенно улыбался.

— Хоть вы и вели себя не очень красиво, душенька, знайте, что я на вас не сержусь,— сказала миссис Квонсетт и с этими словами вышла из комнаты.

Через несколько минут Таня вернулась в контору «Транс-Америки». Было без четверти девять. Сев за свой стол, она подумала: интересно, разделалась ли компания с миссис Адой Квонсетт или им еще придется с ней возиться. Таня не была уверена, что на этом удастся поставить точку. И на своей машинке без заглавных букв она принялась печатать записку управляющему перевозками:

«упр. првзками от тани ливнгстн...»

И остановилась, задумавшись: где-то сейчас Мел и зайдет ли он к ней.

(Продолжение следует)

АЛЬБЕРТО МОРАВИА

Из сборника «Рай»

РАССКАЗЫ

Хорошо рассчитанный риск

Он часто говорит:

— Не буди во мне зверя!

Поглядеть на него — что в нем звериного? Ничего! По крайней мере, в том смысле, какой вкладывает в эти слова он сам.

Он молодой, сильный мужчина, смуглый, голубоглазый. Необычайно волосатый — это верно: настолько, что курчавые завитки мешают разглядеть циферблат на его часах. Человек он, безусловно, культурный, сдержанный, предупредительный, воспитанный. По манере одеваться мог бы сойти за художника: свитер, куртка, узкие брюки, ковбойские сапожки, но все это — новое, с иголочки, как на манекене в магазине готового платья.

На просьбу «не будить в нем зверя» я отвечаю:

— Какого зверя? О каком звере ты толкуешь?! Знаешь, кто ты? Кавалеришка восемнадцатого века, чичисбей, аббатик! Не хватает только игрушечной шпаги на боку. Парика не надо: твоя длинная грива вполне его заменяет.

Но все это я говорю беззлобно, тоном нежной жены, влюбленной в своего мужа, какова, впрочем, я и есть в действительности.

Одно плохо: мне с ним скучно. Когда по воскресеньям мы отправляемся чин чином, рука об руку на́ прогулку, я инстинктивно высматриваю в толпе иные лица, иные черты. И ловлю себя на мысли: «А что вон тот, низколобый, кривоносый, с выдающейся челюстью, которой он иногда как-то странно шевелит, может он заехать мне в физиономию? Или вот этот, тонкогубый, узконосый, с вытянутым бледным, изможденным лицом и стальными глазами,— способен он схватить меня за руку и потихоньку вывернуть ее так, чтобы я от боли потеряла сознание?»

Муж словно угадывает мои мысли: я то и дело чувствую, как у меня под рукой играют, напрягаясь до дрожи, его замечательные мускулы. (Он у меня силач, все время тренируется — то в спортзале, то в бассейне, то на Тибре.) Играют, как бы предупреждая: «Внимание! Мы — на страже!» А мне хочется пожать плечами и фыркнуть: «Ну и что? Какой мне толк от твоих великолепных мускулов?»

Ладно. Отправились мы с ним как-то на своей малолитражке в Остию. Он сидит за рулем — в свитере, джинсах и кедах. Усы, борода, волосы — под Иисуса. Выезжаем на круглую площадку у моря. Штормит, море мутно-зеленое; волны курчавятся стеклянистыми гребешками, а ветер сдувает с них ошметки пены; между валами — гладкие, мыльные проемы, испещренные расплывающимися белесыми кругами, напоминающими переливчатый узор на ткани «шанжан».

Мы не выходим из машины, сидим и молча курим. Вдруг чувствую, меня одолевает неистовый, непреоборимый дух противоречия — не из головы, а откуда-то из самой утробы.

— Какое славное море, правда? Тихое, синее, веселое...— заметила я.

Немного помолчав, он возразил:

— Вовсе не тихое и не синее, а зеленое.

— Нет, тихое и синее!

— Ты что, нарочно? Море зеленое и совсем не спокойное.

Тут я повернулась и посмотрела на него с вызовом. Он вдруг размахнулся и ударил меня по щеке. Не очень сильно, а как бы с оглядкой, словно на полпути передумав, но все же ударил. Я дала ему сдачи: хлестнула по лицу что было сил, хотя какая может быть сила у такого хрупкого и нежного создания, как я? Тогда он снова на меня набросился. Я прикрыла лицо обеими руками и, увертываясь от ударов, забилась в угол машины. Но он все же сумел влепить мне две пощечины, одну — по правой, другую — по левой щеке. Опять-таки как-то несмело, с заведомым раскаянием. Я стала быстро соображать, как бы мне с ним расквитаться, и решила пустить в ход ногти. Пальцы у меня белые-белые, тонкие, одухотворенные; ногти, покрытые красным лаком,— продолговатые, конусообразные, острые как бритва. Я рванулась, вонзила в него свои острые, длинные ногти и прокарябала две глубокие борозды от висков до самой шеи. Чувствуя, что сдираю ему кожу,— может быть, даже с мясом,— я про себя торжествовала: «Наконец-то!»

На сей раз и впрямь все было как надо. Он уже не лупил меня по лицу, а действовал в самом деле по-звериному, без рук: сначала прокусил мне до крови подбородок, потом, когда я ударила его кулаком под ложечку, схватил за волосы и, не сумев дотянуться до скулы (что за странная фантазия — кусать за скулу!), вцепился зубами в ухо, да так, что я думала, он мне его откусит напрочь. Не помня себя от блаженства, я взвыла... Было очень больно. Но в этот момент обе дверцы распахнулись, какие-то люди выволокли нас из машины и в ужасе обступили со всех сторон. Я стояла растрепанная, задыхающаяся; подбородок и ухо кровоточили, но я была счастлива. А он — дурак, кретин, идиот — плакал! Да, да, плакал. Физиономия его была исполосована: вдоль обеих щек, от висков к бороде, тянулись кровавые борозды — следы моих ногтей.

Прошел месяц. Мы сидим за столом. Произошедший в Остии инцидент забыт, мы снова примерная супружеская пара, совсем как та, что изображена на рекламе кубиков для бульона: она — нежная, хрупкая, аристократичная, вся светится; он — крепыш и здоровяк, моложавый, мужественный. Я соображаю, за что бы зацепиться, чтобы «пробудить в нем зверя», как тогда в Остии. После долгих размышлений, все взвесив, прихожу к выводу, что уязвимых мест не более трех. Во-первых, семья: можно неуважительно отозваться о его отце или матери. Второе — внешность: надо придраться к тому, что он коротконогий (что соответствует действительности) или что у него пахнет изо рта (что не соответствует действительности). Наконец, третье — работа: почему бы не напомнить ему, что он липовый архитектор и ничего, кроме воздушных замков, никогда не построит, что он неудачник, иждивенец, кото-

рый будет всю жизнь сидеть на шее у родителей. Да, я знаю: семья, внешность и работа — вот где мужчины наиболее уязвимы, стало быть, по этим трем пунктам и надо его провоцировать. Хладнокровно взвешиваю, чем я рискую: он может меня избить, но может и убить. Значит, я смогу подойти к опасности вплотную, дотронуться до нее рукой, ощутить заветную дрожь и — вовремя ретироваться! И я без колебаний иду в наступление:

— Сегодня утром я встретила твоих родителей. Твоя мамаша, старая грымза, спешила в церковь. Известное дело: все они, покрывшись морщинами, становятся богомольными. Небось в молодости, когда морщин не было, давала жизни... Кто знает, может, отец твой вовсе тебе и не отец и ты, стало быть, ублюдок. По крайней мере, ходят такие слухи...

— Оставь мою мать в покое!

— Ну, а твой папаша... мягко говоря, впал в детство! Наверное, даже спать ложится в шляпе, нацепив на лацкан пижамной куртки орден!..

— Оставь в покое моего отца!

Пока — ни с места: сидит, насупившись, словно бык перед тем, как броситься на тореро. Но не бросается. Однако и я не отступаюсь.

— Как я могу не говорить о твоих родителях, если ты — вылитый портрет своего папаши и своей мамаши! Например, короткие ноги у тебя — от отца...

— У меня не короткие ноги.

— А от матери — не слишком приятный запах изо рта...

— Неправда, у меня не пахнет изо рта!

Никакого впечатления. Я перехожу к последнему пункту, касающемуся профессиональных данных:

— Но одно достоинство за твоими родителями все же признать следует — они тебя содержат, а это позволяет тебе не замечать, что в профессиональном отношении ты самый настоящий неудачник.

— Я не неудачник.

— Архитектор, который только и делает что разглагольствует, у которого в голове — одни бредни, а на столе — ни единого проекта, по-моему, типичный неудачник!

Температура явно ползет вверх, как в паровом котле, но столбик ртути еще недостаточно высок. Муж сидит, не шевелясь, опустив голову. Меня подмывает раззадорить его, крикнуть: «Торо, торо, оле!» — как, помню, кричали испанцы во время корриды (мы ездили в свадебное путешествие в Испанию). Как бы это воткнуть в тебя бандерилью поострее, чтобы ты у меня запрыгал... Что бы такое придумать...

Вдруг меня осенило:

— Знаешь, что ты перенял прежде всего у своих родителей? Буржуазность. Ты типичный буржуа, с головы до ног, до самых каблуков своих ковбойских сапожек. Да и как может быть иначе? Деньги на жизнь ты получаешь от них, а деньги, их источник, определяют и все остальное.

— Я не буржуа!

— А кто же ты?

— Художник.

— Не смеши меня! Какой ты художник?! Ты такой же буржуа, дорогой мой, как твои родители! Взгляни на меня, на этот стол, на эту комнату и, главное, на самого себя — что может быть буржуазнее?

— Ничего буржуазного во мне нет!

— То, что ты этого стыдишься, как раз подтверждает мою правоту.

Бах! Началось... В меня летит бокал с вином. Мне залило глаза, я попыталась встать, но тут он схватил меня за волосы, да с такой си-

лой, что вырваться не было никакой возможности, и, стащив со стула, все так же за волосы поволок по полу через все три комнаты. Я выла от боли, а про себя ликовала: «Наконец-то, наконец-то я — слабое, беззащитное создание, а он — грубое животное, орангутанг, горилла!»

А он все тащил меня и вдобавок пинал ногами. В спальне он швырнул меня на кровать; держа правой рукой за волосы, запрокинул мне голову, а левой стал душить. Вот он, наконец, мой хорошо рассчитанный риск, долгожданный трепет вожделения, вот оно, дыхание смерти!

Своей огромной ручищей он еще больше сдавил мне горло, и меня охватило то изумительное, всеобъемлющее чувство, которое я давно хотела испытать: чувство женщины, гибнущей от руки любимого человека. Я испытывала его впервые, но это наверняка было оно, оно!

У него мертвая хватка... я почти теряла сознание. Клонило в сладкий сон, близилась вожделенная апатия. Ах, какое блаженное состояние! Я старалась продлить его до предела, рискуя задохнуться. Блаженство разлилось по всему телу, сосредоточилось где-то в животе. Это оргазм особого рода: оргазм висельников.

Лишь тогда я встрепенулась и ударила его коленом в пах. И тотчас же осталась одна: с грохотом захлопнулась входная дверь.

Я сижу на кровати и размышляю. Теперь у меня возникли сомнения. Предположим, я снова подвергну свою жизнь хорошо рассчитанному риску. Но как я узнаю, что́ именно «разбудило в нем зверя»? То, что я оскорбила его семью? Высмеяла физические недостатки? Высказала сомнение в его профессиональных достоинствах? Или его вывело из себя слово «буржуа»? И еще: было ли это слово последней каплей, переполнившей чашу его терпения, или же чаша была пуста, но одной этой капли оказалось достаточно, чтобы наполнить ее до краев? Я размышляю над этим, а сама ощупываю шею. Да, сомнения нет, он озверел. И — наконец-то! — чуть меня не прикончил, меня, свою жену, нежное, хрупкое создание!..

Рай

Я беру флакончик со снотворным и высыпаю его содержимое в стакан с водой, стоящий на тумбочке. Сколько во флаконе таблеток? Порядочно. Столько, сколько нужно, чтобы прямым ходом, без задержек, проследовать в рай. Я смотрю, как таблетки растворяются, образуют на дне стакана белую горку, как поднимаются со дна и лопаются на поверхности воды пузырьки.

В этот момент зазвонил телефон. Я узнала голос своей подружки — толстухи Магды — и сразу же объявила:

— Ты позвонила как раз вовремя: можешь со мной попрощаться.

— Почему?

— Потому, что я собралась отравиться. Снотворным.

Магда из той породы людей, которые никогда ничему не удивляются. Наверное, поэтому с ней и дружим. Я лично удивляюсь всегда и всему, причем не столько самим вещам, сколько тому, что они существуют. Попадется мне на глаза камень, и я останавливаюсь как вкопанная, поражаясь, откуда бы такой штуке взяться. А для Магды камень есть камень — и все тут.

Она как ни в чем не бывало сообщила:

— Я звоню, чтобы тебе сказать: все собрались и ждут тебя.

— А кто пришел?

— Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи, Данте Алигьери, Джузеппе Гарибальди, Наполеон...

Я делаю вид, будто не поняла шутки, и отвечаю:

— Ладно. Сейчас оденусь и приеду.

Я кладу трубку и с трудом выпутываюсь из простыни, под которой провалялась два дня. Не успела я поставить ноги на пол, как вокруг меня запрыгала моя такса Дзен: бедная собака решила, что после двухдневного сидения взаперти я выведу ее погулять. Но я сказала:

— Нет, Дзен, ложись на место, будь умницей!

Я скармливаю ей печенье, оставшееся на подносе, чтобы она угомонилась. Вот уже двое суток как мы с ней питаемся чаем с печеньем, причем Дзен, пожалуй, съела больше, чем я. Впрочем, я себя чувствую совсем неплохо.

Я отправляюсь в ванную, открываю кран и, зажмурив глаза, долго стою под очень горячим душем. Пока вода хлещет меня по затылку, я, будто в озарении, отчетливо вижу замысловатые узоры, которыми намерена себя разрисовать. Это какое-то ясновидение: рисунок предстает передо мной в мельчайших подробностях, словно он уже готов.

Я закрываю кран, вытираюсь, голышом усаживаюсь на кровать, беру коробку с флоумастерами и начинаю размалевывать живот. Провожу по нему красные, синие, зеленые, желтые концентрические волнистые круги. Дальше, будто поверх морских волн, изображаю лик индийского святого.

Покончив с животом, я перехожу к грудной клетке. Ребра выделяю черными полосами, как на известной картинке, где изображена фигура, исполняющая зловещий средневековый танец смерти. Теперь бюст. Несмотря на то что я стройна и по-змеиному гибка, грудь у меня, как у кормилицы. После недолгого раздумья я решаю, что у меня нет времени изображать то, что я задумала, а именно: индийского бога Вишну со множеством рук и ног, пляшущего на каждой груди. И я ограничиваюсь тем, что одну грудь крашу в зеленый, другую в красный цвет. С руками я расправляюсь наскоро: испещряю их красными и синими загогулинами. Затем на тыльной стороне левой ладони изображаю желтый восклицательный знак, а на тыльной стороне правой — сиреневый вопросительный. После чего перехожу к лицу. Пудра синюшного оттенка; никакой помады; черные глазницы. Волосы, к счастью, я ношу распущенными: достаточно пройтись разок-другой щеткой и все.

В этот момент бедная такса, которая в течение всего этого времени стояла и смотрела на меня как завороженная, подошла, держа в зубах поводок, на котором я обычно вожу ее гулять. Я отняла у нее поводок, приласкала и начала одеваться. Прежде всего я натягиваю черные бархатные брюки клеш (у них такая низкая талия, что разрисованный живот остается наполовину открытым) и подпоясываюсь желтым кожаным поясом с большой лиловой пряжкой. Затем надеваю прозрачную черную блузку, расшитую золотыми звездами, а полы ее завязываю узлом под грудью: зелено-красный пышный бюст мой от этого очень выигрывает. На шею я вешаю пять ожерелий; ценности они не представляют, но содержат большой философский смысл. Один парень привез их мне из городишка у подножья Гималаев, где он прожил два месяца и схватил инфекционную желтуху. Затем я нанизываю на пальцы свои знаменитые перстни — по три на каждый палец; среди них есть один с розовым овальным камнем, который переливается зеленым. Наконец, поверх блузки я набрасываю длинный бархатный казакин цвета мальвы.

Но остается проблема собаки. Я не хочу ее брать с собой — еще потеряю! Никогда не знаешь, чем может кончиться вечер, особенно у Магды. Поэтому, видя, что такса, виляя хвостом, направилась вслед за мной к двери, я ей строго наказываю:

— Нет, Дзен, будь умницей, оставайся дома и, главное, не смей лаять!

Но ей что ни говори — как об стенку горох.

Дойдя до холла, я услышала яростный лай. Тотчас вынырнул откуда-то хозяин пансиона, противный лысый тип с физиономией церковного служки и затылком жандарма.

— Синьорина, так нельзя! — заявил он.— Уже час ночи, ваша собака разбудит мне всех постояльцев. Уймите ее, в противном случае...

Я замахала на него руками:

— Ладно, ладно, ради бога... Вы тем временем вызовите мне такси!

И пошла к себе. Когда я отворила дверь, собака стояла посреди комнаты и смотрела на меня умоляюще. Я взяла блюдце, отлила в него воды из стакана, в котором развела было для себя снотворное, добавила немного молока и три пакетика сахарного песку. Ничего не подозревавшая изголодавшаяся псина тотчас принялась лакать, а я, воспользовавшись этим, выскользнула из комнаты. Хозяину я пообещала:

— Увидите, она больше не будет лаять!

И села в такси. Плюхнувшись на заднее сиденье, совершенно обессиленная, я сказала:

— Поехали к Магде!

Таксист спросил:

— А кто такая Магда?

Я обозлилась:

— Что значит «кто такая»? Вот серость! Как будто еще есть на свете люди, которые что-то собой представляют! Ну да ладно, если уж тебе так приспичило, Магда — моя лучшая подруга.

Я всем говорю «ты» (кроме хозяина пансиона). Но встречаются мужчины, которые воспринимают такое обращение как интимное. Таксист оказался одним из них. Бросив на меня озадаченный взгляд, он уже не без задней мысли продолжал допытываться:

— Все-таки где же она живет?

Я, отчаявшись, неопределенно махнула рукой:

— Поезжай прямо, все время прямо — как-нибудь доберемся...

Дело в том, что я забыла адрес. Ну, как его вспомнишь, если вылетел из головы!

Таксист — чернявый паренек с недурной внешностью — смотрит на меня в замешательстве, словно в самом деле прикидывает, где бы могла жить моя Магда; полный искреннего желания услужить, он включает зажигание, и мы трогаемся.

Пока такси мчится, швыряя меня из стороны в сторону на поворотах, я пытаюсь припомнить, из-за чего же я, собственно, хотела только что покончить с собой. Но связать концы с концами не удается. Выходит, главная причина в том, что три дня назад я заявила Магде о своем намерении покончить счеты с жизнью. Однако что послужило, так сказать, первопричиной, я забыла. Наверное, какие-нибудь соображения философского порядка — ведь сегодня жизнь, а стало быть и смерть непременно должны быть обоснованы философски. Впрочем, не все ли равно! Поеду к Магде, потанцую часов до пяти утра, потом вернусь в пансион и приму снотворное. Моя кончина лишь откладывается.

Но вот такси резко остановилось; выглянув, я поняла, что мы за городом: фонари кончились, рядом изгородь, деревья; освещенная фарами, белеет впереди извилистая проселочная дорога. Таксист выходит из машины, открывает дверцу, садится рядом и набрасывается на меня: рванув одной рукой блузку с золотыми звездами, он другой пытается расстегнуть лиловую пряжку. Я, конечно, его отталкиваю, отбиваюсь; в конце концов мне удается дать ему коленкой в живот и загнать в дальний угол. После чего я заговорила с ним вполне мирным тоном, пообе-

щала, что когда приедем к Магде, он может подняться со мной, потанцевать, выпить — в общем, побыть с нами, сколько захочет, а попозже уехать с Чечилией: ей негде жить, и она, как правило, свободна, так что, наверно, не откажется его ублажить — разумеется, при условии, что он позволит ей переночевать. А не захочет Чечилия, найдется другая.

После этих слов он как-то нехорошо на меня посмотрел, насупился, ощетинился, как бык, готовый броситься на тореро. И набросился: схватил за волосы и вышвырнул из такси, а сам сел за руль, дал газ и умчался.

Я встала — вся в ссадинах, запыленная, и, прихрамывая, кое-как доплелась по проселку до шоссе. Села на парапет и думаю: необходимо успокоиться, уподобив себя, путем соответствующего созерцательного усилия, какому-нибудь первому попавшемуся на глаза предмету. Вон там, на краю кювета, под фонарем, растет обыкновенный цветок — что-то вроде желтой ромашки. Я пристально в него всматриваюсь, сосредоточиваюсь, концентрирую на нем свое внимание, изолируя себя, отстраняя, отдаляя от внешнего мира. Поначалу цветок «сопротивляется»: жалко, по-буржуазному утверждает свою личность в противовес моей, иными словами, отстаивает цвет лепестков, форму листьев, длину корня как свои индивидуальные черты, которые, по его мнению, мешают ему слиться со мной. Я удваиваю усилия, окружаю ромашку любовью, и вот мало-помалу она «уступает». Я постепенно начинаю чувствовать себя цветком, а цветок становится мною. Взаимное проникновение это настолько глубоко, что я почти не замечаю автомобилистов, которые то и дело останавливаются возле меня и задают обычные идиотские вопросы: «Ну, поехали?!», или «Сколько ты хочешь?», или «Какие у тебя расценки?»

Уже рассвело. За выстроившимися в ряд деревьями светит солнце, сверкает, переливается, как драгоценный камень. Только тогда я соображаю, что окоченела, и решаю прервать свое «созерцательное перевоплощение»: я «отстраняюсь» от цветка, цветок «отстраняется» от меня; наше единство вмиг нарушается. Я снова обычная девушка, сидящая на парапете, а ромашка — обычный цветок, выросший на краю дороги. Я с трудом встаю на ноги: суставы одеревенели, такое состояние, будто тебя избили. Я поднимаю руку, чтобы остановить попутную машину. Вскоре, резко притормозив, возле меня останавливается малолитражка. За рулем монахиня средних лет; рядом с ней еще одна, пожилая, а сзади сидит третья, молодая, вернее, совсем девчонка, белолицая, голубоглазая. Я сажусь рядом с ней, машина едет дальше.

Пожилая монахиня спрашивает, где я живу, и, не оборачиваясь, тут же задает новый вопрос:

— Дочь моя, что ты там делала, сидя на парапете, в семь часов утра?

— Матушка, я уподобляла себя ромашке.

Монахиня-девчонка, та, что сидит рядом со мной, при этих словах залилась краской, надула щеки — вот-вот прыснет. Пожилая спросила:

— Почему ты в таком виде?

— В каком?

— Полуголая, размалеванная во все цвета радуги.

— Я собралась к Магде.

— Кто это Магда?

Я взрываюсь:

— Что за вопросы! Магда, цветок, мы с вами — все едино. Неужели до вас это еще не дошло?

— Но ты гневишь бога, оголяясь при всем честном народе!

Тут молодая монахиня, видимо полагая, что угадала желание пожилой, схватила полы моего казакина и попыталась их запахнуть, чтобы

прикрыть мой полуголый живот и полуобнаженную грудь. Но я ее оттолкнула и, все более входя в раж, закричала:

— Не я должна прикрывать наготу, а ты — обнажиться! Выставить наружу грудь, живот, зад! Сбросить эту черную хламиду, ходить голой. Разве цветы, деревья, лошади, горы одеваются? Говорите о боге, а сами от него прячетесь.

И вот ни с того ни с сего между мной и монахиней завязалась своеобразная борьба. Я пыталась ее раздеть, а она изо всех сил сопротивлялась. Она была сильная, очень сильная, во всяком случае намного сильнее меня, так что я очень скоро сдалась — положила голову на колени монахини и задремала. Сквозь сон я чувствовала, что она нежно касается моего лба, приглаживает волосы.

Когда машина остановилась, молодая монахиня помогла мне выйти, две другие сделали вид, будто они меня не замечают,— и я вдруг оказалась на тротуаре, в толпе прохожих, у входа в пансион. Я вошла и захлопнула за собой дверь лифта; он тотчас пошел наверх.

И вот я в длинном, темном, плохо пахнущем коридоре пансиона. Я открываю дверь своей комнаты и первое, что я вижу — неподвижно лежащая на боку такса; глаза ее закрыты, рядом стоит пустое блюдце. Решив, что она спит, я валюсь на кровать — как была, одетая, залезаю под одеяло и в тот же миг засыпаю. Мне снится странный сон, будто я очутилась на той самой проселочной дороге, где была ночью, и веду на поводке свою таксу навстречу солнцу, а оно восходит, как утром, за выстроившимися в ряд деревьями. Вот солнце совсем взошло, небо озаряется светом. Такса мне говорит:

«Отвяжи меня, отпусти, я пойду. Нам с тобой пора расстаться. Мне надо в рай».

Я наклоняюсь и отстегиваю поводок; собака мгновенно убегает, скрывается из виду. Я остаюсь одна, разражаюсь рыданиями. И в слезах просыпаюсь.

Я смотрю на таксу — она по-прежнему недвижима, лежит возле своего блюдца с закрытыми глазами. Но я замечаю, что пасть чуть-чуть приоткрыта, проглядывают зубы. Я встаю и первым делом наклоняюсь, чтобы пощупать нос. Нос холодный — это хороший признак. Однако, погладив Дзен, я обнаруживаю, что тело ее еще холоднее, чем нос. Только тогда я соображаю, что собака мертва. Плакать я не могу: я уже выплакалась во сне. В этот момент кто-то постучал в дверь и жутким голосом крикнул:

— Телеграмма!

Банда взломщиков

Войдя в кабинет, я прямиком направилась к кушетке, но доктор меня остановил, сказав:

— Сегодня сеанса не будет!

Мы посмотрели друг на друга.

Доктор лыс. Он носит очки с толстыми стеклами, которые как-то странно увеличивают его голубые зрачки, делая их похожими на два маленьких остекленевших водоворота. Нос у него острый, хрящеватый, слегка скошенный набок и потому напоминающий сверло. Под этим «испытующим» носом зияет круглая дырка рта, окруженная концентрическими морщинками, тонкими, как след бритвы. Рост у доктора высокий, комплекция внушительная, плечи широкие, ноги толстые. Он любит сидеть, заложив ногу на ногу, выставив на обозрение свои мощные

мускулистые белые икры над короткими эластичными носками. В облике его есть что-то грубое, низменное, и тем не менее...

Но дадим слово ему самому. Помолчав немного, он своим холодным, неприятным голосом объявил:

— Дорогая синьора, вы лечитесь у меня ровно год. Я считаю своим долгом сказать вам, что вы совершенно здоровы и больше не нуждаетесь в моих услугах.

Я тотчас возразила:

— Что вы, доктор! Я плохо себя чувствую. У меня же тяжелый, тяжелейший невроз!

— Вы совершенно здоровы. Единственное отклонение от нормы, какое я у вас заметил, это желание во что бы то ни стало меня соблазнить. Да и то неизвестно, является ли это отклонением от нормы. Послушайте, что я вам скажу: вы красивы, молоды, богаты; к тому же живете отдельно от мужа — ситуация, как говорится, идеальная. Я, к сожалению, вас не люблю, я люблю свою жену, хотя она не так молода и не так хороша, как вы. Никакого желания заводить так называемый роман у меня тоже нет: подобные истории, получая огласку, весьма губительно сказываются на карьере. Исходя из этих соображений, я полагаю, что нам с вами лучше не встречаться.

Все это он произнес самым решительным тоном, после чего встал и мелкими шажками засеменил к двери, то и дело останавливаясь и повторяя:

— Прошу вас, синьора, прошу, прошу, прошу!

Я вернулась домой как в тумане, без единой мысли в голове, ошеломленная, не в силах ничем заполнить образовавшуюся пустоту.

Войдя в подъезд и направляясь к лифту, я увидела, что возле кабины остановился какой-то парень — обычный волосатый стиляга из самых заурядных: тусклые темные кудри разделены надвое, а посредине торчит орлиный пиратский нос; глазки маленькие, мягкий рот кривится в брезгливой гримасе, а под бороденкой клинышком угадывается отсутствие подбородка. Одет как они все: куртка сардинского пастуха из овечьей шерсти, джинсы, кеды.

Мы вместе входим в лифт и вместе выходим около моей двери. Лишь тогда выясняется, что он — ко мне: спрашивает, не куплю ли я туалетного мыла (у него на ремне через плечо большая сумка).

Я приглашаю его войти и иду в спальню за деньгами — при себе у меня денег не оказалось,— но вернувшись, обнаруживаю, что парня и след простыл и что с полки исчезли две серебряные вазы. Я, не долго думая, кинулась вдогонку. Какой нахал: спускается себе, не торопясь, одной рукой держится за перила, другой придерживает свою сумку на ремне и еще насвистывает! Я его догнала и, запыхавшись, предложила:

— Не поднимешься ли на минутку?

Он, нисколько не удивившись, посмотрел на меня и утвердительно кивнул головой. Входя в квартиру, я спросила:

— Как тебя звать?

— Доменико,— ответил он.

Вы, конечно, помните про знаменитую банду взломщиков? В газетах одно время много о ней писали. За несколько месяцев были ограблены одна за другой одиннадцать квартир. Так вот, никакой банды не было: орудовали мы вдвоем, Доменико и я. Действовали мы следующим образом. У меня много знакомых в театральных кругах, среди киношников и иностранцев. Квартиры, в которых они живут, как правило, имеют две особенности: находятся на самом верхнем этаже, и на ночь остаются без прислуги. В день ограбления я звонила очередной жертве и незаметно выведывала планы на вечер — главным образом точное время возвращения домой.

Затем все происходило по раз и навсегда выработанной схеме. Мы с Доменико забирались на какую-нибудь террасу в доме по соседству. В Риме это просто, потому что обычно двери на террасу либо вовсе не запирают, либо запирают на старинные засовы, которые ничего не стоит отомкнуть согнутым гвоздем. Итак, мы прятались где-нибудь среди развешанного для сушки белья и ждали своего часа. Затем, перепрыгивая с одной террасы на другую, добирались до места назначения. Если окна квартиры были зарешечены, Доменико ломиком раздвигал железные прутья, затем осторожно выдавливал стекло, запускал руку внутрь и открывал задвижку. Я, миниатюрная и верткая, влезала в квартиру, а Доменико стоял на стреме. Брала я преимущественно мелкие предметы: безделушки, статуэтки, пепельницы. Краденое мы сваливали в сумку вместе с инструментом и тем же путем возвращались домой.

Но если технику краж мы довели до совершенства, то о наших отношениях этого сказать было нельзя. Любовниками мы стали некоторым образом именно потому, что были сообщниками. Общие переживания породили любовь, но в глубине души я питала к Доменико одно лишь презрение. С виду стиляга, он по своему внутреннему складу был просто мелким буржуа, мещанином. Воровать он стал только для того, чтобы как-то зацепиться в Риме, иначе пришлось бы возвращаться в родное захолустье. Но теперь, когда он жил на мои средства, он предпочитал не рисковать. Ему нравилось жить в свое удовольствие, а удовольствие заключалось в том, чтобы вести растительное существование, пышно именуемое «созерцательным образом жизни», но в действительности сводящееся к безделью. Я никогда не видела его с книгой; он почти никогда не слушал музыку, а если слушал, то одни эстрадные песенки; танцевать не умел и не любил; при гостях немел, чему, впрочем, можно было только радоваться, так как он был законченный невежда и к тому же начиненный предрассудками.

Так вот, поначалу Доменико и слышать не хотел о том, чтобы снова идти воровать. Пришлось его припугнуть: пригрозить, что выставлю на улицу или выдам полиции. С другой стороны, у него, человека с практической сметкой, разрывалось сердце от сознания, что он не может пустить в дело наворованные вещи, которые я неизменно изымала и сваливала на чердаке в сундук с тряпьем. Доменико все время твердил, что если бы он мог их продать, он бы сколотил капиталец и осуществил свою заветную мечту: открыл собственное дело — магазин почтовых марок. Короче говоря, из нас двоих он был муравьем, а я — легкомысленной стрекозой, хотя на первый взгляд за стрекозу можно было принять скорее его, длинноволосого стилягу, чем меня, состоятельную элегантную даму.

Этот период моей жизни особенно мне запомнился из-за полнолуний: ведь каждая полная луна освещала террасу моих обворованных приятелей! Я глядела на нее и чуть не плакала от восторга при мысли о том, что наконец-то впервые в жизни подвергаюсь настоящему риску! До того времени я никогда ничем не рисковала. Этим и был вызван мой невроз: ведь что бы я ни сделала, деньги заведомо не только ограждали меня от опасности, но устраняли с моего пути малейшие препятствия. Мне думается, что с этим ощущением риска сопряжены были и редкие вспышки любви к Доменико; во всяком случае, в те дни, когда мы не совершали набегов, я его просто ненавидела.

И вот все пошло прахом. Я всю жизнь повинуюсь инстинкту, голова у меня работает не ахти как. Я инстинктивно строила глазки своему психиатру и инстинктивно же решила совершить кражу в его кабинете. Почему именно у него, я поняла лишь в последнюю минуту, готовясь с Доменико к «операции».

Рассказав Доменико историю своих отношений с доктором, я под конец созналась:

— Сама не пойму, почему мне так улыбается идея его обокрасть...

Человек приземленный, начисто лишенный воображения, Доменико не обратил внимания на мои слова. Но я почти тотчас же сама дала себе ответ. Ясное дело: я его еще любила, своего доктора. Кража, в сущности, была лишь способом так или иначе восстановить прерванные отношения.

Наступила намеченная ночь. Было одно из тех роскошных полнолуний, которые сводят меня с ума, от которых я прямо-таки заболеваю волчьим недугом. Пока Доменико привычно орудовал ломом, я смотрела на небо. Вдруг — клянусь жизнью! — мне почудилось, что луна белеет совсем как докторова толстая нога, вернее, что она и есть его нога! Огромным усилием воли заставив себя оторваться от этой восхитительной картины, я встала на подоконник, легко спрыгнула в комнату, притаилась за портьерой и стала прикидывать, что бы мне взять. Наконец я остановила свой выбор на массивном малахитовом пресс-папье величиной с голову ребенка, которое доктор держал на письменном столе около лампы. У меня мелькнула мысль, что потом можно будет изобразить дело так, будто я обнаружила украденное пресс-папье в каком-то магазине, и отнести его доктору домой, а там чем черт не шутит...

Стол — я это отлично помнила — стоял в глубине комнаты, как раз напротив окна. Я раздвигаю занавеску и делаю в темноте несколько шагов в нужном направлении.

Вдруг на письменном столе загорается лампа: за столом сидит доктор, смотрит на меня в упор и медленно произносит:

— Добрый вечер! Меня предупредил некий Доменико.

— Мерзавец!

— В данный момент мерзавец уже далеко. Вы ему надоели, и, перед тем как уехать, он просил меня довести это до вашего сведения. Он сказал также, что намерен начать новую жизнь: открыть торговлю марками. Признаться, странный способ начинать новую жизнь...

Я была совершенно подавлена. Но, взглянув под стол и увидев, что доктор сидит, заложив ногу на ногу — демонстрирует свои белые икры,— я вспомнила о луне. И тогда, в который раз, меня снова выручил инстинкт. Я подошла к кушетке, легла и говорю (доктор опять оказался у меня за спиной, как положено во время сеанса психоанализа):

— Теперь вы больше не скажете, что я не больна! За шесть месяцев я ограбила одиннадцать квартир своих знакомых. Краденными вещами я не воспользовалась. Наверное, их заграбастал этот дурак, чтобы начать новую жизнь. Но до вчерашнего дня все было в целости и сохранности.

Воцарилось долгое молчание. Наконец я услышала знакомый скрипучий голос. Доктор сказал:

— В самом деле... Но сейчас пора спать. Увидимся завтра. Одну минуточку, я загляну в свою записную книжку... Мы увидимся с вами в шесть часов.

Любительница праздников

Я родилась в небольшом городе, в Центральной Италии, неподалеку от моря. Город наш неказистый, хоть и старинный; несмотря на многовековую историю, в нем нет никаких исторических или художественных ценностей, никаких монументальных сооружений. Много веков подряд он не представлял собой ничего особенного, но в последнее

время разросся, отстроился, стал довольно современным. На центральной площади стоят хоть и старинные, но уродливые особняки, церковь— далеко не памятник старины,— и растут не ахти какие деревья, кажется, платаны.

Центр представляет собой лабиринт извилистых улочек с незатейливыми домишками, а дальше начинаются новые, широкие, обсаженные олеандрами прямые проспекты; они тянутся вплоть до городской черты и застроены незатейливыми особнячками.

Есть в нашем городе кое-какая промышленность, так или иначе связанная с деревней; много зажиточных семей — врачей, адвокатов, коммерсантов; дела их идут неплохо, поскольку наша экономика процветает.

Спрашивается, зачем я описываю свой город? А вот зачем: я так его люблю, что даже выйдя замуж и переехав в Рим сумела как бы воссоздать привычную обстановку и зажить своей прежней жизнью. Мы поселились в новом районе, состоявшем из центральной площади и нескольких выходящих на нее улиц. Он был точной копией моего родного города; неважно, что вокруг него царила столичная суматоха, этого можно было и не замечать.

На нашей площади в Риме, так же как на площади моего родного города, было все, что нужно: церковь, кино, всевозможные магазины — продовольственные, хозяйственный, готового платья, писчебумажный и книжный, а также бензоколонка, универмаг и «супермаркет».

Мы жили неподалеку от площади, на шестом этаже многоэтажного дома — вся улица застроена такими домами. Мне повезло: случайно выяснилось, что в нашем доме живет одна женщина, вдова, родом оттуда же, откуда и я. Мы с ней подружились, она меня познакомила с другими земляками, жившими по соседству. Для меня это было очень важно, потому что я говорю с сильным диалектальным акцентом и общение с людьми, чей выговор походил на мой, создавало у меня полное впечатление, что я не уезжала из дома.

По воскресеньям мы ходили все вместе в церковь, по субботам — в кино, через день — в кафе. Я проводила время точно так же, как у себя в городе: утром отправлялась на площадь за покупками, а часов в шесть-семь — на прогулку. Римская жизнь моя протекала, стало быть, точь-в-точь, как до замужества, когда я была девушкой и жила с родителями в провинции. В центре Рима, во всех этих знаменитых местах вроде улицы Венето, улицы Кондотти, площади Колонны и площади Пополо я бывала от силы раза два-три в год.

Иллюзию, будто я не покидала родного города, особенно поддерживали во мне праздники. У нас в провинции праздники соблюдают истово — даже если не верят в то, что празднуют. Соблюдают все подряд — и старинные народные, и церковные, и особенно семейные: дни рождения, годовщины и тому подобное. Ну, и официальные, конечно, тоже.

Живя в Риме в окружении земляков, я вполне могла продолжать эту традицию: отмечать все наши праздники. Кое-какие из них празднуют и в столице — правда, немного иначе. Например, Карнавалу у нас придают гораздо большее значение, дожидаются его с нетерпением весь год,— так уж повелось с незапамятных времен. А в Риме пошумят-пошумят — главное, чтобы позабавить ребятишек,— и хватит.

Надо сказать, муж мой совершенно не разделял моих вкусов. Хоть он и родился в одном городе со мной, но еще мальчишкой уехал в Америку учиться. Вернулся он настоящим «американцем»: неизменно носил темные костюмы из легкой ткани, белые рубашки и темные галстуки. А свои русые волосы стриг, как немец, «под бокс»,— с боков под машинку. Даром что очкарик — всегда сердитый был, напористый.

По специальности он нефтяник, и большую часть года ему приходилось разъезжать. Ездил он всегда в одни и те же страны — в Иран, на Ближний Восток и в Ливию; иной раз наведывался и в Латинскую Америку, точнее, в Венесуэлу.

А я путешествовать не охотница. Муж много раз звал меня с собой, но я отказывалась. С этого и начались наши размолвки. «Ты,— говорит,— провинциалка, деревенщина».

Как-то вечером открыла я географический атлас и красным карандашом начертила на карте мира круг: красная линия начиналась от Ирана, пересекала Ближний Восток и Ливию, захватывала Венесуэлу и через Рим снова замыкалась на Иране.

Я пояснила:

— Каждый день, выйдя из дома, я делаю круг — обхожу площадь и возвращаюсь домой. При этом я вижу всегда одних и тех же людей и делаю одно и то же.

— То есть ухитряешься жить в столице так, словно не уезжала из провинции!

— Ты же выезжаешь из Рима в Тегеран, затем едешь в Риад, оттуда в Триполи, из Триполи — в Каракас и снова в Рим. При этом ты тоже видишься с одними и теми же людьми и делаешь одно и то же, не так ли?

— В общем, да.

— Тогда в чем разница между моим образом жизни и твоим? Только в том, что я делаю круг в несколько сот метров, а ты — в несколько тысяч километров. Зато моя жизнь куда разнообразнее! Ты встречаешься только с людьми, которые занимаются нефтью, и говоришь с ними только о нефти. Я же общаюсь с разными людьми, и беседуем мы о всякой всячине.

— И все равно ты провинциалка, деревенщина, а я современный, культурный человек.

Больше всего его бесили праздники. Он их ненавидел, уверял, что у него свои знаменательные даты, не совпадающие с общими: например, день повышения жалованья или покупки нового, большего автомобиля, и что никому нет дела до его праздников, а ему — нет дела до чужих.

Об общих праздниках, которые положено соблюдать просто потому, что такова традиция, он и слышать не хотел. Я же твердила:

— А мне все праздники нравятся! Я люблю и рождественскую елку, и конфетти в дни Карнавала, и крашеные яйца на пасху, и поездки за город на Феррагосто. Даже день поминовения усопших, когда все несут на кладбище хризантемы, и тот мне по душе!

— Да! Тебя хлебом не корми, только дай повеселиться!

— Если бы отменили праздники, это было бы все равно что питаться всухомятку, вместо того чтобы сесть за стол и как следует пообедать. Все равно что переселиться из квартиры в пещеру...

— Какая ты все-таки дремучая дикарка!

— Сам ты дикарь! Будь твоя воля, ты бы отменил все на свете, даже одежду. Хорошо бы мы выглядели: ходили бы нагишом и я, и ты, и дочка — и жили бы в гроте.

Я забыла сказать, что у нас тем временем родилась дочь, Джаннина. Внешне она походила на отца, но когда немного подросла, оказалась вся в меня: те же вкусы, те же пристрастия. Она любила нашу площадь, нашу церковь, наши магазины, наши кафе. И, главное, обожала праздники.

Близился Карнавал. Джаннине исполнилось пять лет, и я решила сводить ее на бал-маскарад. Это был бы первый в ее жизни костюмированный бал, и я не хотела, чтобы он оказался последним: надо было

сделать так, чтобы он произвел на нее неизгладимое впечатление, запомнился на всю жизнь. Муж мой находился, как всегда, в отъезде, где-то на Ближнем Востоке. Мы с моей приятельницей-вдовой долго обсуждали, что надеть. Мне, стройной брюнетке, по ее мнению, хорошо бы нарядиться пираткой, а дочке — она у меня светловолосая, совершеннейший ангелочек! — надеть костюм феи с остроконечной шапочкой, усеянной звездами и полумесяцами, с волшебной палочкой в руке. Наконец, после долгих споров, я решила нарядиться испанкой, вернее, испанской цыганкой: черная мантилья, гребень на затылке, кастаньеты. А для дочки выбрала костюм придворной дамы восемнадцатого века: ей полагалось надеть седой паричок, платье с кринолином и глубоким вырезом, загримироваться, налепить множество мушек и взять в руки веер.

Как мы с ней были хороши! Как нам шли наши наряды! Я — вся в черном, загадочная, пылкая, полная колдовских чар. А затянутая в яркие шелка Джаннина, благодаря белилам, туши и помаде, казалась не только взрослой, но вызывающе кокетливой.

Мы как раз вертелись перед зеркалом, когда в прихожей послышался шум: неожиданно нагрянул муж. Он был в белом костюме — видно, только что из жарких арабских стран. Увидев Джаннину, он молча взял ее за руку, увел в ванную и, намочив полотенце, за несколько секунд уничтожил плоды моих многочасовых трудов: смыл и пудру, и белила, и помаду, и тушь, и мушки. Но когда он начал стаскивать с нее платье, я вмешалась. Не помню уж, что мы друг другу говорили,— наверное, завели все тот же спор, кто из нас дикарь, он или я. Однако на сей раз разговор шел в весьма повышенных тонах, сопровождался криками и взаимными оскорблениями и кончился рукоприкладством: муж впервые за шесть лет нашей совместной жизни надавал мне пощечин. Я схватила дочку, мы с ней выскочили на улицу, я — в костюме испанской цыганки, она — как маленькая мадам де Помпадур,— сели в машину и уехали.

Я просидела за рулем три часа без передышки. До моего родного города мы добрались около полуночи. Мама, увидев нас в маскарадных костюмах, по наивности своей воскликнула:

— Неужели вы приехали на бал-маскарад к нотариусу Джурлани?

Я не стала ее разубеждать. В конце концов зачем было лишать девочку такой невинной радости, как первый в жизни костюмированный бал?!

Мы отправились на маскарад и имели большой успех. Вернулись под утро, смертельно уставшие, обсыпанные конфетти, опутанные серпантином.

В столицу я больше не вернулась: мы с мужем расстались. Я его видела недавно в приемной моего адвоката, в Риме, когда ездила улаживать свои семейные дела. Он был любезен, но держался отчужденно. Спросил меня, что я поделываю. Я ответила:

— Живу, как всегда.

Я спросила у него, что поделывает он. Он сказал:

— Живу, как всегда.

В подтверждение своих слов я собиралась в тот же вечер вернуться к себе в провинцию, а он через пару часов должен был отправляться на Ближний Восток.

Мы расстались почти друзьями. Он сказал:

— Мы не понимали друг друга. Мы — люди разных культур.

Я ответила:

— При чем здесь культура! Мы с тобой окончили одну и ту же школу. Просто я люблю праздники, а ты — нет.

Тараканы

Наконец я одна. Муж ушел в контору — как водится, даже не попрощавшись. Сын, перед тем как отправиться с невестой по магазинам — скоро свадьба, и они обзаводятся хозяйством,— подошел, обнял меня и поцеловал. Дочь заглянула на минутку в новом платье, прошлась передо мной павой и ушла гулять — якобы с подругой.

Я одна. Странная вещь: как только я остаюсь в одиночестве, я сразу перестаю быть любящей, заботливой, неутомимой женой и матерью, которая живет в постоянной тревоге за своих близких, не знает ни минуты покоя, целиком отдает себя семье. Когда я одна, я становлюсь совершенно другим человеком: циничным, холодным, трезвым и жестокосердным. Эта поразительная метаморфоза меня удручает. Только что, сидя за столом, я была озабочена здоровьем мужа и детей. Дочери — она мечтает похудеть и ничего не ест — твердила:

— Ешь, ешь! Ты довела себя до малокровия!

Сына, любителя выпить, уговаривала:

— Не пей ты этих ликеров и коктейлей! Это же гадость! Неужели ты не знаешь, как они вредны для здоровья?!

Мужу внушала:

— Хоть один раз пойди на работу пешком, подвигайся! (У него скверная привычка не расставаться с машиной.)

Так я говорила только что. Печать нежной любви и тревоги не сходила с моего лица. Но стоило мне прилечь, остаться одной...

Начнем с моего мужа. В наследство от отца он получил несколько квартир и с тех пор ничем, кроме сбора квартирной платы, не занимается. Но даже несложную работу домовладельца он выполняет шаблонно, вяло, тупо, без всякой инициативы, полагая, что достаточно одного факта его присутствия.

Муж перестал меня интересовать давным-давно, уже лет двадцать тому назад. Если бы понадобилось дать ему характеристику, можно было бы ограничиться одним-единственным словом, пусть довольно избитым, но удивительно емким: ничтожество. Да, мой муж — ничтожество, пустое место, оболочка без содержания, калька, снятая с чего-то, чего в действительности нет.

Я помню, как это было, то есть как я поняла, что он собой представляет. Однажды я пошла навестить его в больницу, ему предстояла небольшая операция. Я назвала дежурной монахине его фамилию, повторила раз, другой, даже растерялась: она никак не могла понять, о ком я говорю. Наконец сообразила:

— Ах, это двести двадцать шестой!

И тогда мне вдруг стало ясно, что за человек мой муж: некто, кого, ввиду отсутствия других признаков, можно отличить лишь с помощью порядкового номера. Ему предшествовал двести двадцать пятый, после него шел двести двадцать седьмой... Вот и все. В других обстоятельствах, скажем, в очереди перед банковским окошком, он был бы тринадцатым, при уплате дорожного налога — двухсотым, при получении автомобильного номера — тысячным, а у входа в кино — шестидесятым... И так до тех пор, пока имя его не займет двенадцатое место в ежедневно публикуемом городской газетой списке в траурной рамке.

Но, скажете вы, порядковый номер все-таки существует! В принципе — да, а в такой чисто эмоциональной сфере, как память,— нет. Поэтому сейчас, оставшись одна, я говорю: мой муж ничтожество, полное ничтожество, нуль.

Но бог с ним, с моим мужем. Перейдем к дочери. Моя дочь очень хороша собой. У нее классическая красота, древнегреческая или древ-

неримская: высокая, статная фигура, точеное лицо, нос прямой, продолжающий линию лба, разрез глаз, как у античных статуй, форма рта безукоризненная. Но она скучный человек, до того скучный, что при одной мысли о ней становится тоскливо. Сказать о моей дочери, что она дура, значило бы сделать ей комплимент. Она кретинка. Такое чудоюдо можно показывать в балагане. Случай более чем редкий, в своем роде единственный. Прав был тот, кто сказал, что ум имеет границы, а глупость безгранична. Идиотизм моей дочери, как море, он безбрежен. Но в ее идиотском поведении есть своя система. Она никак не может выйти замуж, хотя не реже раза в год объявляет об очередной помолвке. Не помню, чтобы она когда-нибудь согрешила или просто увлеклась, закрутила роман или всерьез влюбилась, проявила слабость или потеряла голову... Нет! Она признает только жениховство! Другое дело, что женихи становятся ее любовниками или — как бишь их еще называют нынче — хахалями. Но моя дочь упрямо стоит на своем: каждый новый эпизод ее личной жизни должен быть официально оформлен. Это длится уже давно; ей скоро стукнет тридцать пять, а она все еще разыгрывает из себя барышню, которой полагается сначала представить своего избранника родителям и только потом, через приличный промежуток времени, ввести «в общество».

В отношении дочери моя... двойственность — назовем ее так — тоже меня крайне удивляет и тревожит. Всего четверть часа тому назад я ей говорила:

— Радость моя, сокровище! Когда же вы с Пьетро думаете пожениться?

А сейчас... сейчас меня подмывает встать с кушетки и нацарапать угольком на белой стене пару теплых слов в адрес этой безмятежной, будто изваянной из мрамора вечной невесты.

Ну, и наконец, мой сын. Он не ничтожество, как мой муж, и не кретин, как моя дочь. Он просто негодяй. Я знаю это доподлинно, понимаю, почему он такой, и вижу, в чем это выражается. Когда ему было двадцать лет, он, сидя за столом, хвастался, что добился благосклонности какой-то девчушки-продавщицы в обмен на клятвенное обещание жениться. Добившись своего, он, разумеется, забрал обещание назад, о чем тут же, за столом, победоносно во всеуслышание и объявил. За обедом, в присутствии родителей и сестры, о таких вещах не рассказывают, но его так распирала радость по поводу удавшегося обмана, что он даже не понял всей непристойности своего поведения.

В тот момент у меня автоматически сработал материнский инстинкт:

— Смотри, как бы она не стала тебя шантажировать! Нагуляет себе ребенка, а потом припишет тебе. Таких авантюристок сколько угодно!

Но немного погодя, оставшись наедине с собой и вспомнив, как он бахвалился, я просто ахнула:

— Ну и негодяй!

С того дня я стала к нему присматриваться. И вот наблюдаю за ним более десяти лет. К сожалению, мои первоначальные опасения подтвердились, интуиция меня не обманула: да, мой сын — негодяй. Причем подличает он с самым невинным видом, ничтоже сумняшеся! На работе перед начальством заискивает, подчиненными помыкает. В личной жизни — лгун, лицемер, циник. Хотя с виду этого никогда не скажешь, с виду он душа-человек, ласковый, серьезный, респектабельный... В облике его есть что-то от богомольного ханжи и от кабинетного ученого, несмотря на то что он не верит ни в бога, ни в черта и невежествен до крайности.

Недавно, опять-таки за столом, он объявил, что собирается жениться.

— Невеста моя уродина,— добавил он,— но зато богатая наследница...

И с тем же невинным видом, что и десять лет назад, с тем же непониманием непристойности своего поведения признался, что это брак по расчету.

Я совершенно так же, как и десять лет тому назад, всполошилась:

— Подумай, что ты делаешь! Связать себя на всю жизнь с нелюбимой женщиной! Ах, как это опрометчиво! И... так ли уж она богата?

А оставшись одна, я мысленно ахнула:

— Мой сын — отпетый негодяй!

В глубине души я была теперь в этом убеждена больше, чем когда-либо прежде.

Перебирая все это в памяти, я никак не могу себя понять. В присутствии своих близких я с ними во всем согласна, я с ними заодно. Почему же в их отсутствие я к ним так беспощадна?! Сколько я ни билась, ответа так и не нашла. В этот момент зазвонил телефон. Я решила, что звонит приятельница, и облегченно вздохнула: «Слава богу, поболтаю, отвлекусь...»

Но когда я сняла трубку и поднесла ее к уху, оказалось, что я подключилась к чужому разговору. Откуда-то издалека доносились два приглушенных, но отчетливых голоса. Диалог был любопытный, тема — тоже. Воспроизвожу его полностью:

— Постарайся обнаружить, откуда они лезут!

— А я почем знаю?! Может, из раковины... В таком случае ничего нельзя сделать. Не вскрывать же водопроводные трубы!

— Но, прости, пожалуйста, почему бы тебе, перед тем как ложиться спать, не посыпать пол каким-нибудь ядовитым порошком?

— А их ничто не берет! Единственный выход — давить шваброй!

— Ну и дави!

— Да, но когда я там, их нет, а когда они там — меня нет...

— Что ты хочешь сказать?

— А то, что они выползают, когда я сплю. Случается — редко, правда,— придешь домой в три часа ночи, заглянешь на кухню — на полу черным-черно... Их там сотни, тысячи... А утром — ни одного!

— Хочешь, я тебе дам совет? Поставь с вечера будильник на три часа. Как только проснешься, хватай щетку и бей, пока всех не передавишь!

— Нет уж, спасибо. Ночью я хочу спать. Этого еще не хватало: заводить ради «них» будильник! Противно.

— Но как можно спать, зная, что они там ползают?!

— Очень просто. Неужели же лишать себя сна из-за них? Даже не подумаю! Пусть себе резвятся, пока меня нет. Мне главное — не видеть, не знать об их существовании.

Красивее, чем ты

Когда я была маленькой, мама,— наверное, чтобы я не догадывалась, какие мы бедные и какая неказистая у меня кукла, «кукла для бедных девочек»,— научила меня песенке, в которой были такие слова:

Кукла, моя кукла! Ах, как ты красива!
Чуть ли не красивее, чем я!

Это было неправдой — так сказать, ложью во спасение: я была гораздо красивее своей куклы. Мы действительно были бедны, но красотой бог нашу семью не обидел.

С годами я не подурнела, напротив, все хорошела: в пятнадцать лет была красивее, чем в десять, а в восемнадцать красивее, чем в пятнадцать. Я была так хороша, что как-то летом, когда мы отдыхали на морском курорте, меня избрали королевой красоты. Среди членов жюри конкурса красоты был один промышленник, мужчина средних лет. По-моему, если бы устроили конкурс уродства, он наверняка получил бы первую премию.

На следующий день он пришел на пляж меня поздравить. На нем были не то плавки, не то трусики — не поймешь, а на ногах какие-то кургузые носки, едва доходившие до щиколоток. Мне сразу бросилось в глаза, что оба эти предмета туалета были какие-то непонятные: ни то ни се.

Пока он рассыпался в комплиментах, я смотрела на него и думала: отчего он кажется таким некрасивым? Что он уродлив, было очевидно, но почему? Наконец я поняла: он производил впечатление какой-то неуклюжей, неудачной заготовки, болванки, которой так и не придали законченную форму. Не лысый, но и без шевелюры: глаза — ни светлые, ни темные, нос — ни прямой, ни горбатый, губы — ни тонкие, ни толстые; плечи широкие, как у человека высокого роста, а ноги короткие, как у низкорослого. Даже речь его — нечто среднее между диалектом и литературным итальянским языком — была какая-то косноязычная.

После нескольких визитов этот уродливый человек осмелился просить меня, писаную красавицу, стать его женой! Я знала, что он очень богат, но не это заставило меня принять его предложение. Дело в том, что он говорил властным тоном, а у меня мягкий характер, я податлива, пассивна. Когда он, взяв меня за руку, сказал: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой» (заметьте: не «хотел бы», а «хочу»), я не смогла ему отказать и ответила «да».

Так и повелось: он всегда говорил «я хочу», а я неизменно отвечала «да». Он захотел, чтобы я его полюбила, и я его полюбила. Он захотел, чтобы я жила на вилле в пятидесяти километрах от Рима, рядом с его заводом, и я не возражала. Он захотел, чтобы со мной жили его родственники: дедушка и бабушка, родители, две незамужние сестрицы, брат — целый разветвленный клан,— я и с этим смирилась. Наконец, он пожелал, чтобы у нас были дети, и я родила ему двоих детей.

Как я уже сказала, он был богат, вернее, очень богат. Так, например, наша вилла, по его же собственным словам, обошлась ему более чем в полмиллиарда. Это не дом в старинном стиле, какие сооружали когда-то богатые люди, тягаясь с местными дворянами. Нет, мой муж увлекается модерном, и нашу виллу скорее можно назвать «машиной для жилья», чем просто жилищем. Одноэтажная, сплошь из стекла, мрамора и металла, она распласталась среди зелени наподобие огромного жесткокрылого насекомого: вот-вот расправит крылья и улетит!

Это впечатление усугубляется обстановкой. Обставлена вилла роскошно, но в ней нет ни одной вещи, сделанной руками кустаря,— пусть не ахти как, но с любовью. Здесь все изготовлено на станке, с рациональной автоматической точностью машины. Даже цвета тканей, вполне определенные и броские, больше ассоциируются с лакокрасками, применяемыми в промышленности, нежели с полутонами, которые любят художники.

Эта безупречная «машина для жилья», естественно, оснащена не менее безупречными «машинами для быта». Муж одержим манией механизации, и наша вилла превратилась в музей всякого рода аппара-

туры. Есть машины для развлечения — телевизоры, радиоприемники, проигрыватели, кинопроекторы. Есть машины для питания — плиты, духовки, холодильники, взбивалки; машины для поддержания чистоты — для стирки белья, для мытья, для бритья. В подвале имеется гимнастический зал со всем необходимым для физкультуры, а в глубине парка святая святых: большой гараж, где муж держит свои автомобили, девять штук — три машины-люкс, три вместительных семейных автомобиля и три малолитражки. Он их все время меняет: вместо устаревших моделей покупает новые. По-моему, он ими даже не пользуется, ограничивается тем, что подолгу смотрит на них как завороженный. В лучшем случае прокатится раз-другой по парку для пробы, и все.

Мне хочется подчеркнуть, что машины, напротив, имеют законченную форму, по крайней мере, так мне кажется,— потому они и красивы. А сама форма, в свою очередь, диктуется соображениями рациональности, эффективности. Короче говоря, эти машины — не неудачные полуфабрикаты, а как раз то, чем им положено быть.

В этой роскошной вилле, где все сверкает, где все так рационально и безукоризненно, бок о бок со мной живет целая ватага безобразных, неуклюжих «полулюдей» — родня моего мужа. Так же, как и он, они уродливы не потому, что уроды (прошу простить эту невольную игру слов), а потому, что бесформенны. Глядя на них, можно подумать, что природа собиралась сделать полноценные человеческие существа, но почему-то не довела свой замысел до конца и в ожидании лучших времен пустила их гулять по свету в таком незавершенном виде.

Я уже упоминала об их косноязычной, наполовину диалектальной речи: видимо, она отражает их неоформленный образ мыслей. Та же неопределенность и в их одежде — то ли деревенской, то ли городской, не поймешь.

Как это ни грустно, но мои сын и дочь пошли в отца, больше похожи на членов его клана, чем на меня.

Однажды муж привез с собой из Рима приятеля, с которым когда-то вместе учился. Муж мой, как принято говорить, сам выбился в люди. Во всяком случае, сильно разбогател. Приятель же его, напротив, в люди не вышел, а остался тем, кем был, таким же бедняком, как двадцать лет назад: он преподает в средней школе. Не думаю, чтобы муж действительно питал какие-то дружеские чувства к этому человеку, которого в глубине души наверняка считает неудачником. Просто подумал: «Он видел, с чего я начинал. Пусть посмотрит, чего я добился».

Каков он с виду, этот учитель? Повстречай я его где-нибудь в другом месте, я бы, наверное, не обратила на него внимания: ничем не примечательная личность. Но когда я вошла в гостиную и увидела его среди «полулюдей», то есть мужниной родни, я мысленно воскликнула: «Какой красивый человек!» При ближайшем рассмотрении оказалось, что эпитет «красивый» не совсем точен. Учитель не был красив, он был таким, каким должен быть обыкновенный человек, если он являет собой удачный, законченный человеческий тип.

Муж представил его родне и повел осматривать виллу. Мы обошли весь дом, муж распахивал двери, а учитель неизменно восхищался: «Прекрасно, прекрасно, прекрасно». Но в тоне его звучало что-то, похожее на издевку. Обойдя все спальни, гостиные и кухни, мы, наконец, вышли из дома и отправились в гараж. Как раз за несколько дней до этого муж купил великолепную машину английской марки; мы уселись все трое на переднее сиденье и прокатились сначала по парку, а потом по шоссе. Учитель так старательно бубнил: «Прекрасно, прекрасно, прекрасно», что мне в какой-то момент захотелось его одернуть: «Хватит иронизировать! Машина в самом деле отличная!»

Но тут мне бросились в глаза лежавшие на руле простецкие грубые

руки моего мужа, и мысли мои приняли иное направление. Я себя спросила: «А может быть, между уродливостью этих рук и красотой автомобиля есть какая-то связь?»

Мы вернулись домой. Клан разбрелся по комнатам. Муж сказал, что ему нужно на завод, и распрощался. Мы остались одни: учитель, дети и я. Учителю было явно не по себе. Он сказал:

— Прекрасный дом. Столько красивых вещей... Но знаете, какая из них самая красивая, самая восхитительная?

— Какая?

— Вы!

Комплимент был старомодный и, возможно даже, не совсем искренний, но на меня он произвел впечатление вспышки молнии в ночи. Я всегда удивлялась, почему обладание такой прекрасной виллой не доставляло мне никакого удовольствия. И вдруг при слове «вещь», которое учитель не совсем кстати употребил в отношении меня, я прозрела: я потому не могла гордиться наводнявшими виллу красивыми вещами, что сама была вещью, одной из многих вещей — по крайней мере, для моего мужа! Мне вспомнилась шикарная машина, которой я только что любовалась, и я подумала: нет, я не родственница всех этих шуринов, дядей, тетей, бабушек, дедушек, родителей, двоюродных братьев и сестер; мои роскошные черные волосы, красивые голубые глаза, изумительный рот, безупречная фигура свидетельствуют о том, что я сродни не им, а этой великолепной машине, мы с ней — одной породы (я чуть было не сказала: однокровки).

Учитель тем временем в замешательстве разглядывал моих детей. Я сказала:

— Они у меня некрасивые, в отца.

Он ничего не ответил, видимо, согласился. Я продолжала:

— Этот дом битком набит красивыми вещами и некрасивыми людьми.

Учитель вздохнул и немного погодя изрек:

— К сожалению, характерной чертой нашей культуры является то, что вещи, которые она создает, гораздо красивее тех, кто ими владеет и пользуется.

— Но есть же на свете красивые люди!

Я думала о себе. А он, быть может тоже думая обо мне, ответил:

— Они перестают быть людьми и становятся вещами.

К нему подошла моя дочка-дурнушка. В руках она держала свою роскошную современную куклу, одетую, как модная дама; на кукле были мини-юбка, туфли на высоком каблуке, колготки и бюстгальтер.

Девочка похвасталась учителю:

— Правда, у меня красивая кукла?

И он, сам того не зная, почти процитировал песенку моего детства:

— Красивая, очень красивая! Чуть ли не красивее, чем ты!

Шкаф

Я убила своего мужа по ошибке, вернее, балуясь: навела на него пистолет, думала, он не заряжен,— и нажала курок. Даже предупредила:

— Сейчас я тебя застрелю: пум!

Прислуживавшая за столом горничная, глядя на меня, улыбнулась, а муж просто засмеялся. Оказывается, если попасть прямо в сердце, то первая реакция — смех. Так вот, мой муж засмеялся и стал тихо сползать со стула, словно распадаясь на составные части.

Меня, конечно, арестовали, долго копались в истории наших отношений, а выяснив, что мы любили друг друга, даже слишком, оправдали «ввиду отсутствия состава преступления».

Я уехала в провинцию, решила пожить у родителей. Я у них единственная дочь. Отец с матерью меня холят и лелеют. Еще бы: жизнь моя разбита, со мной случилось такое ужасное несчастье... Так говорят и думают мои родители. И они правы. Со мной в самом деле случилось ужасное несчастье, жизнь моя действительно разбита, но несчастье случилось не теперь, а много лет тому назад, и жизнь мою они разбили сами.

Я с детства отличалась какой-то повышенной чувствительностью, привязчивостью. Если я кого-нибудь любила, то с первой минуты, неистово. Ртутный столбик моей любви подскакивал кверху, как температура при малярии. Я любила самозабвенно, отдавая свое сердце в полное владение любимому человеку.

В ту пору таким человеком была моя мать. Сказать, что я ее любила, было бы мало: я в ней растворилась; иногда мне казалось, что мы с ней — одно целое, что на свете существует только она одна.

Я тогда считала ее очень несчастной. В действительности она была счастлива — на свой лад, конечно, потому что супружеская жизнь ее состояла из сплошных ссор и примирений, причем и те и другие протекали одинаково бурно.

Я ничего не понимала и, когда за столом вспыхивала очередная перепалка, дрожа от негодования, сразу же брала сторону матери. Как-то раз на моих глазах отец залепил ей пощечину. Мы обе вскочили и через минуту уже сидели в детской. Мать рыдала и судорожно прижимала меня к груди. Вдруг она крикнула:

— Собирайся! Уложи свои вещи и надень пальто! Я пойду уложу чемодан. Уйдем из этого дома! Навсегда!

И вышла из комнаты. Взбудораженная, я послушно побросала в сумку свои любимые игрушки и немного белья, накинула пальто и побежала к матери. Дверь спальни была приоткрыта — сквозь широкую щель я увидела, что родители лежат на кровати, тесно прижавшись друг к другу. Мать томным, слабеющим и явно недовольным голосом велела мне идти к себе.

Я была ошарашена, унижена, оскорблена. Тяжело было сознавать, что я слепо, не раздумывая, отдала себя в недостойные руки.

Не знаю, что со мной произошло, но я безо всяких усилий со своей стороны, инстинктивно как бы раздвоилась: вместо одного человека стало два. Настоящая Сильвия зажила особняком, а вторая, удачная имитация первой, была мною предназначена для сношений с внешним миром. Отныне никто уже не мог, воспользовавшись моей сверхчувствительностью, завлечь меня и поглотить. Отныне любила уже не я, а та, другая; она же и разочаровывалась, а я оставалась в стороне, в роли невозмутимого ироничного наблюдателя.

С тех пор я больше не страдала. Правда, с годами я все острее переживала свое одиночество, так как решительно ни с кем не общалась — общалась та, другая, мною выдуманная и для этой цели предназначенная.

Надо признать: со своими обязанностями она справлялась отменно. Разбитная, энергичная, напористая, она держалась непринужденно в любой обстановке.

Что говорить: действовать и быть сторонним наблюдателем — совсем разные вещи. Чтобы не подвергать себя унижениям вроде того, которое заставила меня пережить моя мать, я обрекла себя на своего рода паралич: лишь наблюдала, как живет та, другая, сама же не жила. Меня все больше охватывало чувство одиночества, скованности, бесси-

лия. Крепость, которую я возвела для самозащиты, все больше становилась похожей на тюрьму.

Как-то раз меня пригласили на загородную виллу. Среди гостей был молодой человек очень серьезного вида, новоиспеченный инженер. Он стал робко за мной ухаживать. Я годами жила отшельницей, без людей. В этот раз я сказала той, другой, что я в ней не нуждаюсь: мне захотелось обойтись без посредников и «уполномоченных», стать самой собой, любить и быть любимой. Насколько велика была во мне эта жажда любви, видно по одному тому, как я, форсируя события, расшевелила своего слишком осторожного ухажера.

Как-то после ужина он остался поиграть на бильярде. Я ушла к себе, надела свою самую красивую ночную рубашку, прокралась к нему в комнату и закрылась в платяном шкафу. Сидя в темноте, среди его пиджаков и галстуков, я с замиранием сердца ждала, когда же он наконец придет и ляжет.

Не исключено, что подсознательно этот шкаф был для меня неким символом психологической темницы, в которую я сама себя заживо заточила. Я знала: мне надо вырваться — одновременно и из шкафа, и из своей темницы — и броситься в его объятия. Так оно и произошло. В том же году мы поженились.

Я любила его страстно. Он же, будучи человеком сдержанным и скромным, любил... обыкновенно. После года супружеской жизни я начала опасаться за свою любовь. Дело в том, что с мужем у меня произошло то же, что некогда с матерью: я любила его до самозабвения и мало-помалу полностью ему уподобилась. Я стала его эхом, научилась говорить, как он, с миланским акцентом (я сама тосканка), переняла его жесты; сменила юбку на брюки, одевалась так же, как он. Сзади нас можно было принять за близнецов: оба светловолосые, одинаково подстриженные — у него шевелюра чуть длиннее, чем положено, у меня — чуть короче. Эта моя «сверхпластичность», эта склонность к мимикрии приводила меня в смятение. А что, если муж, сдержанность которого я, случалось, принимала за холодность, выкинет со мной тот же номер, что когда-то выкинула мать? С чем я останусь? Что со мной будет? И я решилась: призвала на помощь ту, другую, и сказала: «Займи мое место и действуй! Я боюсь». Та, разумеется, не заставила себя просить и буквально набросилась на моего мужа, как с голодухи. А я добровольно вернулась в свою темницу, из которой меня на время вызволила любовь.

Она и мой муж любили друг друга, а мне оставалось только смотреть на них. Я была похожа на несчастную женщину, которую выгнали из собственного дома,— вот она стоит, бедняжка, холодной темной ночью и, прильнув к оконному стеклу, заглядывает в свою бывшую комнату, где сейчас так тепло и светло, где так хорошо живется.

Некоторое время я терпела такое положение, а потом решила: была не была, отделаюсь от своего двойника и восстановлю прежние отношения с мужем! Осуществить свое намерение мне на сей раз не удалось: о том, чтобы сразу отступиться, та, другая, и слышать не хотела. Я пыталась уговорить ее по-хорошему, усовестить — не получилось. Пригрозила — не помогло.

Она стояла между мной и мужем. Тягаться с ней мне было трудно: она такая мастерица разыгрывать пылкую страсть! А моя любовь хоть и искренняя, но робкая, деликатная.

Иной раз та, другая, лукаво говорила:

— Ну ладно, я устраняюсь, делай что хочешь!

Я с трепетом предпринимала слабую, неумелую попытку сближения, но муж, уже пристрастившийся к ее бесстыдству, ничего не замечал. Она торжествовала:

— Теперь ты убедилась, что ему твое простодушие ни к чему? Ему подавай мое притворство! Так что оставь-ка ты нас в покое!

В один из тех дней муж, беседуя по телефону со своей матерью, сообщил ей, что едет в Париж. Я была в соседней комнате и слышала, как он говорил:

— Конечно, я возьму Сильвию с собой. Она так ко мне привязана... Разве я могу оставить ее одну? Она истомится, дойдет до отчаяния.

Меня в самом деле охватило беспросветное отчаяние: он едет с ней в Париж! А я останусь одна-одинешенька, лишенная даже такого жалкого утешения, как возможность их видеть, наблюдать их любовь.

Я собралась с силами, вызвала своего двойника на откровенный разговор и потребовала, чтобы она позволила мне съездить с мужем в Париж.

— Хватит с тебя! — сказала я.— Теперь моя очередь!

Не стану описывать в подробностях наше долгое препирательство, скажу лишь, что мне пришлось туго: она заядлая спорщица, мне до нее далеко. Поэтому для меня было полной неожиданностью, когда она вдруг сдалась:

— Ладно, отправляйся, но помни, что я уступаю тебе его только на время поездки. По возвращении ты мне его вернешь!

Неделя, проведенная в Париже, показалась нам с мужем вторым свадебным путешествием. И хотите знать, как мне удалось восстановить былую близость? Очень просто: я повторила нашу первую любовную встречу. Как только мы приехали в Париж и устроились в гостинице, я под каким-то предлогом выпроводила его в город, а сама разделась, облачилась в свою лучшую ночную рубашку и залезла в шкаф. И опять сидение в темном, душном, забитом вещами шкафу, где воняло чем-то затхлым, показалось мне символичным, напомнило психологическую темницу, в которой я заживо себя похоронила. Я просидела довольно долго. Потом, слышу, муж вернулся, окликнул меня; я, взвизгнув от радости, распахнула дверцу и бросилась ему на шею. Я поняла, что спасена.

Но стоило нам вернуться в Италию, как та, другая, примчалась в аэропорт и, шагая рядом со мной по летному полю, потребовала:

— Отдай мне обратно мужа!

Я наотрез отказалась.

Тогда эта злодейка (пора назвать ее, как она заслуживает), уходя на следующее утро из дома, произнесла фразу, в которой мне послышалась скрытая угроза. Я пошла за ней следом и видела, как она юркнула в оружейный магазин и купила пистолет. Сразу же разгадав ее план, я твердо решила его сорвать: в ее отсутствие проникла к ней в комнату, отыскала пистолет, вынула обойму и унесла к себе, после чего, успокоенная, села с мужем обедать.

Остальное вы знаете. Мы сидели за столом, я не сводила с мужа любящего взгляда, а та, другая, смотрела на нас и бесилась от ревности. Потом она вынула пистолет и нацелилась в него со словами:

— Сейчас я тебя застрелю: пум!

Я даже бровью не повела. Напрасно она прикидывалась, будто это шутка, я-то знала, что это всерьез, но не волновалась, уверенная, что в пистолете нет обоймы. Однако она меня перехитрила: чтобы оградить себя от случайностей, она еще раньше вогнала одну пулю в ствол.

Раздался выстрел, и муж замертво упал на пол.

Я заявила, что выстрелила случайно, и тем самым избавила ту, другую, от тяжкого наказания. Зачем я ее спасла? Потому что не уверена в себе: кто знает, вдруг я опять полюблю кого-нибудь больше, чем надо! Тогда она мне опять понадобится. Но, спасая ее, я связала себя с убийцей, стала ее соучастницей. Я твердо знаю, что убийство моего мужа—

это лишь первое звено в длинной цепи преступлений. Выйдя сухой из воды, она совсем распоясается.

Тем временем родители подыскивают мне нового мужа. Мы еще не знакомы, а я уже дрожу за него. Ведь опять придется уступить его той злодейке, а самой остаться в одиночестве или же снова жить в страхе, что его убьют у меня на глазах.

Мне некогда

Скоро ехать, а я все еще в халате. Вокруг ералаш: горы чемоданов, шкафы распахнуты, ящики разворошены, стулья завалены просмотренными и забракованными туалетами.

Я, как всегда, боюсь опоздать, хотя твердо знаю, что успею сделать все необходимое. Каждый раз одна и та же история! Впрочем, у меня действительно еще масса дел: надо принять душ, намазаться, причесаться, выбрать костюм для дороги. И напоследок еще позвонить красавцу Бенно, влюбленному в меня молодому немцу, сказать ему, чтобы перестал обо мне думать; а то, что произошло между нами три месяца назад, пусть считает приятным (для себя) приключением, не более. Главное, надо ему растолковать, что любовь требует времени, а у меня его нет. Мне не то что любить, дышать некогда! Если тебе за сорок и вдобавок журналы мод ставят тебя на седьмое место в списке самых элегантных женщин мира, то это обязывает. Успеваешь охватить только то, что планируется заранее, на определенную дату: визиты, поездки, приемы, сафари, балы, спорт, круизы и так далее. Для любви у меня не остается места. Можете вы себе представить, чтобы кто-нибудь записывал в свой календарик светских обязанностей: «С 12 декабря до 20 января — любовь»?!

Нет, любовь создана для тех, у кого есть время,— точнее говоря, для тех, кто живет вне времени. Знаете, что я ответила одному репортеру из отдела светской хроники на вопрос о том, какое место занимает в моей жизни любовь? Сияя своей знаменитой ослепительной улыбкой, я сказала: «Вся моя жизнь проходит в самолете. Сами посудите, могу ли я помышлять о любви! Предоставим любить домоседам».

Итак, я сижу на неубранной кровати; рядом поднос с чаем, я к нему даже не притронулась, некогда. Я взяла свою разбухшую записную книжку, испещренную адресами людей, живущих во всех уголках мира, и, водя пальцем, отыскала имя Бенно. Только я собралась снять трубку, как заглянула горничная и возвестила:

— Ваша сестра!

В тот же миг в комнату скользнула моя сестра-близнец Сузанна.

— Привет, Марианна...— нараспев поздоровалась она.

Уверяют, будто близнецов связывает такая тесная физиологическая «солидарность», что стоит одному заболеть, как у другого тоже появляется недомогание. Сущая чепуха! Я, конечно, не хочу сказать, что Сузанна мне чужая, но в общем-то почти... Спору нет — то, что мы близнецы, видно сразу: у обеих огромные голубые глаза, белокурые волосы, вздернутый нос, крупный рот с пунцовыми губами. Но на этом сходство кончается. Я — подтянутая, всегда взвинченная, нервная, Сузанна же— несобранная, вялая, флегматичная. Моя отличительная особенность— излишняя торопливость, отличительная особенность Сузанны — невыносимая медлительность. Как и следовало ожидать, несходство темпераментов привело к различию судеб. Я с самого начала поставила своей

целью разбогатеть, и мне это удалось — правда, ценой брака по расчету с человеком преклонного возраста. Но он, к счастью, вскоре оставил меня вдовой. У Сузанны не было ярко выраженных стремлений, она жила как жилось и, естественно, ничего не добилась. Один ее вид говорит сам за себя: явилась, как бродяга, в бесформенном свитере, выгоревших брюках, стоптанных сапогах. Лицо серое, голова замотана платком по-деревенски.

Я встречаю ее воплем:

— Только тебя мне не хватало! Я уезжаю, у меня куча дел! Так что, знаешь, лучше уходи!

Но ее не прошибешь: лезет обниматься. Я шарахнулась в сторону — сказать по правде, от нее плохо пахнет. Но она даже бровью не повела: не хочешь, не надо.

Оглянувшись вокруг, Сузанна восхищенно пропела:

— Какая уйма красивых платьев! Ты богачка...

Я уже сбросила халат и стояла на пороге ванной; однако она меня надоумила: можно от нее избавиться — подарить что-нибудь, и пусть идет к черту!

Как была, голышом, я стала носиться по комнате, нахватала вещей — пару ненадеванных брюк, джемпер из кашемировой шерсти, совершенно новые сапоги — и швырнула все это ей в физиономию:

— На, держи! Сбрось с себя свое вонючее тряпье и переоденься! Кое-что тебе в итоге перепало... А теперь, умоляю, уходи, мне не до тебя!

Она медленно подобрала вещи, долго их рассматривала, несколько раз выдавила из себя вялое «спасибо», в котором можно было уловить иронию, и, к моей величайшей досаде, не спеша пообещала:

— Сейчас примерю.

— Никаких примерок! Надевай и катись!

Но она не послушалась, потихоньку расстегнула молнию, сняла брюки, в несколько приемов стащила свитер и осталась в изношенных до дыр грязных трусиках и лифчике.

Я рассвирепела, наскочила на нее, стала ругать:

— Грязнуля ты мерзкая! Помойся, прежде чем надевать мои вещи! Пошли, примем вместе душ!

Я сорвала с нее заношенные тряпки и затолкала в ванную. Она было попыталась увернуться, что-то возражала, канючила, но под конец сдалась.

Мы встали вместе под мощную струю горячего душа. Я взяла мыло и намылила ее с головы до ног.

Намыливая ее, я поняла, насколько мы с ней, в сущности, разные. Я — сплошные нервы и мускулы, мое естественное состояние — бег, никто никогда меня подолгу не рассматривал, не созерцал — так же, впрочем, как и я; Сузанна же — нежная, мягкая, гладкая; чувствуется, что она всю жизнь провела на одном месте, в созерцании или как объект созерцания.

После душа я набросила на нее махровую простыню, наспех растерла и вытолкнула в комнату:

— Теперь ты чистая, можешь облачаться в мои вещи!

Мы одевались одновременно. Сузанна — невыносимо медленно: она еще натягивала брюки, а я уже сидела в полном параде за туалетом и красилась. Я видела в зеркало, как она, кончив одеваться, прихорашивалась, поглаживала себя по бедрам.

И вдруг нудным голосом завела:

— Я прихожу к тебе раз или два в год, не чаще, а ты даже не поинтересуешься, как мои девчонки...

Вечная песня! У нее три дочки от разных отцов, причем ни один не

был ее мужем. Я отнюдь не моралистка, но уму непостижимо, как она справляется с таким сложным семейством!

Я спохватилась:

— Ах да! Как они поживают? Как здоровье Изабеллы, Джаннины, Леи?

— Здоровы-то они здоровы, но очень быстро растут, одевать их — целая проблема. Я нашла выход: шью им все на вырост — фартуки до пят, юбки до середины икры. Но они артачатся, им, оказывается, неудобно ходить в таком виде. Претензии, скажу тебе, как у взрослых!

Я в это время подводила глаза и даже испугалась — такой жгучей яростью они засверкали.

— Ты живешь все в том же подвале?

— Нет, мы переехали на другую квартиру, сейчас мы живем в мансарде. У нас, правда, всего две комнаты, но выручают террасы. Мы ведь переселились на окраину, почти за город.

Она стоит за моей спиной, я ее не вижу, однако все время чувствую ее присутствие, и оно меня раздражает. Я наугад хватаю с туалета длинную блестящую цепочку из желтого металла, усеянную фальшивыми разноцветными камнями, и сую ей через плечо:

— На, надень и уходи!

Дернула меня нелегкая... Сестрица бережно, двумя руками берет цепочку и молча, нахмурившись, озадаченно, недоуменно изучает ее, камень за камнем.

Сузанна невероятно медлительна, потому что воспринимает вещи органами чувств, постепенно. Я же реагирую молниеносно, потому что воспринимаю разумом.

Наконец она заговорила, голос ее звучал испуганно и томно; искус был велик:

— Но я не хочу у тебя отнимать такую чудесную вещь! Неужели ты в самом деле мне ее даришь? Она тебе не нужна? Ты ее в дорогу не наденешь?

— Да, я тебе ее дарю! Только носят ее не на шее, а на талии...

— Так?

На сей раз я просто ей не ответила; кончив мазать губы, с силой нажала кнопку звонка. Вошла горничная. Я сухо распорядилась:

— Скажите Винченцо, чтобы поднялся за чемоданами!

В этот момент мне почему-то вспомнилась одна странная вещь. Странная потому, что совершенно пустяковая. За два дня до этого я вышла немного прогуляться по саду и, почувствовав на лице теплоту солнечных лучей, подумала: «Как припекает. Уже совсем лето...» Воспоминание это возникло при виде того, как Сузанна смотрела на цепочку из желтого металла. И я подумала: свое «открытие», что уже настало лето, я сделала тогда, в саду, с помощью органов чувств, а не как-нибудь иначе — скажем, не по циферкам своего хронометра,— то есть точно так, как это делала сейчас Сузанна, своими органами чувств «открывшая» красоту подаренной цепочки. Я сообразила, что уже многие годы ничего сама не «открываю», и все потому, что, к сожалению, никогда нет времени остановиться, присмотреться, понаблюдать...

Сузанна вдруг взъерепенилась:

— Ты обошлась со мной, как с попрошайкой, будто я пришла к тебе клянчить милостыню! Я действительно пришла кое о чем тебя попросить, но никакого отношения к тряпкам это не имеет!

Дальнейшие объяснения я попросту пресекла:

— Сама видишь, мне некогда! Меня ждет машина. Я еду в аэропорт!

— Но я совсем коротко... Хотя история сложная и длинная... Видишь ли...

Я уже с порога крикнула:

— Мне некогда! Можешь ты понять или нет?! У меня нет времени!!! — И вышла из комнаты. Но сестрица увязалась следом.

— Видишь ли,— лепетала она, догоняя меня на лестнице,— несколько месяцев тому назад ко мне пришел молодой человек необычайной красоты, он в меня влюблен!

— Извини, но при чем тут я?!

— Подожди! Он влюбился в меня, потому что влюблен в тебя.

— Очень интересно...

— Подумай: я для него — как бы это выразиться — вроде твоей дублерши. Он говорит, что у вас с ним что-то было, а потом ты его оттолкнула, и теперь он хочет любить тебя через меня, так как мы близнецы и очень похожи. Я лично не против... Он такой красивый. И потом, сама не знаю почему, мне было бы приятно, чтобы нас с тобой любил один и тот же человек.

— Молодец! Одобряю! Я тебе его дарю, как цепочку. Бери и пользуйся на здоровье!

— Его зовут Бенно, он немец.

Мне некогда. Я ее обнимаю на прощанье. Меня ждет машина. Мысленно я уже слышу гул самолета, который скоро умчит меня далеко отсюда. Я торопливо бросаю:

— Привет! И будь счастлива с твоим Бенно!

— Не с моим, а с твоим!

Я решительно поворачиваюсь к ней спиной и сажусь в машину. Наверное, надо бы задуматься о чем-то значительном — ведь такой подходящий случай. Но мне некогда.

Скучные люди

Мы сидим в машине, машина встала: на дороге затор, скопилось с сотню автомобилей; светофор мигает лениво и бессмысленно, как глаз сонного человека. Зеленый свет сменяется желтым, желтый — красным, потом опять появляется зеленый, а колонна ни с места.

Мы сидим и ругаемся. Точнее, пикируемся, высказываем друг другу печальные истины, которых дома из-за детей никогда не касаемся.

— Ты лгун! Можно подумать, что ты и правда едешь к своему компаньону! На самом деле ты рвешься к своей ведьме. И вдобавок я же должна тебя везти!

— Скажите на милость! Я же молчу, когда ты отправляешься «в парикмахерскую». Знаю я этого парикмахера! Он по совместительству архитектор и живет на Авентино в апартаментах из десяти комнат.

— Да, но во всем остальном я тебе не лгу. А ты без лжи — ни шагу. Ложь — твое хобби!

— Каждому свое. Пусть я лгу, зато ты воруешь.

— Ах, ты еще смеешь обзывать меня воровкой?!

— Воровкой не воровкой, но то, что ты снимаешь «верхушку» с денег, которые я даю на хозяйство, это факт. И немалую!

— Жизнь заставляет! Надо же подумать о будущем, о детях. Ты со своим компаньоном, того гляди, попадешь за решетку, это уж точно. Вот и приходится откладывать на черный день.

— Лучше уж сидеть за решеткой, чем дома. И знаешь почему? Чтобы не видеть твоей постной физиономии!

— Ну, знаешь, это уже слишком! Выходи из машины! Можешь взять такси...

Он рывком открывает дверцу, выскакивает из машины и, пробираясь среди пофыркивающих, подрагивающих автомобилей, лавируя между радиаторами и багажниками, удаляется.

Я гляжу вслед этому сорокалетнему мужчине в клетчатом пиджаке, с круглой, похожей на тонзуру, лысиной на макушке и вся киплю от возмущения и ненависти. Подумать только, что я, идиотка, его любила!

В этот момент застывшее на месте стадо автомобилей зашевелилось. Однако я вдруг поняла, что не пойду по магазинам: пропало желание. Я была взвинчена, чувствовала себя совершенно разбитой. Лучше ехать домой. Дома, по крайней мере, дети: десятилетняя Элиана и девятилетний Оливьеро и, на худой конец, телевизор.

Через несколько минут я была снова у себя, в Париоли. Поставив машину, я вошла в подъезд, села в лифт и поднялась на верхний этаж.

В передней я обратила внимание, что дверь в гостиную приоткрыта и в комнате кто-то разговаривает. Это были голоса Элианы и Оливьеро. Элиана говорила:

— Теперь ты будешь мамой, а я — папой!

Меня разбирает любопытство, хочется незаметно поглядеть, чем это они занимаются. Прошмыгнув через другую дверь в столовую, а оттуда — в кухню, я заглянула из-за ширмы в гостиную. Местом для игры детям служило свободное пространство перед камином. Элиана напялила отцовскую куртку, которая доходит ей до колен, и нахлобучила до самого носа папину же охотничью фуражку. Оливьеро просто надел мой светлый парик.

Он не согласен:

— Единственное, чего я не понимаю, это почему я, мужчина, должен изображать маму, а ты, женщина, папу! Не лучше ли сделать наоборот?

Элиана нетерпеливо возражает:

— Ты в самом деле ничего не понимаешь! Если тебе достанется мужская роль, а мне женская, то не понадобится играть!

— Почему?

— Да потому, что мы будем изображать самих себя!

— Понятно. Но что мне делать, чтобы походить на маму?

— В том-то и дело, что я сама не знаю...

— Как это «сама не знаешь»?

— Глупый! Об этом и речь: наши родители — само совершенство.

— Ну и что?

— А то, что комедия высмеивает недостатки. Например, если бы я сочинила комедию про тебя, я бы высмеяла твой главный недостаток: то, что ты трусишка, боишься всего на свете, особенно собак без намордников.

— У тебя тоже куча недостатков! Ты, например, сластена. Если бы я сочинил комедию про тебя, все бы узнали, какая ты сладкоежка!

— Да, но это — наши с тобой недостатки. А у папы с мамой их нет. Значит, никакой комедии не получится. Теперь понял?

— Да, ты права. Я как-то об этом не подумал. Но у меня есть идея: почему бы нам не придумать им недостатки?

— Глупый! Если выдумывать, то с таким же успехом можно изобразить кого-нибудь другого, а не папу с мамой!

На какое-то время они замолкли. Немного погодя Элиана сказала:

— По-моему, надо отложить игру на другой раз. Мы недостаточно подготовились. Прежде чем изображать папу с мамой, надо за ними как следует понаблюдать. Тогда, вот увидишь, мы непременно обнаружим у них какие-нибудь недостатки и посмеемся вволю!

— Ничего мы не обнаружим.

— Почему?

— Потому, что наши родители действительно само совершенство. Можешь верить, можешь нет, но когда мама пришла вчера вечером пожелать мне спокойной ночи, мне даже показалось, что у нее вокруг головы сияние, как на образах великомучениц в церкви.

— Я считаю, что и папа — святой человек. Он такой добрый. Но ведь и у святых есть свои слабости.

Снова молчание — и голос Элианы:

— Решено, мы за ними понаблюдаем, но не для того, чтобы потом высмеивать, а для того, чтобы подражать!

— А как?

— Я усядусь в кресло с трубкой и с газетой, как папа. А ты сделаешь, как мама: сядешь напротив и будешь читать журнал. Время от времени мы с тобой будем прерывать чтение и беседовать.

— А что мы будем говорить?

— То же, что они!

Сказано — сделано. Элиана берет одну из многочисленных отцовских трубок, зажимает ее в зубах и опускается в кресло, Оливьеро, сидя напротив нее, перелистывает журнал мод. Затем девочка спрашивает:

— Дорогая, какой сегодня день?

— Четверг, милый!

— Знаешь, дорогая, тебе очень идет это платье.

— А я как раз хотела тебе сказать, милый, что тебе очень к лицу этот галстук.

— Дорогая, ну как тебе вчерашний фильм? Правда, интересный?

— Совершенно с тобой согласна, милый! Замечательно интересный фильм!

— Дорогая, что-то похолодало. Надо бы включить батареи.

— Я уже позаботилась, милый! Скоро будет тепло.

— Ну, дорогая, я пошел. Мне пора на работу. А ты что будешь сегодня делать?

— Я схожу к портнихе, милый. Она уже три недели шьет мне платье, все никак не закончит.

Тут Элиана вдруг залилась смехом, вскочила и закружилась по комнате, приговаривая:

— Догадалась, догадалась, догадалась!

— О чем?

— Я догадалась, какой у папы с мамой недостаток!

— Какой же?

— А вот какой: они скучные люди!

Все как на рекламе

Я теперь ложусь спать в двенадцать часов ночи и — так уж повелось — сплю до полудня, то есть двенадцать часов кряду вместо прежних семи или от силы восьми. Спать по двенадцать часов я стала не потому, что переутомлена или больна, просто это способ убить половину времени, отведенного для жизни. Проспав около семи часов, я, как правило, просыпаюсь: раньше я в это время обычно вставала, одевалась и начинала свой день. Теперь же, при одной мысли о том, что меня ждет, хочется забыться. Поэтому вместо того, чтобы встать, я зажигаю ночничок, отбрасывающий круг света диаметром в двадцать сантиметров, приподнимаюсь на локте и прикидываю, что бы мне проглотить: у меня тут, под лампочкой, целая аптека — бутылки и бутылочки, флакончики, коробки, пакетики с наркотическими средствами, успокаиваю-

щими пилюлями, всеми видами снотворного. Я принимаю пилюлю-другую, гашу свет, свертываюсь калачиком, натягиваю на голову одеяло и вскоре засыпаю. Сплю до полудня, а встав, тотчас принимаю несколько успокоительных таблеток, чтобы в последующие двенадцать часов, оставшихся до полуночи, пребывать в состоянии полусна-полубодрствования. Так я и хожу весь день в отупении и повседневные дела свои выполняю, как заведенная машина, автоматически, бездумно. Впрочем, если я и думаю, то всегда об одном и том же: о том, что мне при моем образе жизни размышлять ни к чему, так как мой образ жизни — точная копия или имитация известной схемы. Но тут, видимо, следует объяснить, что именно я имею в виду.

Началось это однажды после обеда у нас в гостиной. Муж просматривал какой-то иллюстрированный журнал, в руке его дымилась сигарета, на столике возле кресла стояла чашка с кофе. Я тоже сидела в кресле и курила, поглядывая на детей. У меня их двое: Патриция пяти лет и Раньеро — шести; они играли у моих ног, на ковре. Муж мой — человек молодой, крепкий, здоровый, уравновешенный, красивый. Ему тридцать пять лет, он архитектор и в своей области достиг больших успехов. Я женщина красивая, молодая: мне двадцать семь лет. Дети у меня очаровательные. Квартира прекрасная, современная, очень удобная, элегантно обставленная. И погода в тот день стояла отличная; солнечный луч, проникавший в окно, золотил белокурые головы детишек, подчеркивал яркость мебели. Я с удовольствием смотрела на малышей, на мужа и чувствовала, что создана для семейной жизни, что ничего лучшего мне не надо.

В этот момент муж протянул мне журнал и говорит:

— Ну-ка, взгляни! Давай проверим, насколько ты наблюдательна. Скажи, что тебе напоминает эта картинка?

Я прикрикнула на детей:

— Тише вы, угомонитесь! Разве вы не видите, что папа с мамой читают?

Потом взяла журнал и рассмотрела картинку. Это была цветная реклама известной марки сигарет. На ней была изображена семья из четырех человек: отец, мать и двое детей — девочка с мальчиком. Отец очень походил на моего мужа, мать на меня, а дети на моих детей: те же позы, то же выражение лиц и, как это ни невероятно, портретное сходство. Если не считать некоторых мелочей, одежда и обстановка тоже были одинаковые. И, наконец, еще одна жестокая деталь: мы с мужем курили те самые сигареты, которые рекламировала картинка. Не знаю, что со мной стряслось. Я, по-моему, даже осунулась, как-то вдруг съежилась, оцепенела — настолько меня это покоробило,— словно кто-то непрошеный вторгся в дом и грубо нарушил наше уединение.

Какое-то время я продолжала смотреть на детей и на мужа, но уже без улыбки и без умиления, не шевелясь, не говоря ни слова. Потом подумала про себя, что теперь сходство с рекламной картинкой не такое уж полное: появилась одна реальная деталь — мое огорчение. Но мне тотчас пришло в голову, что на другой картинке — возможно, даже еще более убедительной — эта реальная деталь может стать опять-таки выдуманной: из каких-нибудь рекламных же соображений мать могут изобразить, на фоне всеобщего благодушия, с огорченной миной на лице.

Так впервые вкралась в мое сознание мысль о том, что жизнь моя, что бы я ни делала, всегда будет только копией с чего-то другого. С чего? Трудно сказать. Видимо, с чего-то такого, что в данном случае нашло отражение в рекламной картинке, но в других случаях может выразиться и в чем-нибудь еще.

Мысль эта меня потрясла. Я уронила на пол журнал, извинилась, сказала, что неважно себя чувствую, и поспешно вышла из комнаты.

Ночью я впервые попыталась продлить сон с помощью снотворного — так и пошло...

С тех пор я живу во власти этой навязчивой идеи, с сознанием, что жизнь моя нереальна и лишь имитирует нечто, к чему я не имею никакого отношения, что меня совершенно не касается. Я по-прежнему люблю своего мужа, и мне не хотелось бы утаивать от него свою тревогу, поэтому я то и дело возвращаюсь к наболевшему вопросу. Например, говорю:

— Думаешь, кто ты сейчас? Небось скажешь: молодой блестящий архитектор, который едет со своей славной женушкой на своей машине во Фреджене? Ничего подобного, дорогой! Взгляни-ка на этот щит, рекламирующий автомобили той же марки, что и наш! В действительности ты лишь имитируешь то, что там нарисовано!

Муж, со свойственным ему туповатым благоразумием, отвечает:

— А мне какое дело? Лишь бы добраться поскорее до моря и немного отдохнуть вдали от города!

Я стою на своем:

— Да, море... как на картинках, рекламирующих морские курорты!

— А мне какое дело? Лишь бы вдыхать целебный морской воздух, любоваться безмятежной, смеющейся морской далью, слушать волнующий рокот прибоя, чувствовать на коже благотворное тепло солнечных лучей, пьянящую свежесть бриза... Неужели ты считаешь, что все эти ощущения — только «имитация»?

— Да, милый, да! Ты, бедняжка, даже не замечаешь, что говоришь теми самыми словами, какие можно прочесть на любой рекламе туристской компании!

— Ну тебя к черту! Ты становишься маньячкой...

— Ты, наверное, думаешь, что чертыхаться оригинально? Ничего не может быть шаблоннее! Умная реклама так комментировала бы твой бессильный гнев: «Молодой блестящий архитектор всегда очень сердится, когда его смышленая женушка обращает его внимание на то, что он находится во власти нашей рекламы. Молодой блестящий архитектор прав. Он вовсе не находится во власти нашей рекламы, он пользуется нашими товарами только потому, что они лучшие в мире. Гнев его вполне оправдан и лишний раз подчеркивает доброкачественность нашей продукции».

Муж, успокоившись, начинает меня увещевать:

— Ну, ладно, пошутили и хватит. Если бы наша жизнь, вся наша жизнь в самом деле оказалась лишь имитацией промышленной рекламы, это было бы невыносимо. По-моему, ты впадаешь в крайность, делаешь рискованные обобщения...

Я немедленно парирую:

— Кто тебе сказал, что мы имитируем только промышленную рекламу? Мы ее имитируем лишь в тех, действительно не таких уж частых случаях, когда она маячит перед глазами. В остальное время мы не просто имитируем рекламные картинки, мы идем на поводу у тех, кто изготовляет для нас товары, приспосабливаемся к их мировоззрению, а они считают, что свет клином сошелся на товарах, на нашем к ним, товарам, отношении и его обратном воздействии на нас. Поняв это, тебе придется признать, что я терзаюсь не напрасно: почти все, практически все, что мы делаем, нам кем-то подсказано.

— Ну, а раз так, нечего ломать себе голову! Ведь не стала бы ты противиться законам природы, не заявила бы: я не хочу есть, пить, спать, любить, появляться на свет, умирать и так далее...

— Но имитация, о которой говорю я, вовсе не из категории естественных явлений! Потому я и бунтую, что, в сущности, от нас самих зависит, укоренится она или нет! Бунтовать против природы нельзя — по

крайней мере так, как против себя. В том-то и дело, что мы можем воспротивиться этой проклятой имитации!

— Каким образом?

Я рассмеялась, покачала головой:

— Это далеко не так просто. Иной раз у меня появляется искушение, как говорится, уйти от действительности. Я, например, подумала, что возможна другая крайность: вообразила себя в шортах и в рубашке колониального образца, на каком-нибудь пустынном берегу, скажем, на острове Пасхи. Вокруг, на плешивых склонах гор, там и сям торчат громадные, таинственные, чуть-чуть зловещие головы из серого пористого камня, а я, маленькое, странное существо, одна среди них. Но в тот же день я пошла в кино, и как ты думаешь, что я увидела? Документальный фильм об острове Пасхи, в котором женщина, очень похожая на меня, в таких же шортах и такой же рубашке, бродила среди громадных серокаменных голов. Нет, все это не просто... Я пока придумала только один выход.

— Какой?

— Сам знаешь какой: гипнотические средства, успокоительные таблетки, препараты от бессонницы. Чтобы спать, спать, спать...

— Ты говоришь: «спать»? А ну-ка, подними голову, взгляни туда, выше, выше, вон на тот щит с рекламой снотворного! Это же ты, ты лежишь в своей уютной постели, укрывшись одеялом! Ты лежишь и спишь, ты, ты, ты!

Культ семьи

Как только я предстала перед своей свекровью, увидела ее круглую и, если присмотреться, мрачную физиономию, я поняла всю бесполезность своего визита. Но раздумывать было поздно, она уже приставала:

— Что с тобой, моя деточка? Чем я могу тебе помочь? Поди сюда, сядь и расскажи все по порядку!

Пришлось сделать хорошую мину при плохой игре — набраться смелости и выложить ей всю подноготную о моем муже. Как я и предвидела, свекровь сперва разыграла удивление, будто с неба свалилась:

— Да что ты?! Кто бы мог подумать?! Как же так?! Невероятно!

Потом она начала исподволь подыскивать для Пьетро оправдания:

— Он, наверное, устал, переутомился. Известное дело, нервы! Ему необходимо отдохнуть.

А под конец уже не исподволь, а довольно откровенно попыталась взвалить всю вину на меня:

— У тебя, однако, тоже усталый вид; наверное, и сама изнервничалась, измоталась. К тому же ты у нас известная выдумщица, фантазерка, всегда готова сделать из мухи слона. Небось всякую чепуху — а между мужем и женой чего не бывает?! — раздуваешь, преувеличиваешь. Боюсь, что ты нуждаешься в отдыхе еще больше, чем он!

Я на нее так глянула при этих словах, что она струсила — видно, почувствовала, что я могу сорваться,— и стала бить отбой,— дескать, конечно, она меня понимает, еще как понимает: у ее покойного мужа, бедняжки, тоже был нелегкий характер, но как бы там ни было, я не могу отрицать, что Пьетро прекрасный семьянин, что у него просто культ семьи, да, да, настоящий культ, а раз так...

Тем временем она каким-то образом ухитрилась поднять меня с кресла, выпроводить в прихожую и, расцеловав, выставить за дверь, словно назойливую побирушку. Как я очутилась на лестничной площадке, перед кабиной лифта, убей не помню.

По дороге домой я все размышляла насчет Пьетро — хотя бы потому, что свекровь своими намеками заморочила мне голову, я решила даже, что меня подводит память. Спору нет, Пьетро действительно боготворит семью. Но во что этот «культ» выливается! Достаточно вспомнить, например, как у моего мужа складывается день, чтобы сказать: второго такого «семьянина» не сыщешь! «Культ семьи» у него весьма своеобразный и весьма сомнительный. В самом деле, что делает примерный муж и отец рано утром, едва встав с постели? Съедает в одиночестве, на кухне, свой скромный завтрак, затем, чтобы не тревожить сонного царства, тихонько выскальзывает из дома и отправляется на работу. Так поступает и Пьетро, что правда, то правда. Но работа-то у него не настоящая!

Он садится в свою малолитражку, едет в центр, доезжает до большого дома, где целый этаж занят под конторы и где он тоже снял себе комнату и устроил «контору». Но только он в этой своей «конторе» ровно ничего не делает и никогда ничего не делал, потому что в ней нечего делать, она даже никакого названия не имеет и не известно, для чего предназначена! Он усаживается за письменный стол и, вперив взгляд в пространство, дожидается обеденного перерыва. Дело в том, что он ничего не умеет, мой Пьетро, и живет на средства матери, а всю эту комедию с конторой разыгрывает специально для меня, чтобы показать, какой он заботливый муж и оборотистый делец. Впрочем, наиболее вероятно, что он таким образом просто морочит голову мне и себе.

Ну, ладно. Ровно в час дня он приходит домой и трубным голосом возвещает: «Это я! Я пришел! Варите макароны!» После чего отправляется в гостиную, снимает пиджак, удовлетворенно покряхтывая «о-хо-хо», бухается в кресло и вопит: «Йоле, будь умницей, сбегай-ка за газетой и за моими домашними туфлями; папуля устал, наработался!»

Девочка выполняет просьбу, он сбрасывает ботинки, надевает шлепанцы, одной рукой включает радио, а другой подносит к глазам газету, всякий раз пылко восклицая при этом: «Ах, семья! Что может быть на свете лучше семьи!»

Однако, подойдя к двери гостиной, я из-за его спины вижу, что он держит газету вверх ногами: читать ее в таком положении невозможно. Что касается радио, он вовсе не настраивает его на музыку или на последние известия: в приемнике что-то свистит, урчит, ревет, потрескивает... Но он упорно называет это «читать газету» и «слушать радио».

Потом мы садимся обедать. Никто мне не поверит, но, клянусь, это правда: несмотря на свою молодость (ему едва исполнилось тридцать лет), Пьетро обожает разыгрывать из себя патриарха — становится у стола, около стопки тарелок, и начинает нас «обслуживать»: делает вид, будто разливает суп, но протягивает мне и дочке пустые тарелки, а по-настоящему наливает только себе, после чего садится есть и причмокивает: «У-у, какой вкусный суп! Объеденье! Ну, ешьте! Чего же вы ждете? Ешьте!»

Странный вопрос: прежде чем есть, надо наполнить тарелки, что я и делаю в благородном молчании, так как хорошо знаю — спорить с ним бесполезно, он сразу набросится: «Вот видишь, какая ты! Лишь бы перечить! А семейная жизнь — это прежде всего согласие и любовь!»

После обеда он снова с громким вздохом облегчения плюхается в кресло и включает телевизор. Повторяется та же комедия, что с приемником: он даже не старается сделать так, чтобы изображение было в фокусе; на экране прыгают, мельтешат, исступленно наползают друг на друга какие-то темные и светлые полосы.

Потом он вдруг вскакивает и заявляет: «Хватит смотреть телевизор! Пошли баиньки!» Видимо, так говорили у него дома, в их старозаветной римской пропапской семье, и ему кажется, что употребление

подобных приторных «домашних» оборотов содействует семейному уюту.

«Баиньки» заключаются в следующем: я должна скинуть платье, туфли и в одной комбинации улечься на кровать. Пьетро даже облачается в пижаму. Но, думаете, он ложится рядом со мной? Ничего подобного — стоит у окна и барабанит по стеклу.

Я с постели его разглядываю: когда он стоит ко мне спиной, я вижу его чахлый затылок, жидкие, прилизанные волосы, а когда поворачивается в профиль, замечаю, что у него полностью отсутствует подбородок. Исходя из этих двух особенностей его внешности — чахлого затылка и отсутствия подбородка,— я сочинила теорию, объясняющую его поведение. Видимо, рассуждала я, он ненавидит семью, но жить иначе не может: не хватает жизнеспособности. Поэтому он и свел семейную жизнь к ряду ничего не значащих и в своем роде ритуальных действий, носящих настолько абстрактный и чисто внешний характер, что невольно начинаешь думать: а ведь он разыгрывает этот нелепый, злой фарс из мести!

«Баиньки» кончаются тем, что он вдруг спохватывается: «Довольно спать, соня ты эдакая! Мне пора на работу!» — и, весело и бодро насвистывая, переодевается и опять убегает бездельничать в свою «контору». Впрочем, это не совсем так, одно занятие у него все-таки есть: звонить мне по телефону и спрашивать: «Как дела? Все хорошо? Все в порядке? Что ты делаешь? Что поделывает малышка?» В действительности он меня таким образом контролирует. Дело в том, что я лишена права на собственную жизнь, на то, чтобы иметь друзей, свои интересы, развлечения. Мне полагается сидеть дома и вести пресловутую семейную жизнь — семейную жизнь, которую он превратил в пародию.

Но больше всего я страшусь воскресений. Одна из прописных истин, которые так любит изрекать мой муж, гласит: «Воскресенья следует проводить в кругу семьи». Так мы и делаем. Помимо законных двух бабушек и двух дедушек, у него целая прорва теток и дядей, двоюродных сестер и братьев, и все воскресенья уходят на посещение многочисленных членов этого разветвленного клана. Вырядившись все трое — он, дочка и я — в свои лучшие костюмы, мы снуем вверх-вниз, вверх-вниз на бесконечных лифтах из одной мещанской квартиры в другую: нажимаем пронзительные звонки надраенных до блеска дверей чиновников, коммерсантов, небогатых врачей и адвокатов, владельцев квартир и именьиц. В пропахших кухонными запахами передних нас встречают одними и теми же возгласами: «Смотрите, кто к нам пришел! Вот приятный сюрприз! Какие вы молодцы! Как вы хорошо выглядите! Ты, Паола, поправилась, и ты, Пьетро,— тоже, и у малышки прекрасный вид, она у вас просто прелесть!»

Затем мы располагаемся в гостиной, отделанной под псевдопятнадцатый век или в стиле модерн, и начинается беседа. Пьетро остается верен своей странной извращенности, даже общаясь с родными. Речь, естественно, заходит о других, отсутствующих родственниках, и он неизменно интересуется покойниками — недавно (или давно) умершими двоюродными братьями и сестрами, дядями, тетками, племянниками, а то и далекими предками. Присутствующие хором восклицают: «Что ты, Пьетро, он же умер! Вот уже два года, как его нет в живых», а Пьетро, выражая всем своим видом удивление, в десятый раз выслушивает подробности чьей-нибудь кончины, о которой все и думать забыли. Само собой разумеется, вся родня знает, что Пьетро имеет обыкновение интересоваться покойниками, но считает этот его интерес невинным и даже симпатичным чудачеством: значит, он их очень любил, своих родственников, если продолжает считать живыми даже после смерти!

Все это вспомнилось мне в тот раз, когда я возвращалась домой после напрасного визита к свекрови. И вдруг я почувствовала, что больше не могу, что я должна его оставить! Придя домой, я решительно направилась к себе в комнату, швырнула на кровать чемодан и без разбора побросала в него свои вещи.

Пьетро застал меня в тот момент, когда я звонила в гостиницу, чтобы заказать номер. Он кинулся к моим ногам, обнял мои колени и зарыдал. Рыдания его были так душераздирающи, горе так неподдельно и глубоко, что я положила трубку и не удержалась — погладила его по голове: ведь я так его любила, так надеялась, что у нас в самом деле будет хорошая семья! В конце концов мы помирились, и он поклялся, что отныне все будет по-иному. Только после этого он решился от меня отойти, и тут же раздался его ликующий вопль:

— Йоле, сбегай за моими домашними туфлями и за газетой! Папуля устал, переутомился!

Этот столь хорошо мне знакомый воинственный клич меня насторожил. Я на цыпочках подкралась к двери гостиной: муж, как водится, развалился в кресле; на ногах его были шлепанцы, он держал перед глазами развернутую газету, радио работало на полную мощность. Но газету он держал вверх ногами, а радио издавало какие-то хаотичные, противные, бессмысленные звуки.

Вы слишком бедны!

Я вышла замуж восемнадцати лет. Мужу моему было шестьдесят, зато он был именно таким человеком, о каком моя мать мечтала для меня еще до моего появления на свет: богачом. Однако внешность у него была совсем не такая, какая чаще всего бывает у людей, скопивших большое состояние; ни грубостью, ни толстокожестью он не отличался. Как раз наоборот. Из-под густой шапки белых как серебро волос на вас смотрело ласковое, розовое, приветливое лицо. Но самой примечательной его чертой были глаза — черные, погасшие, невыразительные. Взгляд их был до странности неподвижен, особенно когда он устремлял его на то, что вызывало (или на того, кто вызывал) у него особый интерес. Казалось, что вместо зрачков у него увеличительные стекла, подобные тем, какие вставляют в глаз ювелиры, рассматривая драгоценный камень. В глубине его зрачков никогда не отражалось незнание, удивление, восхищение или любопытство, а лишь безошибочное суждение о ценности того или иного предмета или (почему бы и нет?) человека, о ценности, выраженной прежде всего в деньгах или в другой форме, обратимой в денежные знаки.

И подумала я об этом, как ни странно, не после свадьбы — скажем, во время наших частых визитов к ювелирам и антикварам,— а до того, как он сделал мне предложение, когда ухаживал Ухажером он был весьма почтительным, по крайней мере, внешне. Но если вдуматься, чуть-чуть бесцеремонным. Во всяком случае с точки зрения женщины, не желающей, чтобы ее рассматривали, как выставленную на продажу древнюю вазу Танг или фигурку майя. Мне же, молодой и неопытной, бесцеремонность эта льстила, щекотала нервы, так что под конец я в него влюбилась.

Он сидел в нашей жалкой гостиной (мы с матерью жили в двухкомнатной квартире и очень нуждались), почти ничего не говорил и только смотрел на меня. Впоследствии, после нашей женитьбы, я заметила, что он точно так же смотрит в магазинах на вещи.

Я, надо сказать, была очень хороша собой. Но в нем, судя по его взгляду, красота моя вовсе не вызывала робости, не покоряла, как других. У него был вид человека, знающего, что при желании он может немедленно сей предмет приобрести и изучает его лишь для того, чтобы точно определить, сколько он в данный момент стоит и какую пользу из него можно будет извлечь впоследствии.

Наконец мы поженились. Муж меня любил, я его — тоже. В течение двух лет брак наш был, можно сказать, счастливым. Но следует оговорить, что это была за любовь и какое это было счастье. Постараюсь объяснить это на том же примере (я имею в виду глаза мужа). Именно глаза, а не другие органы чувств служили ему для связи с действительностью, точнее, с предметами, которые он неустанно приобретал. Его глаза устанавливали эту связь, укрепляли ее и в конце концов обрывали. Она проходила как бы два основных этапа: этап оценки и этап наслаждения покупкой. Первый протекал на глазах у торговцев, в магазинах. Муж бесконечно долго разглядывал предмет, не прикасаясь к нему, или же брал и долго вертел в руках, чтобы лучше рассмотреть своими остановившимися глазами сороки-воровки: вся его чувствительность сосредоточивалась в зрении, а не в осязании. Второй этап, этап наслаждения приобретенной вещью, протекал дома, у него в кабинете. Это была просторная комната с большим столом и множеством полок вдоль стен, где он располагал свои последние приобретения. Пока они находились в кабинете, это значило, что он еще ими не насладился. Как он ими наслаждался? Как вампир: своими погасшими глазами с неподвижным взглядом он «высасывал» вещь, как высасывают через едва заметную дырочку содержимое яйца. Высосанное яйцо, с виду целое, а на самом деле пустое, выбрасывают на помойку. Муж мой, «высосав» вещь, конечно, ее не выбрасывал, до этого не доходило; просто она безвозвратно исчезала из его кабинета. Помню, была у него великолепная греческая ваза с черными фигурами на красном фоне. Она долго стояла в кабинете, потом исчезла; много времени спустя я обнаружила ее в каком-то закутке.

Любовь мужа ко мне во всем походила на его любование вещами. Он не мог на меня наглядеться; все смотрел, смотрел, смотрел — за столом, в постели, в гостях, в баре, в театре, в саду, на пляже, в горах, среди уличной толпы, в пустыне... В этом неотрывном, уже не холодно-оценивающем, а ненасытно-наслаждающемся взгляде и заключалась его любовь. Я, в свою очередь, была к нему очень привязана. Наверное, я питала к нему то же, что испытывали бы к своему хозяину-фетишисту неодушевленные предметы, будь у них чувства: тут были и благодарность, и желание блеснуть своей красотой, и признание его превосходства.

И вдруг ни с того ни с сего муж меня разлюбил, буквально перестал смотреть в мою сторону! Мы жили по-прежнему, но он как бы удалил меня из поля своего зрения, как удалял из своего кабинета вещи, которыми вдоволь налюбовался. Правда, привязанность его ко мне при этом не ослабла, а, напротив, в известном смысле усилилась. Пропало чувство собственности. Он стал относиться ко мне, как относятся к женщине, с которой связывает давняя близость. Короче говоря, я перестала быть для него вещью и стала человеком. Другая бы на моем месте обрадовалась, решила бы, что эта перемена — к лучшему, что она свидетельствует об укреплении супружеских уз. А я убивалась и ничего не могла с собой поделать; мне казалось, что меня «разжаловали», что положение мое пошатнулось, что я уже не та, что прежде. Да, да, мне было жаль того времени, когда я была лишь красивой, дорогой вещью, которую купили и которой любовались наравне с прочими вещами, и ненавистно положение жены, к которой питают обычные человеческие, почтительные, нежные чувства.

Через год после этой моей метаморфозы — превращения из вещи в человека — муж умер. Таким образом, мы с ним прожили всего три года, а как «хозяин с вещью» — только два. Я вдруг оказалась в одиночестве, стала владелицей внушительного состояния и, увы, больше, чем когда бы то ни было, чувствовала себя женщиной, личностью, человеком.

Не буду вам рассказывать, как я жила эти последние годы. Откройте любой журнал мод, пробегите раздел светской хроники, и вы получите обо мне и о моей жизни полное представление, подкрепленное соответствующими фотоиллюстрациями: вот я катаюсь на лыжах по снежным склонам Кортины, загораю в бикини на Лидо, охочусь в Кении, ловлю рыбу в Южных морях, веселюсь на костюмированном балу в Нью-Йорке, играю в гольф в Кенте, безумствую на бое быков в Мадриде; а вот я — завсегдатай игорных домов Майами, туристка, осматривающая развалины Персеполя, и так далее и тому подобное. Вы наверняка видели меня бессчетное количество раз и, быть может, даже мне завидовали, хотя завидовать мне нечего: я никак не могу найти человека, который бы любил меня так, как я хочу, такой любовью, к какой приучил меня мой муж. В известном смысле я травмирована на всю жизнь; говорят, именно так калечат людей извращенные или слишком ранние половые отношения. Короче, мне надо, чтобы меня оценили, купили и использовали, как оценивают, покупают и используют редкую, дорогую вещь. Другие варианты любви меня не устраивают.

К сожалению, теперь мне куда сложнее, чем было когда-то, когда мы с матерью жили в двухкомнатной квартире и от охотников «оценить, купить и использовать» не было отбоя. Благодаря своему замужеству я перешла в ту категорию лиц, которые сами в состоянии купить все, что угодно, но стать чьей-то собственностью уже не могут... Кто позволит себе такую роскошь, как «приобрести» меня? Я ясно отдаю себе отчет в том, что взгляд, который когда-то так меня будоражил, потому что хладнокровно оценивал мои данные, взгляд, который заставил меня влюбиться, когда я была бедна, такой взгляд теперь мог обратить на меня лишь человек, способный завладеть не только мной самой, но и моим несметным состоянием. Иначе говоря, человек этот должен быть богаче меня. С другой стороны, надо еще, чтобы он захотел владеть мною! Стало быть, шансы мои значительно сократились, если вообще не свелись к нулю.

Что я буду делать, не знаю.

В подтверждение своих слов я хочу вкратце рассказать одну историю — о том, как у меня чуть не завязался роман с одним молодым интеллигентом, которого я встретила недавно в доме общих знакомых. Его острый ум, его необычайная, даже излишняя серьезность, а главное, новая для меня манера судить о вещах и о людях очень меня заинтересовали. Я стала с ним встречаться все чаще и чаще. Как правило, я назначала ему свидание на какой-нибудь площади, он ждал меня, я подъезжала на машине и забирала его, чтобы махнуть за город, иной раз довольно далеко. Мы с ним разговаривали. Мы только и делали что разговаривали. Вернее, он говорил, а я слушала. Он был так разговорчив и так красноречив, что я не раз ловила себя на мысли: вот если бы слова ценились на вес золота, он бы наверняка мог меня купить! Но увы, мой интеллектуал был очень беден. В итоге он, конечно, в меня влюбился. Я, как водится в таких случаях, поняла это по тому, как он на меня смотрел. Но его взгляд, обыкновенный страстный взгляд влюбленного, оставлял меня холодной. Мне нужно, чтобы во взгляде мужчины отражалась хладнокровная, безошибочная оценка моих данных, а на такой взгляд способно вдохновить только большое богатство, такое, которое может без труда поглотить даже мое огромное состояние. Если я сто́ю, предположим, пять миллиардов, то взгляд должен располагать силой,

равной, по меньшей мере, пятидесяти. Кстати, первоначальная диспропорция между моей бедностью и богатством моего мужа была намного больше.

Поэтому когда мой влюбленный интеллектуал сделал первую попытку сближения, я, даже не раздумывая, машинально оттолкнула его, сказав:

— Нет, нет, прошу вас, мы с вами можем быть только друзьями! Чтобы стать моим любовником, вы слишком бедны.

Дело было за городом. Он не произнес ни слова, вышел из машины и зашагал по шоссе. Я его даже не окликнула. Сила его взгляда, когда он хотел меня поцеловать, исчислялась, увы, не пятьюдесятью миллиардами, а теми жалкими грошами, которые он получал раз в месяц от отца. Правда, я могла сделать с ним то, что некогда сделал со мной мой муж: оценить его, купить и использовать. По сути дела на эту роль меня и обрекало отныне мое богатство. Но, как я уже сказала, первый брак меня травмировал. Боюсь, что мой удел — всю жизнь быть вещью в поисках хозяина.

Перевод с итальянского Ю. ДОБРОВОЛЬСКОЙ

Семеро детей

Я вышла замуж восемнадцати лет и за десять лет родила шестерых детей. Теперь ожидаю седьмого. В двадцать восемь лет шестеро детей и седьмой на подходе — это нечто такое, что, скажем прямо, может сразу поразить кого хочешь. Поэтому всякий, кто к нам приходит, первым делом, как и положено, поздравляет меня со столь многочисленным семейством. Все говорят более или менее одно и то же — обычные и, вероятно, не слишком глубоко прочувствованные слова: «Какие прелестные дети... Какая прекрасная семья... Какое это удовлетворение для вас, синьора... Какие прекрасные малыши». Только один старик художник, друг моего отца, попытался более определенно сформулировать свое впечатление. Он долго-долго глядел на нас, на меня и детей, а потом растерянно забормотал:

— Материнство... Гм, материнство, в некотором смысле, меняет и людей, и животных... да, действительно, тигрица — это великолепный хищник... а тигрица с детенышами — это уже нечто совершенно другое... да, именно так... даже курица, самое примитивное и глупое существо на свете, со своими круглыми глазками-бусинками и дергающимися движениями, как у наряженного в перья автомата, даже курица, как только она превращается в наседку и водит за собой, гордо вышагивая, стайку цыплят, становится — как бы это сказать? — чем-то очень, очень грациозным...

Что я думаю обо всех этих комментариях? Да ничего или почти ничего, прежде всего потому, что считаю их неизбежными: разве можно не поздравить мать шестерых детей? И еще потому, что из-за своего нынешнего положения (я на седьмом месяце) я пребываю в каком-то оцепенело-созерцательном состоянии — бездумном, неопределенно-радостном ожидании. Сейчас весна, уже тепло, и я чаще всего сижу под навесом нашей маленькой виллы и сонно гляжу на окружающих меня детей. Те, что постарше, бегают и дерутся друг с дружкой, младшие ползают на коленях или учатся ходить в манежиках из ивовых прутьев, а самый маленький лежит на спинке, укрытый шерстяным одеяльцем, но с голыми ручками и ножками. Окруженная детьми, игрушками, пеленками, бутылочками с сосками, я сижу, сложив руки на животе, и при-

слушиваюсь к движениям своего седьмого ребенка — того, что родится через два месяца.

Когда же я отвожу взгляд от детей и смотрю на открывающийся передо мной вид, мое сонно-изумленное ощущение счастья получает новое подтверждение. Я вижу сверкающую зелень большого поля, засеянного клевером, за ним длинный ряд тополей с ветвями, густо усыпанными светлыми, почти белыми сережками, и, наконец, треугольные крыши заводских цехов. Это завод холодильников, на котором служит мой муж. Вид завода, как и вид моих детей, тоже наполняет меня радостью, хотя я ее и ощущаю по-другому, да и в силу иных причин. С завода идут деньги, на которые мы живем. От него идет то чувство уверенности, веры в будущее, которое нам позволило создать такую многочисленную семью. Короче говоря, между заводом и нами существует не слишком таинственная взаимосвязь, достаточно ясные отношения. Завод существует и работает для того, чтобы наша семья и много других семей, таких же, как наша, жили и процветали.

Однажды утром я поехала на машине в город купить на неделю продукты в «супермаркете»; потом заехала на завод за мужем. Его не было на работе, он отправился на вокзал встречать своего директора. На месте, однако, оказался Пьеро, служащий, сидящий в одной комнате с мужем,— длинный и худой, как жердь, очкарик, который в юности был в меня влюблен и просил меня стать его женой. Он лучший друг моего мужа, но мы с ним стараемся никогда не оставаться одни: до сих пор, спустя столько лет, мы испытываем смущение и не знаем, о чем же нам говорить.

Так случилось и в то утро. Пьеро спросил меня, как я поживаю, здоровы ли дети; потом прочистил горло и с видом отчаяния задал вопрос, не желаю ли я, дожидаясь мужа, осмотреть завод, если это мне, конечно, интересно. Мне это было совершенно неинтересно, и потому-то я до сих пор никогда еще и не осматривала завод. Но чтобы сделать ему приятное, я поспешила согласиться.

И вот мы вышли из конторы, и Пьеро повел меня по цехам. У меня очень путаные воспоминания об этом посещении завода, потому что, сидя целыми днями под навесом с детьми, я отвыкла, если можно так сказать, наблюдать, фиксировать окружающую действительность. Но все же на заводе меня особенно поразили две вещи: повторяемость и процесс сборки. Что касается первого, то я сразу заметила, что все эти машины, все рабочие, все движения машин и жесты рабочих, если хорошенько присмотреться, могут быть сведены к одной-единственной машине, одному-единственному рабочему, одному-единственному движению, одному-единственному жесту. Повторение придавало им множественный характер, но не могло скрыть их тождественности в целом: их могло быть больше или меньше, ничто бы от этого не изменилось. Второе, по существу, дополняло и завершало первое: машины, рабочие, движения машин, жесты рабочих, подчиняясь заранее выработанной идее, в конечном итоге претворялись в тот состоящий из многих узлов и до известной степени самостоятельный предмет, каковым является холодильник. Это был долгий, сложный и таинственный процесс, полный непонятных операций по подгонке и монтажу. Но завершавший этот процесс сборочный конвейер, двигавшийся непрерывными короткими толчками вплоть до последнего цеха и опускавший там на пол закрытый белый холодильник, уже готовый к упаковке и отправке, создавал такое впечатление — как бы это лучше выразиться? — что сейчас здесь сотворено нечто живое, жизнеспособное. В самом деле, теперь достаточно было всунуть в штепсель вилку и дать холодильнику приток электрической энергии, как машина сразу же заработает; мне чуть ли не захотелось сказать: оживет.

Мы возвратились в контору через заводской двор. Едва мы остались одни, Пьеро сразу же вновь оробел. Прочистив горло, он проговорил:

— Мы непрерывно расширяем производство. За последние два года объем продукции возрос вдвое.

Я спросила, подумав о муже и о нашей семье:

— Ты полагаешь, что такие темпы роста сохранятся?

— О да, все указывает на это.

— Я вечно боюсь, что завод по каким-либо причинам закроется и мой муж будет уволен. Понимаешь, если бы он был, как ты, холост. Но с такой огромной семьей...

Он, не поднимая головы, коротко рассмеялся, а потом, немного помолчав, ответил:

— Увеличение объема продукции отчасти объясняется высоким качеством наших товаров, а отчасти растущим благосостоянием, но главным образом — в далекой перспективе — ростом народонаселения. Не произойди за последнее столетие такого огромного демографического взрыва, не было бы никогда и промышленной революции. Поэтому не волнуйся. До тех пор, пока есть женщины вроде тебя, которые за десять лет брака рождают шестерых детей, ни наш завод, ни другие не закроются. Женщины производят потребителей — не забывай этого. Ты, например, одна обеспечила производство и потребление в не столь отдаленном будущем, по крайней мере, двух десятков холодильников, имея в виду продукцию только одного этого завода.

— Но каким образом?

— Ну, твои дети женятся, создадут свои семьи. Этим семьям, каждой из них, понадобятся холодильники — один или даже несколько. Моя надежда на постоянный рост продукции, как видишь, имеет все основания.

Так мы с ним болтали еще некоторое время, потом приехал муж, и мы вернулись домой. После обеда муж возвратился на работу, а я, как обычно, уселась под навесом со всеми детьми.

Я посмотрела в сторону завода. Небо позади крыш цехов было все черное, но эта чернота, как легкая дымка в переменчивом апрельском небе, была не мрачной, а веселой. По черному фону неба бежали тонкие белые полоски — вдали шел дождь. Но над полем, засеянным клевером, и тополями сияло солнце — лучи его падали косо, совсем низко над землей и слепили, подобно яркому и неестественному свету юпитера. До сих пор я смотрела на завод с благодарностью, так как ощущала благотворную связь между ним и нами: завод нас поддерживал, позволял нам существовать. Но теперь, после разговора с Пьеро, я почувствовала, что благодарность сменилась чувством лёгкого беспокойства. Я понимала, что соотношение могло измениться, если уже не изменилось: не нас содержал и поддерживал завод, а мы содержали и поддерживали его. Особенно я, которая произвела на свет так много детей, то есть так много потребителей, как, быть может, не без невольной иронии заметил Пьеро.

Голова моя шла кругом от этих размышлений. Я чувствовала, что в ходе моих мыслей чего-то не хватает. Словно одного звена в цепи вытекающих одно из другого следствий. Потом мало-помалу я вновь вернулась в близкое к экстазу состояние блаженного оцепенения, ставшее для меня с некоторого времени обычным. Вот вокруг меня шестеро малышей. Вот сразу за домиком — поле клевера и ряды тополей. Вот крыша завода. Вот черное весеннее небо. Вдруг короткий, резкий порыв ветра, и сразу же полетели первые капли. Вот и дождь...

Перевод с итальянского Г. БОГЕМСКОГО

«Рай, или Все как на рекламе»

Читать Моравиа всегда интересно. Даже в нелучших своих рассказах он не бывает скучным или банальным. Профессионально Моравиа, быть может, один из самых умелых рассказчиков в сегодняшней западной литературе. Впрочем, дело не только в абсолютной его умелости. Он всегда стремится попасть в ногу со временем. Отсюда злободневная острота его новеллистики. Все сборники Моравиа (будь то «Римские рассказы» или последний сборник «Рай») — художественная хроника современной итальянской жизни. Установка принципиальная, со всеми проистекающими из нее выгодами и невыгодами. Самая верная хроника происходящего, не обогащенная действительно новыми утверждениями о жизни, рискует по прошествии нескольких лет перейти из художественного разряда в разряд исторического документа относительной ценности. Думается, что этим озабочен и сам Моравиа. В интервью итальянскому журналу «Иль драмма» (№ 9 за 1969 г.) Моравиа, комментируя последнюю свою пьесу «Жизнь — это игра», так объяснил свое возвращение от повествования к театру: «Для меня театр не место для бескрылого реализма (буквально «маленького».— **Н. Т.**), где можно просто изображать явления повседневности, но прежде всего — место, где следует говорить о важнейших проблемах человеческого бытия».

Из слов Моравиа можно заключить, что «просто изображение повседневности» он оставил в удел повествовательному жанру без претензий на общечеловеческие обобщения. Пусть так, пусть это будет хроника сегодняшней итальянской повседневности. В нее входят помещенные ниже рассказы.

Совершенно естественно, что при остром критическом чутье внимание Моравиа привлекли прежде всего те язвы сегодняшней итальянской жизни, о которых столько пишут и спорят в последние годы: превращение человека в потребителя, человека — в вещь, воспроизводство потребителя, внешнее благополучие и внутренняя опустошенность, тяга к насилию как бунт против искусственной урегулированности жизни, «искания рая» в наркомании и смерти как уход от действительности, раздвоение личности... Темы эти не сходят со страниц газет и журналов, дебатируются на киноэкранах и театральных подмостках. Они чрезвычайно серьезны. Речь идет уже не о частном случае «индустриализации» культуры, а об общем — индустриализации и стандартизации духовной жизни западного общества и отдельного человека.

Моравиа назвал свой сборник «Рай». Публикуемую подборку из него можно было бы озаглавить «Рай, или Все как на рекламе». Действительно, есть от чего сойти с ума: героиня рассказа «Все как на рекламе» вдруг с ужасом замечает, что вся ее «счастливая», «благополучная» жизнь с отличным, преуспевающим и даже, вероятно, талантливым мужем — всего-навсего невольная и полная имитация рекламных щитов, теле- и радиопередач и раскрашенных еженедельников. Даже смелые мечты о жизни на далеких необитаемых экзотических островах оказываются уже заботливо предусмотренными туристическими фирмами. Ничего личного, индивидуального. Остается только сон, забвение... «Спать, спать, спать...»—«Ты говоришь: «спать»? А ну-ка, подними голову, взгляни туда, выше, выше, вон на тот щит с рекламой снотворного! Это же ты, ты лежишь в своей уютной постели, укрывшись одеялом. Ты лежишь и спишь, ты, ты, ты!» Но и во сне не уйти от жизни. От назойливого вмешательства в личную жизнь безликого и бездушного «прогресса» не спасают ни сон, ни явь. Оттого-то опустошенная протагонистка «Рая» всерьез подумывает уже не о сне, а о смерти.

Не кажется потому натяжкой, что в пору неслыханного обезличивания человека вещи реально представляются не только красивее, но и одухотвореннее их владельцев (см. очень трагичный рассказ «Красивее, чем ты»). Конечно, могут возразить, что Моравиа чаще берет в герои людей обеспеченных материально, с их замкнутым мирком, и делает их чем-то вроде подопытных «социальных» кроликов, что эта, в сущности, мещанская среда еще не достаточно показательна для достоверного умозаключения о состоянии общества. Ну, а рассказ «Тараканы» о моральной деградации рядовой, характерной для современной Италии семьи, или «Семеро детей», в котором ставится горькая и очень сложная тема «производства потребителей»? Критический

глаз Моравиа направлен на реально существующее зло, на пороки, разъедающие современное буржуазное общество.

В предлагаемых читателю рассказах он не собирался давать каких-либо положительных социальных или нравственных рекомендаций. На вопрос мексиканского журналиста (дело происходило в Мексике в 1967 году): «...не ищут ли читатели в ваших рассказах положительных решений для своих личных проблем»? — Моравиа со свойственной ему парадоксальностью и категоричностью ответил: «Это не входит в задачи литературы. Для этого имеются священнослужители...» Конечно, художник — не исповедник. Но запальчивый ответ Моравиа — даже если он был вызван назойливостью неумного журналиста — вряд ли до конца объясняет его позицию в этом вопросе.

Не вдаваясь, за неуместностью, в толкование недавних суждений Моравиа о жизни «как игре» и жизни «как своде обязанностей» с вытекающими из них размышлениями о смысле и задачах литературы, хочу лишь заметить, что общественный смысл творчества Моравиа всегда был весьма положительным. Сам писатель часто и с охотой говорит о Достоевском, подчеркивая в нем иррациональное и критическое начало. Вот это-то начало свойственно и самому Моравиа. Указание на явное неблагополучие в обществе важнее для Моравиа рациональных постулатов для его лечения. Роль врачевателей он предоставляет социологам и политикам. Для писателя важно воссоздать правдивую картину общества Существенные наброски к такой картине и создал Моравиа в книге «Рай». Многие рассказы и в самом деле «эскизны». Построены они, как правило, на принципе максимального, часто почти карикатурного «сгущения» какой-то одной главенствующей черты характера, страсти или устремления героя. Весь прочий художественный материал подчинен главному. Отсюда лаконизм и почти графическая четкость изображаемого и даже... некоторая «плакатность». Читателю ясно: «Не все как на рекламе! Дорога в рай проходит через чистилище!»

Н. ТОМАШЕВСКИЙ

УИЛЬЯМ КАРЛОС УИЛЬЯМС

Перевод с английского В. БРИТАНИШСКОГО

Жизнь Уильяма Карлоса Уильямса очень небогата событиями. Он родился в 1883 году в городке Резерфорд на севере Нью-Джерси, куда волею судьбы занесло его отца — коммивояжера-англичанина, месяцами не возвращавшегося домой из деловых поездок. Его мать была пуэрториканка, которой едва хватало слов объясниться в лавке или с соседями; это, однако, не помешало Уильямсу стать у самых истоков современного поэтического языка американской поэзии — не случайно Аллен Гинзберг назвал его самым американским из всех американских поэтов XX века.

Молодость Уильямса прошла в Филадельфии, где он учился на медицинском факультете Пенсильванского университета. В те годы среди американских писателей были распространены экспатриантские настроения; многие, по примеру Генри Джеймса, уезжали в Европу — на долгие годы, случалось, и навсегда. Но Уильямс вернулся в Резерфорд, прожил в этом городе всю жизнь, без малого шестьдесят лет проработал врачом, а когда выдавалась свободная минута, тут же, в кабинете, садился за пишущую машинку и сочинял стихи, новеллы, пьесы, романы, эссе на исторические и литературные темы. Он считал, что литератору необходима какая-то практическая профессия, и даже сделавшись прославленным поэтом, не распрощался со стетоскопом и со стареньким «фордом», на котором объезжал своих пациентов с окрестных ферм.

Его первая книга, в которой он ученически подражал кумиру своей юности Китсу, вышла в 1909 году; Уильямс отпечатал ее на собственные средства в количестве ста с небольшим экземпляров, четыре из них он продал, остальные раздарил. Последний сборник Уильямса «Из Брейгеля» (1962) появился за год до смерти автора и был единодушно провозглашен критиками выдающимся достижением современной поэзии США.

Уильямс в полной мере изведал непонимание читателей и недоброжелательность критиков, очень долго не признававших в нем подлинно новаторский талант. Даже после того, как в 50-е годы дом Уильямса в Резефорде стал Меккой американской поэтической молодежи и многие крупнейшие современные поэты США — Роберт Лоуэлл, Дениза Левертов, Аллен Гинзберг, Кеннет Рексрот — назвали его своим учителем, не прекратились сетования на тематику Уильямса — то чрезмерно будничную и, стало быть, «неинтересную», то попросту «отталкивающую, и на его «нарочито огрубленную» образность, и на вызывающе нелитературный, шершавый стиль, и на подчеркнуто прозаизированный стих.

В какой-то мере такие упреки были естественными — стихи Уильямса трудны для неподготовленного читателя. Нужно время, чтобы привыкнуть к его миру, нередко строящемуся по законам смещения, отчужденности людей, вещей, событий друг от друга и от авторского «я». Нужно привыкнуть к пульсирующему нервному ритму Уильямса, к разнородности его образов, особенно ощутимой в стихах раннего периода, к раздробленности стихотворения на молекулярные сегменты, подчас как будто бы очень произвольно вписанные в общую конструкцию вещи.

Но эта необычность поэзии Уильямса по-своему закономерна; он не мог быть «легким» поэтом, иной была главная, организующая задача его творчества.

Как и другие большие поэты XX века, Уильямс всю жизнь искал свой язык, способный передать облик и суть его эпохи, ее ритм, речь, внешность, самый ее воздух.

В его поэзии в резких, графических формах выразилось то совершенно особое восприятие окружающего мира, природы, города, которое могло родиться, пожалуй, только в Америке XX века. Стихи Уильямса проникнуты этим специфическим мироощущением человека современной индустриальной цивилизации, человека, живущего в самом высокоразвитом обществе Запада и именно поэтому особенно остро — не рассудком, а «подкожным слоем» — ощущающего, к каким уродливым, трагическим последствиям привел буржуазный «прогресс». Как «укоротил» он человеческую индивидуальность, стерев ее неповторимое своеобразие. Как обокрал он человеческую личность, лишив ее живого контакта с природой и окружающей жизнью, разобщив с другими людьми и внушив инстинктивное чувство отчужденности и враждебности мира.

У поэта все это выражено не на поверхности — в лучших его стихах ощущение эпохи и страны, уильямсовское «здесь» и «сейчас», провозглашенное как принцип еще в 10-е годы, передано самой фактурой произведения, его подчас очень прихотливой интонацией, ритмикой, образностью. Однажды Уильямс заметил, что «в языке заключена едва ли не вся мудрость и едва ли не все безумие нашей жизни». Речь здесь идет, конечно, не о поэтическом словаре, а о способности поэта построить произведение так, чтобы и «мудрость» и «безумие» действительности нерасторжимо слились в слове-образе, наделенном многозначностью смысла, обнимающем «все градации, все фазы нашего существования и нашего окружения — физическое, так же как и духовное, интеллектуальное и нравственное». В этом стремлении к бесконечной смысловой и образной емкости слова — смысл всей поэтической работы Уильямса.

В предисловии к сборнику «Весна и все остальное» (1922) Уильямс сам сформулировал пункты обвинительного заключения критики против таких стихотворений, как «Апология» и «Морской слон»: «Где здесь поэзия, которая когда-то шла рука об руку с жизнью, поэзия, которая вдохновляла, которая вела нас к новым открытиям, к новой вере в наши силы, к новым высотам чувства? Ах, эти современные поэты! Смерть поэзии — вот чего они добиваются». Потребовалось не только испытание первой мировой войны, потребовались социальные конфликты «джазового века» и потрясения рубежа 20-х и 30-х годов, чтобы сетования по поводу «этих современных поэтов» сменились попытками отыскать в их творчестве нечто действительно созвучное эпохе.

Уильямс был созвучен эпохе прежде всего стремлением «не декларировать и не объяснять, а показывать» в поэзии, разрушая «постоянно существующий в сознании читателя барьер, который лишает его непосредственного контакта с миром». Он обостренно чувствовал отчужденность в отношениях между человеком и его окружением и стремился научить читателя «заново видеть, заново слышать, заново воспринимать». Современность вторгается в поэзию не только новыми темами, но и новым звучанием традиционных мотивов, новыми приемами словесной живописи, новым смысловым наполнением картины. Уильямс-пейзажист не похож ни на кого из своих предшественников не потому лишь, что в его пейзаже на переднем плане — здание электростанции «в форме красного кирпичного стула высотой 90 футов». Стихи эти современны, главным образом, своей интонацией, тем, что в них «за кадром» ощутимо движение времени, переворачивающего быт и переформировывающего зрение, слух, осязание людей. Они современны контрастом алюминиевых труб и жалких лачуг, над которыми вознеслись эти трубы, подавляя лачуги вместе с их обитателями, словно только трубам принадлежит право трудиться и отдыхать «под этими серыми небесами».

Уильямс — один из самых урбанистических поэтов США, но его урбанизм специфичен. Он не стремится ни создавать серии зарисовок большого города, ни противопоставлять городу вольную стихию природы. Тематика его стихотворений отнюдь не обязательно городская. Это могут быть и стихи об электростанции, и стихи о морском слоне, «отторгнутом от необъятного моря — будто свергнутом с неба», и о сбежавшейся поглазеть на диковинку равнодушной, жестокой толпе. Художественное единство создается не тематикой, а прежде всего общностью выраженного в этих стихах восприятия мира и схожестью их поэтического языка.

Стихи Уильямса разноплановы, но в них почти всегда звучит музыка времени — атональная и скрежещущая, потому что это стихи о мире, где «ослепительный разум пышно цветущих персиков» и «половодье плоти», которая «желает тебя огромное море», отступили перед «логикой» знаменитого математика Айгельтингера, чьи «мысли мелькают как будто лопасти вентилятора», и истошным воплем циркового зазывалы, делающего свой бизнес: «Леди и джентльмены! Крупнейшее морское чудище когда-либо демонстрированное живьем». Книги Уильямса — конечно, не энциклопедия американской жизни, но ее лирический дневник, который на протяжении долгих лет вел умный, внимательный наблюдатель. От многих страниц Уильямса веет безнадежностью, да и вообще его мир — холоден и грустен.

Однако Уильямс никогда не принадлежал к числу «поэтов отчаяния». Работа Уильямса, по существу, всегда носила созидательный характер — даже в ту пору его

юности, когда он примыкал к вортицизму, под знаменем которого Эзре Паунду удалось в 10-е годы объединить — правда, совсем ненадолго — и Элиота, и Уильямса. Вортицизм (от англ. vortex — центр кипения) провозгласил своей целью борьбу против доминировавшей в поэзии США тех лет консервативной традиции эпигонов романтизма, против риторики, напыщенной условности, против стереотипных метафор, словесного хлама и обветшалых стиховых форм. Принципом Уильямса в то время стало: «Никаких идей, если они не воплощены в конкретном».

Но в своем протесте против доктрин запоздалых романтиков вортицисты дошли до абсурда, до провозглашения искусства сферой «объективных» — надличностных — свидетельств о действительности, что делало поэзию зеркальным отражением ее хаоса. «Апологией», написанной в 1917 году, Уильямс порвал с вортицизмом, заявив о себе как о поэте, которого побуждает к творчеству

Красота
этих страшных лиц
людей незначительных...
негритянских женщин
поденщиков —
старых и столько переживших...

Панорамный образ Америки, складывающийся из многих десятков стихотворений Уильямса, помеченных и 20-ми и 50-ми годами,— образ многокрасочный и сложный, запечатлевший людские судьбы и отдельные характерные детали американской жизни, процессы перемен и течение будней. «Негритянка», «Айгельтингер», «Женщина перед зданием банка», «Классическая сцена» — все это слагаемые ведущего образа поэзии Уильямса, все это разные подходы к решению одной и той же темы. Как и Уитмен, перед которым он преклонялся, Уильямс находил поэзию повсюду — на берегах речушки Пассаик, текущей через сонный Резерфорд к океану и ставшей в поэме «Патерсон» Рекой Жизни, и на площадях Резерфорда, когда прозвучит гудок о конце смены, и в отблесках пламени над ночным Нью-Йорком, лежащим на дальнем горизонте, и в самой живой речи людей, в их «словах, которые мы слышим, проходя по улице... Поэзия здесь, в жизни, которая перед нами, в каждой минуте, когда мы что-то замечаем и слышим, она здесь — этот редчайший элемент — не в нашем воображении, а в самой жизни, в том, что происходит вокруг».

Уильямс не принадлежал к числу поэтов философского склада — живая реальность до конца дней оставалась для него несравненно богаче и интереснее, чем любая отвлеченная идея, мысль рождалась только из нарисованной картины, символ представал непременно в конкретной, вещной оболочке. Его книги — скорее свидетельство об Америке, чем авторская исповедь в пережитом. Это очень честное свидетельство; Уильямсу присуща сдержанная тональность, не подчас и у него прорываются ноты одиночества и тоски, его страшит автоматизированный, бездушный, проникнутый взаимной отчужденностью мир, в котором он живет.

И все-таки вера его в жизнь оставалась непоколебимой. Роберт Лоуэлл сравнивает его стихи с цветами, что растут по обочинам большого шоссе — растут, хотя должны были давно увянуть от гари.

Замечательный цикл поэта «Из Брейгеля», навеянный полотнами великого голландца XVI столетия, которого не зря звали Брейгелем Мужицким, поражает не только точностью и ясностью рисунка, стиховой и ритмической виртуозностью, пластичностью образов. Самое удивительное в этих стихах, написанных за год до смерти,— переполняющее их чувство неистребимости жизни, заключенной в ней великой созидательной силы, чувство, делающее этот уильямсовский цикл явлением совершенно уникальным в послевоенной поэзии США.

Сборник «Из Брейгеля» завершил поэтическое развитие Уильямса: от авангардизма 10-х годов через период интенсивной разработки поэтики свободного стиха вплоть до второй мировой войны — к неоклассицизму этих имитаций классических терцин верлибром, к поиску строгой, законченной формы.

Вершиной творчества Уильямса стала поэма «Патерсон», которой он отдал пятнадцать послевоенных лет. Это была смелая попытка создать на современном материале произведение эпического размаха и глубины. Поэму Уильямса часто сравнивают с джойсовским «Улиссом». К этому есть некоторые основания — микрокосм изображенного в поэме провинциального городка Патерсона разрастается до макрокосма Бытия, а жизнь ее героя становится Жизнью Человека, подобно тому как универсумом должен был, по замыслу автора, стать Дублин и Днем Человека, а не просто 16 июня 1904 года — день, воспроизведенный в «Улиссе».

Но Уильямс сам признавался — работая над поэмой, он «забыл о Джойсе, потому что был зачарован жизнью моего родного города». И «Патерсон» — не панорама Бытия вообще, а панорама именно американского бытия, причем герой и его мир неразделимы здесь даже формально: Патерсон — это и город, и имя героя. Метафора проведена через все пять книг «Патерсона», а другой сквозной образ поэмы — река, прокладывающая себе путь к океану, река с ее порогами, отмелями, быстринами — жизнь человеческая, вливающаяся в океан Жизни, которой несть конца.

Уильямс охватил в американской поэзии все XX столетие — не по хронологическим рамкам жизни и творчества, а потому что его книги — зеркало ее исканий: эстетических, во многом и духовных. Путь Уильямса привел к реализму — и это закономерно, потому что он был поэтом, стремившимся выразить эпоху во всей ее сложности и утвердить непреходящие ценности гуманизма.

А. ЗВЕРЕВ

Апология

Почему я пишу сегодня

Красота
этих страшных лиц
людей незначительных
побуждает меня

негритянских женщин
поденщиков —
старых и столько переживших —

возвращающихся домой вечерами
в поношенной одежде
их лица подобны
старому флорентийскому дубу

Также

застывшие маски
ваших лиц побуждают меня —
значительные люди —
но
совсем по-другому

Классическая сцена

Здание электростанции
в форме
красного кирпичного стула
высотой 90 футов

на сиденье которого
сидят фигуры
двух металлических
труб — алюминиевых —

возвышаясь
над жалкими лачугами
окрестных кварталов —
из одной трубы подымается

светло-коричневый
дым тогда как другая
под этими серыми
небесами

отдыхает сегодня —

Предел

Свернувшийся в трубку лист
оберточной бумаги
по своим размерам

и даже по форме чуть-чуть
напоминающий человека
катился по ветру

постепенно все дальше
и дальше
по мостовой покуда

машина
переехала его
и прижала

к земле В отличие
от человека он распрямился
и снова

покатился по ветру
все дальше и дальше
как ни в чем не бывало

Лошадь

Лошадь идет себе
независимо
не обращая внимания
на свою поклажу

Глаза у нее
такие же как у женщины
она ими водит
вокруг

прядает ушами
и вообще
осознает окружающий
мир Тем не менее

когда потребуется
она тянет и
тянет здорово
пуская пар

из ноздрей
похожих на спаренные
выхлопные трубы
автомашины

Морской слон

Отторгнутый
от необъятного моря —
будто свергнутый
с неба —

Леди и джентльмены!
Крупнейшее морское чудище
когда-либо демонстрированное
живьем

гигантский
морской слон! О половодье
плоти
хватит ли рыбы

чтобы
удовлетворить аппетит
которого тупость
не может уменьшить?

Изголодался
истощал к апрелю
это еще немногое
что от него осталось —

Плоть желает тебя
огромное море —
Говори!
Блоуоф! (Накормите

меня) моя
плоть распахнута
рыба за рыбой в эту пучину
проваливается

проскальзывает
извергается обратно
вместе с соленой водой
и слюной

глаза
глядят тревожно — оторван
от моря
(Самым

естественным тоном) Они
должны бы
пустить его обратно
откуда он взялся

Глазеют
Диковинная морда —
из рассказов старых моряков —
подымается

бородатая
на поверхность —
и единственное
разумное

мнение этой женщины
Конечно
он необыкновенный но
его должны бы

выпустить
обратно в море откуда
он взялся
Блоуоф!

Ползайте по земле
пляшите
на проволоке играйте в мяч
унижайтесь

и калечьте себя —
Но я
сама любовь Моя родина —
море —

Блоуоф!
никакого преступления кроме
слишком тяжелой
туши

которую море
носило играючи — подымается
на поверхность
воды

пенящейся бурлящей
вокруг
самки распугивают
рыбу мокрые от

избытка желания
и весна
красуется оживляющи
естество

Айгельтингер

Голые деревья под старой корой носят новые замыслы
Любовь подымает ворон еще до рассвета
Вишнево-красное солнце возвещает новое утро

Ослепительный разум
пышно цветущих персиков
душе открывает новые глубины

Логика функционирует в клетках
мозга Айгельтингера мысли мелькают
как будто лопасти вентилятора

Это поразительно он скоро постигнет
Бога!

А вокруг повсюду властвует ветер
под ногами растет трава
на кустах смородины и розы распускаются листья
а Джим собирается целую энциклопедию
прочесть своей невесте — постепенно

Айгельтингер ты втемяшился мне в башку
как светоч мысли все эти полстолетия
я не мог тебя превзойти в твоей специальности

Ничто никогда не превзошло математика
разве что дрожжи

Безоблачное небо подхватывает солнце над горизонтом
и катит диск через всю свою голубизну

Говорят что я не глубок
Но где глубина Айгельтингер
математический гений
которого вытаскивали пьяного из пивнушки чтобы служить
их мелким целям?

Айгельтингер ты был глубок

Негритянка

с букетиком огненно-ярких
ноготков,
завернутых в старую газету,
гордо несущая их,
простоволосая,
с тяжелыми
бедрами,
заставляющими ее
покачиваться при ходьбе,
разглядывает витрины,
мимо которых
проходит.
Кто она,
если не посол
из другого мира,
мира прелестных ноготков,
оранжевых и желтых,
который она представляет,
не сознавая этого,
думая,
что просто проходит по улицам
ранним утром,
подняв цветы,
как пылающий факел.

«ИЗ БРЕЙГЕЛЯ»

Поклонение Волхвов

С самого Рождества
которое я уже отпраздновал
Младенец на руках у Матери

эти Волхвы
как ряженые в чужих одеждах
этот Иосиф

эти солдаты
с их недоверчивыми лицами
вся эта сцена мы бы сказали

скопирована с итальянцев
с той только разницей
что несравненная

живопись ну и конечно
ум изобретательный ум
все направлявший

неуемный недовольный собой
тем что решить не может
вопросов которые гложут

принял эту историю и расцветил
яркими красками
как старую хронику

глаза Марии опущенные долу
создание искусства
достойное поклонения

Пейзаж с падением Икара

По Брейгелю
когда Икар упал
была весна

крестьянин
пахал свою пашню
все великолепие

года пробудившись
пело и звенело
вблизи

морского побережья
природа
была занята собой

потея под солнцем
растопившим своими лучами
воск

слабый всплеск
в стороне от берега
остался

никем не замечен
это была
гибель Икара

Сенокос

Живость
человеческого ума
чувствуешь здесь

и скрытый призыв
к искусству, искусству, искусству!
живопись

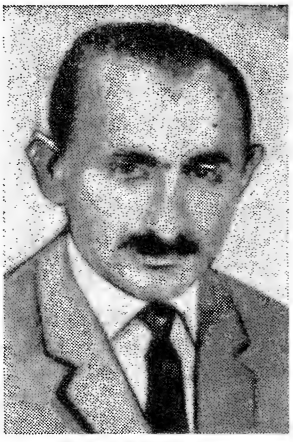
которую Ренессанс
пытался поглотить
а все-таки

она осталась июль
над лугом
ветер гуляет

скошенное сухое сено
лежит
рядами

женщины с граблями
это было его собственное —
сороки

терпеливые лошади этого
никто у него не мог бы
отнять



ДЖАМАЛ МИР САДЕКИ

Рассказы

Перевод с персидского и вступление
В. КЛЯШТОРИНОЙ

В персидской прозе 60-х годов уже достаточно четко проявили себя молодые силы, позволяющие судить о новеллистике последнего десятилетия как об определенном литературном явлении. Молодых прозаиков объединяет склонность к углубленному раскрытию психологии, стремление понять первопричину поступков своих героев, а следовательно — истоки и особенности духовной жизни своего времени.

Эти черты новой прозы присущи и рассказам Джамала Мир Садеки, завоевавшего к концу 60-х годов прочное место в ряду современных писателей Ирана. Этот автор почти не известен в Советском Союзе. Наш читатель сможет познакомиться со сборником его рассказов, который выйдет в ближайшее время в издательстве «Наука».

Джамал Мир Садеки родился в 1933 году. Он закончил филологический факультет Тегеранского университета. С конца 50-х годов стал печатать свои рассказы на страницах журналов «Сохан», «Иране абад», «Кетабе хафте» и других тегеранских изданий. В 1963 году в Тегеране выходит первый сборник его рассказов «Принцесса с изумрудными глазами». Второй сборник «Мои усталые глаза» появился в 1966 году, а в 1969-м Мир Садеки издает третий сборник — «Веселые вечера и желтая роза».

Творчество Джамала Садеки тесно связано с реалистической литературой 40—50-х годов. С Садеком Хедаятом, Джамаль-заде, Бехазином и Садеком Чубеком, знакомыми нашему читателю, Мир Садеки роднит демократизм, внимание к жизни обыкновенного человека, умение в будничном выявить социальное, раскрыть жизнь своего героя в рамках точного, реалистического описания. То главное, что объединяло лучших прозаиков Ирана — гуманизм, заставлявший их раскрывать суровую, беспощадную правду жизни и искать в ней нравственную опору,— свойственно и произведениям Джамала Мир Садеки.

В рассказах, как бы образующих цикл воспоминаний о детстве, к ним относится и рассказ «Снег, собаки и вороны», прослеживается история формирования нравственного облика подростка, история его возмужания.

Мир Садеки поднимает тему отчуждения личности в буржуазном мире, тему одиночества человека, столь актуальную для литературы капиталистического мира.

Немало внимания уделяет писатель судьбе интеллигенции в условиях экономического «бума», превращающейся в духовно порабощенную часть буржуазной государственной машины (рассказ «Ручей»).

Интересуясь прежде всего нравственно-психологическим аспектом социальных конфликтов, тем, как проявляются они в самой личности современника, Мир Садеки тщательно исследует поступки, чувства и мысли своих героев в критических ситуациях. Нравственно-философское в этих рассказах как бы подчиняет себе реальность и жизненный материал, заставляя их быть символом, условной оболочкой идеи. Это тяготение к символическому осмыслению факта яснее всего проявилось в рассказе «Приход и уход». Эпиграф из Омара Хайяма должен как бы подчеркнуть условность, остраненность изображаемого.

Таковы некоторые особенности прозы Джамала Мир Садеки, одного из новеллистов сегодняшнего Ирана, открывающего в своеобразном художественном истолковании жизнь своих современников и позволяющего представить многие проблемы этой жизни ярко и достоверно.

Снег, собаки и вороны

С утра опять пошел снег. Белые пушинки одуванчиков медленно и загадочно кружились в небе, тихо опускались на крыши, на ветки деревьев, на землю. Такой же снег шел и тогда и так же беззвучно засыпал весь двор...

Снег сгребли сразу же, и он остался только на крышах дальних комнат в углу двора. Его так и не счистили, некому теперь делать это. Снег пролежит до тех пор, пока не начнет таять и тонкой струйкой не побежит по водосточному желобу.

А раньше снег с тех крыш всегда счищался. Ага-Махмуд приставлял к стене лестницу и легко взбирался наверх. Туран-ханум стояла внизу и, тревожно глядя широко раскрытыми глазами, приговаривала:

— Махмуд-джан, холодно, слезай, простынешь...

Ага-Махмуд только смеялся и, подышав на ладони, принимался за работу. А Туран-ханум плотней закутывалась в покрывало и все повторяла:

— Смотри, простынешь, Махмуд-джан... холодно...

Бывало, я обходил вокруг бассейна и врывался в их комнату, там, в дальнем конце двора, Ага-Махмуд подхватывал меня на руки, подкидывал и приговаривал:

— Это чей такой красивый мальчик, а? Это мой малыш, мой!

Когда Ага-Махмуд, случалось, уезжал на несколько дней, я прибегал к Туран-ханум. Она усаживала меня на колени и рассказывала сказки.

Теперь в этой комнате свален всякий хлам — черные мешки из-под угля, столы и стулья, сломанные во время свадьбы моего старшего брата.

В день свадьбы я сидел у Туран-ханум и мы смотрели в окно, как украшают двери, стены и весь двор.

Прошло уже три или четыре месяца с того дня, как я услышал, что Ага-Махмуд больше никогда не вернется из поездки.

Накануне моя матушка силой сняла с Туран-ханум черное платье. И теперь Туран-ханум в бледно-желтой кофте казалась мне милой и прекрасной невестой. Мы сидели рядом, она лущила семечки и клала их мне в рот.

С тех пор как Туран-ханум надела траур, она стала ходить на фабрику мыть шерсть, хотя мой отец Хадж-ага и уговаривал ее оставить это занятие. Она поднималась рано, ставила самовар и уходила.

Она часто брала меня к себе спать, а вечером угощала хурмой, фисташками, черносливом.

Сейчас Туран-ханум чистила для меня семечки, а взгляд ее был прикован к толпившимся во дворе мужчинам. Взгляд такой напряженный, как у танцовщицы, которая держит на голове стакан, а руками и ногами выделывает всякие движения.

Потом она поднялась и затворила окно:

— Что-то холодно...

Было вовсе не холодно, и я удивился:

— Тури-джан, ты правда замерзла?

Она обняла меня за шею, взъерошила волосы:

— Нет, милый, на сердце у меня очень тепло.

И тут я вспомнил — вчера вечером она обещала рассказать мне сказку.

— Ты вчера обещала сказку!

— Хорошо. Только давай сядем к свету.

Мы усаживаемся возле лампы с ажурной сеткой. Лампа жужжит,

как огромный жук, а из ее сердцевины, похожей на золотое яйцо, лучится свет.

Туран-ханум повторяет:

— Как холодно! — И придвигается поближе к лампе.

Мне кажется, что слова эти обращены вовсе не ко мне.

— Ну, рассказывай!

Она молчит и греет руки над огнем. Потом начинает. Губы ее шевелятся, а глаза прикованы к пламени, и кажется, будто губы говорят для меня, а глаза — для огня.

Я слушаю слова сказки: они скользят одно за другим, словно нанизанные на одну нить. Туран-ханум рассказывает, и ее голос то плачет, то совсем замирает, будто шум мотора, теряющийся в горах.

— ...И вот на этот раз, когда сын падишаха отправился странствовать, он выпал из машины и слетел в ущелье.

— Как же он слетел в ущелье?!

— Машина сына падишаха подъехала к самому краю ущелья, он упал туда и умер.

— А зачем его машина подъехала к краю ущелья, зачем он умер?

— Зачем умер?

Туран-ханум бросает на меня быстрый взгляд и умолкает. Она сидит, прижав пальцы к сетке лампы, неподвижно смотрит на огонь, но ничего не видит. Передо мной снова та, прежняя Туран-ханум, которая стояла внизу, возле лестницы и приговаривала, зябко кутаясь в покрывало:

— Смотри, простынешь, Махмуд-джан, простынешь...

Туран-ханум смотрит на лампу, и вдруг ее глаза туманятся, белки, похожие на маленькие голубиные яички, заволакиваются влагой, по лицу катятся крупные слезы.

Я кидаюсь к ней:

— Тури-джан, не плачь... не плачь...

Она утирает слезы руками и говорит:

— Нет, нет, моя радость, я не плачу... нет.

Тут в дверь заглядывает мой отец Хадж-ага. Он входит — Туран-ханум закрывает лицо, опускает глаза, ее веки дрожат. Мне кажется, она вот-вот снова заплачет. Я наклоняюсь к ней. А мой отец, Хадж-ага, улыбается:

— Умница, Туран-ханум! Наконец-то скинули это черное платье. Зачем так долго предаваться горю? Вы же совсем молодая. Положитесь на бога. Поглядите, как вы исхудали — кожа да кости! Почему не слушаете меня, ходите на фабрику, как эти безродные и бездомные? Оставайтесь дома, присматривайте за хозяйством.

Туран-ханум бледнеет, голова ее снова клонится вниз. Моя рука, зажатая в ее ладонях, словно опущена в ледяную воду. Глаза Туран-ханум закрыты, пальцы, сжимающие мою руку, трепещут, словно сердечко воробья. Я прижимаюсь к ней.

Мой Хадж-ага достает из кармана бумажку:

— А ну, голубчик Джафар, сбегай-ка, принеси две пачки папирос. Сдачу возьми себе. Ну, живее!

Я хочу высвободить свою руку из пальцев Туран-ханум, но она не разжимает их, будто не хочет меня отпускать.

На следующий день Туран-ханум все-таки идет на фабрику и ходит еще неделю. А потом остается дома.

С тех пор как Туран-ханум перестала ходить на фабрику, моя матушка заметно повеселела. Ведь теперь она могла в любое время отлучиться, ни о чем не беспокоясь. Возвращалась ли она в полдень или ве-

чером, в доме царил порядок: Туран-ханум успевала приготовить еду, вымыть посуду, всюду прибрать. И сама была как свежий букет.

Вот матушка и полюбила Туран-ханум — неустанно хвалила ее добрый нрав, сноровку, благородство и проявляла всячески свое уважение к ней.

Забрав с собой маленького Ахмада, она уезжала дней на десять-двенадцать в Шимран к моему старшему брату или отправлялась в Телеган навестить тетушку, а все дела — дом и фабрику — оставляла на Туран-ханум. И тогда я, Туран-ханум и Хадж-ага оставались в доме одни.

Как-то в полдень, возвратясь из школы, я застал Туран-ханум возле бассейна раздетой. Матушка несколько дней назад уехала погостить к нашей достопочтенной тетушке Эсмет.

Прикрывшись покрывалом, Туран-ханум крикнула:

— Миленький, ступай в комнату. Я только окунусь и выйду.

— Тури-джан,— говорю я,— и я с тобой! Я тоже хочу искупаться.

Она начинает раздевать меня, смеется, сбрасывает с себя покрывало прямо на самшитовые кусты, которыми обсажен бассейн. Теперь она стоит совсем-совсем голая, как моя матушка в бане. Тело у нее белое, как молоко, оно блестит, как новые фарфоровые тарелки, и сверкает, словно зеркало на солнце. «Если бросить камень,— думаю я,— Туран-ханум зазвенит, разобьется и рассыплется осколками по земле».

Заметив, что я разглядываю ее, Туран-ханум засмеялась:

— Стыдно, сынок, не смотри на меня...

Улыбаясь, она ерошит мои волосы, нагибается и целует меня в глаза. А я смотрю на ее живот, выступающий вперед, словно мяч. Когда маленький Ахмад наедается за обедом, у него живот бывает точь-в-точь таким.

Я касаюсь живота — твердый как камень.

— Эх, обжора! Вот так пузо! Тури-пузатик!

Она подхватывает меня на руки:

— Хочешь маленькую хорошенькую сестричку?

— Хочу, хочу, Тури-джан! Хочу маленькую хорошенькую сестричку! У меня еще никогда не было сестрички.

Упираясь ногами в ее грудь, я пытаюсь взобраться к ней на плечи. Груди у нее твердые-твердые, даже ноге больно. Вдруг Туран-ханум хватает меня под мышки, и мы с хохотом прыгаем в бассейн. Мне страшно, я прижимаюсь к ней, крепко держусь за ее шею.

— Пусти! Пусти! Не хочу!

А она, сощурившись от смеха, приговаривает:

— Ах ты чертенок! Глаза на меня таращить — это он умеет.

Я еще крепче цепляюсь за нее:

— Пусти! Я и не смотрел на тебя.

Два или три раза она окунает меня с головой. Вода холодная, и я плачу. Она подводит меня к краю бассейна:

— Ну-ка, беги, милый, вон мое покрывало, закутайся. Не дай бог простынешь! Иди на солнышко.

Завернувшись, я снова подхожу к бассейну. Туран-ханум плещется, как белая водяная птица, бьет по воде ногами и приговаривает:

— А-а-а-ах, хорошо, господи, как хорошо!

От холода у меня зуб на зуб не попадает, но я начинаю ныть:

— И я... И я к тебе!

Еще не рассвело, когда матушка окликнула меня. Просыпаться не хотелось.

— Спать хочу! Я посплю еще.

Но матушка зашептала мне на ухо:

— Неужели не хочешь проводить нас как старший, а? Ну, вставай!

Тогда мне было лет восемь-девять. Но я считал себя настоящим мужчиной. Я поднялся, начал тереть глаза. Еще накануне вечером матушка спросила:

— Хочешь утром проводить нас в Шах Абд ол-Азим [1]?

И я ответил:

— Да, я провожу вас в Шах Абд ол-Азим.

— Ну, тогда утром, как начну будить, сразу вставай.

Жили мы недалеко от станции, и обычно Хадж-ага или матушка рано утром уезжали в Шах Абд ол-Азим и быстро возвращались сразу же после молитвы.

Я продолжаю сидеть на тюфяке. Мне так хочется увильнуть от поездки! Так хочется еще поспать!

Но снова раздается голос матушки:

— Неужто ты раздумал? Ну-ка вставай! Вставай быстрее!

— Не надо. Я еще посплю...

Тут открыл глаза Ахмад, мой братишка. Спросонок он смотрит на нас не мигая, а когда матушка приказывает ему спать, вскакивает и заявляет:

— Я тоже пойду с вами!

— Ложись, чертенок, никуда мы не идем.

Ахмад начинает хныкать.

— Я тоже хочу с вами!

— Мы в баню идем. Ну-ка ложись, я дам тебе десять шаев[2].

— И я в баню... Не хочу спать! — ноет Ахмад.

— А оттуда мы пойдем к доктору. И я скажу доктору, чтобы сделал тебе укол.

Ахмад ревет еще громче:

— Все равно хочу! Все равно пойду!

— Цыц, чтоб ты сгинул, чтоб тебя бог прибрал! Так и знала: кончится тем, что отца разбудите,— ворчит матушка.

А наш Хадж-ага спит себе и даже похрапывает.

Мы встали, надели пальто и пошли к двери. Ахмад катился впереди, словно мячик. На улице нас ждала бабушка Сакине.

Бабушка Сакине, худая желтая старушка, часто приходила к нам стирать белье. По вечерам в пятницу, когда соседки собирались у нас во дворе и читали Коран, бабушка Сакине объясняла им всем непонятные места. Она была маленькая и сгорбленная. Когда она шла, ее руки качались точно два маятника — взад-вперед, взад-вперед. Шаги у нее были широкие, как у птицы, и она все время посматривала под ноги, чтобы не споткнуться.

С той поры как Туран-ханум уехала от нас, бабушка Сакине часто приходила помогать матушке. Вот как это случилось.

Однажды я пришел из школы и вдруг увидел, что дома у нас все переменилось. Комната Туран-ханум была пуста.

Помню, что мне стало очень грустно, и на другой день я не пошел в школу. У меня сделался жар, и меня оставили дома. Мне объяснили, что Туран-ханум скоро вернется. Но она так и не вернулась. В те дни до меня никому не было дела. Все ссорились и говорили только о разводах да о разводах.

Матушка и Хадж-ага бранились день и ночь. И только бабушка Сакине заботилась обо мне и рассказывала сказки. Но ее сказки были совсем не такие, как сказки Туран-ханум. Слушать их было неинтересно.

[1] Шах Абд ол-Азим — известная мечеть в пригороде Тегерана, соединенная с городом железнодорожной линией.

[2] Шай (сокращ. от «шахи») — мелкая монета.

Как-то утром Хадж-ага и матушка ушли из дому. Вернулись они вечером. Я заметил, что матушка была очень веселая. Прямо с порога она сказала бабушке Сакине:

— Ну вот! Дал ей развод — и дело с концом.

Когда матушка ушла к себе, бабушка Сакине покачала головой:

— Бедная женщина, бедная женщина...

А Хадж-ага был словно не в себе, и глаза — красные-красные. Он прошел прямо в залу, заперся и несколько дней не выходил оттуда. Все читал Коран и плакал.

С этого дня матушка опять начала ездить по гостям. Она брала маленького Ахмада и отправлялась дней на десять-двадцать то к тетушке Эсмет, то к моему старшему брату. А дом оставляла на бабушку Сакине.

...Закутавшись в покрывало, бабушка Сакине шагала по снегу, точно большая черная ворона.

Снег шел три дня подряд. Он засыпал все улицы. Так и казалось, будто кто-то сидит наверху, разматывает клубки снега и бросает, бросает его вниз. Иногда он останавливался передохнуть, а потом снова принимался за работу.

Бабушка Сакине ворчала, глядя на Ахмада:

— Зачем ты еще и этого взяла? Простудится, хлопот с ним не оберешься!

Матушка оборвала ее:

— А что было делать? Проснулся и начал реветь, чертенок. Я испугалась, как бы не разбудил Хаджи...

— А когда Хаджи проснется и увидит, что все ушли, он ведь может подумать неладное.

— Сегодня же пятница, будет спать до самого обеда.

На улицах не было ни души, под ногами толстым пушистым ковром лежал снег. Он шуршал, как сухие листья в огне.

По пустырю, напротив, расхаживали вороны. Они клевали снег, и вид у них был очень довольный. Я вспомнил, как накануне матушка говорила:

— Снег... Вот воронам радость!

Бабушка Сакине и матушка продолжали свой разговор:

— Вечером приходила Багум-ханум. Говорит, буду сидеть у дверей и ждать. Как постучите, открою.

— Кто будет сидеть у дверей? — спросил Ахмад.

— Тебе-то какое дело? — строго сказал я.

А матушка продолжала:

— Не спросила, кто у нее?

— Как Хаджи хотел — девочка,— ответила бабушка Сакине.

— Чтоб лежать ему на столе для обмывания покойников за все, что я от него натерпелась,— сказала матушка.

— «Во имя аллаха милосердного и всемогущего...» — забормотала молитву бабушка Сакине.

— Быстрей идите, уже светает,— приказала матушка.

Совсем опустив голову, бабушка Сакине пробормотала

— Холодно...

— А мне не холодно! — заявил Ахмад.

— Ну да, а сам дрожишь!

— Ничего и не дрожу.

— Замолчите! — приказала матушка.

Мы с Ахмадом шли впереди, а они за нами. Снег мялся под ногами как хлопок, и наши следы четко отпечатывались на его белой пелене. После каждого шага Ахмад оглядывался и смеялся от удовольствия. Щеки у него были красные-красные. Он бежал вприпрыжку то справа,

то слева от меня. Запыхавшийся и веселый, в белом пальтишке, он был очень похож на расшалившегося щенка.

— Матушка,— сказал я,— Ахмад замерз.

— Чтоб он ослеп! Зачем было идти?

— Я не замерз, не замерз! — закричал Ахмад.

— Далеко еще идти? — спросила матушка у бабушки Сакине.

— Нет, тут уж совсем близко, вон где улица кончается.

— У, как далеко! Нет, я дальше не пойду! — заявил Ахмад.

— А разве мы не в Шах Абд ол-Азим идем? — спросил я.

— Сначала зайдем за вещами бабушки Сакине. Это тут рядом. Возьмем их и пойдем в Шах Абд ол-Азим...

— Не хочу я никуда заходить! Я хочу в Шах Абд ол-Азим,— захныкал Ахмад.

— Чтоб тебе ослепнуть! Зачем ты увязался с нами? Тебя же никто не звал! — сказал я.

— Скорее, скорее,— торопила матушка,— уже совсем светло.

— Она сказала, будет стоять у двери и ждать, когда постучим,— повторила бабушка Сакине.

— Кто будет ждать? — спросил Ахмад.

— Надо все сделать тихо,— продолжала матушка.

— Да, да, я ей наказывала, чтоб никто не узнал,— поспешно ответила бабушка Сакине.

— А про что? — спросил я.

— Чтобы чего не узнали? — перебил Ахмад.

— Ты-то чего лезешь? — вспылил я.— Много будешь знать, скоро состаришься.

— Дела-то всего на минуту,— продолжала матушка, не отвечая нам.— А тогда я опять буду спокойна.

— А если она не отдаст? — спросила бабушка Сакине.

— Как это не отдаст? Не посмеет! Я силой отниму.

— Как сделаем-то? Как ты вчера говорила? — сказала бабушка Сакине.

— Да, да! Ну, что ты опять спрашиваешь?

— А что потом? Что Хаджи скажем?

— Хаджи? Хаджи, когда разберется, сам рад будет. Ты его не знаешь,— ответила матушка.

Но бабушка Сакине продолжала бормотать:

— Ох, бедная женщина... ох...

— Кого это ты жалеешь?

— Холодно очень, ханум, дорогая! Ох, ведь собака и та... Ох, грех это...

— Какой грех? Ребенок-то незаконный! — отрезала матушка.

— Ох, ханум, дорогая, нехорошо это... — говорила бабушка Сакине.

— Ну хватит! — прикрикнула матушка.

Бабушка Сакине опять опустила голову низко-низко:

— Холод какой...

— А мне не холодно! — заявил Ахмад.

— Врешь! — сказал я.— Сам замерз совсем.

— Вовсе мне не холодно! — не унимался он.

— Дрожишь, как цуцик,— сказал я.

— Вовсе и не дрожу, не дрожу! — заспорил Ахмад.

— Хватит вам! — сердито сказала матушка.

Мы уже добрались до конца улицы и свернули в переулок. Потом снова повернули. Прошли еще один переулок, еще и еще. Узкие и длинные, точно темные бесконечные коридоры. Глинобитные дома лепились друг к другу, как зерна четок, им не видно было конца.

Теперь впереди шла бабушка Сакине, за ней шел я, растопыривая руки, почти от стены до стены, не давая Ахмаду опередить себя.

Наконец мы остановились перед низкой дверью. Бабушка Сакине осторожно постучала, и ей сразу отворили. Выглянула маленькая седая старушка — глаза у нее сверкали, как у кошки, а губы все время двигались, будто она что-то жевала. Старушка кивнула. Матушка нагнулась ко мне и зашептала:

— Джафар, сынок, поиграй с Ахмадом, пока я зайду сюда. Я тебе потом куплю на базаре ручку-самописку.

— Ведь не купишь, обманешь!

— Да нет же, отцом клянусь! Не пускай его за нами, хорошо?

— А зачем вы туда пойдете?

— У нас там есть дело. Бабушка Сакине возьмет свои вещи, и пойдем дальше...

Матушка наклонилась к Ахмаду и что-то зашептала. Он широко улыбнулся:

— Ладно, никому не скажу. Только ты смотри купи, а то...

Но они с бабушкой Сакине уже вошли в дом. Мы с Ахмадом сели на скамейку у забора.

Ахмад сиял:

— А мне мама купит паровоз! Если я никому не скажу.

Прошло несколько минут, и мне надоело сидеть.

— Ахмад, хочешь поиграем в прятки?

— Как это?

— Ты сиди здесь, закрой глаза, а я спрячусь.

— Нет, не хочу. Ты меня бросишь, а сам уйдешь!

— Не хочешь, ну и не надо. Давай тогда ты спрячешься, а я буду искать.

— Ладно. Только ты покрепче закрой глаза.

Я сделал вид, что крепко зажмурился, и начал считать:

— Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать! Спрятался?

Ахмад куда-то убежал. Я тихонько вошел в дверь, спустился по ступенькам и оказался во дворе. Никого. Двор был большой и запущенный. По стенам лепилось множество маленьких комнатушек. Кое-где в окнах мигал свет. Воздух был тяжелым и смрадным, но я продолжал стоять, пытаясь угадать, в какую дверь вошли матушка и бабушка Сакине.

Ничего разглядеть мне не удалось, а дальше я идти боялся. Вдруг я увидел, что из подвала в глубине двора торопливо выходят матушка, бабушка Сакине и та незнакомая старуха. Они уже почти пересекли двор, когда из глубины подвала, как два голубя, вдруг взметнулись чьи-то руки. С отчаянием они вцепились в порог, и над ним возникло женское лицо, белое-белое, как снег, засыпавший двор. Глаза на этом лице были как два провала. Из широко раскрытого рта, казалось, вот-вот вырвется вопль: «А-а-а-а-а!» Женщина упала грудью в снег и протянула руки к матушке, словно моля о чем-то. Ее рот все еще был открыт, и из него в немом крике поднимался белый пар.

Вдруг мне показалось, что эта женщина — Туран-ханум, только наша Туран-ханум не была такой худой.

Я невольно сделал шаг вперед, чтобы разглядеть ее получше, но в тот миг фигура с протянутыми трепещущими руками, с темными разметавшимися волосами медленно поползла вниз.

Уже не было видно ни головы, ни лица, только метались руки, неслся вопль: «А-а-а-а!» — и белый пар таял в воздухе.

Я бросился к двери.

Мы уже довольно далеко отошли от того дома, как вдруг бабушка Сакине остановилась и спросила:

— А теперь что нам делать?

— Заладила «что делать», «что делать». Я уже сказала что...

Это говорила матушка, но голос ее дрожал, словно в горле у нее что-то застряло.

— Не могу я, не могу... клянусь богом... Ханум, дорогая! Вон кругом собаки... вороны... — бормотала бабушка Сакине.

На пустыре бегали по снегу собаки. Они что-то вынюхивали, гонялись за воронами. А те, сидя на заборах и на земле, деловито копались клювами в снегу и поглядывали на нас маленькими глазками.

— Матушка, почему вороны радуются снегу? — спросил я.

— Ну пойдешь ты или нет? — продолжала матушка, не слушая меня.

— Я боюсь, как бы кто... Ведь, ханум, дорогая... Боюсь я,— глухо отозвалась бабушка Сакине.

— А вот я ничего не боюсь! — раздался звонкий голос Ахмада.

— Ну да! Тебе палец покажи, ты и то струсишь,— сказал я.

— Да скорее ты! С этой старухой с ума сойдешь! Ты что, ждешь, пока солнце взойдет и видно станет? — грозно торопила матушка.

— Никакого пальца я не боюсь! — закричал Ахмад.

— Не могу я, не могу... ханум, дорогая... — стонала бабушка Сакине.

— Заклинаю тебя моей кровью, иди! — приказывала матушка.— Иди, сунь куда-нибудь...

— Нет, не могу я. Вы сами... ханум... дорогая, сами... Грех это,— умоляла бабушка Сакине.

— Чего ты не можешь? — спросил Ахмад.

— Я-то? Я все могу, любое дело,— ответил я.— Ведь я мужчина, я настоящий мужчина.

— И я все могу,— повторил за мной Ахмад.— Я тоже мужчина!

— Да, ты тоже мужчина,— согласился я.

И снова голос матушки:

— Ну так пойдешь или нет?

— И я мужчина, и я мужчина! — вопил Ахмад.

— Ханум, дорогая,— ответила бабушка Сакине.— Не пойду я, боюсь... — Ее голос замер.

— А я вот не боюсь, я — мужчина! — объявил Ахмад.

— Ну да, вечером боишься один на двор выйти, всегда тебя провожают.

— И тебя тоже провожают!

— Идешь ты или нет? Сейчас солнце встанет! — сказала матушка.

А бабушка Сакине ответила:

— Ай-ай-ай, господи-господи... — Ее руки под покрывалом дрожали, и покрывало вздувалось, как парус.

— Матушка, а куда ты ее посылаешь? — спросил я.

— Чтоб ты провалилась! — крикнула матушка, не обращая на меня внимания.— С самого начала я знала, что от тебя толку не будет. Давай сюда.

Бабушка Сакине откинула покрывало и протянула матушке длинный белый сверток. Когда матушка брала его, угол холстины отогнулся, и я увидел два черных моргающих глаза, блестящих словно черные виноградины. Матушка быстро спрятала сверток под покрывало и велела:

— Стойте здесь, я сейчас вернусь.

— Куда ты? — начал было я.— И мы с тобой...

— И я, и я хочу,— подхватил Ахмад.

Матушка, отойдя на несколько шагов, пробормотала:

— Я на минуту... погодите... я сейчас. А не будете слушаться, не куплю ничего...

Вдруг стало совсем светло — взошло солнце. Но людей пока не было видно. По снегу бегали собаки, а над заборами, над покрытой снегом землей кружили вороны.

Собаки обнюхивали снег, фыркали. Вороны долбили его клювами, будто вырывая клочья из замерзшего тела земли.

За матушкой, не отрывая носов от земли, побежали две собаки. Небо было похоже на окровавленный медный таз.

Когда матушка вернулась, все кругом вновь заволокла тьма — опять повалил снег.

Мы шли молча. Вдруг матушка опустила голову и сказала, глядя на снег:

— Как холодно...

Ахмад, которого теперь несла на руках бабушка Сакине, твердил:

— А мне не холодно, не холодно...

— Чего ж дрожишь, как цуцик? — поддразнил я.

— Я не дрожу, ты сам дрожишь как осиновый лист.

— Ну да! Скажи еще, как овечий хвост.

— А вот дрожишь, дрожишь,— не унимался Ахмад.

— Вовсе я не дрожу, ни чуточки,— стоял я на своем.

Матушка, глядя на снег, опять повторила:

— Ах, как холодно...

Ее голос прозвучал глухо, словно издали.

Потом мы направились в Шах Абд ол-Азим, помолиться.

Приход и уход

Приход наш и уход загадочны — их цели
Все мудрецы земли осмыслить не сумели.
Где круга этого начало, где конец,
Откуда мы пришли, куда уйдем отселе?

Омар Хайам (Перевод О. Румера)

Уже несколько часов я томился среди сыпучего раскаленного песка на пустой дороге. Ни единой мысли. Голова как в дурмане, по лбу струится пот. Затылок словно прожигало до мозга. В ноздрях стоял запах сожженной земли. В ушах — звон от сердитых голосов. Жалобы пассажиров разлетались на ветру, точно мусор.

— Ну и жара! Как жжет.

— Это ад, настоящий ад! О господи, сжалься над нами!

— Я не могу больше... не могу! Боже, какая жара!

— Так я и знал, что этот бездельник не довезет нас до города по-хорошему. С самого начала знал.

— Ну успокойся, успокойся. Что толку жаловаться?

— Аббас-ага говорит, что нам придется идти пешком. Ничего нельзя сделать.

...Автобус сломался на полпути. И теперь одни продолжали сидеть на своих местах, а другие, не выдержав, вышли и разбрелись под нещадно палящим солнцем. Все были злы и на случившееся, и друг на друга.

Несколько часов назад, на рассвете, когда наш старенький автобус, взревев, покатил по шоссе, никому и в голову не приходило, что мы можем застрять на этом дьявольском солнцепеке.

Из кабины вылез Аббас-ага со своим помощником Махмудом.

— Серьезная поломка? — спросил один из пассажиров.

Аббас-ага, ничего не ответив, повернулся к помощнику.

— Ну как, Махмуд, исправишь, а?

— Сейчас посмотрим, — ответил Махмуд.

— Заднее колесо тоже село,— заметил кто-то.

— Знаю,— сквозь зубы произнес Аббас-ага.

Махмуд поднялся в автобус, взял ящик с инструментами и скрылся под машиной.

— Ни разу еще не было, чтобы спокойно доехали до города! — ворчал Аббас-ага.— Постарайся, Махмуд, голубчик. Не подведи!

Аббас-ага одобрительно следил за тем, как работают руки Махмуда, и покачивал головой в такт его движениям. Ему не впервые приходилось восхищаться сноровкой Махмуда и хвалить его. Когда однажды в пути у Махмуда пошла носом кровь, Аббас-ага остановил автобус и начал делать ему примочки. А потом всю дорогу повторял: «Приедем в город, ты это дело так не оставляй, дорогой. Какой нос слабый! Того гляди, вся кровь из тебя вытечет».

Все это Аббас-ага рассказал мне, пока Махмуд возился под автобусом, а потом добавил:

— Я так его полюбил, не поверите... Уж сколько лет вместе работаем! Знаем друг о друге все. Так-то он крепкий, не боится ни жары, ни холода. Не глядите, что много крови теряет. Совсем железный. Я таких людей не встречал. Видите, какой он желтый,— это малярия его треплет...

Мне хотелось спросить, почему же он не лечится? Аббас-ага словно прочел этот вопрос в моих глазах. Лицо его окаменело, он сжал губы, а потом сказал:

— Он ведь еще молод, недавно женился, все сбережения истратил, а долгов сколько набрал! — Он замолчал и отошел от меня.

Застрявший автобус напоминал огромного оранжевого зверя. Лучи солнца, словно золотая мошкара, толклись у его морды. Я посмотрел вокруг — пустыня, казалось, кишела этой солнечной мошкарой. Автобус вдруг затрясся, и мне представилось, что передо мной человек в приступе малярии.

Я почувствовал, что по моей спине расползаются солнечные муравьи. И в памяти встала картина: саранча, и муравьи грызут ее живьем в муравейнике. Я вздрогнул. Жара пропитала все тело, проникла под кожу, в кровь, в мозг. Я был весь мокрый.

В стороне на земле лежали молодожены. Она была беременна. В автобусе они, не умолкая, говорили о будущем ребенке — обсуждали, как назовут его, каким он будет. И оба тихонько смеялись от счастья. Теперь они лежали, притихшие и испуганные. Я видел ее спину, круглый живот, чувственный изгиб бедер. Она прильнула к земле всем отяжелевшим телом. Руки покоились на животе, как бы охраняя и оберегая драгоценную ношу. Она дышала тяжело и часто. Муж печально смотрел на нее, и его лицо было обиженным, как у ребенка. Казалось, он вот-вот заплачет.

Остальные пассажиры расположились по другую сторону автобуса. Я перебирал в памяти все, что узнал о них. Вон те два крестьянина по пути все время считали и пересчитывали: «Четыре тумана да пятнадцать туманов будет двадцать без одного...» Теперь они сидели, глядя друг на друга, и тревога, охватившая всех, их как будто не коснулась. Неподалеку сидел, поджав колени, ахунд[1] и обмахивался полой халата. Я сразу понял, кто он, по круглой бритой голове. В автобусе он три-четыре раза

[1] Ахунд — мусульманское духовное лицо, наставник.

обращался к пассажирам с призывом вознести молитву богу, а потом умолк.

Брат и сестра, без конца ссорившиеся и пререкавшиеся, теперь сидели молча. Брат был помоложе и казался неглупым и застенчивым. В пути он все старался утихомирить свою придурковатую сварливую сестру, но у него ничего не получалось, и теперь он сидел, поникший от стыда, обливаясь потом.

Лицо дервиша[1] по-прежнему было закрыто. Даже выйдя из автобуса, он продолжал кутать голову, опасаясь, как бы кто-нибудь из молодых людей с фотоаппаратом, снимавших то одного, то другого пассажира, неожиданно не щелкнул бы и его.

С дороги доносился монотонный стук молотка. Внезапно все стихло. Я еще не успел понять, что произошло, как раздался голос Аббаса-аги:

— Что, по руке попал?

— Да, руку придавил, будь она неладна! — ответил Махмуд.

Я услышал звук разрываемой материи, приподнялся и сел. Солнце слепило глаза, и все вокруг показалось мне темным. Силуэт Махмуда исчез за машиной. По земле двигались темные маленькие пятна. Только я стал вглядываться в них, как из-за машины опять вышел Махмуд: одна рука обвязана тряпкой, побледневшее костистое лицо будто клок желтой ткани.

Я снова посмотрел вокруг. Насколько хватал глаз, тянулась дикая песчаная пустыня. Эта голая, высохшая и раскаленная земля раскинулась, словно белый ковер. На белой плоскости ни одного возвышения, повсюду лишь выжженное пространство, вбирающее в себя чуть более светлый, прозрачный горизонт. Его едва различимая линия отделяла землю от неба, словно разграничивая их владения. Я с изумлением смотрел, как пустыня купается в водопадах расплавленного золота, всматривался в загадочную линию горизонта.

Вдруг поднялся сильный порывистый ветер, повсюду закурились струи мягкой белой пыли. Сливаясь, они поднимались вверх и смерчами обрушивались на дорогу. Вокруг завыли, засвистели дикие голоса. Пустыня будто ожила, будто превратилась в море, полное гибнущих людей. Казалось, это их стоны и вопли доносит до нас ветер.

Ко мне подошел Аббас-ага, потный и усталый. Копна седых волос взъерошена, темные мясистые губы жадно сосут сигарету. Но выражение его смуглого морщинистого лица сразу успокоило меня, рассеяло неясные страхи.

Он улыбнулся:

— Погляди, как на кладбище!

Он лег на землю рядом со мной.

— Все в порядке. Везет нам! Если бы не Махмуд...

Я обернулся. Махмуд стоял на коленях возле колеса, рука с молотком опускалась и поднималась, ударяя изо всей силы. Маленький и щуплый, он выглядел сейчас мужественным, спокойным и сильным.

— Ложись на землю! Ложись! — услышал я вдруг сдавленный крик Аббаса-аги. Громадный столб пыли и песка приближался к нам, будто гигантское белое чудовище. Меня охватил ужас. По спине пробежала холодная дрожь. Рука Аббаса-аги с силой прижала меня к земле. Я услышал над головой невыносимый рев и шум. Казалось, тысячи пчел пролетали над нами. Уши наполнил пронзительный свист «с-и-и-и-и-и-и...». Голову сдавила страшная боль. Уши разрывались, словно в них вгрызалось сверло. Мне показалось, что это конец. Я лежал ничком, вцепившись в песок, как утопающий в море вцепляется в обломок спасительной доски. Этим обломком была земля подо мной. Я не дышал, я

[1] Дервиш — странствующий нищий.

хрипел, как полузадушенный пес. Грудь сдавило железными тисками. Мышцы напряглись, всего меня заполнила боль, от которой вот-вот должна была лопнуть, разорваться на куски кожа.

Ужасающий, сводящий с ума свист внезапно прекратился. Тиски, сжимавшие грудь, ослабли, дышать стало легче. Страх рассеялся, сменившись смущением и стыдом. Смех Аббаса-аги окончательно привел меня в чувство:

— Что, господин доктор, кажется, ты умирать собрался? Ну, нам некогда устраивать тебе похороны!

Я приподнялся, открыл глаза и с удивлением уставился на него. На красное мясистое лицо словно надели маску из серой пыли, а глаза хранили то, что он, наверно, уловил и в моем взгляде. Одно и то же было написано на наших лицах — мы были словно отражение друг друга. И поэтому Аббас-ага смеялся за нас обоих. Он сел и начал отряхиваться. Серый налет исчез с его лица, и вдруг связь между нами оборвалась, мы утратили друг друга и стали тем, чем были прежде. Взамен пришло жгучее желание заговорить, очиститься, смыть с себя, забыть того чужака, который только что изнывал от ужаса, словно отрицал совершенство и силу человеческой натуры.

Начал Аббас-ага:

— А знаешь, дорогой мой, мы попали в хорошенькую переделку. Я двадцать лет езжу по пустыне, но такого ветра мне еще не приходилось видеть. Откуда он, проклятый, налетел? Еще бы чуть-чуть, и унесло бы нас. А вой какой! Прямо танк! Не приведи бог попасть в такой ветер на ходу: перевернет и сбросит с кручи!

Молодая женщина приподнялась, села и заплакала. Она рыдала, продолжая обнимать руками живот. По бледному, испуганному лицу ползли слезы, мешаясь с пылью. Муж сидел рядом все с тем же обиженным выражением и смотрел в землю. У остальных пассажиров тоже был растерянный вид. И снова ветер разносил, точно сор по улице, обрывки слов.

К нам подошел Махмуд. Я ждал, что он ляжет рядом, но вместо этого он сел, скрестив ноги, и зарыл в песок огромные, крепкие, почерневшие от машинного масла руки. Потом начал пересыпать песок с ладони на ладонь, как ребенок. На нем была грубая шерстяная рубаха, вся в мазуте, грязные домотканые штаны, вокруг шеи — рваный, в масляных пятнах платок.

— Как, Махмуд, очень устал? — спросил Аббас-ага.

— Нет, ничего.

— Может, поедем, а?

— Поедем. Собирай всех.

Лицо у него было невозмутимое, но глаза как-то странно блестели.

Аббас-ага отошел, а он все продолжал сидеть в той же позе, скрестив ноги, и пересыпать горячий мягкий песок, словно лаская и перебирая чьи-то волосы. С каким странным увлечением и изумлением трогал он песок, разглядывал песчинки, поднося ладони близко к своим красным, воспаленным глазам. Осторожно раздвигая пальцы, он высыпал песок длинными, узкими струйками. Я встал и пошел к автобусу, а Махмуд все сидел, поглощенный своей игрой. Он был так захвачен ею, что всем нам тоже захотелось сесть, скрестив ноги, и черпать горстями горячий песок.

Впереди меня к автобусу шли молодожены. Она была на голову выше мужа, в ярком платье, собранном на груди в складки. Опираясь на его плечо, она тяжело дышала. Он, коротконогий и толстый, в летнем новом костюме, еле волочил ноги. Маленькие белые кисти его рук подскакивали на ходу, как две лягушки.

Висевшая в воздухе пыль, густая и белая, как снег, только начинала

оседать. Сквозь нее проглядывало солнце, напоминавшее блюдо из тусклого золота. С воем налетали порывы ветра.

Автобус тронулся. Я откинулся на кожаную спинку и подставил горящее лицо ветру, пропитанному пылью. Рычал мотор, дребезжали стекла, бренчали двери.

Позади заговорили молодые супруги:

— Ты написал им, что мне уже скоро?

— Да. Нас встретят с машиной.

— Знаю. Ты мне это говорил несколько раз... Я спрашиваю, знают ли они, что мне уже скоро?

Я смотрел в окно. На душе стало легче. Такой покой овладевает человеком после того, как он выплачется, или после того, как утихнет его гнев. Ветер охлаждал мне лицо, и это было огромное наслаждение, с которым можно сравнить только сон в объятьях женщины. У дороги возникали и исчезали глубокие кручи. Ветер выл и бросал песком в кузов.

Я смотрел, как впереди меркнет солнечный свет, из белого и ослепительного становясь тусклым и блеклым.

Автобус несся вперед. Солнце уходило за горизонт, уступая место ночи. За спиной снова раздался голос молодой женщины:

— Парвиз, милый!

— А?

— Ты ведь хочешь, чтоб у нас был мальчик?

— Да, дорогая.

— А я хочу девочку. Говорят, девочки лучше. Если будет девочка, назовем ее Насрин, хорошо?

— А если мальчик, то назовем его Хушанг,— подхватил муж.— «Хушанг»,— скажу я. «Что, папа?» По правде говоря, мне не верится, что я стану отцом! Просто не могу поверить!

— Как хорошо! Я прижму к себе его милую головку и скажу: «Хушанг, милый». А он скажет: «Да, мамочка». «Кого ты больше любишь, меня или папу?»

— Он скажет «папу».

— Он скажет «маму».

Послышался счастливый смех. Женщина сказала:

— Ну, хватит смеяться!

И они рассмеялись еще громче.

Остальные пассажиры тоже были заняты разговорами.

Сестра, обернувшись, болтала с соседкой сзади:

— Ты даже не представляешь, как это было смешно. Он на меня загляделся, споткнулся о камень и хлопнулся прямо в грязь.

Ее брат сидел, опустив голову, истомленный жарой.

Оба крестьянина продолжали свои расчеты:

— Сорок туманов и три тумана, которые у тетки Мамеди, это будет сорок три...

Только Хадж-ага, мой бородач сосед, хранил молчание и с любопытством торговца ощупывал кожу сиденья. Ни разговоры пассажиров, ни жара, ни утомительные рывки машины не могли вывести его из тупого кроличьего безразличия. Он осматривал кожу сиденья, как бы прицениваясь к ней, перебирал четки и шептал молитвы, задрав голову. Губы его двигались, голос жужжал, как надоедливый овод.

Автобус ехал быстро, и шоссе неслось навстречу, как нескончаемая белая лента. Рев мотора, шелест дороги под колесами, непрерывный вой ветра действовали убаюкивающе. Хотелось задремать, но глаза горели и сон не шел.

Махмуд неподвижно стоял на подножке, и его маленькая худая фигура казалась фотографией, вставленной в рамку двери. Внезапно Махмуд дернулся и сел, уронив голову и бессильно вытянув руки вдоль тела.

— Что с тобой? — окликнул Аббас-ага.

— Кровь пошла,— услышал я сдавленный голос Махмуда.

— Кровь?! Ну и денек!

Махмуд не отвечал. Голова его свесилась, кровь стекала в щель, прямо на шоссе.

— Поддержать тебя? Платок есть?

Махмуд поднял руку, покачал над головой — не надо. Он снял с шеи грязный платок.

Аббас-ага прибавил скорость. Мои глаза уже начали слипаться, как вдруг машину сильно тряхнуло и меня бросило вперед. Что такое? Автобус стоял у самого края оврага. Аббас-ага отвлекся, посмотрев на Махмуда, и не заметил, как автобус свернул к обочине. Еще чуть-чуть — и мы были бы в овраге. Аббас-ага резко повернул руль, и автобус снова выехал на шоссе. В гомоне пассажиров я различил его голос:

— Ах, будь ты неладен! Ну, да все в порядке... Махмуд! Махмуд!— вдруг крикнул он.

Махмуда в автобусе не было. Дверь открылась, и он вывалился наружу. Мы бросились к нему. Худое тело неподвижно лежало на песке, будто смятый, полупустой мешок. Лицо было залито кровью. Кровь текла изо рта и из носа. Мы подняли его, и Махмуд вдруг открыл глаза и отрешенно посмотрел вокруг. В его глазах притаилось странное выражение. Они светились откуда-то из глубины, как у старого орла. Мы уложили Махмуда в проходе на одеяло и накрыли простыней. Я взял его за запястье. Пульс был частым. Я сделал знак Аббасу-аге, который смотрел на меня виновато и печально.

Автобус рванулся и с бешеной скоростью понесся по шоссе. Я посмотрел назад. Молодая женщина сидела бледная и испуганная, обхватив руками живот. Ее бил озноб. Дыханье было глубоким и редким, глаза блестели. Муж растерянно смотрел на нее. Его голова моталась, глаза моргали.

Я откинулся на спинку. Сон ушел, мысли перепутались. В автобусе царило молчанье. Где-то в глубине глаз каждого прятался страх.

Я начал смотреть в окно, стараясь затеряться взглядом в пустыне. Холмы и овраги возникали и скрывались из виду. Потом они слились в сплошную пелену. Сколько времени длилось это состояние, я не помню.

Вдруг мне показалось, что на одной из вершин я вижу Махмуда. Он сидит, скрестив ноги, и с увлечением пересыпает песок с ладони на ладонь. Я отвел взгляд, посмотрел на раму двери. Она была пуста — Махмуда вынули из рамки, как снимок.

За спиной у меня раздался вопль молодой женщины. Подхлестнутый внезапной мыслью, я вскочил и нагнулся к Махмуду. Снова вопль женщины... Еще и еще...

Я приподнял край простыни и... вновь прикрыл лицо Махмуда, застывшее, как маска.

Вопли женщины становились все пронзительнее. Автобус продолжал мчаться под воем ветра.

Ручей

У него за спиной раздался голос жены:

— Ты идешь на работу?

— Да.

— А нельзя не ходить? Ты ведь так устал...

— Нет, надо идти.

— Утром на работу, вечером на работу... что это за жизнь?

Отвечать не хотелось. Тело было налито вялой тяжестью. Голова кружилась. Он медленно закрыл дверь, и усталые, ватные ноги машинально понесли его вперед.

День был холодный и пасмурный. Небо затягивали косматые тучи. Сухие листья крошились под ногами «хешшаш... шаш». Этот звук вызывал в нем дрожь.

Улица, вся в осенних листьях, была пустынна. Его томило смутное беспокойство, мысли мешались.

Бремя тридцати пяти лет, а главное — восемь лет сидения за блестящими, полированными столами пригладили и упорядочили манеру мыслить, выработали солидность, холодное и отчужденное выражение лица. Размеренная жизнь, положение и чин породили в нем безразличие ко всему на свете. Но сегодня утром, когда старый приятель прокричал ему в телефонную трубку «Негодяй... эгоист» и сказал, что Парвин погибла, он почувствовал себя выбитым из колеи.

...В кабинете шло совещание, начальник раздраженно говорил:

— Никто не едет!.. У каждого предлоги и отговорки, даже фельдшер не желает ехать на прививки: «У меня жена, дети!»

Заговорил один из сотрудников, тот, что сидел рядом с начальником и толщиной был вполне под стать ему:

— Ва, алла! Я бы тоже не поехал, если бы мне предложили, ни за что не поехал бы. Там же холера! Даже после прививки только сорок процентов гарантии не заразиться.

— А мне что прикажете делать? — раздраженно прервал начальник.— Где взять людей, кого послать?

Зазвонил телефон, секретарь поднял трубку и повернулся к Кемалю:

— Это вас! Ваш знакомый, господин Фархад.

Кемаль нажал кнопку рядом со своим телефоном:

— Привет... Как живешь? Вспомнил обо мне?

А Фархад с другого конца крикнул:

— Почему ты вчера не пришел на похороны? Хорош, нечего сказать!

— Какие похороны?

— Парвин! Ты что, хочешь сказать, что ничего не знал?.. Не знал, что она погибла? Машина вдребезги. Не известно, зачем она отправилась так высоко в горы. Куда она ехала? Ничего не известно...

Днем, когда он пришел домой, он вдруг ощутил глубокую опустошенность и апатию. Почти насильно съел обед. Лег. Закрыл глаза. Но сон не шел. Нервы были напряжены до предела.

— Что-то случится со мной, обязательно случится,— твердил он.

Ему не хотелось погружаться в горестные размышления, не хотелось думать о внезапной гибели Парвин. Он откинул плед и встал. Жена ровно дышала во сне. Кемаль прошелся по комнатам. Подумал, что надо переменить всю мебель. В прихожей мельком взглянул на себя в зеркало: глаза красные, губы дрожат. Присел у книжного шкафа. Снял с полок несколько книг, смахнул с них пыль. Сколько лет он не находил времени заглянуть сюда? Отобрал два-три томика и проворчал сквозь зубы:

— Будь проклята эта работа! Высасывает всю душу, все мысли. Ничего не остается.

Вышел во двор, осмотрел цветы в кадках, полил, оборвал желтые листья. Сел на край бассейна и стал смотреть в тусклую неподвижную воду.

— Если остановить, голос ее оборвется и смолкнет,— вдруг услышал Кемаль и понял, что это сказал он сам. Он смотрел в застывшую черную воду бассейна на свое отражение. Одутловатое огрубевшее лицо, новые морщины у глаз...

«Как я изменился,— мелькнула у него мысль.— Ну и лицо, встретишь — испугаешься...»

Смутная тревога росла, страх расползался по телу.

Он вернулся в дом. Жена спала все так же безмятежно, и будить ее не хотелось. Он долго смотрел в окно, на красные, обожженные осенью листья чинары. В памяти всплыли слова Парвин: «Чинары превратились в светильники».

...Студентом он был влюблен в Парвин. Они учились вместе, и Кемаль никогда не думал, что может так сильно увлечься, тем более что они были далеко не ровня.

Парвин была маленькая и изящная. На круглом ясном лице пухлые губы и удивительно красивые глаза. Черные волосы, перехваченные у затылка, падали на спину конским хвостом. Она держалась непринужденно. Ее движения были быстрыми и ловкими, и вся она неуловимо напоминала школьницу.

Особенно милыми и располагающими были ее манеры, ее взгляд, в котором светились то радость, то проникновенная нежность и теплота.

На занятиях они обычно сидели рядом и тихонько разговаривали. После лекции вместе выходили и шли вдоль университетской стены по красивой тенистой улице вверх в гору. Было пустынно и тихо. Их прогулку сопровождало только журчанье воды, бежавшей по арыку и наполнявшей все кругом немолчным громким говором.

Парвин говорила:

— Я люблю, когда шумит вода. У нее свой, особенный голос. Посмотри, как она бежит. Есть одно стихотворение, там с движением воды сравнивается жизнь.

— Ты представляешь, откуда она течет? Сколько у нее разных приключений позади! А сколько еще она преодолеет! — продолжал ее мысль Кемаль, шагая у самого края арыка.

— Я поэтому и люблю ручьи. Это жизнь, настоящая жизнь! А попробуй останови ручей, голос его сразу смолкнет, жизнь умрет.

Улица оставалась позади, а они шли и шли, все выше в горы, пока, запыхавшись, не упирались в глиняную стену сада, из-под которой выбегал ручей.

Сверкающая, прозрачная вода с шумом низвергалась в русло арыка и журча бежала дальше, вниз по городу. Они усаживались на скамейку у стены, каждый раз забывая о собаке за забором, которая тут же поднимала лай. Тогда они испуганно вскакивали и начинали хохотать...

Это были дни, наполненные радостью и волнением. Жизнь была освещена особым смыслом, сердце — счастьем. Кемаль просыпался с ощущением радости, оттого что есть Парвин, и перед его глазами тотчас вставало ее прелестное лицо. И думал он только о том прекрасном, что ждало их впереди. Каждый день эта маленькая изящная девушка весело и просто пробуждала в нем жизнь и все сильнее сводила его с ума.

Потом наступили дни растерянности и боли. Парвин увлеклась другим, стала рассеянной и настороженной. Он был уязвлен и подавлен. Он начал сторониться ее, старался забыть — и не мог.

Спустя некоторое время он получил от нее приглашение на свадьбу, но не пошел. Она стала женой человека, который, кажется, причинил ей много горя. Она рассказывала потом Фархаду, их общему другу: «В один прекрасный день вдруг понимаешь, что жизнь движется сама по себе, словно во сне, помимо нашей воли. Но изменить уже ничего нельзя. Как невозможно вернуть прошлогодний снег».

...Кемаль продолжал свой путь. Перед глазами стояла вода бассейна — густая, неподвижная. «Парвин мертва, а я жив»,— думал Кемаль. Но его принадлежность к «живым» — это только теплая кровь,

которая бежит в теле и дает ему силы двигаться. Но само это движение еще не свидетельствует о жизни и не способно заменить ее.

Он шел, под ногами шуршали листья, ветер шумел над головой, где-то щебетала птица. Ноги его совсем одеревенели и еле двигались.

Еще сегодня утром он бодро шагал по этой улице. Был спокоен и весел. В голове роились веселые мысли: он богат, у него прочное положение, хорошее место. От этого где-то в глубине души рождалось сознание своего превосходства. Он часто повторял про себя: «Человеку важно понять, как нужно жить. Главное — найти свою линию, а уж тогда жизнь сама пойдет тебе навстречу».

Кемаль считал, что ему, собственно, недостает теперь только одного — машины. Но и ее он скоро будет иметь. Он уже прикидывал, какую из новых моделей выбрать — американскую, немецкую, французскую или русскую?

Придя на службу, он поудобней располагался в кресле и брался за бумаги. Ставил подпись против слова «начальник», недовольно поглядывал на капли дождя, сползавшие по стеклу, и брюзжал:

— Опять этот проклятый дождь!.. Чтоб его...

Потом просил служителя закрыть окно, зажечь свет и добавлял про себя:

— Вот теперь лучше, а то невозможно сосредоточиться!

...Сухие листья шуршали под ногами, шумел ветер, где-то щебетала птица, ноги сами несли его вперед... Внезапно в этом шуме Кемаль различил новый звук, заставивший его остановиться. Он прислушался. Ручей, прокладывая себе путь среди камней и сухих листьев, наполнял улицу звонким, мелодичным журчаньем.

А ноги сами уводили Кемаля прочь на другую сторону улицы. И вот уже голоса воды, ветра, птицы остались позади. Несколько мгновений они еще звучали. Потом ослабели и наконец совсем смолкли.

Подошел автобус, Кемаль влез в него, и автобус тронулся. Перед глазами красными вспышками замелькала осенняя листва чинар. Кемалю было скверно. Сиденье казалось неудобным, хотелось встать и выйти.

Он огляделся. Холодные, отчужденные лица пассажиров. Сидят, неподвижно уставившись перед собой. Кто-то дремлет. Прямо перед ним двое: один молодой, другой постарше. Судя по грязной одежде — рабочие. Тот, что постарше, сказал, видимо продолжая разговор:

— ...а теперь, как с утра выхожу из дому, весь свой день наперед знаю — куда пойду, какая будет работа, когда смена кончится. Как-никак пятнадцать лет туда и обратно каждый день.

Голос звучал устало, тягуче.

Рядом с Кемалем сел новый пассажир. Кемаль покосился на него — лицо показалось ему знакомым. Он смотрел на соседа, но тот даже не почувствовал на себе чужой взгляд. «Да, где-то я уже встречал его»,— думал Кемаль, откинувшись на спинку. До сегодняшнего дня он никогда не обращал внимания на пассажиров в автобусе. Обычно у него сильно закладывало уши от шума мотора, от людских голосов. Его взгляд остановился на женщине с маленькой девочкой. Она неподвижно сидела как раз напротив, а девочка стояла в проходе. Она едва держалась на худых ногах. Руки вцепились в поручни, но каждый толчок машины швырял ее то вперед, то назад.

— ...я всегда выжду минуты две, подойдет автобус посвободней, я сажусь и еду до самого конца...— услышал Кемаль голос молодого рабочего.

«Каждый думает только о себе. Вот этот не хочет уступить место, а женщине и в голову не приходит подвинуться и усадить ребенка с

собой. Люди стоят рядом, близко, но как они далеки друг от друга...» Внимание Кемаля привлек старик, только что вошедший в автобус. У него было изможденное, морщинистое лицо. Опираясь на палку, старик побрел по проходу. Поравнявшись с ними, он кивнул. Кемаль не понял, к кому обращен этот кивок,— его сосед восседал все так же неподвижно, устремив взгляд в пустоту.

Кемаль начал смотреть в окно. Все, что мелькало там, он видел уже несчетное число раз. «Человеку остается быть только наблюдателем, только зрителем»,— подумал он.

Автобус остановился, оба рабочих вышли. Кемаль наблюдал, как пожилой первым сошел по ступенькам и зашагал по улице. Пятнадцать лет проделывать один и тот же путь!

«Неужели жить — это значит двигаться по прямой, туда-сюда, туда-сюда?» — спросил себя Кемаль. Он посмотрел на чинары, росшие по обочинам. Они убегали назад, вытянувшись в одну линию. Автобусы и автомобили тоже выстраивались в нескончаемые вереницы и бежали друг за другом... Мысли Кемаля тщетно метались в поисках смысла этих построений.

...Вернувшись с работы домой, он обычно обедал и ложился отдохнуть. Потом, удобно расположившись, слушал радио и пил крепкий чай. Если в управлении была срочная работа, одевался и уходил снова. По пути покупал газету, в автобусе успевал просмотреть основное и, сложив ее, выходил. Поздно вечером он возвращался тем же путем. Переодевался и садился к телевизору в ожидании ужина. Опять разворачивал газету и отыскивал то, что не успел прочесть по дороге. Перебрасывался двумя-тремя словами с женой. Потом они гасили свет и уходили спать.

Раз в неделю кино или театр, раз в две недели у них гости или они в гостях — свой постоянный круг порядочных и почтенных людей. Раз в год поездка к морю на купанье. «Значит, это и есть жизнь? — спросил он себя.— Кончить курс, жениться и потом, пользуясь полученными привилегиями, идти все время в одном направлении, по одной прямой?»

Кемаль взглянул в окно. Автобус следовал по своему обычному маршруту. Мимо проносились знакомые магазины, вывески. Появлялись и пропадали прохожие.

Люди трудились, старели и дряхлели ради того, чтобы раздобыть деньги на это вот движение отсюда — туда и оттуда — сюда. Чтобы жизнь, как автобус, все время двигалась взад-вперед, по одному маршруту. И чтобы человек, сидящий в этом автобусе, соприкасался, общался и разговаривал лишь с определенной группой знакомых лиц. Чтобы волновали его лишь мелкие события. Чтобы не пробудилось в нем желание распрямиться и действовать, чтобы не заговорили в нем смелость и отвага, способность далеко видеть, способность чувствовать, думать...

Вот сам он будет сновать по своему маршруту, как маятник,— взад-вперед, взад-вперед... Работать, стареть и превращаться в рухлядь — и все ради того, чтобы хорошо поесть, хорошо поспать, хорошо...

Кемаль закрыл глаза. Он знал, где он сейчас находится, куда пойдет автобус. Что передадут по радио. Что напишут в газетах.

— Сейчас половина пятого, сегодня суббота. Я живой... я живу... я... я... знаю...— растерянно произнес он.

В ушах звенел голос ручья. Этот голос нарастал, ширился, пока все вокруг не наполнилось нежным, мелодичным журчаньем.

«Разорвать бы это проклятое кольцо! Хоть бы в пропасть въехал

проклятый автобус!» — сказал про себя Кемаль, а потом пробормотал вслух:

— Ты знала, Парвин... ты знала... куда ехать, куда идти.

Его остановка. Он вышел из автобуса. Небо все такое же хмурое и сумрачное. Ветер сгибал деревья, бросал на землю сухие листья.

Ноги несли Кемаля по знакомой дороге. Ветер сорошил волосы, засыпал глаза пылью.

Вот бакалейная лавка. Старик хозяин возился на пороге с мангалом. Он улыбнулся Кемалю и сказал, потирая руки:

— Похолодало!.. Скоро и зима.

Кемаль купил пачку сигарет и спички. Закурил. Пошел дальше. Над головой загремело, зашумели деревья. Пыль змейками поползла по улице, взвилась в воздух. Кемаль как раз вошел в управление, когда на тротуар упали первые крупные капли.

Он поднялся по лестнице. Вышел служитель, распахнул дверь. Кемаль прошел прямо к своему столу и сел. Перед ним лежала пачка писем и бумаг. Мельком проглядев их, задержался на одном, адресованном ему письме:

«Глубокоуважаемый заместитель управляющего...» В нем поднялось отвращение. Он опять закурил, рассеянно оглядывая новые, сверкающие полировкой столы и стулья, стараясь сосредоточиться. Встал, подошел к окну. Прислонившись к стене, он следил, как сизый табачный дым, покачавшись у лица, уплывал в глубину кабинета и таял. Потом стал слушать, как шумят за окном ветер и дождь.

Когда-то, много лет назад, он вдруг написал целое стихотворение, воспевающее ветер и дождь. Оно было напечатано в журнале. А сейчас он не мог вспомнить из него ни единой строки. Теперь это все было таким далеким, таким чужим. Он просто не понимал, как, в каком состоянии мог он написать стихи.

Вошел начальник.

— Ну и погодка! Ну и дождь,— сказал он, усаживаясь.

Кемаль предложил ему сигарету и отошел к окну. В ушах его звучал только дождь. Откуда-то издалека долетала прекрасная печальная мелодия. Казалось, будто звонкий ручей прокладывает себе дорогу среди камней и бежит, бежит все дальше.

Начальник снова заговорил. Его сиплый бас сливался в ушах Кемаля с шумом дождя.

— По закону, его следовало лишить поставок, но они там, кажется, подмазали кого надо, так что все в порядке...

Кемаль все смотрел на улицу. Деревья стояли совсем мокрые. Капли дождя жемчужинами скатывались по стеклу. Ветер громыхал крышей.

В ушах Кемаля мешался шум дождя и рев ветра, перед глазами маячили намокшие серые стволы. Он продолжал стоять и смотреть на начальника. И вдруг услышал в себе знакомую мелодию ручья. Песня все нарастала, приближалась и, наконец, заполнила собой все.

Потоки дождя заливали оконное стекло, мокрые серые деревья выделялись еще резче, водяные струи с силой обрушивались на листву.

Кемаль обернулся к начальнику, его глаза внезапно вспыхнули, и он спросил неожиданно для самого себя:

— Кстати, вы уже нашли кого-нибудь для той командировки?

— Пока нет, все ждал, не вызовется ли кто-нибудь сам. Но, что делать, ничего не выходит. Все хорошо устроены, никто не желает покидать насиженные места!

Кемаль взглянул на пустой стул у своего стола и вздрогнул. Такой же страх пронзил его дома, возле бассейна. Он попятился от окна.

В кабинет вошел служитель, держа поднос с чаем. Он поставил перед ними чашки и уже собрался уходить, как вдруг Кемаль окликнул его и попросил задернуть шторы, зажечь свет.

Кемаль подошел к своему столу. Тело медленно осело, коснулось подушки и с облегчением опустилось.

Дождя и ветра теперь почти не было слышно. Звучанье ручья в нем постепенно замирало. Руки Кемаля насыпали в чашку сахар, помешали ложечкой. Кемаль поднес чашку ко рту, сделал несколько глотков. Горячий сладкий чай обжигал рот, ласково согревал горло, опускался глубже, разливая по телу успокоение и негу.

Он вытянул ноги, зевнул, поудобней устроился в мягком кресле и сказал:

— Удивительно, этот Мешеди Хасан знает, когда надо подать чай!

Критика

Ю. АРХИПОВ

ИСТОРИИ ОБ ИСТОРИИ

(Заметки о современном австрийском романе)

Мы уже привыкли к тому, что когда на Западе заходит речь о романе, то ведется она зачастую в заунывных тонах панихиды. Но если в других странах, Англии или Франции, например, критики-могильщики хоронят «седобородого старца», славно пожившего и довольно повидавшего на своем веку, то в Австрии отпевают если не младенца, то юношу или едва расцветшего мужа. Ибо история собственно австрийского романа весьма непродолжительна. Девятнадцатый век прошел в Австрии под знаком театра. Именно в венском народном театре ярче всего проявился тот синтез культур — германской, славянской, венгерской, романской,— который и определил, в первую очередь, своеобразие австрийского искусства и австрийской литературы. С театром была связана в прошлом веке деятельность наиболее значительных художников слова Австрии, с которыми из романистов мог конкурировать только Штифтер.

Безвольно-расслабленный, нежно-чувствительный декадентский стиль «модерн», обвивший в начале нашего века своими экзотическими цветами, как густым плющом, литературные салоны, издательства и журналы Вены, не сумел создать ни одного большого эпического полотна, как и выдыхавшееся к этому времени натуралистическое течение.

Роман занял ведущее место в австрийской литературе только в период между двумя мировыми войнами, когда понадобилось осмыслить крупнейший исторический перелом: кризис и распад пестролоскутной Австро-Венгерской монархии, превращение обширной и могущественной некогда империи Габсбургов в скромную, распростившуюся с политическими амбициями Австрийскую республику.

Социальные потрясения Австро-Венгрии — в соотнесении с революционными событиями в соседней России — воспринимались подчас в апокалипсическом свете (Ф. Кафка). Не столь далекие от идеи революции и более вдумчивые писатели изображали их как «частный случай» социальных движений, общих для всей Европы (Р. Музиль, Г. Брох). Пожалуй, наиболее объективно исторический путь Австрии запечатлелся в романах Йозефа Рота — вопреки легитимистским иллюзиям, которым порой отдавал дань этот большой и сложный писатель.

И хотя «Какания», как иронически называл «кайзеровскую и королевскую» империю Музиль, давно уже исчерпала свое историческое бытие, цепь романных эпитафий на ее кончину не обрывается до сих пор — видимо, подобные исторические катаклизмы живут в народном сознании дольше, чем длится жизнь одного поколения.

К феномену исчезнувшей империи обращено, в сущности, творческое внимание двух «старейшин» современной австрийской литературы — Хеймито фон Додерера и Альберта Париса Гютерсло, которые были уже достаточно заметными величинами на литературной карте «золотых» для австрийской словесности 30-х годов.

Именно в те годы созидалось богатое наследие, с которого, по словам недавно скончавшегося писателя Герхарда Фрича, и теперь еще «снимает проценты» австрийский роман. От писателей межвоенного времени идут как бы силовые линии, во многом формирующие и современную художественную продукцию. Есть свои наследники

не только у «канонизированных» Кафки, Музиля или Броха, но и у Верфеля, Герцмановского-Орландо, Рота.

Определенная качественная «мера», созданная романом 30-х годов, сохранила свое значение и на новых исторических этапах — в годы «аншлюса» и в годы послевоенного нейтралитета, принесшие с собой новую проблематику и новые темы.

Размышления об истории — как минувшей, так и текущей, длящейся — придают достаточно пестрой панораме современного австрийского романа определенную целостность. Комплекс общественно-психологических проблем, общих для всей Европы, но с чертами национальной специфики, с разной, конечно, степенью выявляется в социально-критической эпопее Жанны Эбнер и политическом детективе Зиммеля, философской притче Леберта и камерном романе «регионалиста» Тумлера; так или иначе он отражается во всех жанрах и даже, по-своему, в авангардистском «антироманe», не имеющем эстетической значимости, но выступающем как симптом общественной ситуации.

Австрийский авангардистский роман последних лет можно воспринимать как некую «отрыжку» той установки на крайний «модерн», которая характерна для австрийской литературы XX века, от рубежа веков и до нашего времени (от «венской школы» — до «венской группы»). Однако лучшие ее достижения всегда возникали либо в прямой борьбе с модернизмом (К. Краус, Й. Рот), либо в результате внутреннего преодоления, постепенного изживания модернистских «комплексов» (Г. Гофмансталь, Р. Музиль, Г. Брох). Так и теперь: несмотря на рекламу и отдельные вспышки моды, «экспериментирующему авангарду» никак не удается захватить ведущую или хотя бы заметную роль в литературной жизни Австрии [1].

Начиная с 30-х годов главенствующее положение в австрийской художественной продукции занял «роман о времени», сохранивший свои позиции и в послевоенные годы.

■

Следуя логике развития современной австрийской литературы, смене тем и стилей, мы начнем наши заметки со «старейшин» — Додерера и Гютерсло.

Жизненный путь Хеймито фон Додерера завершен, и его творческое наследие теперь вполне обозримо. Оно достаточно велико: десять романов, многочисленные рассказы, дневники, статьи, из которых особой известностью пользуется напечатанная в 1959 году «Об основах и функциях романа». В этой статье Додерер требует от романа следующих качеств: иллюзии «физического присутствия», атмосферы живой жизни, наличия «идейных перил» — мысли, сосуществующей с образом, но не подавляющей его (в чем Додерер упрекал Музиля),— наконец свежести и выразительности, стремления к тому, чтобы каждое предложение было как вновь открытая химическая формула языка.

Этими качествами вполне обладает обширная дилогия Додерера, состоящая из романов «Штрудльхофштиге»[1] и «Бесы» (1956), в которых общественная ситуация Австро-Венгрии и Австрии изображается на протяжении нескольких десятилетий. Достигается это не хроникой событий, а сопоставлением двух временных плоскостей, в которых ведется повествование и которые помечены датами — 1910 и 1927 годы. Рассказ о поре мнимого благоденствия империи под эгидой престарелого, уже почти мифического монарха постоянно перемежается эпизодами из жизни республики накануне революционного выступления трудящихся масс после поджога Дворца юстиции в 1927 году.

К дилогии Додерера тематически примыкает большой роман, над которым он работал в последние годы жизни и который остался неоконченным; одна из запланированных четырех частей вышла при жизни автора («Слюньенские водопады», 1963), фрагмент второй появился посмертно («Пограничный лес», 1967). Временные и географические рамки романа, по сравнению с дилогией, должны были еще расшириться: действие началось в 1880 году, а заканчивалось, по авторскому замыслу, в современности; проходило оно не только в Австрии, но и в России (где Додерер находился в плену во время первой мировой войны) и в Германии периода Веймарской республики.

«Роман № 7» — так назвал Додерер свой последний, так и не доведенный до конца, эпический опыт. В названии — намек на внутреннюю «форму плана», которая должна была в точности соответствовать строению Седьмой симфонии Бетховена. Именно Бетховена Додерер называл среди первых своих учителей, сразу после Гомера и Достоевского.

Монументальность — вот слово, которое любят прикладывать к Додереру австрийские критики, видящие в нем прямого наследника барокко и Жана Поля и вообще не скупящиеся на комплименты в его адрес [2]. Многие тысячи страниц романных полотен, написанных Додерером, в совокуп-

---

[1] Об авангардистском австрийском романе см. рецензию Л. Черной на «Шестое чувство» К. Байэра («Иностранная литература» № 9, 1969) и наш обзор «Без божества, без вдохновенья...» («Иностранная литература» № 4, 1971).

[1] Название знаменитой каменной лестницы в Вене.

[2] Герберт Эйзенрейх, например, так пишет о Додерере в одной из своих рецензий: «Среди великих мастеров прозы от Сервантеса до Жана Поля и Толстого... Додерер кажется мне новой абсолютной вершиной»; и в другой статье: «После длительной фазы экспериментов Додерер — первый романист, которому удалось вновь создать «большое искусство» в смысле Валери, в смысле Штифтера, первый со времен Толстого». Обе цитаты взяты из книги «Reaktionen». Wien. 1964, S. 175 и 182.

ности своей действительно представляют грандиозную фреску, запечатлевшую сложную социальную структуру австрийского буржуазного общества. И все-таки уместно вспомнить слова Броха, говорившего, что монументальность предполагает не столько широту, сколько глубину социального анализа. Насколько же глубок социальный анализ Додерера, насколько верен его социальный диагноз?

Как ни пестро-разнообразны мотивы симфонически организованных романов Додерера, в них все же без труда можно обнаружить и выделить несколько излюбленных идей писателя, настойчиво воспроизводимых им снова и снова. Это, прежде всего, мысль о том, что драма современного человека — в раздвоенности индивидуального и социального опыта, в его бегстве от социального «рода» в свою скорлупу. Додерер призывает даже к «социальной солидарности», однако в его трактовке смысл этого призыва оказывается глубоко реакционным. Ибо речь у Додерера идет о солидарности буржуа перед лицом своего классового врага. Среди именитых австрийских писателей нашего века мы не найдем второго, который был бы столь же ревностным и убежденным приверженцем существующего социального строя на Западе. Развиваемая во всех романах Додерера идея «становления человека» (Menschwerdung) сводится по существу к оправданию психологии современного буржуа — рафинированного, просвещенного, в меру либерального, но неумолимого в споре за свои привилегии. Таково «становление» Мельцера в «Штрудльхофштиге», Гейренхофа и многих других персонажей в «Бесах».

Правда, одному из многочисленных персонажей этого романа, рабочему Леонгарду Какабзе, тоже удается в конце длительного повествования «стать человеком», однако для этого ему понадобилось выбиться в мелкие буржуа да выучить латынь — таков, грубо говоря, рецепт гармонического развития личности, предлагаемый Додерером. Все его персонажи, как и Леонгард Какабза, легко становятся счастливы, лишь только им удается постигнуть логику существующих социальных отношений и поддаться ей.

Додерер всегда резко отмежевывается от модернистов. И действительно, ему чуждо неприятие жизни, свойственное большинству из них. Однако в додереровском приятии всякой жизни заложен свой фатализм; личность полностью зависит от обстоятельств и лишена всякого личного выбора — выбор ей диктует сама «жизнь».

В призыве Додерера во всем следовать жизни заложено отрицание революции, как якобы насилия над жизнью, отсюда и обращение его к Достоевскому, подчеркнутое уже самим названием его главного произведения — романа «Бесы», в котором «бесовским» обрисовано революционное движение венских рабочих, разгромленное социал-демократическим правительством в 1927 году. Однако в романах Додерера, декларирующего свою связь с Достоевским, трагизм и социальный критицизм русского писателя нередко вытесняется мелодрамой и апологией власть имущих.

Страх перед разбуженной стихией народного гнева парализовывал социальное сознание и довольно крупных писателей — история литературы XX века знает немало тому примеров. Пусть несовершенную, но знакомую и привычную данность предпочитали историческим экспериментам Гофмансталь, Шницлер и многие другие известные австрийские писатели. Р. Музиль, например, хоть и едко высмеивал в своем романе традиционную австрийскую «охранительность», но к революционным общественным преобразованиям своего времени относился весьма настороженно. Никто из больших австрийских писателей не эволюционировал в своем духовном развитии до признания исторической справедливости коммунизма. Однако ни для кого из них «охранительность», приверженность существующему порядку вещей не была такой неколебимой идейной твердыней, как для Додерера.

Пожалуй, единственный его надежный союзник в этом отношении — Альберт Парис Гютерсло, родившийся в 1887 году, «патриарх» современной австрийской литературы, которого Додерер считал своим наставником — судя по дневниковым записям и по восторженному эссе о «мастере», написанному в 1930 году. Тогда же высокую оценку Гютерсло давал и такой авторитетный критик, как Франц Блей, утверждавший, что современная ему Австрия располагает только тремя крупными романистами, каковыми являются Музиль, Брох и Гютерсло. Однако в те годы речь могла идти по преимуществу о прогнозах, ибо Гютерсло — «по совместительству» крупный художник, некоторое время даже возглавлявший венскую Академию художеств, в течение многих лет почти совсем не печатался, вынашивая свое главное детище — роман «Солнце и луна», появившийся лишь в 1962 году.

Стилистическая ткань этого романа, щедро оснащенная замысловатыми речениями и синтаксическими вывертами, действительно во многом напоминает стиль Додерера. Но реальный исторический фон, проступающий у автора «Штрудльхофштиге» и «Бесов» достаточно четко, хотя и искаженно, в пространном романе Гютерсло совсем размывается «метафизикой» — нескончаемым потоком философских рассуждений о вневременном, изначальном, константном и т. д. Роман Гютерсло представляет собой некое гигантское эссе, заключающее в себе философию истории и философию искусства, демонологию и эсхатологию — все это с явственно ощутимой прокатолической ориентацией. Роман «Солнце и луна» «тотален» в том смысле, что ламентации по поводу исчезающей культуры, действительные ценности которой безвозвратно погребены-де вместе с империей Габсбургов и другими монархиями, по сути, могут быть бесконечными. Они отмечены у Гютерсло (как, например, и у Гофмансталя в его последней драме «Башня») меланхолическим любова-

нием прошлым и паническим ужасом перед грядущим концом культуры.

Реальное, историческое начало действия романа выбрано произвольно. И хотя оно пришлось на 27 июля 1930 года, никаких конкретных признаков 30-х годов в романе нет. Так же произволен и конец романа, просто оборванного на полуслове, остановленного на одной из станций бесконечного комментирования. Не получает разрешения и его невнятная фабула: так и неясно, чем кончится спор о наследстве между потомственным графом Лунариным и одним из его бывших слуг. Бессвязно-ирреальный план, в котором изображается этот многозначительный спор с его ускользающей от читателя сутью, во многом напоминает Кафку, хотя эссеистская стихия романа Гютерсло, неустанно варьирующего свой комментарий различных и достаточно отвлеченных начал, значительно ближе Музилю. Но вот существенная разница: Музиль неизменно стремится к предельной ясности и если бывает порой труден для понимания, то потому, что ведет речь о наисложнейших предметах; Гютерсло же никогда не идет навстречу читателю, но кокетничает своей недоступностью.

В «сократическом», как он его назвал, романе «Притча о дружбе» (1969) Гютерсло создает свою вариацию темы Фауста, во многом отличную не только от классической, гётевской трактовки сюжета, но и от известных интерпретаций, принадлежащих перу писателей нашего века — Томаса Манна или Поля Валери.

Ситуация, как это нередко бывает в современной притче, взята несколько искусственная, лабораторная: ставшие за долгие годы общения закадычными друзьями Фауст и Мефистофель всецело поглощены своей гротескно долгой беседой — поглощены настолько, что жертвуют ради нее всем на свете и, поселившись вместе (хромой бес на правах квартиранта) и сдвинув поближе кровати, неразлучные и отрешенные от протекающей где-то жизни, ведут свой нескончаемый схоластический спор. Мы застаем Фауста в тот момент, когда заключенный в свое время пакт уже его тяготит и он пускается на всякие выдумки, чтобы снять с себя изрядно опостылевшее бремя. Наконец, ему удается отыскать умозрительный, но неотразимый довод: Мефистофель, говорит он, вправе настаивать на условиях пакта лишь в том случае, если дарует Фаусту вечную жизнь, ибо перед лицом конечного небытия, смерти, все земные связи и обязательства несущественны. Но область вечного — «не по департаменту» беса, он правит всем конечным, серењким, пошлым, земным и с бессильной тоской взирает на фигуру удаляющегося в конце концов Фауста.

А удаляется Фауст под церковные своды, где ему обещано встретиться с матерью, образ которой как-то странно двоится, обнаруживая сходство с девой Марией. Происходит, таким образом, прозрачное идейное замыкание притчи: спасение духовно ищущего человека видится писателю в приобщении к вечности через посредство церкви, через преодоление соблазнов и искушений материализма. Спастись — значит вернуться, по Гютерсло, в лоно матери-церкви, сыновняя связь Фауста с которой выглядит в романе как причудливое сращение христианского мифа с фрейдистским комплексом.

Рисунок сюжета, всегда важного в притче, замаскирован здесь мудреными эссеистскими пассажами и пространными философскими диалогами. «Притча о дружбе» словно стремится проиллюстрировать утверждения Ницше о романе, как о сократических диалогах нашего времени.

Но «замаскированной» у Гютерсло оказывается и историческая реальность: вслед за «венским модерном» начала века он проецирует ее в план общемировых отношений, в сферу «чистого» духа, которому нет дела до «низких», земных обстоятельств. Так автор «тотального» романа «Солнце и луна», обнаруживающий в постановке различных философских проблем поистине габсбургский размах, «пренебрегает» такой грубой материей, как фашизм, предоставляя читателю возможность ловить его зловещие отблески в «демонических» играх надмирных сил.

■

Для среднего поколения австрийских писателей, вступивших в литературу в основном после 1945 года, история — уже не поле игры отвлеченностей и не случайное вместилище «вечной, дивной» жизни, а фашизм — не абстрактное зло, восходящее к известному мировому началу.

За минувшие четверть века в Австрии возник целый ряд антифашистских романов, на своем, отечественном, материале разрабатывающих проблему вины и ответственности за злодеяния недавнего прошлого. От первых послевоенных лет («Большая надежда» Ильзы Айхингер) и до самого последнего времени («Если б фюрер знал...» Отто Базиля) протянулась достаточно длинная цепь этих романов, в совокупности своей составляющих австрийский вклад в разработку темы «преодоления прошлого».

Два примечательных романа в этой цепи принес 1960 год, когда одновременно появились «Солдат и девушка» Эриха Фрида и «Волчья шкура» Ганса Леберта. Эрих Фрид — известный поэт и публицист, бежавший в 1938 году в Англию и долгое время работавший на радиостанции Би-би-си, с которой порвал — по политическим соображениям — совсем недавно. Коллизия его романа напоминает пьесу Макса Фриша «Когда окончилась война». Фрид пишет о любви солдата оккупационных войск и девушки-нацистки, приговоренной за свою службу в концлагере к расстрелу. У Фрида, потерявшего в годы фашизма близких и гневно обличающего фашистских убийц в

своих стихах, как будто нет оснований отступать от этого обличения в романе. И все-таки объективно трагизм любви солдата и девушки вызывает вряд ли оправданное «сопереживание»: невольная читательская жалость к героине, осужденной на казнь в момент наивысшего взлета ее душевных и жизненных сил, заслоняет всю тяжесть ее вины, заставляет забыть о совершенном ею преступлении.

Большей социальной конкретностью разоблачения фашизма, да и бо́льшими художественными достоинствами отличается «Волчья шкура» Ганса Леберта, который, по единодушному мнению австрийских критиков, вместе с новеллистами Гербертом Эйзенрейхом и Ильзой Айхингер, драматургом Фрицем Хохвельдером и поэтами Паулем Целаном и Ингеборг Бахман принадлежит к наиболее выдающимся писателям «последодererовского» поколения.

В 1951 году Леберт выступил с рассказом «Корабль в горах», привлекшим всеобщее внимание «классической» художественной плотностью и с тех пор неизменно встречающимся во всех антологиях современной австрийской новеллы. Так же плотно написана и «Волчья шкура» — первый роман Леберта, над которым он работал около десяти лет. Строение этого романа, свободная манера повествования, самобытный язык, слегка ритмизованный стиль напоминают так называемый «горный» роман Броха, известный в двух редакциях, озаглавленный как «Искуситель» и «Деметра». Как и у Броха, действие в романе Леберта происходит в отдаленной альпийской деревушке, ставшей выразительной «моделью» господствующих в странах капитализма отношений. Как и Брох, Леберт видит питательную почву фашизма в мещанстве, в его неискоренимом приспособленчестве к «силе», в личной безответственности за любые зигзаги истории. Двое пришельцев, героев романа — матрос и фотограф,—пытаются найти виновников преступления, совершенного в последние дни войны, когда кем-то были убиты в деревне несколько иностранных рабочих, но они наталкиваются на непроницаемую стену молчания, рожденного круговой порукой поселенцев, обагривших свои руки кровью. «Молчание» — такое символическое название дает своей деревне Леберт. Молчать о злодеяниях фашизма — значит содействовать его новому водворению на земле, таков смысл этой книги. Взорвать это преступное молчание — в этом Леберт видит первостепенную задачу современного писателя.

Благодаря своим «оккупационным» и «военным» главам встает в ряд антифашистских произведений и роман-эпопея Жанны Эбнер «Фигуры в черном и белом» (1964). Наиболее протяженные и, пожалуй, наиболее насыщенные главы романа посвящены самому мрачному времени в недавней истории Австрии — годам «аншлюса». Пагубная тень свастики, легшая в те годы на «имперскую восточную провинцию», как именовалась Австрия в течение тягостных семи лет, обрисована писательницей с такой страстной обличительной силой, которую трудно было предположить в авторе отрешенно-меланхолических стихов. Творческая биография этой известной писательницы, возглавляющей крупнейший литературный орган Австрии — журнал «Литератур унд критик», показательна для определенных тенденций в развитии послевоенной австрийской литературы.

Ж. Эбнер дебютировала в начале 50-х годов, когда в ряде сборников и альманахов появились ее стихи, отмеченные завораживающей магией, культом иррационального — неясностей, мнимостей, кажимостей, неуловимых «мимолетностей» жизни. В 1958 году вышел первый роман Ж. Эбнер «Они ждут ответа», который критики сравнивали с пьесой Беккета «В ожидании Годо». В этом романе бралась ситуация «после потопа»: уцелевшая группа людей устраивалась в незнакомом доме с анонимным хозяином (очевидный намек на всевышнего). Поиски хозяина, на которого так надеются не знающие, что им делать, пришельцы, не увенчиваются успехом, но они их все равно не прекращают, находя утешение уже в самом процессе поиска. Мораль: обращение к вечности не спасает человека, но дает ему силу жить, дарует утешение.

Другой традиционно модернистский конфликт Эбнер положила в основу своего второго романа «Ярость раннего лета». В нем противостоят друг другу любовь и смерть, явь и марево: умершая возлюбленная мешает герою романа, художнику, соединиться с любимой им женщиной. Внимание писательницы сосредоточено здесь на «яростном» биении человека в сетях мистических сил, недоступных его сознанию.

К началу 60-х годов, когда стал заметно «таять» модернистский литературный лагерь, относится и творческая эволюция Эбнер. Возрождение нацистской идеологии в соседней Западной Германии возвещало о новой опасности, заставляло внимательнее присмотреться к «господину Карлу» — вечно «нейтральному» обывателю собственной страны. Движение от метафизики к реальности, от вневременного к конкретному ознаменовалось в творчестве Жанны Эбнер появлением романа «Фигуры в черном и белом».

Он дает довольно широкую панораму развития Австрийской республики за пятьдесят лет, охватывая инфляцию 20-х годов, ужасы «аншлюса» и войны, послевоенное строительство и осознание новой исторической роли. В центре романа — судьба юной Терезы, носящей автобиографические черты: сначала ребенка, школьницы, потом продавщицы в книжной лавке, писательницы. Правда, к концу романа протекающая среди пространных духовных бесед любовь «верующей без вероисповедания» Терезы («верующим без бога» называл себя и герой Музиля—Ульрих) и «реалиста без цинизма» Штиглицира несколько вытесняет картину социальной жизни, однако само обращение к ней есть мера художественной зрелости романистки, от которой литера-

турная общественность Австрии справедливо ожидает новых свершений.

■

Из книг, посвященных непосредственно современному состоянию австрийского буржуазного общества, наибольший, причем международный, успех выпал на долю первенца Петера фон Трамина, романа «Господа сыновья».

Читая этот роман, невольно вспоминаешь Роберта Музиля, его первый роман «Тяготы воспитанника Тёрлеса». Ибо речь в романе Трамина также идет о «смятениях» юной души, столкнувшейся с людской жестокостью и цинизмом. Сходная до деталей ситуация — садистские издевательства группы учеников над одним из своих товарищей,—разделенная промежутком в шестьдесят лет, позволяет как бы сличить два среза на одном и том же стволе, два диагноза одной и той же неотвратимо развивающейся болезни.

В центре романа Трамина — образы четырех однокашников, воспитанников «эксклузивной», то есть привилегированной, венской гимназии, четырех Петеров, сложные отношения между которыми, а также их связи с другими соучениками, родителями, приятелями и приятельницами дают наглядное представление о моральном статусе, каким он сложился в «бельэтаже» австрийского буржуазного общества.

Петер Швенк, от лица которого ведется повествование, сторонний наблюдатель, ни во что не вмешивающийся хронист. Второй Петер—Хенский, единственная добрая душа в классе, способная на сочувствие и поддержку, но добрые порывы Хенского так слабы и пассивны, что не могут быть хоть сколько-нибудь действенными — натолкнувшись на солидарную жестокость своих коллег, Хенский попросту упаковывает чемодан и уезжает в поисках лучшей жизни в Оксфорд.

Третий Петер, «шельма» Шельнхаузен, выглядит как пародия на Ставрогина, что-то вроде мелкого беса, для которого делать зло — значит испытывать интеллектуальное наслаждение.

Презирая буржуазную «деловитость», Шельнхаузен в то же время зорко стоит на страже чистоты «элиты» и с редким цинизмом и жестокостью травит своего школьного врага — четвертого Петера, парвеню и «выскочку» Фехтнера, который случайно оказался в аристократическом учебном заведении и, превосходя всех способностями и знаниями, испытывает все-таки комплекс неполноценности из-за своего «плебейского» происхождения.

Кончается роман исчезновением Фехтнера, равнозначным, в общественном мнении, его самоуничтожению. Но и Шельнхаузену не дано насладиться триумфом: одна из его многочисленных афер грозит скандальной оглаской, и он вынужден вымаливать прощение, унижаясь перед торговцами и прочими «людишками», которых так презирал.

В романе «Господа сыновья» мастерски воспроизводится характерная для Австрии, как и для всего современного Запада, гнетущая атмосфера опустошенности и механичности, «машинности», убивающей живого человека, обилие людей перед огромными витринами магазинов, мимо которых они снуют, словно пестрые рыбки мимо стеклянных стенок какого-нибудь гигантского аквариума. Эти люди немы как рыбы; и хотя с монотонной постоянностью не устают открывать рот, живого человеческого голоса никто из них не издает. Всем персонажам недостает одухотворенности и страстности богатой эмоциями человеческой речи — и такой же жизни.

В этом безжизненном мире напряженную, творческую работу мысли заменяет абстрактное теоретизирование, пустая заученная риторика (выпукло обозначенная сухим, логизированным языком романа), на смену глубоким чувствам приходят скотски бездумные наслаждения, быстро наскучивающие и доходящие до патологии. Человек в этом мире похож на насекомое, что подчеркивается в самом тексте романа: персонажи в период гимназической жизни названы «личинками», из которых впоследствии появляются «бабочки». Есть что-то от зоологического исследования и в самой манере повествования — педантично строгой, подчеркнуто объективной, пристально рассматривающей свой предмет и подробно передающей его — в увеличенном виде, отчего и самые, казалось бы, неприметные детали приобретают жутковатый, зловещий эффект, как в знаменитой «Бабочке» французского художника Бюффе.

Бесчеловечные, садистские игры Шельнхаузена воспринимаются в романе как симптом общей болезни, диагноз которой поставлен объективно, но без попытки какого-либо вмешательства. Отсюда некоторая односторонность этого обличительного в целом романа, вызвавшего многочисленные отклики как в Австрии, так и за ее пределами. Хорошую прессу «Господа сыновья» получили в ГДР, где регулярно знакомят читателей с наиболее серьезными новинками австрийской литературы.

Если Трамин стремится к объективному показу духовного и морального статуса окружающего его общества, то его ровесник Томас Бернгард зачастую показывает этот болезненный и уродливый статус «изнутри»; его предмет — не реальный мир, а отражение этого мира в больном человеческом сознании, которое любую, даже самую безобидную реальность деформирует и как бы «начиняет» сюрреалистическим ужасом и тайной. Атмосфера произведений Бернгарда неизменно гнетуща, однако создается она убедительным художественным мастерством, позволившим сорокалетнему писателю соперничать со своими маститыми коллегами по числу премий и прочих литературных отличий.

Ю. АРХИПОВ
ИСТОРИИ ОБ ИСТОРИИ

Пожалуй, наиболее полно творческая манера Бернгарда воплотилась в его романе «Помешательство» (1967). Сюжетная канва этого романа вполне традиционна. Сельский врач одной из альпийских общин в течение дня навещает своих пациентов в сопровождении сына, от лица которого ведется повествование. Отнюдь не сентиментальное путешествие держит героя в замкнутом кругу явлений, исключительно болезненных, тягостно-тревожных, отталкивающих, в атмосфере тоски, уныния, желчной злости и дурманного кровавого сладострастия.

Мрачная одиссея героев романа завершается беседой с неким князем Заурау, вернее, пространным, занимающим добрых две трети книги, монологом этого «правителя» — человека «столь же богатого, сколь и помешанного».

В его сознании, как в неудержимом потоке, слиты обломки самых разных философских систем, теорий, концепций, идей. Средством ориентации в хаотичном духовном ландшафте служит интеллектуальная топонимика — возникающие, словно код, имена и названия: Шопенгауэр, Кант, Паскаль, кардинал Рец, Венеция, Макиавелли, Россия, Лондон, Роза Люксембург и др. Метод, которым пользуется сам князь, чтобы как-то организовать этот хаос,— метод логического позитивизма: он анализирует слова и понятия, находя среди них в каждом конкретном случае запрещенные сочетания. За теми или иными суждениями, мыслями, парадоксами князя без труда угадываются отдельные положения Витгенштейна и Хейдеггера, Касснера и Юнга и многих других современных философов Запада. Причем наиболее устойчивые особенности переменчивого и как бы вибрирующего мышления князя — пессимизм и нигилизм; большая часть его размышлений и рассуждений строится вокруг темы смерти и самоубийства.

В такие же мрачные тона окрашен последний роман Бернгарда «Известняковый карьер» (1970), а также его многочисленные рассказы (сборники «Проза», 1967, «В Альпах», 1969, «События», 1969 и др.).

В современной австрийской литературе Томас Бернгард занял довольно заметное место — особенно в глазах критики, покровительствующей модернистам. Однако сосредоточенность на темах болезни, увядания, смерти все больше делает его манеру однообразно-унылой, тускло-однотонной. Если бы Бернгарду удалось преодолеть свой затянувшийся душевный и мировоззренческий кризис, пристальнее и вдумчивее, без оглядки на моду, взглянуть на борьбу добра и зла в мире, австрийская, а пожалуй, и европейская литература в целом получила бы большого писателя.

■

Совсем иначе, чем в «романах о времени», чем у Эбнер, Трамина или Бернгарда, но с резким сатирическим остранением, переходящим в гиперболизм и фантастику, изображается чиновничий мир и верхушка буржуазного общества в так называемом «скуррильном»[1] романе, очень популярном в Австрии.

Фантастический гротеск этого жанра имеет в Австрии глубокие корни, восходящие к культуре барокко, наследие которой, как согласно отмечают различные исследователи, в разное время пытавшиеся выявить черты национального своеобразия австрийской литературы (Г. фон Гофмансталь, Г. Бар, Г. Брох, а недавно — Г. Эйзенрейх и К. Адель), является наиболее живучим и плодотворным.

Очередная вспышка литературной моды на «скуррильный» роман пришлась в Австрии на 60-е годы, когда был переиздан «Влюбленный австриец», а затем и другие романы родоначальника жанра, писателя XVII века Иоганнеса Беера, когда вновь пробудился интерес к творчеству Густава Мейринка и Эдена фон Хорвата. Настоящей литературной сенсацией явилось также переиздание романа Элиаса Канетти «Ослепление» (впервые вышел в свет в 1935 году) и выпуск собрания сочинений такого классического представителя «скуррильного» жанра, как Герцмановский-Орландо.

Мода на «карнавальный» роман повлияла не только на книжный рынок, но и на творческие интересы целого ряда писателей — как известных (Г. К. Артман — «О тех гусарах и прочих канатоходцах», Х. фон Додерер — «Меровинги»), так и начинающих (П. Маргинтер—«Барон и рыбы». «Мертвый дядюшка», и Г. Розендорфер, дебют которого — роман «Зодчий развалин» — принадлежал к числу немногих примечательных новинок осенней франкфуртской книжной ярмарки 1969 года).

Во многом на счет этой популярной в Австрии традиции следует отнести сенсационный успех Альберта Драха, писателя необычной творческой судьбы. Начав печататься на школьной скамье, Драх был в 1928 году в числе соискателей премии Клейста, присужденной в тот год, как известно, Анне Зегерс. «Обидевшись», Драх более тридцати лет писал, как говорится, в стол; зато, издав в 1963 году роман «Большой протокол против Цвечкенбаума», ставший бестселлером, сразу объявил о своем намерении выпустить восьмитомное собрание сочинений и еще выбирал между издателями, тут же предложившими ему свои услуги.

Занимательность сюжета, забавный и необычный язык, пародирующий канцелярский стиль, густой, местами грубый юмор — вот отличительные признаки прозы Драха. Его трагикомичный герой Шмуль Лейб Цвечкенбаум — наивное, чистое существо с лицом не то ученика, не то плута — чем-то напоминает Тевье-молочника Шолома Алейхема; в то же время он такая же невинно-виновная жертва бюрократической машины, как многие герои Кафки. Мытарства Цвечкенбаума, претерпеваемые им от чиновников беды могут, конечно, косвенно свидетельствовать о некоторых характерных

[1] Scurrilis *(лат.)* — шутовской, развеселый.

злосчастьях, подстерегающих маленького человека в бюрократической Австро-Венгрии и унаследовавшей от нее правопорядки Австрии, однако писатель избегает анализировать глубинный исторический процесс — словесный капустник Драха затушевывает его так же, как «метафизика» Гютерсло.

Весьма полное представление о характерных особенностях «скуррильной» прозы дает роман Петера Маргинтера «Барон и рыбы».

Построен он на достаточно сложной и напряженной интриге, щедро вбирающей в себя элементы самой причудливой фантастики.

...Барон Кройц цу Кверхайм, род которого восходит к... кроту, знаменитый ихтиолог, обладатель редчайшей в мире коллекции рыб, аристократ до мозга костей, ведет непримиримую борьбу с врагами рыб — выдрами, в которых нетрудно распознать карикатуру на социал-демократов. «Движение» выдр грозит барону полным разорением и уничтожением его водяного музея. В поисках спасения барон в сопровождении своего секретаря и верного слуги-негра устремляется в отдаленные районы горной Шотландии, где помещается вымышленное государство Килликилликранк, основанное его родственниками — многочисленным и сплоченным семейством Маккилли. Родоначальник Маккилли престарелый лорд Ивер насчитывает 631 год — это относительное бессмертие обеспечил ему достаточно необычный образ жизни: он покоится в бочке с виски и лишь изредка покидает ее, чтобы наставить или наказать кое-кого из своих бессчетных потомков.

По совету лорда Ивера воинственные Маккилли снаряжают экспедицию на 50 воздушных шарах, чтобы отомстить далекой Австрии за сородича. Однако барон и его помощники, отнесенные со своим шаром к Пиренеям, терпят здесь крушение и вынуждены надолго задержаться в гостях у местной ясновидицы. Барон утешается исследованием пещерных протоков, в которых водятся, по его предположениям, поющие рыбы, оказывающиеся в конце концов обыкновенными моржами; секретарь барона Эйбель тем временем всецело поглощен успешной интрижкой с юной циркачкой, дочерью хозяйки.

Ближе к финалу напряжение нарастает, события принимают даже трагический оборот. Во время одного рискованного спуска в пещеры погибает верный негр. Циркачка полностью разочаровывается в Эйбеле, который утрачивает свои сверхъестественные способности — он мог беспрепятственно летать и свободно переноситься в любую точку пространства и времени. Отвергнутый Эйбель безутешно страдает. Однако еще более тяжкие страдания выпадают на долю его патрона: в одном очарованном замке он случайно попадает под «микротор» — прибор, многократно уменьшающий любую материю за счет воздействия на структуру и объем ее атомов. Барон превращается сначала в карлика, а потом в сардину, которую верный секретарь кормит мухами и червяками. Кончается роман тем не менее счастливой развязкой: изобретатели «микротора» конструируют новый прибор, благодаря которому к барону возвращается его первоначальный облик. Тем временем приходит известие, что выдры в Вене побеждены.

Роман Маргинтера, как это вообще свойственно «скуррильным» венским романам, начинен достаточно едкой сатирой на бюрократическое австрийское государство, на коррумпированный чиновничий мир: «В Австрии, как и повсюду, все граждане равны перед законом. С определенной точки зрения чиновники здесь еще более равны, чем прочие граждане: все они, по их единодушному утверждению, равно плохо зарабатывают, а также, что большинство из них уже отрицает, совершенно безразличны к предмету своей служебной деятельности...» Однако у Маргинтера эта сатирическая начинка производит впечатление неорганичных вкраплений, словно бы машинальной дани традиции. Само повествование достаточно отклонено от австрийских реалий. С этим еще можно было бы примириться, помня, что мы имеем дело с фантастическим романом. Но, к сожалению, фантазия Маргинтера тяготеет к голой занимательности. В отличие от больших удач этого жанра («Ослепление» Э. Канетти, «Эпоха рыб» Э. фон Хорвата и др.) роман Маргинтера нигде не поднимается до уровня широких обобщений, больших смысловых связей с живой действительностью и культурной традицией. А без этого нет действительно значительного произведения — выдумать ведь можно все что угодно...

■

Растущий интерес к философии истории, к политическим проблемам нашего времени — вот как можно было бы определить характерный признак «современности» в австрийском романе.

В этом убеждает и знакомство с «коммерческими» сочинениями таких, например, авторов, как Ганс Габе или Иоганнес Марио Зиммель, каждый новый роман которых становится бестселлером, но никогда не переиздается. Эти писатели чутко реагируют на спрос, поэтому по их книгам можно легко составить представление о смене злободневных тем, об изменении читательских интересов. Анализируя их творчество — книгу за книгой,— убеждаешься, насколько вырос у «читающей публики» интерес к политическим вопросам. Об этом свидетельствует, в частности, недавний роман Зиммеля «Все люди станут братьями», долгое время возглавлявший список бестселлеров (общий для книг, изданных в ФРГ, Австрии и Швейцарии) 1968 года. Этот политический детектив, не брезгующий средствами «массовой культуры», бульварного чтива (затяжные постельные сцены, эпизоды жестокости, насилия, запутанная интрига и т. д.), несет в

себе в то же время сильнейший антинеонацистский заряд: активизация деятельности «нового Адольфа» — фон Таддена — и его приспешников выглядит в этом романе зловещим предупреждением.

Невиданные размеры жестокости и садизма, небывалый в мирное время рост преступности отображены в бестселлере 1969 года — романе «Сеть» Ганса Габе. В основу сюжета положено преступление— зверское убийство молодой девушки сексуальными маньяками. Жизнь поспешила подтвердить зловещую актуальность этого сюжета прежде, чем роман вышел в свет: описанные в нем события оказались пророческими для самого писателя; он работал над корректурами «Сети», когда из Голливуда пришло известие, что там убита — при таких же обстоятельствах, какие были описаны в романе,— его семнадцатилетняя дочь Марина Габе. Потрясенный автор попытался приостановить печатание романа, но издателям не было дела до его трагедии; напротив, жестокая сенсация лишь придала искомую пикантность рекламе и тем самым увеличила их барыши. Ведь роман — товар, как и все другие. Пресловутое «отчуждение» в действии...

Критика

Т. ГРИГОРЬЕВА

ЧИТАЯ КАВАБАТА ЯСУНАРИ

Люди почитают то, что известно, а не ведают, что познание начинается лишь после того, как, опираясь на знание, познают непознанное.

Чжуан-цзы

Что заставляет уже немолодого писателя Кавабата Ясунари (род. в 1899 г.) разъезжать по свету и проповедовать красоту? Получая Нобелевскую премию 1968 года за свои очень японские романы «Снежная страна», «Тысячекрылый журавль», писатель говорил о «красоте Японии», а по сути — о мироощущении японцев. А немного спустя, в мае 1969 года, отправился на Гавайи и читал там лекции: «Открытие и существование красоты». Свою нобелевскую речь он опубликовал под названием: «Красотой Японии рожденный» [1].

Понять смысл этого своеобразного признания в любви к родной культуре не так просто, начиная с заголовка, который переведен американцем Эдвардом Сейденстикером «Япония, красота и я»,— мысль, невозможная для японца, тем более традиционно настроенного. Собственно, сам Кавабата перечеркнул первоначальный вариант заголовка — «Красота Японии и я», опасаясь, что иностранцы неправильно его поймут, и заменил на «Красотой Японии рожденный». Писатель хотел сказать: я постольку и существую, поскольку существует японская культура; Нобелевскую премию я отношу не за свой счет, а за счет того духа красоты, который живет в японцах и перешел к нам от предков и который, как ни модернизируется или ни американизируется Япония, будет составлять ее лицо. Всем я обязан тому духу национальной культуры, который называется «красотой Японии»,— и о нем я веду разговор. То есть смысл заголовка противоположен предложенному американским переводчиком.

Американец, унаследовавший иные культурные и психологические традиции, понял это так, как только и мог понять: «Япония, красота (красота вообще.— *Т. Г.*) и я» — ни больше ни меньше — чисто американский размах Но «Будда постоянно учил, что такого самостоятельного «я» нет, что нет и обособленного от него мира, нет самостоятельных «предметов», нет обособленной «жизни»; все это — неразрывные корреляты, отделимые друг от друга только в абстракции» [1]. (Речь пойдет о буддизме махаяны, который с VI века начал овладевать сознанием японцев, и о его позднем ответвлении — буддизме дзэн [2].)

Два ракурса — два разных отношения к миру и ощущения себя в нем.

Представления о мире, сложившиеся под влиянием определенного типа социальных связей, с одной стороны, и буддийско-даосско-конфуцианской миросозерцательной системы — с другой, до сих пор в какой-то степени определяют поведение японцев.

Понять, как живет человек — форму его существования,— не принимая во внимание того, как он думает, то есть самого человека,— занятие, по крайней мере, бесплодное [3].

У каждого народа в процессе исторического развития складываются не только свои представления о мире, но и свой угол зрения на мир. «*...Тайна национальности* каждого народа заключается не в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере пони-

---

[1] Кавабата Ясунари. Уцукусий Нихон-но ватакуси. Токио, 1969.

[1] О. О. Розенберг. Проблема буддийской философии. Петр., 1918, стр. 60.

[2] Дзэн (китайское — чань, на санскрите — дхьяна)—молчаливое сосредоточение, в процессе которого возбуждается интуиция, наступает озарение, «сатори».

[3] Не случайно ученые сосредоточили свое внимание на исследовании характера мышления, духовного склада восточных народов. Можно перечислить большое количество работ на эту тему, вышедших на Западе за последние годы.

мать вещи»[1]. Не учитывая характер миросозерцания, невозможно до конца понять национальную культуру, ибо, говоря словами того же Белинского: «Миросозерцание всякого народа есть зерно, сущность (субстанция) его духа, тот инстинктивный внутренний взгляд на мир, с которым он родится как с непосредственным откровением истины и который есть его сила, жизнь и значение,— та призма с одним или несколькими первосущными цветами радуги, сквозь которую он созерцает тайну бытия всего сущего»[2].

Японец (тем более традиционно мыслящий) не может сказать — «Япония, красота и я». Это противоречит его мироощущению. Если человек не отделяет себя от мира, то он и не может ставить себя в какое-то положение по отношению к нему. Он ощущает себя в мире и мир в себе, но не мир и себя как обособленные сущности.

В традиционных представлениях японцев — будь то буддийское истинно сущее, или даосский путь (дао), или местная религия синто, обожествлявшая все вокруг: горы, реки, леса,— абсолют растворен в самой природе. Дао пронизывает все вещи мироздания, будь то камень или человек. По учению даосов, у рыб, у животных и у людей были общие предки. Буддийская идея перерождения связывает весь мир единой нитью. Человек, согласно буддизму, может превратиться в кого угодно в своем новом рождении: в другого человека, в животное или растение. Дхармы (элементы бытия), пребывающие в непрерывном движении, не исчезают со смертью человека, а перегруппировываются в новое существо, в зависимости от добрых и злых дел. Закон воздаяния, закон кармы (обусловленного действия) не разделяет мир на человеческий, животный и растительный (как это делал Аристотель). Все соединено кровными узами, человек связан с остальным миром потенцией родства. Все в природе, согласно буддизму,— твой отец и твоя мать. Человек не мог поставить себя над природой, как не мог поставить себя над богом. Человек принципиально не отличен от других вещей, он лишь более совершенное из созданий природы, но стоит в одном ряду с другими предметами, состоит из тех же вездесущих «ци» или «дхарм»[3].

Природа и человеческое общество — единым образом действующий организм. В конфуцианстве, например, человеческие поступки, мораль, политика, государственное управление, семейные дела непосредственно связывались с сигналами, посылаемыми природой,— будь то стихийные явления, которые растолковывались, как знамения, будь то объективные закономерности природы, изложенные в учениях о пяти элементах и о взаимодействии двух всеобъемлющих сил инь-ян (тьма — свет, холод — тепло, податливость — напряжение). И неоконфуцианство, объявленное в XVII веке государственной идеологией Японии, ставило человеческие отношения в прямую зависимость от законов природы.

Судя по современной японской литературе и кинематографу, буддийское отношение к миру, вера во всеобщую одухотворенность, в перерождение до сих пор жива, по крайней мере, подсознательно звучит ли она в отчаянии антивоенного фильма «Я хотел бы возродиться ракушкой», или в современных стихах, или в этом сочинении Кавабата, которое начинается стихотворением Мёэ (1173—1232):

Зимняя луна!
Ты покинула тучи,
Меня провожаешь.
Тебе не холодно на снегу?
От ветра не знобит?

Это не развернутая метафора, так древний поэт ощущал природу, переживая в момент прозрения чувство физического единства с ней: «Глядя на луну, я становлюсь луной. Луна, на которую я смотрю, становится мной. Я погружаюсь в природу, сливаюсь с ней,— передает Кавабата состояние древнего поэта.— Сияние, которое излучает просветленное сердце монаха, сидевшего в темной комнате до рассвета, кажется предрассветной луне ее собственным сиянием».

Кавабата любит это стихотворение «за доброе, сердечное отношение к природе и человеку, за глубокую нежность японской души».

Людей волнуют одни и те же горести и радости. Люди хотят очеловеченного существования, но пути выбирают разные. Интерес к одним и тем же явлениям бытия и небытия, но до удивительности разные (и, видимо, тем психологически оправданные в движении к человеческой общности) мировоззренческие акценты привели к разному пониманию вещей в мире.

Даосизм, буддизм и конфуцианство видят в природе критерий истинности, не доводы спекулятивного разума, неизбежно привносящего в систему свой интерес, а естественность, спонтанность, закон, существующий в самой природе,— исходная посылка дальневосточной философии. Мир — един, неделим, потому что не создан, не скомпонован из частей, а вырастает спонтанно, из самого себя. В буддизме отразились традиционные индуистские представления.

«Кто ты?» — (спрашивает луна). «Я есть ты»,— (отвечает он, и она) отпускает его»[1].

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, М., 1953—1954, т. VII, стр. 443.

[2] Там же, т. IV, стр. 418.

[3] Древнекитайское понятие «ци», как и буддийское «дхарма», непереводимы, им нет и не могло быть аналога в системе мышления, разделяющего мир на психическое и физическое, субъекты и объекты, дух и материю. «Ци» не материальные частицы — иначе как можно говорить о «ци» любви и отвращения, радости и гнева? Слово «дхарма» переводят то как «закон», то как «вещь», то как «элементы бытия» (их насчитывают от 75 до 100). Термины непереводимы и в силу своей многозначности, характер этих терминов можно понять, лишь учитывая особенности мышления: они каждый раз несут на себе оттенок того состояния, к которому относятся.

[1] Упанишады. Перевод с санскрита, предисловие и комментарий А. Я. Сыркина. М., 1967, стр. 48.

«Таково все, что существует. Все, что существует, это ты»[1]. Через ряд упанишад проходит мысль: «Ты — одно с Тем» (tat tvam asi), рефрен: «Это — То».

Суть пробуждения, просветления (бодхи) — согласно буддизму махаяны — осознание неразделимости мира на субъекты и объекты, конкретное и абстрактное, индивидуальное и всеобщее, эмоциональное и рациональное. Буддисту не пришла бы в голову идея о точке опоры вне земли, так как он не мыслил себя вне всего, субъект вне объекта.

Но если «все в одном», если «Это есть То», то при существовании механической, причинно-следственной связи элементов между собой образуется не однобытие, а однообразие, мертвящее тождество, а это делает невозможной нормальную жизнедеятельность организма в целом. Стало быть, общая посылка «все в одном» предусматривает иной тип связи отдельных вещей между собой, иное самочувствие каждой вещи в отдельности.

Всеобщность достигается тем, что высшее начало (Атман, Будда, дао) присутствует во всем, все одухотворяет, все наполняет жизненной силой — как единое солнце, входя в каждого, не перестает быть единым и, отражаясь в каждом, дает ему жизнь. Каждое существо — Будда, только не каждый понимает это. Никакое существо не растворяется во всеобщем, а содержит его в себе целиком, и потому всякое существо самоценно, неповторимо.

Такое представление о соотношении частей и целого (каждый самостоятельно приобщен к абсолюту) лежит в основе традиционного мышления японцев. Все тяготеет к собственному центру, к воплощенному в себе высшему началу, будь то цветок или человек. Каждая вещь на себе сосредоточена, в себя устремлена, ибо истина внутри, в собственной природе вещей. Эта самососредоточенность — оборотная сторона всеобщности («Ты — одно с Тем»).

Кавабата Ясунари, которого трудно заподозрить в незнании или непонимании западной культуры, сравнивая мироощущения западного и восточного человека, замечает: «Думаю, что различны сами основы нашего духа» (буквально — «наших кокоро»). «Кокоро» переводят у нас как «сердце, душа»[2]; англичане — как «mind, spirit». В толковом японском словаре Кодзиэн «кокоро» — «знание, чувство и воля» вместе, как целое. Можно было бы сказать, японцы думают сердцем, если бы для них это было важнее, чем чувствовать разумом. Слову «кокоро» нет аналога в нашем языке. Это приблизительно то, что мы скромно называем «шестым чувством».

В Китае еще до знакомства с буддизмом (I век н. э.) приписывали природе способность мыслить. «Сознание рождается из вещей и умирает в вещах»,— сказано в древнейшем памятнике «Иньфуцзин» («Книга о гармонии тьмы», около IX века до н. э.). Еще до проникновения буддизма считали «сердце» (японское — кокоро, китайское — синь) источником знаний: «Человеку от природы свойственны чувства любви и ненависти, радости и гнева, печали и веселья... и сердце выбирает из них подобающее: это называется размышлением. Сердцу свойственно размышлять»[1],— говорит Сюнь-цзы (298—238 гг. до н. э.). (Даже сократовское «вспоминанье» («Найти знания в самом себе — это и значит припомнить») — все же есть знания, полученные извне, от мировой души: «Что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала богу, свысока смотрела на то, что мы теперь называем бытием», а не знание врожденное, присущее самой природе, сердцу человека.)

Иногда это близко по значению к древнеиндийскому понятию «манас». «С точки зрения едва ли не всякой древнеиндийской психологии... психика манас является всей той суммой ментальных процессов, которые могут стать объектом сознания самого человека. Это очень важное обстоятельство, потому что в европейской психологии имеющим научную ценность считалось и считается то, что говорится о человеке каким-то третьим лицом. Отсюда не только другое понимание термина, но и совершенно другая сущность подхода к психическим явлениям в целом... Словом *манас* в древнеиндийской психологии обозначалось все то, что мог описывать, наблюдать и истолковывать исследователь в самом себе, кроме того, *чем* он это наблюдал, исследовал и истолковывал»[2].

Кокоро — орган знания, которое иногда называют интуитивным. Но интуиция — как метод, а не момент познания. Этот метод предполагает максимальное доверие своей природе, чувству, включение его в процесс познания. Кокоро — чувствующий разум или мыслящее чувство.

Если цель познания — постижение целостности бытия-небытия, то непригоден метод, которым познаются отдельные феномены. Целостность не может быть схвачена аналитическим умом, она не под силу одному разуму, к которому не подключено чувство, она доступна лишь высшей форме знания, по буддийской терминологии — *праджне* — «отпущенному» на волю сознанию.

---

[1] Упанишады, стр. 49.

[2] Слово «кокоро» в современной литературе Японии не реже встречается, чем слово «би» — «красота». Достаточно напомнить такие книги, как «Кокоро японской литературы (от Манъесю до Кавабата Ясунари)» Мурамацу Садатака, Токио, 1970; двухтомник «История кокоро японского народа» Караки Дзюндзо, Токио, 1970 и др.

[1] Перевод М. А. Титаренко. Антология мировой философии в 4 томах. М., 1969, т. 1, ч. 1, стр. 228.

[2] А. М. Пятигорский. Три термина древнеиндийской психологии. Terminologia Indica. Tartu, 1, 1967, стр. 39.

Т. ГРИГОРЬЕВА

ЧИТАЯ КАВАБАТА ЯСУНАРИ

Понятие «кокоро» у японцев не только синкретично, оно универсально, присуще всему, знак всеобщей одухотворенности вещей. Поэт Ки-но Цураюки начинает свое предисловие к антологии стихов Кокинсю (X век), надолго определившее путь японской поэзии, словами: «Песни Ямато! Вы вырастаете из одного семени — сердца и разрастаетесь в мириады лепестков речи — в мириады слов» [1]. Мастер икэбана говорит «прости» цветку, когда срезает его, поэт чувствует вину перед словом: «Перед душою песен мне стыдно».

Собственно, в Японии вера в «душу слов» (котодама) связана с представлением об их божественном происхождении. Во время синтоистских празднеств читались нараспев камугатари (рассказы, откровения богов). Буддизм укрепил веру в божественность слова: вездесущий Будда живет и в словах.

Важно понять установку: все есть свойство самой природы, все уже существует, нужно не придумывать, не измышлять, а выявлять то, что уже есть, лежит в глубине человеческой природы. И слово уже есть, и законы его уже есть, заключены в природе слова, нужно лишь найти и следовать им, не создавать несуществующих дхарм. (Конечно, и в Евангелии от Иоанна сказано: «Вначале было Слово», *но* — «Слово было у Бога»).

Если в словах живет дух, способный двигать словом и приводить в движение чувства,— слово может жить по своим законам. Такое отношение к слову, естественно, сказалось на творчестве японских писателей. Раз в слове есть душа, художнику остается довериться ему — творить по наитию. Отсюда стремление не вносить своего, не выдумывать, не перечить слову. Чем больше художник устранит себя, тем вернее передаст смысл вещей.

Все виды литературы, появившиеся в эпоху Хэйан (IX—XII вв.), многие из которых живы и поныне, обусловлены таким отношением к слову, будь то *никки* (дневники), знаменитые *моногатари* или *дзуйхицу*. Писатель все время имел в виду свое неучастие, свою отстраненность: он лишь медиум дао, лишь посредник, который не посягает на божественность слова. Объяснимо это и духовным статусом человека, тем пониманием своего места в мироздании, которое в в одном случае поставило человека над природой, над словом:

> Песни, картины, стихи, изваяние статуй чудесных,
> Все это вызвано мыслью пытливою или нуждою
> Смертных и мало-помалу идет по пути к совершенству,—
>
> *(Лукреций. О природе вещей, кн. V)*

в другом — побудило сохранить свою зависимость от природы, от слова.

Моногатари — не роман в нашем понимании, даже если речь идет о таком большом произведении, как «Гэндзи-моногатари»[1] писательницы Мурасаки Сикибу (970—1002). И не потому, что «моногатари» вообще не жанровое понятие, это может быть и сказка, и поэтический, и историко-экономический трактат, а потому, что этот вид литературы иначе организован, по своей структуре не соответствует тому, что принято считать романом. Собственно, древние называли «рассказы богов» — «камугатари» — «говорят боги», а теперь «моногатари» — «говорят вещи», «откровения вещей», вещи говорят сами за себя. Но мы уже можем догадаться, что «моно» — не «вещь» в нашем понимании. «Моно» — универсально, весь мир: не только вещь, но и человек, не только человек, но и закон. Иначе и быть не могло при позиции: «Это есть То». Не отделяя себя от мира, чувствуя свою сопричастность ему, писатели выступали как посредники вещей: «вещи» говорят сами за себя, писатель — их орган говорения. Не я рассказываю о мире, а мир через меня себя выражает (не я и мир, а мир во мне). Но раз «вещи» имеют душу (кокоро), они могут жить по своим законам. В «Гэндзи-моногатари» (глава «Кирицубо») героя характеризуют как «человека, понимающего душу вещей». В ходу было выражение «моноими» — способность вещей предвещать недоброе. До сих пор в обращении это слово. В недавно вышедшем у нас Большом японско-русском словаре «моноими» объяснено как «воздержание от чего-либо, сидеть дома в несчастливый по приметам день».

Для японского писателя главным было — не соответствие тому, «как есть или как должно быть», а соответствие традиционному пониманию прекрасного, которое во времена Мурасаки называлось «моно-но аварэ». Оно и было организующим началом произведения. «Моно-но аварэ» — главный художественный принцип Хэйана. «Моно-но аварэ» переводится у нас как «очарование вещей». Но мы уже знаем, что «моно» не вещь, а «аварэ» — не то, что мы называем «очарованием». Ведь если сказать просто «очарование вещей», то мы в лучшем случае представим себе, что в каждой вещи есть своя прелесть, скрытая красота, которую художник должен уметь выявить. Но и этот принцип невозможно понять, не принимая во внимание особенности традиционного мышления японцев.

Если о человеке говорилось, что он знает толк в «моно-но аварэ», значит, он высшей силой приобщен к красоте природы, сопричастен ей. Душевному настрою этого человека доступен голос природы — он слышит ее дыхание, ее безмолвие. «Моно-но аварэ» связывает невидимыми нитями «сердце» человека с «сердцем» вещи, приобщая его к ритму вселенной. Для нас это непривычно.

---

[1] Перевод предисловия А. Е. Глускиной в книге: Н. И. Конрад. Японская литература в образцах и очерках. М.—Л., 1926.

[1] По мнению Кавабата, «Гэндзи-моногатари», или «Повесть о Гэндзи»,— «вершина японской прозы всех времен. До сих пор нет ничего ей равного... В эпоху Хэйан была заложена традиция прекрасного, которая не только в течение восьми веков влияла на последующую литературу, но и определила ее характер».

Но если бы мы могли вообразить, что камень что-то чувствует, мы бы смотрели на него другими глазами. Мы бы не удивлялись японским садам из голого камня, не прогоняли от себя неясное ощущение того, что эти камни живут.

Неудивительно, что в Японии до сих пор популярен такой вид литературы, как дзуйхицу, буквально — «следовать кисти». Первые дзуйхицу — «Записки у изголовья» (Макура-но соси) — принадлежат Сэй Сёнагон (966—1017). Уже название жанра открывает его закон: автора ведет за собой кисть, автор не сочиняет, не следует намерению, это противоречило бы пониманию вещей, а следует внутреннему зову, волевому импульсу слова. Не писатель ведет за собой повествование, а повествование ведет за собой писателя.

Другое дело, что это следование слову, доверие внутреннему чувству, несвязанность намерением позволили сохранить первозданность впечатлений от окружающего мира, привели к удивительно свободной, непосредственной манере изложения того, что мы бы сказали — «приходило на ум», японец скажет — «выходило из сердца». Сэй Сёнагон язвительно умна, но главное—ничем не скована. Отрывки (даны) — разрозненные жанровые сценки, зарисовки дворцовой жизни или природы, размышления, грустные, веселые, в общем — мысли вслух: «то, что приятно», «то, что неприятно», «то, что приятно волнует...»

И напрасно наши исследователи ищут в дзуйхицу привычный закон композиционной связи. Его и не могло быть в традиционном японском мышлении. Это не значит, что даны пребывают в хаосе, никак между собой не связаны, подвержены закону случайности. Это значит, что пространственная, причинно-следственная связь «по горизонтали» (завязка — кульминация — развязка) — не единственный тип связи. Возможна, видимо, связь «по вертикали», не по прямой, не в той же плоскости, а соединение каждого дана в отдельности в одной высшей точке. Это делает каждый дан самостоятельным целым. Но может быть, в этом и прелесть дзуйхицу — во внутренней целостности отдельного луча впечатлений? Японцы не признают что-то во множестве собранное вместе, например, букеты. Соседство мешает восприятию, одна вещь нейтрализует другую, подобие убивает природу предмета. За словами Кавабата «Один цветок лучше, чем сто, передает природу цветка» скрыта целая философия. Чтобы ощутить глубину, нужно сосредоточиться на одном. «Вселенная, — говорят буддисты, — спрятана в одном зерне». Каждое явление есть полное и законченное выражение бытия. Каждая вещь не только неисчерпаема, ибо связана со всем миром, каждая вещь неповторима.

«Хокку (трехстишие.— *Т. Г.*) нельзя составлять из разных кусков,— учил Басё.— Его надо ковать, как золото». Образ не конструируется, не составляется из частей, а вырастает спонтанно, естественно выявляется. Поэта не интересуют связи между предметами в пространстве и времени; творческий процесс, с точки зрения Басё, есть процесс «погружения художника в объект изображения до тех пор, пока не раскроется внутренняя суть» предмета. Внешние связи как бы оборваны и направлены вовнутрь, в глубину предмета.

Кавабата цитирует мастера икэбана, Икэнобо Сэн'о (1532—1554): «Ветка цветов или горсть воды вызывают в воображении громады гор и полноводье рек. В одно мгновение можно пережить таинства бесчисленных превращений». Сопричастность всему миру делает каждую вещь, как бы ни была она мала, выше собственного значения. Это нашло отражение в законах японской эстетики, в провозглашении красоты малого, неброского, незаметного. Красота здесь неотъемлема от нравственности, эстетическое — от этического. На японской почве не могли вырасти «цветы зла», не могло возникнуть противоборство красоты и добра, красоты и истины: красота и есть истина, красота и есть добро. Японцы издавна объявили закон красоты законом чести: «некрасивое недопустимо».

Мы организуем литературное произведение, как понимаем мир. Представление о неделимости отдельных частей, о самостоятельном бытии каждой доли привело к особому закону композиционных построений в японской литературе, где отдельная часть произведения живет своей самостоятельной жизнью, где отдельные части сюжета между собой не связаны по законам дискурсивной логики. И «вершина прозы» японцев «Повесть о Гэндзи» не могла соответствовать тому, что называется у нас романом. С точки зрения японских ученых «Гэндзи-моногатари» не составляет исключения: «По своей структуре «Гэндзи» это собрание многочисленных эпизодов, с красочными описаниями, яркими образами и мгновенными тонкими зарисовками. Она не имеет сюжета в современном смысле слова» [1]. Что, собственно, и делает ее для нас особенно интересной, ибо знакомит не только с емким поэтическим языком японцев, но и со своеобразным способом видения мира, с непривычными законами организации художественного произведения. (Не случайно на Западе так часто говорят о современности японского классического искусства.)

Там, где была почва для дзуйхицу, была почва для дзэн. Не удивительно, что именно Япония оказалась наиболее восприимчивой к учению, проникшему из Индии в Китай, из Китая в Японию. Переживание природы всегда было целью японского искусства, какие бы принципы оно ни провозглашало, но высшего выражения эта тенденция достигла в искусстве дзэн. В момент творения исчезает дистанция между субъектом и объектом,

[1] Makoto, Ueda. Literary and Art. Theories in Japan. Cleveland, 1967, p. 29.

художник сливается с природой, ощущая предмет своим продолжением, а себя продолжением предмета. Кавабата приводит слова китайского художника Цзинь Нуна (1687—1763): «Когда рисуешь ветку, слышишь, как свистит ветер».

Полное доверие слову, благоговейное к нему отношение сменились предпочтением молчания перед словом. Дзэн принесло сомнение в возможности выразить истину словами. Некоторые адепты дзэн признавали лишь непосредственную передачу учения от человека к человеку, без помощи слова— как условного знака сущности, а не самой сущности. Двадцать пять веков назад Лаоцзы говорил: «Дао, которое может быть выражено словом, не есть истинное дао. Имя, которое может быть названо, не есть истинное имя» (Даодэцзин, I). И в наше время Кришнамурти (род. в 1895 г.): «Понимание не придет со знанием. Оно приходит в интервале между словами, между мыслями, этот интервал — безмолвие, не нарушенное знанием; оно открыто, неуловимо и внутренне полно»[1].

Кавабата напоминает дзэнские изречения: «Истине тесно в словах», «Истина вне слов». Это предельно выражено в словосочетании «громоподобная тишина». Примером из «Vimalakīrti Mirdeśa Sūtra» Кавабата показывает относительность слов: образ создается взаимоисключающими понятиями. Признавался лишь тот минимум слов в поэзии или минимум изобразительных средств в живописи, который был необходим, чтобы связи между субъектом и объектом вовсе не оборвались. Это не значит, что мастера дзэн не ценили слово или не ценили мастерство, это значит, что они были до предела лаконичны и до предела изобретательны, что художественная нагрузка каждого слова (в хокку — трехстишии — их не больше трех-четырех) должна быть максимальной.

Цель дзэн — переживание сатори, в момент которого неясное становится ясным, происходит мгновенное, экстатическое переживание истины — проникновение в целостность бытия. Это высший миг творчества, причина художественных экспромтов. Можно сказать, каждый стих Басё — своего рода сатори, которое приходит неожиданно в обыденной обстановке. Самые простые впечатления могут вызвать озарение: краб, ползущий по ноге, ворон, прилипший к голой ветке, всплеск воды от прыжка лягушки в зеленую ряску пруда. Сатори, говорит Судзуки,— это «тот же повседневный опыт, только на два вершка над землей». Фактически Кавабата говорит о дзэнском переживании мира:

«Цветы — весной.
Кукушка — летом.
Осенью — луна.
Чистый и холодный снег —
Зимой.

И если вы подумаете, что и это стихотворение Догэна (1200—1253) все о той же красоте четырех времен года, все те же образы природы, которые у древних японцев олицетворяли весну, лето, осень и зиму и всего лишь следуют друг за другом, что это избитые, привычные, стертые образы,— думайте! Если вы скажете, что это и вовсе не стихи,— говорите! Но как они похожи на предсмертное стихотворение старого Рёкана (1758—1831):

Что останется
После меня?
Цветы весной,
Кукушка в горах,
Осенью — красные листья.

Как и у Догэна, обычные вещи, обыкновенные слова незамысловато, даже подчеркнуто просто поставлены рядом, но, воздвигнутые друг над другом, они передают суть Японии».

Что хотел сказать Кавабата? Американский переводчик Э. Сейденстикер (как и я поначалу) перевел эти слова в соответствии с нашим представлением о причинной связи: «обычные образы, простейшие слова *соединены вместе*» («the commonest of words are strung together») глаголом «to string» — «связывать», «нанизывать» (как существительное «string» — «веревка», «нитка») — соединить что-то вместе, без промежутка, в одну сплошную линию. Но это противоположно тому, что сказал Кавабата: в первом случае он употребил глагол «нарабэру» — «ставить в ряд», «располагать по порядку», во втором — «цуранэру» — «ставить в ряд», «образовывать вереницу». Глаголы выражают тот принцип связи, при котором каждая вещь как бы существует сама по себе.

Даже в таком небольшом по размеру стихотворении, как танка (танка строится по закону чередования слов из 5 и 7 слогов: 5—7—5—7—7, всего 31), каждый образ словно стремится к обособлению. Это стремление к обособлению сначала привело к цезуре, разделившей танку на две строфы — верхнюю и нижнюю, а потом — к выделению верхней строфы (хокку — 17 слогов) в самостоятельный вид поэзии (так что хокку мы обязаны этой предрасположенности ума японцев).

Образы соединены между собой не по принципу линейной, механической связи, а существуют один рядом с другим или один над другим, как выразился Кавабата — «воздвигнуты друг над другом» — «касанэру», что буквально значит — «класть одно на другое», «располагать одно над другим». Переводчик опустил этот глагол, как ни о чем его сердцу не говорящий. Для Кавабата же в этом «суть Японии». Глагол передает свойственное японцам представление о движении, в основе которого лежит принцип круговорота четырех времен года. Не механическое повторение того же, а развитие циклическими кругами: один круг находит на другой в смещающихся плоскостях. Каждый год переживает смену четырех времен года, но ни один год и ни один сезон не похож на другой.

[1] Приводится по статье: Г. С. Померанц. Кришнамурти и проблемы религиозного нигилизма, сб. «Идеологические течения в современной Индии». М., 1965.

Смена времен года, можно сказать, та «призма», сквозь которую японцы видят мир, «созерцают тайну бытия всего сущего». Оттенок сезона присутствует во всем, прежде всего в настроении, через настроение — в убранстве дома, в одежде, в манерах. В искусстве и литературе времена года не только излюбленная тема (нет хокку без намека на сезон), но принцип художественного мышления, организующий произведение. Не говорит ли о том же характер иероглифической письменности? Японские фразы расположены по вертикали и читаются сверху вниз. Каждый знак — иероглиф, самостоятельная единица — не теряет смысла, если его вычленить из фразы, в отличие от горизонтальных строк линейной, алфавитной письменности, где вычлененная буква сама по себе ничего не значит и может что-то означать лишь в сочетании с другими. То есть уже в письменности отражены разные типы связи: каждый иероглиф существует сам по себе, что не мешает ему вместе с другими выполнять общее назначение, буквы же значат что-то, лишь когда пишутся слитно, непосредственно связаны между собой. В одном случае письменность отражает привычку к горизонтальному, линейному зрению, в другом — к восприятию каждой малости как самостоятельной сущности [1].

Собственно, «манера понимать вещи» не могла не отразиться на всем том, что создано мыслью и руками этого народа. И действительно, при внимательном взгляде можно обнаружить нечто общее и в архитектуре, и в композиции многоярусных японских пагод, и в свитках японской живописи, и в планировке знаменитых японских садов, дорожки которых не посыпаны сплошь песком или галькой (незасыпанная часть дорожки показалась бы нам недоделкой, настолько глаз привык к сплошной линии), а выложены разной величины камнями, которые лежат каждый сам по себе, поодаль друг от друга. (Эта особенность композиции пропадает разве что в переводах, когда переводчику не удается переключиться в иную систему мышления.)

Дзэнское мироощущение глубоко проникло в сознание японцев. В XIV—XV вв. под влиянием дзэн возникли новые виды искусства: икэбана, искусство планировки садов, чайные церемонии, которые служили той же цели — разбудить образ в душе. Увидеть образ внутри себя и значит пережить слияние с природой. Этому вызыванию образа в себе подчинено «искусство чая». Не обязательно наблюдать, чтобы испытать, можно слиться с природой и мысленно.

Чайные церемонии — не только возможность слияния с природой, это способ приобщить человека к добру. Те четыре традиционных для чайной церемонии принципа, о которых напоминает Кавабата — «гармония, почтительность, чистота и спокойствие»,— имеют если не чисто конфуцианское, то конфуцианско-буддийское происхождение, опираются на конфуцианский постулат — человеческая природа изначально добра.

Что же значит каждый из них?

Гармония — гармония человека с миром природы, с миром вещей — дух, пронизывающий всю атмосферу чайной церемонии.

Почтительность предполагает искренние, откровенные отношения между людьми, отсутствие фальши, неестественности — слияние сердец, «встречу чувств» не по велению правил поведения, а по закону взаимного тяготения, потому что душа человека, оказавшегося в обстановке красоты и естественности, расположена к добру. Когда в былые времена в чайный домик входил самурай, он оставлял меч на решетке под стропилами, потому что чайный дом — это обитель мира и спокойствия и сюда с дурными мыслями не входят. Здесь люди очищаются от мелочных забот, становятся самими собой. Профессор Ясиро Юкио сказал однажды, вспоминает Кавабата, что «особенность японского искусства можно передать одной поэтической фразой: «Никогда так не думаешь о друзьях, как глядя на снег, луну или цветы». Когда любуешься красотой снега, красотой луны, когда переживаешь красоту четырех времен года, когда испытываешь благодать от встречи с красотой, тогда особенно думаешь о друзьях, хочется разделить с ними радость. Словом, переживание красоты пробуждает сильнейшее чувство сострадания и любви к людям, и тогда слово «друг» становится словом «человек»... Подобное ощущение лежит и в основе чайной церемонии». Это своего рода идеал человеческих отношений, достигаемый на непродолжительное время в искусственно созданных условиях. В человеческой душе заложена потенция добра, и при соприкосновении с красотой она выявляется.

По традиции, чайный дом не только обитель простоты и естественности, но и обитель справедливости. Здесь не должно быть знатных и незнатных. Каждый из гостей, согласно правилам, должен войти в чайную комнату через низкую дверь, волей-неволей отпуская поклон присутствующим, чем ставит себя в одинаковое с ними положение. Требование «почтительности» предписывает, чтобы все здесь чувствовали себя равными и знатный не кичился своей знатностью, а бедный не стыдился своей бедности. Все равны перед красотой, все равны перед при-

---

[1] По этому поводу есть интересное рассуждение у Э. В. Уотса в книге «Путь дзэн»: «Мы представляем себе мир в абстрактном, неодновременном переводе, тогда как на самом деле в мире все происходит сразу, одновременно, и конкретное существование вселенной не поддается описанию нашим абстрактным языком. Точное описание даже горстки пыли при таком способе потребовало бы невероятно много времени. Линейный, неодновременный характер речи и мышления особенно заметен во всех тех языках, которые пользуются алфавитом и выражают свой опыт длинной цепочкой (string) букв» Alan W. Watts. The Way of Zen, a Pelican Book, 1968, p. 27—28.

Т. ГРИГОРЬЕВА
ЧИТАЯ КАВАБАТА ЯСУНАРИ

родой. Прежде чем сесть, каждый из гостей кланяется свитку живописи и цветку в токонома [1], как кланялись в наших избах иконам.

Третий принцип — *чистота.* Чистота должна быть абсолютной, начиная от чувств и мыслей, кончая чистотой в буквальном смысле слова. В доме хорошего мастера чайной церемонии не найти и пылинки.

Наконец, *спокойствие.* В чайном доме царят тишина и покой, необходимые для уравновешенного состояния духа. Уже прилегающий к чайному дому сад — «родзи» (земля росы) — располагает к душевной гармонии, к единению с природой. Кажется, не прикасалась рука к мшистым камням, заросшим водоемам — все естественно и просто: свободное волеизлияние каждого предмета. Человек не навязывает себя природе, не перекраивает ее на свой лад, он лишь, чувствуя природу, расставляет акценты, помогая ей выявить себя в неповторимости каждого момента.

Чайный дом с соломенной крышей, подпорками из неотесанного дерева или бамбука продолжает собою сад. В экстерьере, как и в интерьере дома, что-нибудь непременно не завершено. В доме вас не покидает ощущение присутствия природы. Ничто не нарушает уловленного ритма. Здесь время переходит в иное измерение — измерение вечности. Полумрак: низкая крыша почти не пропускает света. Ни одного лишнего предмета, ни одного лишнего цвета, не гармонирующего с общей обстановкой. Ничто не повторяется — ни один оттенок, ни один образ. Если в вазе цветы, они не могут быть на картине. Здесь человек отдыхает от тягот жизни, отключается от внешнего мира. Молча наслаждаясь зеленым напитком, гость прислушивается к клокотанию воды в котелке, на дне которого устроены железные пластинки, производящие мелодичные звуки, уносящие человека далеко в горы, и он слышит, как свистит ветер в ущелье, шумит водопад, шелестят сосны.

Когда видишь средневековый чайный павильон в Мёкиэн в Киото, поражает его ультрасовременный внешний вид. В нише (токонома) под свитком — красивой формы камень. В основании ниши — неотесанное дерево с четкими потемневшими срезами сучков. На полу — три соломенных татами [2]: одноцветное, с черным квадратом от угла и с черным квадратом посередине.

Тайна притягательной силы павильона в полном отсутствии повторений, в подчеркнутой асимметрии всех частей, в духе незавершенности. Человек чувствует себя здесь художником, соучастником творчества.

Японское искусство не признает симметрии как признака законченности, определенности. Все «в пути». Нет остановки, нет полного покоя, нет смерти, есть лишь переход из одного состояния в другое. Нет конечного результата — все в процессе изменения, становления. Симметрия сковывает пространство между двумя точками, асимметрия снимает пределы. Небольшой размер комнаты (в чайной комнате могут разместиться не более пяти человек) не важен для служителя чайного культа. Для него время и пространство неограниченны. Японский дом всегда пространственно связан с миром природы. Раздвижные стены могут быть вовсе сняты, и тогда комната продолжится до бесконечности.

Но это не только свойство чайных или жилых домов, это свойство художественного вкуса. Никакая вещь на себе не обрывается, хотя и существует сама по себе, она безначальна, как мироздание.

Кавабата цитирует дзэнского поэта Иккю (1394—1481):

«Как сказать,
Что значит
Сердце?
Шум сосны
На сумиэ [1].

В этом душа восточной живописи. Смысл картины сумиэ в пустом, незаполненном пространстве, в сдержанных ударах кисти».

Итак, по мысли Кавабата, пустота на картине осмысленна. В Японии не могли появиться рамки, которыми обрамлены картины европейских художников. У японцев вместо рамок — пустота, незаполненное пространство, соединяющее картину с миром. Рамки эту связь обрывают, требуя сосредоточенности на самой картине или на самом художнике, отражая потребность ума в ясности, законченности.

«Когда говорят, что сумиэ изображает душу предмета или придает форму тому, что бесформенно, это значит, что от самой картины веет духом творчества. Поэтому дело художника не копировать, не подражать природе, а придать предмету нечто такое, что живет в нем самом. Мастер дзэн, когда он хочет сказать, что ива зеленая, а цветок — красный, не дает нам их описания, как они есть, но дает что-то такое, что говорило бы о том, что зеленое — это зеленое, а красное — красное. Это я и называю духом творчества. Пустота (sūnyatā) бесформенна, но она основа всего сущего. Сделать возможное действительным и есть акт творчества. Когда Тосу [2] спросили: «Что такое дхарма?», он ответил: «Дхарма». Когда его спросили: «Что такое Будда?», он ответил: «Будда». Но это не бездумные ответы, не бессознательное эхо — эти ответы рождены его творческим умом. Без этого Тосу не был бы мастером дзэн. Понять подобное настроение ума и значит понять дзэн» [3]. Лао-цзы сказал о пустоте удивительно просто: «Из глины делают сосуды, а использовать их можно потому, что они внутри пусты. Когда строят дом, пробивают двери и окна, а жить в нем можно, потому что он внутри пуст» (Даодэцзин, XI). Кавабата видит в «пустоте» основу всего сущего: «Это совсем не то «ничто», что понимают под ним на Западе. Наоборот, это вселенная души, пустота, где все вещи приобре-

[1] Токонома — своего рода ниша, слегка приподнятая над полом.
[2] Татами — соломенный мат, около 1,5 кв. м.

[1] Сумиэ — картина, нарисованная тушью.
[2] Тосу — мастер чань танской эпохи (Китай, 618—907).
[3] D. J. Suzuki. Zen and Japanese Culture. New York, 1959, p. 36-37.

тают самость, где нет никаких преград, ограничений, где есть свободное общение всего со всем»,— то есть все обретает свою истинную природу, становится самим собой.

С ощущением мира как «ничто» связано требование недосказанности, недомолвки в японском искусстве. Сущность — вне видимого образа, вне формы. Кавабата приводит слова Икэнобо Сэн'о: «И в разбитой вазе, и на засохшей ветке есть цветы», их можно увидеть или пережить. Для японского искусства намек, недосказанность есть не допустимый прием, а непреложное правило — закон. Для икэбана не годятся раскрывшиеся цветы. Бутон — в икэбана, недомолвка — в поэзии; дао — лишь потенция бытия. Чем больше недомолвленного, недосказанного, тем больший простор воображению. Само воображение предполагает «пустоту», незаполненность сознания правилами.

В Японии незавершенность была издавна требованием художественного вкуса. Существовало ходячее выражение «иттакири» — «все сказано», которое прилагалось к неудачным стихам. У Кэнко-хоси (1283—1350) есть по этому поводу рассуждение:

«Когда кто-то сказал, что обложки из тонкого шелка неудобны тем, что быстро портятся, Тонъа заметил в ответ:

— Тонкий шелк становится особенно привлекательным после того, как края его растреплются, а свиток, украшенный перламутром,— когда ракушки осыплются.

С тех пор я стал считать его человеком очень тонкого вкуса.

В ответ на слова о том, что-де неприятно смотреть на многотомное произведение, если оно не подобрано в одинаковых переплетах, Кою-содзу сказал:

— Стремление всенепременно подбирать предметы воедино есть занятие невежд. Гораздо лучше, если они разрозненны.

Эта мысль кажется мне великолепной. Вообще, что ни возьми, собирать части в единое целое нехорошо. Интересно, когда что-либо незаконченное так и оставлено — это вызывает ощущение, будто жизнь течет долго и спокойно. Один человек сказал как-то:

— Даже при строительстве императорского дворца одно место специально оставили недостроенным.

В сочинениях, написанных древними мудрецами, тоже очень много недостающих глав и разделов»[1].

То, что было главным для европейского писателя, могло оказаться второстепенным для японского — и наоборот.

«Главные формы прекрасного,— рассуждал Аристотель,—это — порядок в пространстве, соразмерность и определенность»[2]. Аристотель как будто полемизирует с авторами дзуйхицу, с мастерами дзэн: «Хорошо составленные фабулы не должны начинаться откуда попало, ни где попало оканчиваться, но должны пользоваться указанными определениями... красота заключается в величине и порядке, вследствие чего ни чрезмерно малое существо не могло бы стать прекрасным.. ни чрезмерно большое...»[1]

В противоположность Аристотелю, авторы дзуйхицу и мастера дзэн отрицали нормативность, намеренность, правила. Для них слова Аристотеля — посягательство на природу вещей, свидетельство самовлюбленного разума, объявившего самого себя мерилом ценности.

И если признание симметрии, порядка, ясности, последовательности — норма прекрасного у одних (и то и другое в античной эстетике было объявлено законом прекрасного), то признание асимметрии, неопределенности, неясности, недосказанности, самостоятельности отдельных частей — норма прекрасного у других.

Говорят о консерватизме японского искусства, о безусловном следовании традиции, о подражании старине — первоначальным образцам, об удивительной устойчивости не только отдельных видов искусства (театр Но, Кабуки, танка, хокку почти в первозданном виде дошли до наших дней), не только отдельных законов поэтики, но и отдельных образов. И тем не менее в истории японской культуры невозможно найти примера того, чтобы кем-то изложенные «в самостоятельной системе эстетические понятия господствовали с лишком 2000 лет», как господствовала, по словам Чернышевского, поэтика Аристотеля[2]. (Дело, конечно, не в Аристотеле, а в выработанной за многие века привычке под определенным углом зрения смотреть на вещи.)

«Не иди по следам древних, но ищи то, что искали они»,— говорил «Великий учитель с Южной горы», буддийский мыслитель Кобо-дайси (774—835). Японцы подражали старым мастерам, вставляли целые куски из произведений древних в свои сочинения, но каждый из мастеров был настолько неповторим, не похож на другого, что в Японии не могли появиться школы в нашем понимании. У мастеров были ученики, но не было непосредственной зависимости друг от друга, не было общих программ. Принцип самососредоточенности, придающий отдельному внутреннюю целостность, принцип мышления, естественно, не мог не сказаться и на взаимоотношении людей.

«В дзэн есть наставники. Они тренируют учеников путем мондо[3], знакомят с древней дзэнской литературой,— замечает Кавабата-

[1] Кэнко-хоси. Записки от скуки (Цурэдзурэгуса). Перевод, предисловие, комментарий В. Н. Горегляда. М., 1970, стр. 83.

[2] Аристотель. Метафизика. М., 1934, кн. 13, гл. 3, стр. 223.

[1] Аристотель. Поэтика (Об искусстве поэзии). М., 1957, стр. 63.

[2] См. Ф. А. Петровский. Сочинения Аристотеля о поэтическом искусстве, «Поэтика», стр. 8.

[3] Мондо — диалог между мастером и учеником, рассчитанный на особый способ постижения смысла беседы — не на уровне слов, а на уровне психологического резонанса, позволяющего ученику войти в душевный ритм учителя, понять смысл несказанного или сказанного не прямо.

Т. ГРИГОРЬЕВА

ЧИТАЯ КАВАБАТА ЯСУНАРИ

та,— но ученик остается единственным хозяином своих мыслей и состояния сатори достигает исключительно собственными усилиями».

«Высшее ищи в самом себе!» — наставляет дзэн. Нежелание подчиняться предписаниям, правилам, авторитетам принимало иногда крайние формы. Кавабата цитирует слова Линь-цзы, мастера танской эпохи:

Встретишь Будду, убей Будду,
Встретишь патриарха, убей патриарха,—

как известный дзэнский девиз.

Библия приучала сознание к мысли о сотворении мира и конце света, объявляла ересью признание беспредельной во времени и пространстве вселенной. Уму человеческому изначально был поставлен предел; рамки существования «от — до». Не отсюда ли поиск «начала, середины, конца» — ощущение предельности, трагичности существования, столь характерное для искусства Запада?

Когда впервые просвещенные японцы, «сторонники китайских учений», услышали о христианстве, то были немало поражены идеей сотворения мира. Это противоречило их представлениям о спонтанности развития всего сущего, не создаваемого и потому не уничтожимого.

На буддийском Востоке нет тенденции к зафиксированности «начала» и «конца». Если сознание европейцев разводит пределы посюстороннего и потустороннего, то в буддизме концы как бы соединены, замкнуты, что дает возможность интенсивного обращения внутри системы.

С точки зрения буддийского мышления движение по кругу не есть повторение того же, не есть застой. Невозможно повторение того, что непрерывно изменяется, что бесконечно, безостановочно, невозможно повторение «пустоты», «ничто». Повторяемость исключается в принципе. Видимо, не прямая (даже ломаная), допускающая начало и конец, а круг олицетворяет бесконечность движения. Видимо, буддийское мышление предпочло образ круга («колеса») не в знак повторяемости, неизменности, а в знак безостановочности, бесконечности, беспрепятственности движения. Все зависит от расстановки акцентов.

Принято говорить о статичности, замедленном ритме развития Востока, противопоставляемого динамичному Западу. Но при внешней статичности восточных цивилизаций они обладают внутренним динамизмом. Уже древнейший памятник Китая Ицзин, влияние которого на традиционное мышление китайцев и японцев трудно переоценить, ставит акцент на движении, признает изменчивость абсолютным законом существования.

«Благодаря ритму ставшее и еще не наступившее объединяются в одну систему, по которой будущее существует в настоящем как «ростки» наступающих событий.

Необходимо и теоретическое понимание, и практическое осуществление этого; если деятельность человека нормирована таким образом, то он гармонически включается в свое окружение»[1].

При всех общих элементах в общечеловеческой культуре различие определяется главным образом расстановкой акцентов. Но именно сходство элементов усложняет задачу. Инерция сознания приводит к соскальзыванию акцентов на привычный лад. Однако сдвинуть акценты значит уподобить произведение восточной культуры нашей, то есть приобрести еще одно доказательство того, что уже есть, вместо того чтобы открыть для себя новые методы, новое понимание мира, новые традиции мышления, а в общем — пойти навстречу потребностям современной науки, в которой спонтанно зреют процессы, заставляющие ее проявлять интерес к методам традиционных восточных наук. Принимать нормы, выведенные на основе европейского опыта, за всеобщие, абсолютные значит препятствовать собственной цели, если эта цель — сближение народов. Наше признание Востока заключается не в признании за ним права походить на нас, а в признании за ним права на собственные ощущения, на собственные откровения и принципы, которые не исключают существования противоположных, а предполагают, дополняя их, как две стороны одного процесса дополняют друг друга.

Формула «Запад есть Запад, Восток есть Восток» так же неверна и односторонняя, как формула «Восток и есть Запад, Запад и есть Восток». Наше время подсказывает формулу: «Нет Востока без Запада и нет Запада без Востока» — одно необходимо другому, одно неотъемлемо от другого, одно помогает другому осознать себя.

Если где-то, говоря о традиционных чертах художественного мышления японцев, я и отступила от совета Лао-цзы: «Кто знает меру, у того не будет неудачи, кто знает предел, тот не подвергает себя опасности» (Даодэцзин, XLIV), то это, наверно, оттого, что слишком много несправедливого было сказано о Востоке. Европоцентризм принял теперь более корректные формы, но от этого не перестал служить препятствием на пути к познанию Востока.

Читая Кавабата Ясунари, я думала о том, что недостаточно знать иероглифы, недостаточно формального знания языка, чтобы переводить с японского. Вжиться в то, что делает японцев японцами, думать и чувствовать, как они, оставаясь иностранцем, чтобы не потерять контакта с собственным читателем. Не то чтобы эти мысли возникли во время перевода Кавабата; они приходили и раньше, пока я училась понимать Японию, но Кавабата помог им выявиться.

---

[1] Ю. К. Щуцкий. Китайская классическая «Книга Перемен». М., 1960, стр. 146.

Публицистика

Б. ГИЛЕНСОН

СОЦИАЛЬНАЯ СИЛА, ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ МИР

(К 100-летию со дня рождения Теодора Драйзера)

19 октября 1927 года от одного из причалов нью-йоркского порта отошел рейсовый океанский лайнер, взявший курс на Европу. На следующий день в нескольких газетах появилась фотография Драйзера, подымающегося по трапу с большим дорожным чемоданом. Ее сопровождало короткое сообщение о том, что знаменитый романист отправляется с визитом в Советскую Россию.

В это время Драйзер был уже автором «Американской трагедии» (1925), принесшей ему мировую славу. Даже консервативные критики, годами травившие писателя, не могли не признать огромной впечатляющей силы романа. В этом эпическом синтезе американской действительности романист показывал, как антигуманные, порочные социальные отношения сначала развращали Клайда Гриффитса и толкали его на преступление и как затем общество безжалостно расправилось с молодым человеком.

По-своему логичным был вопрос, которым настойчиво задавался Драйзер во второй половине 20-х гг., вопрос о том, что дает личности иная, новая система экономических и политических отношений, созидаемая в России.

Привыкший ничего не принимать на веру, «неисправимый индивидуалист», как он сам себя называл, Драйзер хотел вынести о ней собственное суждение. Незадолго до отъезда он писал московскому критику Сергею Динамову, с которым его в дальнейшем связала дружеская переписка.

> «Я так мало знаю об истинном положении дел в России, что не решаюсь высказать своего мнения относительно конечного результата, но, как я надеюсь, что-то значительное, прекрасное и глубокое явится итогом этой поездки».

И он не ошибся. Знакомство с «коммунистическим экспериментом» сыграло знаменательную роль в той эволюции, которую Драйзер пережил в последние два десятилетия своей жизни.

К спорам о Драйзере

...Вот уже четверть века минуло с тех пор, как вышла посмертно последняя книга Драйзера, его роман «Оплот» (1946). Но острые споры вокруг его наследия не утихают. Представления об авторе «Сестры Керри» как о «неуклюжем», «грубом» и «вульгарном» художнике, равно как о «незрелом политике» и «путаном философе» определяли американскую драйзериану эпохи «холодной войны» и маккартизма. Эта точка зрения наглядно давала себя знать в статьях А. Кейзина, Л. Триллинга и в известной антологии «Облик Теодора Драйзера» (1955) (о которой уже писали И. Анисимов и Я. Засурский).

Данью этой дурной традиции явилось и объемистое жизнеописание Драйзера, сочиненное журналистом У. Сванбергом (1965). Введя в оборот солидный фактический материал, в том числе ряд свежих данных, Сванберг вместе с тем не постеснялся воспользоваться разного рода сплетнями и домыслами, дабы представить Драйзера аморальным и двуличным человеком, жившим на «каупервудовский» манер, но

писавшим «передовицы в духе «Известий». Неудивительно, что сочинение Сванберга получило одобрение у ряда консервативно настроенных рецензентов. Так, небезызвестный Даниэль Аарон, автор труда «Писатели слева» — кстати, недавно переизданного,— злорадно констатировал на страницах журнала «Рипортер», что Сванберг, питающий откровенную «антипатию» к Драйзеру, рисует его «обывателем, малообразованным литератором, убогим политическим мыслителем, чудаком и некультурным человеком». А одной из рецензий на книгу Сванберга даже сопутствовала карикатура, на которой Драйзер изображался в виде малосимпатичной личности, сидящей за пишущей машинкой, воспроизводя некие невразумительные знаки, напоминающие серп и молот...

И все же в 60-е годы положение в целом изменилось. Видимо, ощутимые перемены в стране, воздействие общественного подъема обусловили то, что в американской драйзериане стала пробиваться иная, позитивная тенденция. Вышел ряд трудов, в которых содержится лишенная былой откровенной предвзятости оценка Драйзера-художника. Таковы книги Чарльза Шапиро «Теодор Драйзер: наш возмущенный патриот» (1962) и Ф. Л. Гербера «Теодор Драйзер» (1964), объемистое исследование Эллен Моэрс «Два Драйзера» (1969), представляющее анализ «Сестры Керри» и «Американской трагедии», а также небольшая монография Шарлотты Александер об «Американской трагедии» (1965). Стоит выделить и работу Маргарет Тьядер, бывшей одно время секретаршей писателя, «Теодор Драйзер. Новые горизонты» (1965), написанную с большой симпатией к автору «Сестры Керри»; в ней имеется ряд новых данных о его отношении к Советскому Союзу и популярности в нашей стране.

Во всяком случае, Джон Макалир на страницах своего труда «Теодор Драйзер. Введение и интерпретация» (1968) мог уже констатировать, что в процессе многолетних споров обнаружили свою несостоятельность три главных обвинения, упорно выдвигавшихся реакционной критикой против писателя. Они сводились к тому, что Драйзер, во-первых, якобы подрывал общественную мораль, во-вторых, был «слабым философом» и, в-третьих, «слабым стилистом». Макалиру нельзя отказать в проницательности, когда он пишет: «После 1930 года откровенная поддержка Драйзером коммунистического дела вызвала стремление принизить его значимость как художника с тем, чтобы ослабить воздействие его политических выступлений». Не менее знаменательно и признание Макалира, считающего, что общественные воззрения писателя непрерывно эволюционировали и обогащались, что им двигала искренняя любовь к маленьким людям, и прежде всего к жертвам господствующих несправедливых отношений, что его романы, казавшиеся иным его современникам «бесформенными», на самом деле были глубоко и целесообразно продуманы и не только убедительно выражали свою эпоху, но и оказались обращенными к будущему.

И в то же время даже наиболее серьезные исследователи, по заслугам оценивающие вклад романиста в утверждение реалистического искусства, как правило, не могут примириться с Драйзером — политическим публицистом последних лет, стремясь всячески «нейтрализовать», амортизировать факты, объясняющие путь писателя к коммунизму. Даже Макалир, при всей своей внешней объективности, обнаруживает тенденциозность, когда выдвигает ничем не подкрепленные тезисы о том, что Драйзер якобы «пытался использовать Россию в своих целях» или намеревался быть «независимым от компартии и ее дисциплины», даже вступив в ее ряды, и т. д. и т. п.

В свете споров о писателе особенно знаменательным стало появление обильно документированной книги Рут Эпперсон Кеннел «Теодор Драйзер и Советский Союз. 1927—1945» (1969), выпущенной в свет прогрессивным издательством «Интернэшнел паблишерс». Ее автор в 1922 году приехала из Калифорнии, где она работала библиотекарем, в СССР вместе с группой американских специалистов, заключивших контракт на работу в Кузбассе. Пробыв около двух лет в Западной Сибири, Рут Кеннел переехала в Москву, где занялась журналистикой и переводами. Здесь она и познакомилась с Драйзером и затем выполняла функции секретаря в течение всего его 77-дневного пребывания в нашей стране. Все это время она вела обстоятельные записи, относящиеся к путешествию; позднее она написала предисловия к некоторым советским изданиям Драйзера. Перу Кеннел принадлежит несколько книг для юношества, посвященных нашей стране. Почти полтора десятилетия она состояла в переписке с Драйзером, высоко ценившим ее как друга и взыскательного критика. Рут Кеннел послужила прототипом для образа Эрниты из одноименной повести Драйзера, входящей в цикл «Галерея женщин» (1929).

Книга Рут Кеннел состоит из двух частей. Первая включает записи, сделанные во время совместной поездки с Драйзером по стране, вторая прослеживает идейную эволюцию писателя от возвращения из России до конца дней.

Несколько десятилетий путевые дневники Кеннел и обращенные к ней письма Драйзера пролежали в ее архиве: атмосфера «холодной войны» не благоприятствовала их публикации. В предисловии Кеннел напоминает, что в 40—50-е годы ее соотечественники подвергались «промыванию мозгов» во всем, что касалось «русской революции, причин второй мировой войны и решающей роли Красной Армии в нашей общей победе». С наступлением «бурных шестидесятых» Кеннел ощутила, что пришло время сделать имеющиеся у нее материалы достоянием читателя.

«Эти страницы,— пишет она в предисловии,— представляют весьма своевременное обращение к нашей бунтующей молодежи и озадаченному старшему поколению. Мое документированное свидетельство о том, как Драйзер воспринял большевистскую революцию, отмечавшую свою десятую годовщину, как у него зрело понимание ее идей, должно принести пользу серьезному читателю. При всей своей противоречивости, всегда ценны свежие факты, связанные с человеком, выросшим в значительную фигуру нашего столетия. Ведь наша молодежь сегодня все более решительно восстает против бездушной жестокости проводимой США политики военных авантюр и против превращения их родины в полицейское государство».

В книге Рут Кеннел есть зримый полемический подтекст. Оспаривая точку зрения тех, кто зачеркивает политическую публицистику Драйзера и сетует на то, что писатель в последние годы якобы «променял перо романиста на трибуну уличного оратора», Кеннел справедливо напоминает своим оппонентам о Мильтоне, авторе «Ареопагитики», этой страстной защиты свободы слова, о Золя, написавшем свое знаменитое «Я обвиняю!».

«Разумеется, я не идеализирую героя моей книги,— пишет Кеннел.— Я старалась нарисовать его таким, каким знала. Но его человеческие слабости кажутся несущественными рядом с его монументальными произведениями. Создав в ранние годы реалистические романы и новеллы, Драйзер в течение последних 17 лет был неутомимым публицистом. Он протестовал против судебного произвола, боролся за права рабочего класса, осуждал британский империализм и обнажал несправедливости американского «истеблишмента». В последние годы жизни он предлагал советскую систему в качестве альтернативы: «Теперь это уже не эксперимент, а успешно функционирующий строй, в основе которого — забота о здоровье, образовании и благополучии 200 миллионов человек. ...Он действует в духе принципа «один за всех и все за одного».

По стране

Дневник Рут Кеннел не только содержит свежие, живые подробности, относящиеся к путешествию Драйзера по маршруту Москва—Ленинград—Киев—Баку—Тбилиси—Одесса и др., он добавляет яркие детали к самому облику писателя, человека пытливого ума и независимых суждений. Дневник помогает нагляднее представить то «сырье», из которого выросла известная книга «Драйзер смотрит на Россию» (1928). Не в пример многим западным журналистам, скользившим по поверхности, фабриковавшим легковесные путевые очерки об СССР, Драйзер стремился проникнуть в самую суть невиданного социального эксперимента. В книге Кеннел перед нами не только художник, но и социолог, философ, исследователь, подвергающий увиденное нелицеприятной критической оценке. Все вызывает его острый интерес — внешний облик городов, музеи и театры, жилищные условия, культура и искусство, сельское хозяйство и промышленность. Он интервьюирует государственных деятелей, крестьян в глухой деревне Поволжья и директора завода в Ленинграде. Он заносит в свои записные книжки цифры, касающиеся выпуска продукции, заработной платы. Он изучает исторический путь страны в первое послеоктябрьское десятилетие. Правда, над Драйзером еще довлеют некоторые ошибочные воззрения: социализм представляется ему системой, при которой якобы уравниваются индивидуальности, нивелируются личные способности и склонности. И все же в своем заявлении, сделанном в Одессе в январе 1928 года перед отъездом из нашей страны, Драйзер мог констатировать:

«Меня радует огромная программа жилищного строительства; весомые свидетельства ее выполнения видны повсеместно в Советском Союзе. Приятно видеть новые фабрики, новые школы, больницы, научные учреждения, которыми уже покрывается вся страна...»

Он выражал надежду, что «могучий энтузиазм», направленный на «модернизацию» России, не иссякнет, что страну ожидает светлое завтра, что она окажется первой державой, решившей те сложные проблемы, «которые стоят ныне перед всем миром».

Книга Кеннел свидетельствует об остром внимании Драйзера к художественной жизни новой России: находясь в нашей стране, он встречался с писателями, режиссерами кино и театра, знакомился с театральными постановками. Он уехал горячим поклонником русского балета и по возвращении в США пробовал организовать его гастроли у себя на родине. Балет был для него яркой формой демократического, жизнеутверждающего искусства, «прославлением души народа».

«Только в России можно увидеть такие живые массовые спектакли,— писал он и добавлял: — Я хотел бы, чтобы мы поучились окружать уважением искусство, как это делают в Советской России».

Он интервьюировал Станиславского и Таирова и дал высокую оценку советскому киноискусству, которое, по его мнению, «много лучше голливудской продукции». Беседуя с Эйзенштейном, он сказал:

> «Я предсказываю, что русский темперамент позволит России через 30 лет стать первой державой мира. В Америке энтузиазма требовало освоение новых земель. Здесь он направлен на осуществление социальной революции».

Встреча с Маяковским во многом рассеяла тревоги Драйзера относительно судьбы творческой личности в условиях всеобщего равенства; позднее он писал, что поэт «совершенно не опасался, что его индивидуальность будет поглощена коммунистической уравнительной программой».

Маяковский подарил Драйзеру экземпляр своей поэмы «Хорошо!» с теплой надписью; по свидетельству Маргарет Тьядер, поэт «говорил, что никогда не забудет проведенного вместе вечера». «Два мастера слова, фигуры значительные, драматичные, произвели друг на друга сильное впечатление». Маяковскому пришлась по душе основательность Драйзера, выгодно отличавшая его от многих западных журналистов. На одном из приемов Маяковский под смех и аплодисменты присутствующих заявил: «Мистер Драйзер — первый из американцев, кто признает, что еще не пришел к определенным выводам. Другие же, пробыв несколько дней в Москве, уже сочиняют целые книги обо всей нашей стране».

Кеннел подробно рассказывает о поездке писателя в Ясную Поляну; там он слушал голос Толстого, записанный на фонографе, имел долгую, «удивительную» беседу с его дочерью Ольгой и яснополянскими крестьянами. Как известно, интересом к русской литературе были отмечены уже первые шаги Драйзера.

В марте 1943 года в письме к своему старому другу, известному критику Генри Менкену Драйзер заявляет о своем одобрении коммунистической системы, а также о том чувстве восхищения, которое он испытывает перед русскими писателями, художниками, музыкантами «с тех самых пор, как познакомился с их изумительными шедеврами».

> «Если вы желаете знать мою точку зрения,— читаем мы,— то назовите мне Чехова, Достоевского, Толстого, Мусоргского во всей истории американского искусства с того времени, как оно стало выразителем американской действительности,— и я умолкну в почтительном восхищении, потому что я не знаю равных им».

«Я предпочитаю русскую систему»

Рут Кеннел далека от того, чтобы наводить на Драйзера «хрестоматийный глянец»: путь писателя предстает у нее во всей сложности. Столкнувшись с новой реальностью строящегося социалистического общества, Драйзер нелегко расставался с привычными представлениями человека «с того берега». Тем знаменательней был его поворот влево, его «прощание с прошлым»!

В своей книге Кеннел ссылается на малоизвестные статьи Драйзера, написанные по горячим следам его русских впечатлений. Его выводы и наблюдения вырастали из контраста и сопоставления двух систем. В одной из статей он заявлял:

> «Я чувствую, что советская форма правления не только, видимо, укрепится в России, возможно, с некоторыми изменениями... но и распространится, оказывая политическое воздействие на другие народы...»

«Чикаго дейли ньюс» цитировала слова Драйзера:

> «Сопоставляя стихийность, разгул коррупции у нас в Америке с централизованным производством, осуществляемым под руководством Советского правительства, я решительно предпочитаю русскую систему».

Драйзер увидел нашу страну в нелегкое время: раны гражданской войны были только еще залечены, индустриализация делала первые шаги. От него не ускользнули трудности роста, а разного рода дорожные и бытовые неурядицы не раз вызывали его раздражение. Но Драйзер умел в итоге за второстепенным видеть главное. Он стремился понять путь нашей страны в исторической перспективе, памятуя о том, что большевики наследовали от царизма неграмотность и нищету, а также разруху, вызванную войной и интервенцией. Он признавал, что «очень многое уже сделано», и воздавал хвалу «мечте коммунистов о светлом будущем».

Эти статьи и интервью писателя, в дальнейшем переработанные, были включены позднее в его книгу «Драйзер смотрит на Россию». И хотя не все стороны нашей действительности были до конца поняты в ту пору Драйзером, его общая оценка новой России была безусловно положительной. Многое в «коммунистическом эксперименте» вызывало одобрение писателя; это касалось прежде всего тех черт нового, которые резко контрастировали с положением дел в капиталистическом мире.

В своей книге Драйзер «аплодировал» государству, верящему в «возможности человеческого ума», действующему в интересах всего народа, а не отдельных групп

или клик. Искоренению экономического неравенства, безработицы, контраста бедности и богатства. Плановости в действиях, направленных на рост благосостояния всех членов общества. Ликвидации паразитизма и привилегий.

При всех оговорках Драйзер мог сказать по отношению к капиталистической системе: «Это порочно!» Коммунистическая система вызвала у него возглас: «Это правильно!»

Достижения Советской страны Драйзер связывал с осуществлением дальновидного плана Ленина, которого он считал «величайшим человеком нашего столетия». Финалом книги стала волнующая картина — тысячи людей, идущие в мавзолей. И он мог заключить свой рассказ о поездке в Россию такими словами: «Спи спокойно, Ильич, отец новой и, быть может, такой социальной силы, которой суждено преобразовать мир».

Жизнь в борьбе

Рут Кеннел цитирует малоизвестные статьи писателя, свою с ним переписку, показывая, как в обстановке «красных тридцатых» «отец американского реализма» вырастает в поборника социальной справедливости. Так было, когда Драйзер поднял свой голос в защиту Тома Муни, жертвы полицейской провокации, и горняков Харлана, негритянских юношей в Скоттсборо и испанских республиканцев.

> «Спустя три года после своей поездки в Москву,— читаем мы у Кеннел,— Драйзер, называвший себя «неисправимым индивидуалистом», осудил индивидуализм. Еще в 1923 году он заявил одному из репортеров в Лос-Анджелесе: «Меня не интересует масса. Личность — вот кто меня заботит». Но в 1930 году посреди страданий масс, вызванных кризисом, он превратился в страстного пропагандиста, лектора, участника тех организованных групп, которые боролись против того, что он определял как несправедливости американской системы. Он пришел к убеждению, что финансовая автократия разрушает социальную и экономическую демократию...»

С годами крепли его симпатии к нашей стране. Писатель, употребляя выражение Майкла Голда, «шел влево». И не случайно приветствие Драйзеру Международного объединения революционных писателей в августе 1931 года в связи с 60-летием открывалось обращением: «Дорогой товарищ!» В нем говорилось, что жизнь и творчество писателя «ценны для мирового пролетариата». В середине 30-х гг. он получил приглашение снова посетить Советский Союз, но здоровье не позволило ему отправиться в длительную поездку. А когда Гитлер совершил нападение на нашу страну, Драйзер направил в Москву телеграмму солидарности, в которой, в частности, говорилось:

> «Здесь, в Америке, я вместе с миллионами американцев буду призывать наше правительство не только к защите мира, оказывая помощь России, но и к пониманию ее великой демократии, которая сделала для миллионов своих прогрессивных сограждан за короткий исторический период больше, чем Америка для своего народа».

В годы войны Драйзер не раз выступал на страницах советской прессы со статьями, приветствовал победы Советской Армии, ратовал за скорейшее открытие второго фронта. В это время завершилась политическая эволюция писателя знаменитым письмом к У. З. Фостеру с просьбой принять его в ряды компартии. Этот шаг Драйзер определил крылатой формулой, видя в нем выражение «логики его жизни».

С той поры реакционные критики не раз пробовали как-то «амортизировать» смысл и дух его знаменитого письма. Не остался в стороне от этой неблаговидной возни и уже упоминавшийся Сванберг. Гренвилл Хикс, сочувственно откликаясь на его книгу в рецензии, издевательски озаглавленной «Лжец в поисках истины», писал: «Как указывает Сванберг, повторяя уже сказанное до него, интерес Драйзера к коммунизму имел религиозную подоплеку, отражая как его политическую слепоту, так и его гуманистические устремления...»

Книга Кеннел содержит ответ тем, кто хотел бы видеть в принятии писателем коммунизма поиски некоего религиозного «символизма». В ней цитируются слова Драйзера:

> «Какая чепуха! Коммунизм — это не религия. Это научный план социалистического общества, в котором никто не эксплуатирует труд другого во имя личного обогащения. И правительство, которое утверждает этот принцип во имя благополучия всего народа, противоположно тоталитарному правительству».

Борьба вокруг наследия Драйзера продолжается. Своей книгой Рут Кеннел еще раз опровергает версию о писателе, который якобы отказался от художественного творчества во имя «газетных передовиц». А ведь это говорится о Драйзере, не только занимавшемся публицистикой, но и завершившем в поздние годы «Трилогию же-

лания», написавшем «Оплот», в которых дана во многом новая, глубоко критическая концепция американской действительности! И здесь Кеннел солидарна с известной исследовательницей Драйзера Дороти Дадли. Ее словами, написанными вскоре после кончины писателя, Кеннел и заканчивает свою книгу:

«В течение 30-х и затем 40-х гг. Драйзер все больше отходил от своего первоначального лозунга: «Писать о жизни, такой, какой она мне видится»,— становясь все решительней на точку зрения необходимости перестроить саму общественную структуру... Все в большей мере его символом веры становилась советская система... В противоположность раннему периоду в своем художественном развитии, Драйзер бесстрашно выступил как политический сторонник левых сил. Он заявил о себе открыто как противник английской привилегированной аристократии и американского капитализма. Короче говоря, он не отступил; он подвергся остракизму со стороны правящих классов, закрывших для него доступ на страницы своих изданий...

Можно ли сказать, что это были годы, когда Драйзер чуть ли не укрылся в уединении? Нет, Теодор Драйзер до последнего часа оставался борцом».

ЛОУРЕНС ДЖ. ПИТЕР, РЕЙМОНД ХАЛЛ

ПРИНЦИП ПИТЕРА

Главы из книги

Перевод с английского Михаила Арского,
рисунки художника В. Освера

Эта книга посвящается всем тем, кто, работая, развлекаясь, любя, живя и умирая на своем уровне некомпетентности, способствовал возникновению и развитию спасительной науки иерархиологии.

Предисловие Реймонда Халла

Как литератор, журналист, я имел неограниченные возможности изучать пружины действия цивилизованного общества. Работая над своими статьями и очерками, я исследовал механизм государственного аппарата, промышленности, торговли, образования, искусства. Я беседовал с представителями многих профессий и специальностей, стоящими на самых различных ступенях общественной лестницы, и внимательно выслушивал их мнения.

Я обнаружил, что, за малым исключением, люди выполняют свою работу кое-как. Повсюду неистовствует и торжествует некомпетентность.

Я был свидетелем того, как архитекторы-планировщики руководили строительством города в пойме большой реки, где он был обречен на периодические затопления.

Совсем недавно мне довелось прочитать о том, как на одной английской электростанции рухнули три гигантские башни-градирни: каждая обошлась в миллион долларов, но не могла выдержать хорошего порыва ветра.

Я с интересом узнал, что по окончании сооружения закрытого бейсбольного стадиона в Хьюстоне (штат Техас) было обнаружено, что как раз в бейсбол играть там нельзя: в солнечные дни блеск стеклянной крыши слепит игроков.

Я заметил, что изготовители бытовых приборов, как правило, рядом с магазинами открывают ремонтные пункты в предвидении того (и это подтверждается практикой), что многие из их изделий выйдут из строя еще до истечения гарантийного срока.

Наслушавшись жалоб бесчисленных автомобилистов на неисправности в новых машинах, я не удивился, узнав, что примерно у каждой пятой автомашины, выпущенной за последние годы крупнейшими автомобильными фирмами, были обнаружены серьезные производственные дефекты.

Пожалуйста, не считайте меня желчным ультраконсерватором, который поносит современных людей и современные вещи только за то, что они современны. Для некомпетентности нет границ ни в пространстве, ни во времени.

Историк Маколей цитирует отзыв Сэмюэля Пеписа о состоянии английского военного флота в 1684 году: «Управление флотом являет собой чудо расточительности, взяточничества, невежества и нерадивости... никаким сметам нельзя доверять... ни один контракт не был выполнен... не проводилось никаких проверок... Некоторые из новых военных кораблей настолько негодны, что без срочного ремонта затонут тут же у причалов. Жалованье матросам выплачивается столь нерегулярно, что они рады, когда находят ростовщика, который покупает их платежные билеты с сорокапроцентным вычетом. Большинством кораблей на плаву командуют люди, не обученные морскому делу».

Веллингтон, изучая список офицеров, присланных ему в Португалию во время кампании 1810 года, сказал: «Единственная моя надежда на то, что, познакомившись с этим списком, противник задрожит так же, как я». Генерал Ричард Тейлор, участник

гражданской войны, говоря о битве при Гёттисберге, заметил: «Командиры армии конфедератов были знакомы с топографией местности, находящейся в одном дневном переходе от Ричмонда, не больше, чем с топографией Центральной Африки».

Роберт Ли однажды горько пожаловался: «Я не могу добиться, чтобы мои приказы выполнялись».

На протяжении большей части второй мировой войны британские вооруженные силы имели снаряды и бомбы, значительно уступавшие в эффективности немецким. Уже в начале 1940 года английские ученые знали, что небольшая добавка дешевого порошкообразного алюминия удвоит их взрывную силу. И все же эти знания были использованы только в конце 1943 года.

Во время той же войны австралиец — капитан госпитального судна, проверяя водяные баки корабля после ремонта, обнаружил, что они выкрашены изнутри свинцовым суриком. Вода из этих баков отравила бы всех до единого обитателей судна.

Об этих случаях — и сотнях им подобных — я читал и слышал, многое видел сам. Я пришел к выводу о всеобщем характере некомпетентности.

Меня уже не удивляет, что лунная ракета не может взлететь, так как что-то оказалось позабытым, что-то сломалось, что-то не сработало или что-то преждевременно взорвалось.

Я без малейшего изумления обнаруживаю, что советник правительства по вопросам семьи и брака — гомосексуалист.

Теперь я заранее жду, что государственные деятели окажутся не способными выполнить свои предвыборные обещания. А если они попробуют что-нибудь сделать, то уж скорее всего выполнят обещания своих противников.

Некомпетентность была бы достаточно досадной, даже если бы ее проявления ограничивались лишь такими относительно удаленными от повседневного обихода областями, как политика, космические путешествия и тому подобное. Но куда там! Она существует совсем рядом — постоянное и выматывающее душу неудобство.

Пока я пишу эту страницу, женщина в соседней квартире разговаривает по телефону. Я слышу каждое ее слово. Сейчас 10 часов вечера, и простуженный мужчина в квартире с другой стороны решил лечь спать пораньше. Я слышу его непрерывный кашель. Когда он поворачивается в кровати, я слышу скрип пружин. А ведь я живу не в дешевых меблированных комнатах — это современный многоквартирный высотный жилой дом из бетона, и квартира тут стоит недешево. О чем же думали люди, которые его проектировали и строили?

Недавно мой приятель купил ножовку, принес ее домой и начал пилить железный болт. При втором движении полотно лопнуло, ручка развалилась и пила пришла в полную негодность.

Сегодня утром я отправился купить настольную лампу. В большом мебельном магазине с отделом электробытовых приборов я нашел светильник, который мне понравился. Продавец уже собрался завернуть лампу, но я попросил сначала ее проверить. (Теперь я стал осторожным.) По-видимому, он не привык проверять электроприборы, во всяком случае, ему понадобилось много времени на то, чтобы найти розетку. В конце концов штепсель в розетку он вставил, но включить лампу так и не смог. Он попробовал другую такую же лампу, но и она не загорелась. Вся партия имела неисправные выключатели. Я ушел из магазина.

Недавно я заказал для своего коттеджа шестьсот квадратных футов теплоизоляционного стекловолокна. Пока секретарша оформляла мой заказ, я смотрел через ее плечо, проверяя, правильно ли она записала нужную мне цифру. Все напрасно! Фирма стройматериалов прислала мне счет на семьсот квадратных футов, а поставила девятьсот.

Образование, на которое часто указывают как на панацею от всех бед, по-видимому, не способно исцелить от некомпетентности. Некомпетентность победно торжествует в самом храме образования. Каждый третий выпускник средней школы не в состоянии читать так, как этого требуют в пятом классе. В колледжах сейчас установилась традиция давать первокурсникам уроки чтения. В некоторых колледжах 20% первокурсников читают так плохо, что не в состоянии понять содержание своих учебников.

Я веду переписку с неким крупным университетом. Пятнадцать месяцев назад я сменил квартиру и послал в университет соответствующее уведомление, но материалы мне продолжали слать по старому адресу. После телефонного звонка и двух дополнительных уведомлений о смене адреса я нанес визит в университет лично. Я ткнул пальцем в неправильный адрес в их списке, продиктовал новый и убедился в том, что секретарша правильно его записала. Но почта по-прежнему продолжала приходить по старому адресу. Два дня назад события приняли новый оборот. Мне позвонила женщина, которая заняла после меня мою старую квартиру и которая, естественно, получала мою почту из университета. Она переехала на другую квартиру, и университет начал высылать предназначенные мне материалы по ее новому адресу!

Как я уже упомянул, я примирился с тем, что некомпетентность вездесуща. Тем не менее мне казалось, что стоит открыть ее причину, как можно будет найти исцеление от этой болезни. Я начал задавать вопросы. И выслушал множество теорий.

Банкир винил школы: «Современным детям не прививают добросовестности».

Учитель винил политиков: «При такой некомпетентности в правительственных сферах чего можно ожидать от рядовых граждан? Кроме того, они не исполняют наших законных требований о выделении нужных ассигнований на образование. Если бы мы смогли установить ЭВМ в каждой школе...»

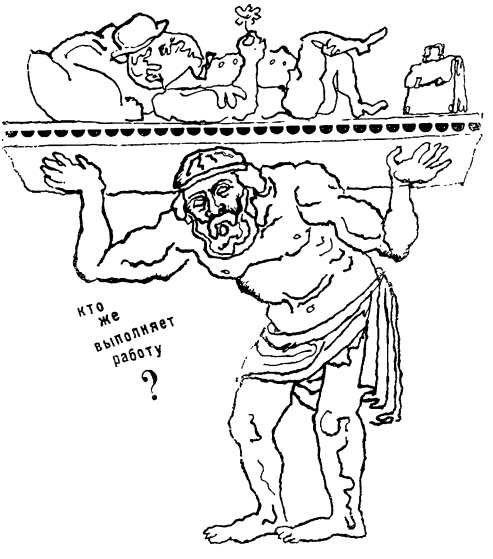
Атеист винил церковь: «...дурманит сознание людей баснями о лучшем мире и отвлекает их от практических дел».

Церковник винил радио, телевидение и кино: «...изобилие развлечений в современной жизни отвлекает людей от нравственных наставлений церкви».

Профсоюзный работник винил администрацию: «...слишком жадна, чтобы выплачивать сносную зарплату. У человека не может быть никакого интереса к своей работе при заработке, достаточном только для того, чтобы не умереть с голоду».

Промышленник винил профсоюзы: «Нынешний рабочий ничем не интересуется и думает только о повышении зарплаты, отпусках и пенсии».

Индивидуалист утверждал, что идея государства с развитой системой социального обеспечения породила всеобщее безразличие. Социолог сказал мне, что безот-



ветственное отношение к работе вызвано моральной распущенностью в быту, распадом семьи. Психолог изрек, что подавление половых инстинктов в ранней юности вызывает подсознательную жажду неудачи, как искупления вины. Философ был краток: «Люди есть люди, и случайностей не избежать».

Обилие вариантов объяснений столь же плохо, как и полное их отсутствие. Мне начало казаться, что я так никогда и не пойму, что такое некомпетентность.

Затем однажды вечером в театральном фойе во время второго антракта нудного спектакля я, поругивая некомпетентность актеров и режиссеров, вступил в разговор с доктором Лоуренсом Питером, ученым, посвятившим исследованию некомпетентности многие годы. Антракта ему хватило лишь на то, чтобы разжечь во мне любопытство. После спектакля я отправился к нему домой и просидел у него до трех утра, пока он с удивительной ясностью излагал мне оригинальную теорию, которая наконец ответила на мой вопрос: откуда берется некомпетентность? Доктор Питер реабилитировал ветхого Адама, стечение обстоятельств и случай и указал на ту особенность нашего общественного механизма, которая питает и укрепляет некомпетентность.

Некомпетентность получила объяснение! Я весь загорелся. Быть может, следующим шагом будет ее искоренение.

С характерной для него скромностью доктор Питер пока удовлетворялся обсуждением своего открытия с несколькими друзьями и коллегами и случайными лекциями о своих исследованиях. Его обширная коллекция различных случаев некомпетентности, блистательные теории и формулы некомпетентности никогда не печатались.

— Быть может, мой Принцип принесет пользу человечеству,— сказал Питер.— Однако я безумно загружен — преподавание, связанная с ним писанина, собрания совета факультета и исследовательская работа, которую я продолжаю вести. Когда-нибудь я приведу в порядок свои материалы и подготовлю их к публикации, но в ближайшие десять — пятнадцать лет у меня на это просто не будет времени.

Я указал ему на опасность, таящуюся в вечной отсрочке, и, наконец, доктор Питер согласился взять меня в соавторы: он предоставит в мое распоряжение бесчисленные протоколы своих исследований и огромную рукопись; я ужимаю этот материал в книгу. И вот книга готова. В ней излагается Принцип профессора Питера — самое глубокое социально-психологическое открытие века.

Хватит ли у вас смелости прочитать ее?

Выдержите ли вы безжалостное разоблачение причины, по которой школы не сеют мудрость, правительства не способны поддерживать порядок, суды не творят правосудия, благосостояние не дает счастья, а утопические планы не воплощаются в царство утопии?

Не подходите к этому шагу легкомысленно. Приняв решение прочитать книгу, вы сожжете за собой корабли. Если вы ее прочитаете, вам уже больше никогда не вернуться в состояние блаженного неведения; вы уже никогда не сможете бездумно благоговеть перед своими начальниками или попирать своих подчиненных. Никогда! Тот, кто узнает Принцип Питера, уже не сможет его забыть.

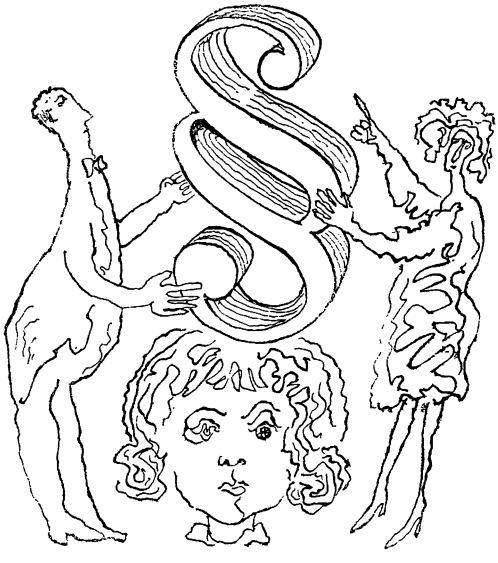
Что же вы выиграете, прочитав книгу? Победив некомпетентность в себе и поняв ее истинный характер в других, вы сможете лучше справляться со своей работой, легче добиваться повышения и зарабатывать больше денег. Вы сможете избежать мучительных недугов. Вы сможете стать влиятельным человеком. Вы сможете наслаждаться своим досугом. Вы сможете помогать друзьям, ставить в тупик врагов, завоевать уважение своих детей, сделать полноценным свой брачный союз.

Коротко говоря, эти знания перевернут вашу жизнь и, быть может, спасут ее.

Так что, если у вас хватает храбрости,— читайте, вникайте, запоминайте и применяйте Принцип Питера.

ПРИНЦИП ПИТЕРА

Когда я был ребенком, меня учили, что наверху знают, что делают. Мне говорили: «Питер, чем больше ты будешь знать, тем дальше пойдешь». И я учился, пока не кончил колледж, а потом вступил в жизнь, твердо веруя в эти идеи и прижимая к груди новенький диплом учителя. В первый год моего учительства я, к большому моему недоумению, обнаружил, что многие учителя, директора, инспектора и попечители, по-видимому, даже и не подозревают о своей профессиональной ответственности и не способны выполнять свои обязанности. Так, например, мой директор главным образом заботился о том, чтобы оконные шторы были все опущены до одного уровня, чтобы в классах не было шума и чтобы никто не приближался к клумбам с розами. А инспектор главным образом заботился о том, чтобы все было тихо и чтобы ответы на официальные запросы представлялись вовремя и по форме. Обучение же и воспитание детей, казалось, совсем не занимало школьное начальство.



Сначала я подумал, что все эти недостатки присущи лишь школе, где я преподавал. Я попросил о переводе. Я заполнил все бланки, приложил необходимые документы и старательно выполнил все требуемые бюрократические процедуры. Через несколько недель мое прошение со всеми документами вернулось обратно. Нет, мои верительные грамоты были в абсолютном порядке — все бланки были заполнены по форме, а поставленные на них штампы свидетельствовали, что они прибыли на место без происшествий. Однако сопроводительное письмо гласило: «Согласно новым правилам подобные документы принимаются, только если они присланы заказным письмом. Просим вторично выслать нам ваши документы, но заказным письмом».

Я заподозрил, что моя школа отнюдь не обладает монополией на некомпетентность. И когда я поразмыслил, то увидел, что в каждом учреждении есть люди, не способные справляться со своей работой.

Всеобщий феномен

Профессиональная некомпетентность наблюдается повсюду. Сталкивались ли вы с ней? Наверно, мы все ее замечали.

Вот нерешительный политикан выдает себя за волевого государственного деятеля, а вот «авторитетный источник», объясняющий неподтвержденность данных им сведений «непредвиденными обстоятельствами». Нет числа государственным служащим, которые наглы и нерадивы, офицерам, воинственными речами маскирующим свою трусость, и управляющим, чье врожденное раболепство лишает их способности управлять как нужно. Мы, пожимая плечами, игнорируем безнравственного священника, судью-взяточника, косноязычного адвоката, писателя, не способного писать, и учителя, делающего орфографические ошибки. В университетах мы видим приказы, подписанные администраторами, не способными логично изложить свою мысль, и слушаем монотонные и невразумительные лекции.

Видя некомпетентность на всех ступенях каждой иерархической лестницы, в области ли политики, законодательства, образования или промышленности, я пришел к мысли, что причина заключается в какой-то специфической особенности правил, по которым выбирается человек, занимающий каждую данную должность. Так я приступил к серьезному исследованию того, как служащие поднимаются по иерархической лестнице, и того, что случается с ними после очередного продвижения.

Я собрал таким образом сведения о сотнях разных карьер. Ниже приведены три типичных примера.

Муниципальная картотека, случай № 17. Дж. С. Минимум[1] работал мастером-эксплуатационником в коммунальном отделе муниципалитета города Просперити. Он был любимцем муниципальных советников Все они хвалили его за безотказность. «Мне нравится Минимум,— говорил инженер-эксплуатационник.— Он знает свое дело, вежлив и покладист».

Такое поведение вполне отвечало положению Минимума — от него не требовалось ничего решать самому, и у него не было причин расходиться во мнениях со своими начальниками.

Затем инженер ушел на пенсию, и его место занял Минимум. Он продолжал соглашаться с каждым. Он передавал своему мастеру каждое исходящее сверху предложение. В результате несогласованности этих предложений возникали конфликты и происходило постоянное изменение планов, что вскоре деморализовало работу отдела. На это постоянно жалуются мэр и муниципальные советники, а также налогоплательщики и профсоюз коммунальных работников. Минимум по-прежнему отвечает «да» каждому и деловито носит бумаги от начальства своим подчиненным и обратно. Номинально он возглавляет отдел, а фактически служит в нем курьером. Коммунальный отдел регулярно не укладывается в бюджет и тем не менее постоянно не выполняет программу работ. Короче говоря, Минимум был компетентным мастером, а стал некомпетентным главой отдела.

Промышленная картотека, случай № 3. Э. Тянулинг начал работать в ремонтной автомастерской в качестве ученика, выделялся интересом к делу и рвением, а потому был произведен в механики. Занимая эту должность, он проявил исключительное умение обнаруживать неисправности, а также бесконечное терпение при их устранении и был назначен старшим мастером.

Однако здесь его любовь к механике и стремление к совершенству стали помехой. Он берется за любую работу, которая кажется ему интересной, не задумываясь над тем, насколько загружена мастерская. «Как-нибудь вывернемся»,— говорит он. Тянулинг не выпустит машины из мастерской, пока сам своими руками не проверит каждую деталь. Он вмешивается в работу своих подчиненных, не занимаясь своим прямым делом. Его редко можно застать в конторе. Обычно он с засученными рукавами возится с разобранным двигателем, тогда как тот, кто должен был выполнять эту операцию, стоит рядом сложа руки, а остальные рабочие покуривают в ожидании наряда. В результате мастерская всегда перегружена работой, в ней постоянно царит неразбериха, а сроки выполнения заказов часто нарушаются.

Тянулинг не способен понять, что среднего клиента мало трогает доведение до совершенства каждой мелочи — он хочет получить машину в срок, и только Тянулингу невдомек, что большинство его подчиненных двигатели интересуют куда меньше, чем зарплата. В итоге Тянулинг не может найти общего языка ни с клиентами, ни с подчиненными.

Он был компетентным механиком, а стал некомпетентным мастером.

Военная картотека, случай № 8. Рассмотрим историю покойного прославленного генерала Тактика. Дружеская манера держаться с подчиненными, пристрастие к крепкому словцу, презрение к мелочным предписаниям устава и несомненная личная храбрость сделали его кумиром солдат. И под его водительством они одержали немало заслуженных побед.

Когда Тактика произвели в фельдмаршалы, ему пришлось иметь дело уже не с рядовыми, а с политиками и главнокомандующими союзных войск. Он не желал соблюдать принятого этикета, язык дипломатических любезностей был ему чужд. Он перессорился со всеми сановниками и по неделям запирался у себя, пьяный и обиженный. Руководство ведением войны выскользнуло из его рук и перешло к его подчиненным. Повышение привело его на пост, для которого он оказался некомпетентным.

---

[1] Некоторые фамилии изменены, чтобы не навлекать неприятности на упоминаемых лиц. *(Здесь и далее примечания авторов.)*

ЛОУРЕНС ДЖ. ПИТЕР,
РЕЙМОНД ХАЛЛ
ПРИНЦИП ПИТЕРА

Важнейший ключ к разгадке

Со временем я заметил, что все эти случаи имеют одну общую черту. В результате повышения компетентный работник становился некомпетентным. И я понял, что рано или поздно это может произойти с каждым служащим в любой иерархии.

Картотека гипотетических случаев, случай № 1. Предположим, что вы являетесь владельцем фармацевтической фабрики «Совершенная пилюля». Ваш пилюльный мастер умирает от прободения язвы желудка, и вам нужно его заменить. Кандидата вы, разумеется, ищете среди рядовых пилюльщиков.

Мисс Овал, мистер Цилиндр, мистер Эллипс и мистер Куб — все в той или иной степени некомпетентны. Из них, естественно, не выберешь кандидата на повышение. Конечно, вы предпочтете вашего наиболее компетентного работника мистера Шара и назначите его мастером.

Предположим, что мистер Шар окажется компетентным мастером. Впоследствии, когда ваш старший мастер займет место управляющего, его преемником, естественно, станет Шар.

Если же Шар окажется некомпетентным мастером, у него не будет шансов на дальнейшее продвижение. Другими словами, он достиг того, что я называю *уровнем некомпетентности,* и останется на нем до конца своей карьеры.

Некоторые работники, подобно Эллипсу и Кубу, достигают уровня некомпетентности уже на низшей ступени служебной лестницы, и их никогда не повышают. Другие, подобно Шару (если он окажется неважным мастером), достигают этого уровня после одного повышения.

Э. Тянулинг, мастер авторемонтной мастерской, достиг своего уровня некомпетентности на третьей ступени своей иерархической лестницы. Генерал Тактик — на самом ее верху.

Так мой анализ сотен случаев профессиональной некомпетентности позволил мне сформулировать *Принцип Питера:*

В иерархии
каждый служащий
стремится достичь
своего уровня
некомпетентности.

Новая наука!

Сформулировав Принцип, я обнаружил, что невольно положил начало новой науке — иерархиологии, или исследованию иерархий.

Термин «иерархия» первоначально применяли для описания управления церковью, которое осуществлялось священнослужителями разных рангов. Сегодня под иерархией понимается любая организация, члены которой, или служащие, различаются по рангам, разрядам или категориям.

Хотя иерархиология относительно и молодая дисциплина, она, по-видимому, могла бы найти широкое применение в сферах управления, начиная от управления государством и кончая управлением собственными делами.

Это касается вас!

Мой Принцип служит ключом к пониманию всех иерархических систем и, следовательно, к пониманию общей структуры цивилизации. Горстка чудаков пытается оставаться за пределами иерархии, однако каждый, кто связан с промышленностью, торговлей, политикой, государственным аппаратом, вооруженными силами, церковью и системой образования, так или иначе входит в иерархию. И карьера их определяется Принципом Питера.

Конечно, многие из них могут добиться нескольких повышений, поднимаясь с одного уровня компетентности на другой, более высокий. Но компетентность на новом месте автоматически делает их кандидатами для дальнейшего повышения. Для каждого индивида, будь то вы или я, последнее повышение будет повышением с уровня его компетентности на уровень его некомпетентности [1].

Таким образом, если времени и ступеней в иерархии окажется достаточно, то каждый служащий должен подняться до своего уровня некомпетентности и остаться на нем. Следствие Питера гласит:

Общая тенденция такова, что со временем каждая должность будет замещена работником, недостаточно компетентным для выполнения своих обязанностей.

Кто вертит колеса?

Естественно, на практике редко встречаются системы, в которых каждый служащий достиг своего уровня некомпетентности. В большинстве случаев что-то все же делается для достижения официально провозглашенных целей данной иерархии. Так вот:

Выполняют работу те служащие, которые еще не достигли своего уровня некомпетентности.

Принцип в действии

Изучение типичной иерархии — школьной системы города Просперити — наглядно покажет, как Принцип Питера действует в педагогической профессии. Рассмотрите этот пример, и вы поймете, как иерархиология определяет работу внутреннего механизма каждого учреждения.

Начнем снизу — с классных руководителей. Для целей анализа я разделяю их на три группы: компетентную, ограниченно компетентную и некомпетентную.

Теория вероятности предсказывает, а практика подтверждает, что учителя будут

[1] Такие явления, как «ударная возгонка» (обычно характеризуемая словами «выкинуть наверх») и «пас в сторону», не представляют собой исключения из Принципа Питера, как мог бы подумать неосведомленный наблюдатель. Это — псевдопродвижения, и их мы рассмотрим в одной из последующих глав.

распределены между этими группами неравномерно: большинство окажется в группе ограниченно компетентных, а меньшинство в компетентной и некомпетентной группах. Это распределение графически выглядит следующим образом:

Случай педанта-конформиста

Некомпетентный учитель не подлежит повышению. В колледже Доротея Да-да педантично выполняла все, что от нее требовалось. Ее домашние и курсовые работы были пересказом учебников или лекций. Она всегда выполняла точно то, что от нее требовали: не больше и не меньше. *Она считалась примерной студенткой* и закончила Просперитский учительский колледж с отличием.

Когда она стала учительницей, то начала учить точно так же, как учили ее. Она неукоснительно придерживалась учебника, методического руководства и расписания уроков.

Ее преподавание шло очень гладко и омрачалось лишь теми случаями, которые не были предусмотрены в правилах или не встречались в ее практике ранее, так, например, когда лопнула водопроводная труба и класс затопило, мисс Да-да продолжала как ни в чем не бывало вести урок, пока в класс не ворвался директор и не начал выводить учеников.

— Мисс Да-да! — вскричал он.— Вода уже выше щиколотки. Почему вы не вывели учеников?!

Она ответила:

— Я не слышала звонка аварийной сигнализации. Как вы знаете, я всегда действую по инструкции. Я уверена, что вы не включали сигнализации.

Ошеломленный ее несгибаемым формализмом, директор сослался на пункт в школьных правилах, предоставляющий ему чрезвычайные полномочия в исключительных случаях, и сам вывел ее промокших учеников из залитого водой здания.

Таким образом, никогда не нарушая правил и подчиняясь всем приказам, она часто попадает впросак и не имеет шансов добиться повышения. Будучи компетентной студенткой, *она достигла своего уровня некомпетентности, став классным руководителем, и потому она останется на этом месте до конца своей школьной карьеры.*

Скрытый недостаток

Н. Изъян был компетентным студентом и, окончив колледж, стал преподавать физику и химию. Его уроки и лабораторные занятия увлекали школьников. Они охотно работали в лаборатории и даже поддерживали в ней необходимый порядок. Однако с отчетами и прочей писаниной у Изъяна дело обстояло неважно, хотя этот недостаток, по мнению начальства, в достаточной мере искупался его преподавательским талантом.

Изъян был выдвинут на пост заведующего кабинетом естественных наук, где он столкнулся с необходимостью заказывать материалы и аппаратуру для лабораторий, а также вести точный учет. *Его некомпетентность стала очевидной!* Третий год подряд он заказывает новые бунзеновские горелки, но без трубок для их подключения. По мере того как старые трубки выходят из строя, остается все меньше и меньше исправных горелок, хотя на полках непрерывно растет запас новых.

О дальнейшем повышении Изъяна вопроса не встает. *И высшая должность, какую он сумел занять, это та, для которой он абсолютно некомпетентен.*

На более высоких ступенях иерархической лестницы

Б. Прост был компетентным студентом и заведующим кабинетом. Получив очередное повышение, он занял должность заместителя директора. На этом посту хорошо ладил с учителями, учащимися и их родителями и в целом показал себя достаточно компетентным. Он был вновь повышен и стал директором.

До тех пор ему никогда не приходилось вступать в непосредственный контакт с членами попечительского школьного совета или же с окружным школьным инспектором. Вскоре обнаружилось, что ему недостает такта, необходимого для работы с этими высокопоставленными лицами. *Он,* например, *заставил окружного инспектора ждать,* пока улаживал спор двух детей. Заменяя в классе заболевшего учителя, *он пропустил заседание комиссии по пересмотру учебной программы,* созванное помощником окружного инспектора.

Он тратил так много сил на руководство школой, что *у него не хватало энергии на участие в работе всевозможных обществ и комитетов.* Он отказался стать главой программного комитета Родительско-учительской ассоциации, президентом Лиги борцов за улучшение общественных нравов и консультантом Комитета противников непристойностей в литературе.

Его школа потеряла общественную поддержку, а он сам — благосклонность окружного начальства. Общественность и начальство стали смотреть на Проста как на некомпетентного директора. Когда освободился пост помощника окружного инспектора, попечительский школьный совет отказался рекомендовать Проста на эту должность.

ЛОУРЕНС ДЖ. ПИТЕР,
РЕЙМОНД ХАЛЛ
ПРИНЦИП ПИТЕРА

Так он остается и останется до пенсии недовольным жизнью и своей должностью некомпетентным директором.

Властный Р. Таран показал себя вполне компетентным учителем, заведующим кабинетом, заместителем директора и директором. Он был назначен на должность помощника окружного инспектора школ.

Прежде ему приходилось лишь толковать политику попечительского школьного совета и эффективно проводить ее в жизнь в собственной школе. Теперь, став помощником окружного инспектора, он должен был принимать участие в обсуждении этой политики в совете, придерживаясь демократических процедур.

Однако Тарану не по вкусу демократические методы. Он подчеркивает свое специальное образование. Он наставляет членов совета точно так же, как он наставлял школьников, когда был классным руководителем. Он пытается помыкать советом, как в бытность свою директором помыкал подчиненными.

Теперь совет считает Тарана некомпетентным помощником окружного инспектора. И он может не ждать повышения.

Рано проявив свои способности, Дж. Транжир показал себя последовательно компетентным учителем английского языка, компетентным заведующим кабинетом, компетентным заместителем директора и компетентным директором. Затем в течение шести лет он вполне квалифицированно выполнял обязанности помощника окружного инспектора. Благодаря своему патриотизму, дипломатичности и мягкой обходительности он, находясь на этом месте, пользовался всеобщими симпатиями. Транжир был назначен окружным инспектором. На этом посту ему пришлось заняться финансовыми вопросами, в которых он не разбирался.

С начала своей учительской карьеры Транжир не имел дела с деньгами. Его жалованьем распоряжалась жена: она оплачивала все счета и выдавала ему каждую неделю небольшую сумму на карманные расходы.

И теперь обнаружилась полная некомпетентность Транжира во всем, что касалось финансов. Он закупил большое число обучающих машин у весьма сомнительной фирмы, которая обанкротилась, так и не создав для машин нужных программ. Он поставил в каждом классном помещении по телевизору, хотя единственными принимавшимися в этой местности учебно-образовательными программами были программы для старших классов. Так Дж. Транжир достиг своего уровня некомпетентности.

Другие пружины продвижения

Предыдущие примеры типичны для так называемого «производственного повышения». Существует и другой путь продвижения — «административное повышение». Типичным примером последнего может служить карьера мисс П. Послогам.

Мисс Послогам, которая была компетентной студенткой и отличной учительницей начальной школы, назначили методистом младших классов. Теперь она должна учить не детей, а учителей. *Она,* однако, *по-прежнему пользуется методами, которые дают хорошие результаты при обучении детей.*

Обращаясь к учителю или группе учителей, она говорит медленно и отчетливо. Она пользуется главным образом самыми простыми, бытовыми словами. Каждую мысль она объясняет несколькими способами и как можно доходчивее. С ее лица никогда не сходит ласковая улыбка.

Учителей раздражает ее напускное бодрячество и покровительственный тон. Их неудовольствие приняло столь острую форму, что они даже не пытаются следовать ее указаниям, а значительную часть времени тратят на подыскивание предлогов, чтобы эти указания не выполнять.

Мисс Послогам проявила полную некомпетентность в общении с учителями начальных классов. Поэтому для нее исключена возможность дальнейшего продвижения, и *она останется методистом начальной школы, то есть на своем уровне некомпетентности.*

Судите сами

Вы можете найти подобные примеры в любой иерархии. Поглядите на своих сослуживцев и найдите среди них людей, достигших своего уровня некомпетентности. Вы обнаружите, что в любой иерархии *сливки поднимаются наверх до тех пор, пока не скисают* Посмотрите в зеркало и спросите...

Нет! Вы предпочтете спросить: «А нет ли исключений из Принципа? Нельзя ли как-нибудь обойти его действие?»

Обсуждению этого вопроса я посвящаю последующие главы.

МНИМЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Многие из тех, кого я знакомлю с Принципом Питера, не соглашаются признать его справедливость. Они упорно ищут, а иногда, по их мнению, и находят неувязки в моей иерархической структуре. Помня об этом, я хочу здесь высказать предостережение: *не дайте себя обмануть мнимым исключениям.*

МНИМОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ № 1: УДАРНАЯ ВОЗГОНКА

«А что вы скажете о повышении Уолта Затора? Он был безнадежно некомпетентен, тормозил все дело, а потому начальство ре-

шило *выкинуть его наверх,* чтобы убрать с дороги».

Мне приходится выслушивать такие вопросы довольно часто. Давайте же рассмотрим явление, которое я назвал *ударной возгонкой.* Разве Затор в результате повышения сменил место, где он был некомпетентен, на место, где он стал компетентен? Вовсе нет. Его просто перевели с должности, на которой он не приносил пользы, на другую, где он ее тоже приносить не будет. Возложена ли теперь на него большая ответственность? Нет. Делает ли он сейчас больше, чем прежде? Нет.

Ударная возгонка представляет собой псевдоповышение. Одни служащие — типа Затора — искренне верят, что они получили настоящее повышение, другие отдают себе отчет в истинном положении вещей. Однако в основном смысл псевдоповышения — *обмануть тех, кто не входит в данную иерархию.* Если эта цель достигнута, проделанный маневр можно считать успешным.

Но опытного иерархиолога провести невозможно. Иерархиологически настоящее повышение только то, которое поднимает повышаемого *над данным уровнем компетентности.*

Каков же результат успешной ударной возгонки? Предположим, что Брыкни, владелец фирмы, где служит Затор, все еще достаточно компетентен. Тогда, перемещая Затора, он достигает трех целей:

1) Он маскирует свой прошлый промах. Признать, что Затор некомпетентен, значит дать повод подумать: «Чем повышать Затора в последний раз, Брыкни мог бы сразу понять, что Затор с этой работой не справится». Ударная же возгонка *оправдывает предшествующее повышение* (в глазах служащих и профанов, но ни в коем случае иерархиолога).

2) Он поддерживает в своих служащих полезный оптимизм. Хотя бы некоторые из них обязательно подумают: «Если уж Затор получил повышение, то и мне оно обеспечено». *Один случай ударной возгонки служит морковкой на палке для многих других служащих.*

3) Он укрепляет основы иерархии. Хотя Затор и некомпетентен, *его нельзя уволить,* ведь Затор настолько осведомлен о делах Брыкни, что может оказаться опасным оруднем в руках конкурирующей фирмы.

Общее явление

Иерархиология трактует, что на административном уровне каждой процветающей организации набирается масса сухостоя, состоящего из людей, выдвинутых ударной возгонкой, и потенциальных кандидатов на ударную возгонку. В некой известной фирме, производящей бытовые приборы, имеется уже двадцать три вице-президента.

Парадоксальный результат

Радио-телевизионная корпорация «Килогерц» знаменита творческими достижениями своей студии. Эти успехи стали возможными в результате ударной возгонки. Корпорация недавно перевела всех своих лишенных творческой жилки, непроизводительных и просто ненужных служащих в великолепный Главный административный комплекс, который обошелся ей в три миллиона долларов. В этом административном комплексе нет ни телевизионных камер, ни микрофонов, ни передатчиков, и вообще до ближайшей радиостанции от него много-много миль. Люди, работающие в Главном административном комплексе, всегда безумно заняты, составляя отчеты, рисуя схемы и назначая важные совещания друг с другом.

Недавно было объявлено о перестройке системы управления «Килогерца» в целях достижения большей координации. Четыре вице-президента были заменены восемью вице-президентами и заместителем президента по вопросам координации.

Таким образом, с помощью ударной возгонки можно *избавить тружеников от трутней, надежно отделив одних от других.*

МНИМОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ № 2: ПАС В СТОРОНУ

Пас в сторону представляет собой другой вид псевдопродвижения. Без повышения в должности (иногда даже без повышения жалованья) некомпетентный служащий получает *новый и более длинный титул* и переводится в кабинет, расположенный в удаленной части служебного здания.

Р. Чурбан, работая в фирме «Канцпринадлежности» управляющим конторой, проявил свою полную некомпетентность. Пас в сторону, сохранивший за ним его жалованье, превратил его в координатора межотдельской связи, контролирующего подшивку вторых экземпляров внутрифирменной служебной переписки.

Картотека автомобилестроительной промышленности, случай № 8. Фирма «Капот» разработала технику паса в сторону более детально, чем большинство прочих иерархий. Фирма имеет отделения по всей стране, и, ознакомившись с положением вещей, я обнаружил, что двадцать пять членов ее администрации были сосланы в провинцию в качестве региональных вице-президентов.

Фирма приобрела мотель и отправила управлять им начальника одного из отделов.

Другой лишний вице-президент уже три года трудится над историей фирмы. Все это заставляет меня прийти к выводу, что *чем иерархия крупнее, тем легче ей осуществить пас в сторону.*

Вершина в невесомости. Весь штат небольшого государственного ведомства в количестве 82 человек был полностью влит в другое ведомство. В результате ди-

---

ректор этого ведомства с жалованьем в 16 000 долларов остался *без подчиненных и без дела.* Здесь мы наблюдаем редкое явление — иерархическая пирамида, состоящая из одной вершины, висит в воздухе, лишенная основания. Эту интересную ситуацию я называю *вершиной в состоянии невесомости.*

МНИМОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ № 3: ИНВЕРСИЯ ПИТЕРА

Мой приятель путешествовал по стране, где продажа алкогольных напитков является государственной монополией. Непосредственно перед возвращением домой он отправился в государственный винный магазин и спросил, сколько бутылок вина может вывезти из страны один человек.

— Вам придется узнать это у таможенника на границе,— ответил продавец.

— Но я хочу знать *сейчас,*— сказал мой приятель,— чтобы закупить столько, сколько разрешено, и ни бутылкой больше.

— Это определяется таможенными правилами,— возразил продавец.— К нам они не имеют никакого отношения.

— Но *вы* ведь конечно *знаете* эти правила,— сказал турист.

— Конечно,— сказал продавец,— но мы не имеем никакого отношения к таможне, а потому я не могу их вам сообщить.

Вероятно, и вам иногда отвечали: «Мы таких справок не даем». Служащий знает, как можно разрешить ваше затруднение, вы знаете, что он это знает, однако по той или иной причине он ничего вам не скажет.

Однажды, когда я стал профессором в одном новом университете, университетская бухгалтерия вручила мне специальное удостоверение, дающее право получать деньги по чекам в кассе университетского книжного магазина. Я отправился в этот магазин, предъявил мое новое удостоверение и представил чек Американского бюро путешествий на двадцать долларов.

— Мы выплачиваем деньги только по чекам бухгалтерии и чекам, выданным частными лицами,— сказал кассир книжного магазина.

— Но этот чек ведь лучше чека частного лица,— сказал я.— Он даже лучше чека бухгалтерии. Я ведь могу получать по нему деньги в любом магазине и без предъявления специального удостоверения. Чек бюро путешествий ничуть не хуже наличных.

Так как последовавшая непродолжительная дискуссия ни к чему не привела, я попросил разрешения переговорить с управляющим. Он выслушал меня терпеливо, но с отсутствующим выражением лица и затем решительно заявил:

— Мы не выплачиваем денег по чекам бюро путешествий.

Вы слышали о больницах, которые тратят драгоценное время на заполнение пространных анкет, прежде чем помочь жертве несчастного случая. Вы слышали о сестре, которая будит больного словами: «Проснитесь! Вам надо принять снотворное».

Возможно, вы читали об ирландце Майкле Патрике О'Брайене, которого одиннадцать месяцев продержали на пароме, курсирующем между Гонконгом и Макао. У него не было необходимых документов, чтобы сойти на берег ни на одном, ни на другом конце переправы, и никто не хотел ему их выдать.

Мелкие чиновники, не наделенные правом принимать решения, с маниакальной настойчивостью требуют точнейшего заполнения всевозможных анкет вне зависимости от их пользы. И не допускают ни малейшего отклонения от привычного стандарта.

Профессиональный автоматизм

Этот тип поведения я называю *профессиональным автоматизмом.* Профессиональный автомат твердо знает, что средство важнее цели: бумаги важнее того, ради чего они были первоначально созданы. Он уж больше не видит в себе человека, служащего обществу. Он рассматривает общество как сырье, необходимое для существования его самого, анкет, бюрократических процедур и иерархии.

С точки зрения его клиентов или жертв, профессиональный автомат абсолютно некомпетентен, так что несомненно вы с удивлением спросите: *«Каким образом столь большое число профессиональных автоматов продвигается по службе? Быть может, на них не распространяется Принцип Питера?»*

Чтобы ответить на этот вопрос, я поставлю другой: «Кто определяет уровень компетентности?»

Вопрос стандартов

Компетентность служащего определяется *не посторонними лицами, а теми, кто стоит выше его на иерархической лестнице.* Если его начальник все еще находится на уровне компетентности, он способен оценить деятельность своих подчиненных по полезности выполняемой ими работы, например, по качеству медицинского обслуживания или использованию информации, производству сосисок или ножек для столов — то есть *по результатам их труда.*

Если же начальник достиг своего уровня некомпетентности, он обычно судит о подчиненных по тому, насколько точно они соблюдают формальный комплекс своих обязанностей, и компетентность для него — синоним строгого соблюдения всех правил, инструкций и процедур. А потому он особенно ценит исполнительность, аккуратность, почтительность к старшим по должности и умение писать отчеты и вести документацию. Коротко говоря, такой начальник оценивает *усердие* подчиненного.

«На Утёсмена можно положиться».

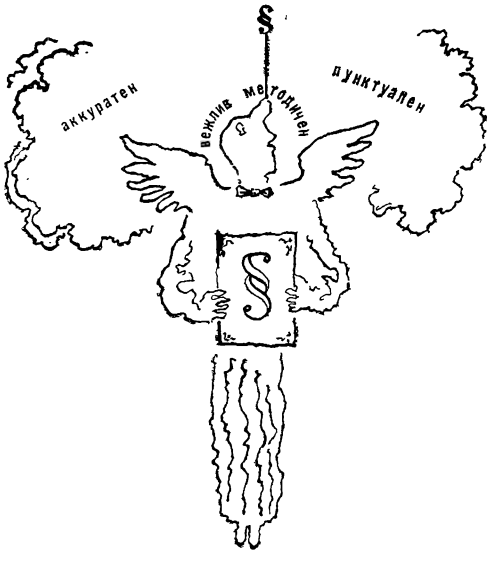
«Благодаря Смазингу работа в конторе идет как по маслу».

«Рутинерс методичен и пунктуален».

«Мисс Робот—надежный, добросовестный работник».

«Миссис Приветли хорошо ладит с сослуживцами».

В таких условиях выше эффективного исполнения работы ценятся те качества со-



трудника, благодаря которым он хорошо вписывается в иерархию. Это и есть *инверсия Питера.* Профессиональный автоматизм можно определить как «извращение Принципа Питера». Выворачивается наизнанку взаимоотношение между средством и целью.

Теперь вы можете понять, чем руководствовались в своих действиях профессиональные автоматы, которые были описаны выше. Если бы продавец винного магазина сразу же объяснил туристу таможенные правила, тот бы подумал: «Как он любезен». Но директор магазина воспринял бы поступок продавца как нарушение правил.

Если бы кассир книжного магазина принял мой чек, выданный бюро путешествий, я был бы ему благодарен, однако директор магазина сделал бы ему выговор за превышение полномочий.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АВТОМАТОВ

Как мы видели, профессиональный автомат практически не способен к самостоятельным действиям. Он *всегда подчиняется и никогда не решает.* С точки зрения иерархии это является признаком компетентности, и профессиональный автомат получает повышение. Он будет продвигаться до тех пор, пока какая-либо случайность не забросит его на должность, где ему потребуется принимать решения[1]. Там он достигнет своего уровня некомпетентности.

Следовательно, профессиональный автоматизм, как бы он ни мешал вам жить, не является исключением из Принципа Питера. Как я часто говорю моим студентам: «Компетентность, подобно истине, красоте и контактным линзам, обретается в глазах ценителя».

МНИМОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ № 4: ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ПРОПОЛКА

Сейчас я рассмотрю случай, который неподготовленному наблюдателю, возможно, покажется менее логичным, — случай, когда блестящего работника не только не продвигают по службе, но иногда и увольняют.

Разрешите мне привести несколько примеров, затем я поясню каждый из них.

В городе Просперити каждый новый школьный учитель проходит годичный испытательный срок. К. Блеск в университете глубоко и серьезно изучал родной язык и литературу. Став учителем, он в первый же испытательный год сумел привить своим ученикам горячий интерес к классической и современной литературе. Некоторые из них записались в городскую публичную библиотеку, другие стали рыскать по книжным и букинистическим магазинам. Они были так увлечены, что прочитали много книг, отсутствовавших в списке литературы, рекомендованной для внеклассного чтения школьникам города Просперити.

Вскоре к директору школы начали являться разгневанные родители, а затем его посетили делегации двух религиозных сект — все они жаловались, что дети читают «нежелательные» книги. Блеску было сказано, что в следующем учебном году его услуги не понадобятся.

Учитель Честен в течение испытательного срока преподавал в классе для детей с замедленным умственным развитием. Хотя его и предупреждали, что эти дети многого усвоить не в состоянии, он продолжал их учить всему, чему мог. В конце года на испытаниях по чтению и арифметике многие из этих детей показали лучшие знания, чем дети из обычных классов. Когда Честену

[1] Имеются два вида второстепенных решений, которые, по моим наблюдениям, иногда принимают получившие повышение профессиональные автоматы, а именно:

а) решения, обеспечивающие более точное соблюдение существующих правил;

б) решения, позволяющие создать новое правило, включающее случаи, не предусмотренные существующими правилами.

Такая самостоятельная деятельность реально закрепляет автоматизм.

вручили уведомление об увольнении, ему сказали, что он грубо пренебрегал нанизыванием бус, песочными куличами и прочими занятиями, прививающими трудовые навыки умственно отсталым детям. Он не сумел израсходовать всю глину для лепки и все цветные мелки, выделенные специально для таких классов городским школьным управлением.

Мисс Бобер, проходившая испытательный срок в начальной школе, отличалась исключительной одаренностью. Не имея опыта, она применила на практике все то, чему ее учили в колледже относительно индивидуального подхода к ученикам. В результате ее наиболее способные ученики за один год прошли программу двух-трех классов.

Директор очень любезно объяснил мисс Бобер, почему ее нельзя оставить в школе. Она, конечно, без труда поймет, что нарушила систему обучения, пренебрегла утвержденной программой и поставила в тяжелое положение детей, затруднив им процесс обучения в следующем году. Она нарушила официальную систему выставления отметок и распределения учебников, а кроме того, осложнила работу учителя, которому в следующем году придется иметь дело с учениками, уже усвоившими весь программный материал.

Объяснение парадокса

Эти примеры иллюстрируют тот факт, что для большинства иерархий *сверхкомпетентность гораздо вреднее некомпетентности.*

Обычная некомпетентность, как мы уже видели, не служит причиной увольнения, она лишь преграда для повышения. Сверхкомпетентность часто приводит к увольнению, поскольку она *подрывает иерархию* и, таким образом, нарушает *первую заповедь* всякой иерархической системы — *иерархия должна быть сохранена любой ценой.*

Вы помните, что в предыдущей главе я рассматривал три группы служащих: некомпетентных, ограниченно компетентных и компетентных. Тогда ради простоты я отбросил два крайних участка кривой распределения, исключив тем самым две группы служащих. Ниже приведена полная кривая.

Служащие, принадлежащие к двум крайним группам — сверхкомпетентным и сверхнекомпетентным,— в равной степени подвергаются изгнанию. Таких обычно увольняют вскоре после того, как их наняли, и по одной и той же причине: их деятельность подрывает иерархию. Отбрасывание крайностей называется *иерархической прополкой.*

Несколько страшных примеров

Я уже описал судьбу нескольких сверхкомпетентных служащих. Здесь я приведу несколько примеров сверхнекомпетентности.

Мисс Дерзье была принята на работу продавщицей в отдел бытовых приборов универсального магазина Ломарка. С самого начала она продавала товаров на меньшую сумму, чем средняя продавщица. Одно это не могло послужить основанием для увольнения, поскольку многие другие продавщицы также не давали средней выручки. Но мисс Дерзье вела учет из рук вон плохо: она нажимала не те клавиши кассового аппарата, принимала кредитные карточки, выданные конкурентами, и — что еще хуже,— заполняя кредитные квитанции, вставляла в машинку копирку обратной стороной. Затем она ухитрялась отдавать клиенту первый экземпляр, так что он уходил с двумя экземплярами квитанции (один с лицевой, а второй с обратной стороны бланка), а сама она оставалась ни с чем. Но хуже всего было то, что она грубила своему непосредственному начальству. Ее уволили через месяц.

У. Кирк, протестантский священник, придерживался радикальных взглядов на природу бога, действенность причастия, второе пришествие Христа и загробную жизнь. Эти взгляды резко расходились с официальными доктринами его секты. Следовательно, Кирк был уже некомпетентен как духовный наставник своих верующих прихожан. Он, естественно, не получал повышения, но тем не менее сохранял свой пост в течение ряда лет. Затем он написал книгу, в которой осуждал заевшуюся церковную иерархию и высказывал веские доводы в пользу обложения налогом всех церквей. Он утверждал, что церковь должна включить в список осуждаемых пороков ряд социальных зол вроде наркомании, расизма и т. п. Одним прыжком он преодолел расстояние, отделявшее его некомпетентность от сверхнекомпетентности, и с ним тотчас расстались.

Для изгоняемого сверхнекомпетентного работника характерны следующие две особенности:

1) Он не способен приносить пользу,
2) Он не способен поддерживать внутреннюю устойчивость иерархии.

Не подлежите ли прополке и вы?

Мы видим, что и сверхкомпетентность и сверхнекомпетентность одинаково нетерпимы для типичной иерархии.

От всех других служащих сверхкомпетентные и сверхнекомпетентные отличаются лишь тем, что только они подвергаются увольнению.

Нет ли у вас желания перебраться в другое место? Отвечает ли ваше теперешнее положение на военной службе, в школе или в фирме вашим устремлениям или же вы являетесь жертвой обстоятельств, а может быть, уступили семейному давлению? Поступая расчетливо и решительно, вы *тоже* сможете представить себя либо сверхкомпетентным, либо сверхнекомпетентным.

МНИМОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ № 5: ОТЦОВСКИЙ ЛИФТ

Некоторые владельцы старомодных семейных предприятий имели обыкновение обращаться со своими сыновьями как с рядовыми служащими. Мальчик начинал с нижней ступени иерархической лестницы и продвигался по ней вверх в соответствии с Принципом Питера. Тут мы видим, как любовь хозяина к своей иерархии, его желание сохранить ее эффективной и прибыльной, а также его суровая беспристрастность брали верх над отцовским чувством.

В наши дни, однако, хозяин дела чаще ставит сына сразу на высокую ступень в надежде, что со временем тот возьмет в свои руки верховное командование или, как говорят, «наденет отцовские сапоги».

Этот тип продвижения я называю *отцовским лифтом.* В этой категории имеются два основных способа.

Метод отцовского лифта № 1

Чтобы освободить место для протеже, можно уволить служащего, который это место занимает, или переместить его, воспользовавшись пасом в сторону или ударной возгонкой, но это может возбудить заметное недоброжелательство к новичку.

Метод отцовского лифта № 2

Для протеже создается новая должность с внушительным титулом.

Пояснение

Отцовский лифт в малом масштабе иллюстрирует обстановку, которая наблюдается в классовом обществе, где привилегированные лица вступают в иерархию, минуя классовые барьеры, не начиная карьеру снизу.

Отцовский лифт сегодня

В настоящее время семейная фирма, управляемая одним человеком, который обладает властью предоставлять своим сыновьям высокое положение в ее рамках,— это величайшая редкость. Тем не менее отцовский лифт продолжает действовать и сегодня, отличаясь от прежнего лишь тем, что протеже совсем не обязательно должен иметь родственные отношения с тем, кто его двигает.

Вот типичный тому пример.

Картотека отцовского лифта, случай № 7. А. Чистовер, глава отдела здравоохранения и санитарии муниципалитета города Просперити в конце бюджетного года неожиданно обнаружил, что часть выделенных его отделу средств осталась неизрасходованной. В городе не было эпидемий; река Просперити, изменив своим привычкам, не выходила из берегов и не забила илом городскую канализационную систему; оба его заместителя (один по здравоохранению, другой по санитарии) были добросовестными и компетентными людьми, со склонностью к экономии.

Таким образом, выделенные средства не были израсходованы. Чистовер сообразил, что, если он срочно ничего не предпримет, его бюджет в следующем году будет урезан. Он решил завести себе третьего заместителя и поручить ему ведение кампании против захламления улиц и за преображение родного города. На эту должность он пригласил У. Пиквика, молодого выпускника Высшей школы управления промышленными предприятиями, в которой когда-то учился и сам.

Пиквик в свою очередь создал одиннадцать новых должностей: старшего инспектора по борьбе с захламлением, шесть инспекторов по мусору, трех секретарш и специалиста по рекламе.

Н. Вордсворт, специалист по рекламе, организовал конкурс на лучшее сочинение среди школьников и конкурс на лучший плакат среди взрослых, а также заказал два агитационных кинофильма, один — направленный против захламления города, а другой — пропагандирующий средства украшения города. Фильмы должен был снимать независимый продюсер, который вместе с Вордсвортом и Пиквиком подвизался в университетском драматическом обществе.

Все образовалось наилучшим образом: директор Чистовер не уложился в свой бюджет, и ему без труда удалось получить более крупные ассигнования на следующий бюджетный год.

Современная замена отцов

В наши дни ситуации, соответствующие отцовскому лифту, создает государство. Федеральный бюджет предусматривает проведение многих новых программ и выделяет средства на войну с загрязнением воздуха и воды, на войну с бедностью, на войну с безграмотностью, на войну с одиночеством, на войну с внебрачными связями, на исследования культурно-оздоровительного потенциала межпланетных путешествий для интеллектуально ущемленных людей.

Раз средства выделены, необходимо найти способ их истратить. Создаются новые должности: координатор программы по борьбе с бедностью, советник по подбору литературы, руководитель проекта улучшения благосостояния граждан пенсионного возраста и т. п. И кто-то занимает эти должности, кто-то влезает в отцовские сапоги, кто-то носит их.

Принцип остается в силе

Изобретенные должности занимаются в полном соответствии с Принципом Питера.

ЛОУРЕНС ДЖ. ПИТЕР,
РЕЙМОНД ХАЛЛ
ПРИНЦИП ПИТЕРА

Пока в отцовские сапоги всунуты чьи-то ноги, не играет роли, компетентен или некомпетентен их хозяин. Если он компетентен, то со временем снимет эти сапоги и обретет уровень некомпетентности где-нибудь повыше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мнимые исключения на самом деле *таковыми не являются.* Принцип Питера распространяется на всех служащих во всех иерархиях.

РУКА И ПРОДВИЖЕНИЕ

Мы показали непреложность и универсальность Принципа Питера. Теперь вы, возможно, захотите узнать, как долго вам придется взбираться по иерархической лестнице. Вам помогут эта и следующая главы. Итак, начнем с ускоренного подъема, когда вас тянет Рука.

ЧТО ТАКОЕ РУКА?

Рука — это человек, стоящий в организации над вами и связанный с вами родством (кровным или через брак) или же знакомством.

Непопулярность имеющих Руку

Никому из нас не нравятся повышения, обеспеченные Рукой,— если она тянет не нас, а *других.* Коллеги не любят тех, кто поднялся таким путем, и обычно выражают свою неприязнь замечаниями о его некомпетентности.

Вскоре после того, как У. Родич стал директором школы в Просперити, его зять О. Глох был выдвинут на пост инспектора музыкальных классов. Некоторые учителя критиковали это назначение, указывая, что Глох *туг на ухо.* Они говорили, что пост инспектора по праву старшинства принадлежит Д. Стону.

Зависть не знает логики. Д. Стон за долгие годы наслушался столько школьных хоров и оркестров, что возненавидел музыку и детей. Очевидно, что инспектор из него вышел бы никак не более компетентный, чем Глох.

Следовательно, негодование учителей было вызвано совсем не тем, что Глох некомпетентен, а нарушением освященной традицией системы старшинства.

Служащие иерархии в действительности не имеют ничего против некомпетентности (парадокс Питера). Закулисными сплетнями о некомпетентности они просто маскируют свою зависть к коллеге, имеющему Руку.

КАК ОБЗАВЕСТИСЬ РУКОЙ?

Следует провести сравнительное изучение карьер многих служащих, имеющих Руку, и карьер служащих, которые, не уступая первым в способностях, такой Руки не имеют. Результаты моего исследования можно свести к пяти практическим советам для тех, кто хотел бы воспользоваться Рукой.

1. Найдите Патрона

Патрон—это человек, стоящий на иерархической лестнице выше вас и способный помочь вам подняться. Иногда приходится хорошенько потрудиться, прежде чем выяснится, кто обладает, а кто не обладает реальной силой. У вас может создаться представление, что скорость вашего продвижения зависит от характеристик, составляемых вашим непосредственным начальником. Возможно, так оно и есть. Однако, если более высокому начальству известно, что ваш непосредственный начальник уже достиг своего уровня некомпетентности, оно может и *не считаться* с его рекомендациями, независимо от того, благоприятны они для вас или нет. Так что копайте глубже, и вы обрящете.

2. Стимулируйте Патрона

«Патрон, лишенный стимула,—это не Патрон». Позаботьтесь, чтобы ваш Патрон *сам что-то выигрывал,* помогая вам продвинуться по службе, или *что-то терял,* не делая этого.

Проводя свое исследование, я накопил множество примеров стимулирования — и очень изящных, и чрезвычайно убогих. Я не буду приводить их здесь. Пусть, следуя этому совету, читатель подвергнется своеобразной проверке—проверке, которую я называю *мостом Питера.* Если вы не сможете пройти по нему своими собственными силами, то это значит, что вы уже достигли своего уровня некомпетентности и никакой мой совет не способен вам помочь.

3. Выбирайтесь из-под застрявшего на должности

«Нет дороги лучше открытой дороги». Представьте себе, что вы находитесь в плавательном бассейне и пытаетесь взобраться на вышку для прыжков в воду. Добравшись до середины лесенки, вы обнаруживаете, что путь наверх перекрыт так называемым любителем прыжков, у которого сдали нервы. Закрыв глаза, он в полном отчаянии повис на поручнях. Он не свалится, но и не станет подниматься вверх, а вы не можете обойти его. Подбадривающие возгласы вашего приятеля, который уже взобрался на вышку, в такой ситуации не помогут.

Сходное положение возникает и в иерархии, когда ни ваши собственные усилия, ни рука вашего Патрона не возведут вас на следующую ступеньку служебной лестницы, которая занята человеком, достигшим своего уровня некомпетентности (застрявшим на должности). Такое неприятное положение я называю *затором* Питера.

Но вернемся к плавательному бассейну. Чтобы достичь верхней площадки вышки, вам нужно спуститься с лесенки, где застрял горе-спортсмен, перейти к другой лесенке и без помех взобраться наверх.

Чтобы в подобной же ситуации продвинуться по служебной лестнице, вам нужно выбраться из-под застрявшего на должности и войти в другой, свободный для продвижения канал. Это я называю *обходом Питера.*

Прежде чем потратить время и силы на обход Питера, непременно убедитесь в том, что вы в самом деле уже подошли к затору Питера, то есть что над вами действительно человек, застрявший на должности. Если он все же имеет шансы на повышение, то вам незачем маневрировать. Запаситесь терпением и немного подождите; его повысят, путь откроется, и рука вашего Патрона сделает свое дело.

4. Будьте гибким

То, что любой Патрон может сделать для вас, имеет свой предел. Так, опытный альпинист может подтянуть слабого товарища лишь до своего уровня. Затем, прежде чем он сможет снова подтянуть второго, первый должен будет сам взобраться повыше.

Однако если Патрон *не способен подняться выше,* тогда тот, кого тянут, должен найти другого Патрона, еще не достигшего своего потолка. Так что будьте готовы в нужный момент уйти к другому Патрону, более высокого ранга, чем первый. «Нет лучшего Патрона, чем новый Патрон».

5. Заручитесь поддержкой нескольких Патронов

«Сила, с которой тянут несколько Патронов, равна сумме их независимых усилий, умноженной на общее число Патронов» (теорема Халла). Эффект умножения возникает в связи с тем, что, разговаривая между собой, Патроны постоянно укрепляют друг в друге убеждение в ваших достоинствах и свою решимость сделать кое-что для вас. Когда Патрон один, этот эффект, естественно, не возникает. «Будет много Патронов, будет и повышение».

ЗАЧЕМ ЖДАТЬ? КАРАБКАЙТЕСЬ!

Следуя этим советам, *вы можете обзавестись Рукой.* Сильная Рука ускорит ваше продвижение наверх по ступеням иерархии. Это поможет вам добраться до вашего уровня некомпетентности гораздо скорее.

ЛОКТИ И ПРОДВИЖЕНИЕ

Теперь посмотрим, как на скорость продвижения служащего может повлиять сила его Локтей.

В вопросе о роли Локтей существовала серьезная путаница, главным образом из-за книг Олджера[1], который упорно преувеличивал эффективность Локтей как средства продвижения по службе. Можно лишь сожалеть о том ущербе, который своим ненаучным рвением и полными заблуждений книгами нанес Олджер иерархиологии, задержав ее развитие на годы.

Роль Локтей, по-видимому, переоценивал и Пил[2].

[1] Олджер, Горацио (1832 — 1899). «Путь наверх, медленный, но верный» и многие другие книги того же автора.

[2] Пил. Норман В. (1898). «Сила позитивного мышления», Нью-Йорк, 1952 и многие другие книги того же автора.

Разоблаченное заблуждение

В сложившихся организациях, по моим наблюдениям, сдерживающее давление фактора старшинства сводит к нулю выносящее вверх усилие Локтей. Это наблюдение, кстати, доказывает, что Рука сильнее Локтей. Руке часто удается преодолеть сопротивление фактора старшинства, Локтям — очень редко. Одни лишь Локти не способны помочь вам одолеть затор Питера. Одни лишь Локти не позволят успешно совершить обход Питера. Обход без помощи Руки вызовет лишь критические замечания ваших начальников, которые будут звучать примерно так: «Чем бы он ни занимался, надолго его не хватает», «Никакой усидчивости» и т. п.

Не могут Локти повлиять и на достижение вашей конечной остановки. Это объясняется тем, что продвижение всех служащих, и агрессивных и робких, подчиняется Принципу Питера, так что раньше или позже каждый из них займет место на своем уровне некомпетентности.

Характерные черты и признаки Локтей

Локти иногда проявляют себя гипертрофированным интересом к занятиям на всевозможных летних курсах и курсах по повышению квалификации. (В отдельных случаях, особенно в малых иерархиях, такая дополнительная подготовка может повысить компетентность настолько, что произойдет некоторый рост скорости продвижения. Этот эффект совершенно незаметен в больших иерархиях, где фактор старшинства сказывается много сильнее.)

Опасности, подстерегающие энергичные Локти

Учеба и самоусовершенствование могут иметь и отрицательный эффект, если рост компетентности ведет к тому, что для достижения своего уровня некомпетентности служащему потребуется преодолеть больше ступенек организационной лестницы.

Предположим, например, что Б. Коммивояжер, квалифицированный агент по продаже товаров фирмы «Просперити матрац», ценой прилежного труда овладел иностранным языком. Теперь весьма вероятно, что ему придется пройти через одну или несколько должностей в заграничных отделах фирмы, прежде чем он займет пост управляющего отделом сбыта и окажется на своем уровне некомпетентности.

Окончательный вывод

По моему мнению, положительные и отрицательные следствия учебы и специальной тренировки гасят друг друга. То же можно сказать и о других приемах энергичных Локтей, например о таком: приходить на работу спозаранку и засиживаться на ней допоздна. Восхищение, вызываемое подобными полумакиавеллистическими хитростями у одних коллег, будет в конечном счете нейтрализоваться нескрываемым отвращением других.

Исключение, подтверждающее правило

Изредка, правда, натыкаешься на служащего с исключительно энергичными Локтями, которому честным или нечестным путем удается вытеснить застрявшего на должности и таким образом занять место на следующей ступеньке несколько скорее, чем это произошло бы при естественном ходе событий.

В. Шекспир дает интересный тому пример в «Отелло». В первой сцене первого действия честолюбивый Яго жалуется на то, что повышение по службе определяет Рука, а не строгие правила старшинства:

> Что делать! Это зло военной службы,
> По дружбе, по запискам производство —
> Не так, как прежде, когда второй за первым
> Шел по порядку.

Должность, которой домогался Яго, вместо него получает Кассио. Яго замышляет убить Кассио и одновременно скомпрометировать его в глазах Отелло, их начальника.

План почти удался, но жена Яго Эмилия — неисправимая болтушка:

> Пусть небо, люди, черти, все они
> Стыдят меня — я буду говорить.

Она разоблачает происки мужа, и Яго так и не получает страстно желаемого повышения.

Судьба Яго учит нас, что *душой успеха Локтей является абсолютное соблюдение тайны.*

Однако столь энергичные Локти встречаются довольно редко, так что рассказанное не может заметно изменить мою прежнюю оценку Локтей.

Опасное заблуждение

Сила Локтей столь часто переоценивается по двум причинам. Первая заключается в иррациональном убеждении, будто человек, работающий Локтями энергичнее других, заслуживает более быстрого продвижения, чем средний служащий.

Это соображение не имеет под собой никакой научной основы и является заблуждением, которое я называю *комплексом Олджера* [1].

Медицинский аспект

Вторая причина связана с тем, что для непрофессионалов сила Локтей представляется большей, чем она есть на самом деле, поскольку *у многих лиц с энергичными Локтями наблюдается «синдром псевдоповы-*

[1] См. стр. 211.

шения». Они жалуются на такие недуги, как нервное истощение, язва желудка и бессонница. Однако язва — этот символ административного успеха — может быть и результатом лишь одной энергичной работы Локтями. Коллеги, не понимающие существа дела, иной раз заключают, что перед ними больной с явным синдромом конечной остановки (см. соотв. гл.), и решают, что он уже достиг своего уровня некомпетентности.

На самом же деле у таких людей потенциально впереди еще несколько более высоких должностей и несколько лет продвижения к своему уровню некомпетентности.

Важное различие

Различие между синдромом псевдоповышения и синдромом конечной остановки называется *нюансом Питера.* Чтобы не запутаться при анализе таких случаев, советуем вам задать себе вопрос: «Выполняет ли данный служащий какую-либо полезную работу?» Если ответ:

а) «ДА» — он еще не достиг своего уровня некомпетентности, следовательно, наблюдается всего лишь синдром псевдоповышения.

б) «НЕТ» — он *достиг* своего уровня некомпетентности, и, следовательно, наблюдается синдром конечной остановки.

в) «НЕ ЗНАЮ» — *вы* достигли *вашего* уровня некомпетентности. Немедленно займитесь собственными симптомами.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ПОВОДУ ЛОКТЕЙ

Никогда не стой, когда можешь сидеть, никогда не иди, когда можешь ехать, никогда не работай Локтями, когда у тебя есть Рука.

СПИРАЛЬ ПИТЕРА

Я должен признать, что в большинстве случаев некомпетентные индивиды проявляют явное желание работать *продуктивно.* Служащий, безусловно, *был бы компетентным, если бы только мог.*

Большинство некомпетентных индивидов сознают, хотя и смутно, что крах организации оставит их без места, и они пытаются поддерживать жизнеспособность иерархии.

Разрешите мне привести несколько примеров.

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ КАРТОТЕКА, СЛУЧАЙ № 4

Здоровье за богатство

Двадцать лет службы в компании «Идеальные рояльные струны» сделали Мола Демара из грузчика, таскавшего свинцовые чушки, генеральным директором. Вскоре после того, как он занял этот пост, у него начались нелады со здоровьем — высокое давление и язва желудка. Врач компании порекомендовал ему снизить темп работы и научиться отдыхать. Совет директоров рекомендовал ввести должность помощника генерального директора, который разгрузил бы Мола от ряда обязанностей. Хотя эти рекомендации были сделаны из лучших побуждений, обе они били мимо цели. Иерархиологически Мол Демар в результате повышения оказался в положении, требовавшем от него усилий, превышающих его физические возможности. На посту генерального директора «Идеальных рояльных струн» ему пришлось непрерывно примирять самые противоречивые интересы и требования. Он должен повышать доходы компании, чтобы угодить акционерам и совету директоров. Он должен поддерживать высокое качество фирменной продукции, чтобы угодить клиентам. Он должен обеспечивать достаточную заработную плату и хорошие условия труда, чтобы угодить служащим. Он должен выполнять известные общественные и семейные обязанности, чтобы угодить общественному мнению. Пытаясь совместить все это, он подорвал свое здоровье. Никакое расширение штатов и никакие рекомендации почаще отдыхать не уменьшат забот, связанных с постом генерального директора.

Определение одного неизвестного

Рекомендация совета директоров была выполнена, и Дж. Снобс, компетентный инженер и прекрасный математик, стал помощником генерального директора. Снобс, весьма компетентный в технических вопросах, был абсолютно беспомощен в обращении с людьми. Он не располагал формулами, которые определяли бы, как следует решать вопросы, связанные с повышением, перемещением, увольнением служащих и т. п. Не желая действовать наугад, он откладывал такие решения до тех пор, пока страсти не разгорались, и тогда он принимал первые попавшиеся решения. Снобс достиг своего уровня некомпетентности из-за неумения работать с людьми. Было рекомендовано создать в помощь Снобсу специальный пост управляющего по вопросам штатов.

Сострадание — само себе награда

Управляющим по вопросам штатов был назначен Роли Костер. Будучи вполне компетентным психологом, он настолько глубоко идентифицировал себя со своим подопечным, что постоянно находился в состоянии эмоционального опьянения. Когда он выслушивал жалобы Снобса на мисс Счетс, небрежно составившую отчет, его симпатии были целиком на стороне помощника генерального директора, и он сердился на нерадивость мисс Счетс. Когда же мисс Счетс жаловалась ему на холодное, бесчеловечное обращение Снобса с ней и с ее коллегами, на глаза Костера навертывались слезы сочувствия к ним и негодования по адресу бессердечности Снобса. Роли достиг своего уровня некомпетентности из-за эмоционального несоответствия занимаемой должности. Было решено создать должность инспектора, который ведал бы проблемами взаимоотношений служащих, и назначить на нее кого-нибудь с предприятия, кто пользовался бы доверием персонала.

И ум тоже полезен

Б. Слаб пользовался популярностью среди персонала и в свое время прекрасно выполнял обязанности председателя комиссии по организации досуга. Теперь на новом посту он призван следить за выполнением решений администрации, связанных с вопросами внутренней жизни предприятия. Но Б. Слаб не понимает самого смысла этих решений, а потому он не отвечает новой роли. У него нет интеллектуальных способностей, нужных для того, чтобы умело оперировать абстрактными понятиями, и поэтому он принимает нелогичные решения. Он достиг своего уровня некомпетентности из-за интеллектуального несоответствия занимаемой должности.

Классификация некомпетентности

Я остановился на исследовании фирмы «Идеальные роялные струны», поскольку оно иллюстрирует четыре основные категории некомпетентности.

Мол Демар в результате повышения оказался за пределами своей *физической компетентности,*

Дж. Снобс — *социальной,*

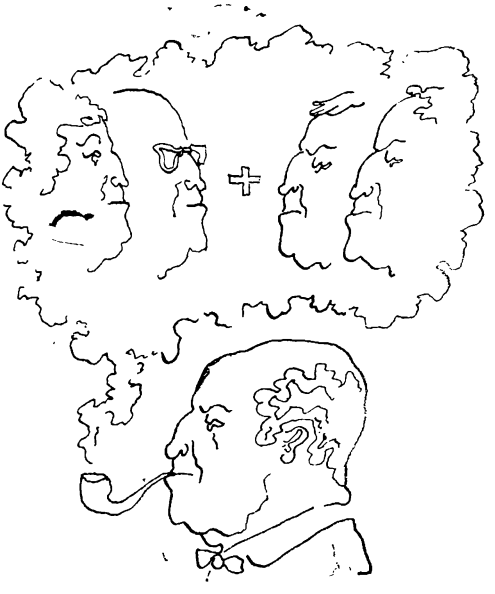
Роли Костер — *эмоциональной,*

Б. Слаб — *интеллектуальной компетентности.*

Напрасные усилия

Этот пример, типичный для многих ситуаций, показывает, что даже искренние усилия устранить некомпетентность на высшем уровне могут привести лишь к воцарению некомпетентности одновременно на многих уровнях. При таких обстоятельствах неизбежно разбухание административного аппарата. С появлением в спирали Питера каждого нового витка число некомпетентных возрастает, хотя в работе организации не происходит никакого улучшения.

ФОРМУЛА НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ



Некомпетентность плюс некомпетентность равна некомпетентности.

ПАТОЛОГИЯ УСПЕХА

Смелый шаг

Здесь нам придется вторгнуться в область медицины. Сейчас я опишу физическое состояние, которое упоминалось выше как синдром конечной остановки.

Исчерпывающая исследовательская программа

Перед рядом практикующих врачей были поставлены два вопроса:

1) Какое физическое состояние, по вашему мнению, характерно для большинства людей, добившихся успеха [1]?

2) Какие советы вы даете и какое лечение назначаете больным из группы добившихся успеха?

[1] В том, что заурядный социолог или врач называет «успехом», иерархиолог, естественно, узнает «конечную остановку».

ПЕРВЫЙ ТРЕВОЖНЫЙ ОТЧЕТ

Сопоставив ответы врачей, я обнаружил, что для больных из группы добившихся успеха типично следующее:

а) язва желудка, б) спастический колит, в) воспаление толстых кишок, г) высокое кровяное давление, д) запор, е) понос, ж) частое мочеиспускание, з) алкоголизм, и) переедание и ожирение, к) потеря аппетита, л) аллергии, м) гипотония, н) мышечные судороги, о) бессонница, п) хроническое утомление, р) тахикардия, с) прочие сердечно-сосудистые заболевания, т) мигрень, у) тошнота и рвота, ф) боли в животе, х) головокружение, ц) дисменоррея, ч) звон в ушах, э) повышенная потливость ладоней, ступней, подмышек и пр., ю) дерматит нервного происхождения, я) половое бессилие.

Вот на что жалуются типичные «преуспевающие» пациенты, причем эти симптомы не обязательно связаны с реальным заболеванием.

Я убедился — как убедитесь и вы,— что подобные симптомы указывают на физическое несоответствие больного той степени ответственности, которой он достиг.

Исследование причин; случай № 1. Так, например, П. Пульс — вице-президент по сбыту «Тресклейской компании счетных машин» часто не в состоянии присутствовать на еженедельных собраниях руководства фирмы из-за мигрени, которая регулярно разыгрывается по понедельникам в 13.30.

Случай № 2. Ввиду того, что Ч. Диэт — президент компании «Шестерни и зубья» — страдает сердечными припадками, подчиненные старательно оберегают его от новостей, которые могут взволновать или раздражить его. Он, по существу, лишился контроля над делами компании. Его основная функция сводится к чтению победных отчетов об успехах компании на ежегодных собраниях акционеров.

Важное определение. Перечисленные мной патологические явления, как правило, наблюдающиеся в различных комбинациях по два и больше, представляют собой синдром конечной остановки [1].

ВТОРОЙ ТРЕВОЖНЫЙ ОТЧЕТ

К сожалению, врачи пока еще не признают существования синдрома конечной остановки. Более того: они отнеслись с холодной враждебностью к моей попытке использовать иерархиологию в псевдонауке, именуемой диагностика. Однако истину не скроешь! Время и непрерывно нарастающие социальные потрясения в конце концов выведут ее на свет.

Три медицинские ошибки (а)

Больные с синдромом конечной остановки (СКО) часто объясняют свою профессиональную некомпетентность физическими недугами. «Если бы мне только удалось избавиться от головных болей, я смог бы сосредоточиться на моей работе».

Или: «Если бы мне только удалось привести в порядок пищеварение...»

Или: «Если бы мне только перестать закладывать...»

Или: «Если бы мне только один раз выспаться...»

Как показывает мое обследование, некоторые врачи также попадаются на эту удочку и лечат симптомы, вместо того чтобы искать их причину.

Лечение применяется как терапевтическое, так и хирургическое, но в любом случае оно может принести лишь *временное и только временное облегчение.* Никакие лекарства не могут сделать больного компетентным, и не существует опухоли некомпетентности, которую можно было бы вырезать скальпелем. Столь же неэффективны и *добрые советы:*

«Не волнуйтесь».

«Не перенапрягайтесь».

«Научитесь отдыхать».

Такие успокоительные советы абсолютно бесполезны. Многие больные с СКО тревожатся потому, что сознают, насколько мало пользы приносит их работа. Едва ли они последуют совету делать еще меньше того, что они делают.

Мало эффективен и *дружески-философский подход:*

«Не пытайтесь разрешить все мировые проблемы».

«У кого нет неприятностей! Ваши дела идут ничуть не хуже, чем у других».

«В вашем возрасте это неизбежно!»

Больные с СКО весьма редко бывают способны воспринять эти прописные истины. В большинстве случаев они целиком поглощены собой, и ни философия, ни чужие заботы их не интересуют. Они сосредоточены только на проблемах, связанных с их собственной работой.

Часто их пытаются образумить угрозами:

«Если вы будете продолжать в том же духе, дело кончится больницей».

«Если вы не снизите темпа, заработаете действительно сильный приступ».

Все это бесполезно. Больной не может не «продолжать в том же духе». Единственное, что могло бы изменить его жизнь,— это повышение, но его он не получит, так как уже достиг своего уровня некомпетентности.

---

[1] Выше (см. стр. 213) описан безотказный способ, как отличить синдром конечной остановки от синдрома псевдоповышения.

Другие популярные советы содержат *призывы к самоограничению:*

«Попробуйте диету».

«Поменьше пейте».

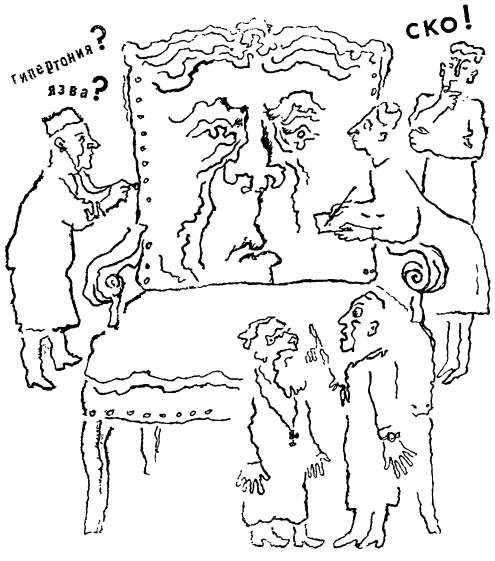
«Бросьте курить».

«Откажитесь от ночных развлечений».

«Ограничьте свою половую жизнь».

Все это обычно оказывается неэффективным. Больной с СКО уже находится в угнетенном состоянии, так как не получает удовлетворения от работы. Почему же он должен отказываться и от немногих, еще оставшихся ему радостей, с ней не связанных?

Кроме того, многие считают, что человек, предающийся неумеренным плотским наслаждениям, приобретает в глазах других известную компетентность. Это отражено в таких фразах, как «У него *замечательный аппетит*», «Он *великий* донжуан» и «Он перепьет кого угодно». Такая похвала вдвойне приятна человеку, который ничем другим похвалиться не может; так неужели он добровольно откажется от такого удовольствия?



Три медицинские ошибки (б)

Вторая группа врачей, не найдя у больных с СКО никаких реальных заболеваний, пытается внушить им, что все их симптомы — одно воображение.

«Вы вполне здоровы. Принимайте это успокаивающее лекарство».

«Возьмите себя в руки. Все это у вас на нервной почве».

Такой совет, конечно, не даст сколь-нибудь длительного улучшения. Больной *знает, что чувствует себя плохо,* независимо от того, признает это врач или нет.

В результате такого подхода больной теряет доверие к врачу и ищет другого, который способен лучше «разобраться в его болезни». Он может вообще потерять доверие к ортодоксальной медицине и прибегнуть к услугам знахарей и шарлатанов.

Три медицинские ошибки (в)

Если ни терапевтическими, ни хирургическими средствами помочь больному не удалось, прибегают к психотерапии. Но и она редко дает положительные результаты, ибо также бессильна устранить реальную причину, корень СКО,— профессиональную некомпетентность больного.

ЧТО ВСЕ-ТАКИ ПОЛЕЗНО

Единственным лечением, которое, как показывает мое обследование, приносит облегчение, является отвлекающая терапия:

«Научитесь играть в бридж».

«Начните собирать марки».

«Займитесь садоводством».

«Изучите французскую кухню».

«Пишите картины маслом».

Типично, что врач чувствует беспомощность больного во всем том, что относится к его основной работе, и потому рекомендует ему заняться тем, с чем он безусловно справится.

Поясняющий пример. У. Выпивон, управляющий универсальным магазином, оставался после обеда в клубе и не возвращался в свой служебный кабинет. Страдая от прогрессирующего СКО, Выпивон находился на грани хронического алкоголизма, осложненного сильным ожирением и хронической диспепсией, уже перенес два микроинфаркта.

По совету своего врача он занялся гольфом и увлекся этой игрой. Он посвящал ей все послеобеденное время и почти всю свою энергию; он делал в ней быстрые успехи, пока его не постиг роковой удар на поле для гольфа.

Суть, однако, в том, что, хотя Выпивон и не избавился от прежних симптомов, его СКО, вызванный работой, сменился — дела давно перестали его тревожить — простым синдромом псевдоповышения, связанным с успехами в гольфе. Лечение в данном случае можно поэтому считать успешным.

Врачи, которые дают подобного рода советы, по-видимому, хотя и смутно, но понимают патогенную роль некомпетентности и пытаются создать у больного ощущение компетентности в какой-либо иной области, не имеющей отношения к его основной работе.

Зловещий признак

Еще один момент, связанный с синдромом конечной остановки: он приобретает непрерывно растущее социологическое значение, так как составляющие его недуги стали рассматриваться как признаки высокого положения. Больной с СКО начинает хвастать своими симптомами; он демонстрирует ком-

петентность наоборот, доводя себя до большей язвы или более сильного сердечного приступа, чем у его друзей. И синдром СКО как свидетельство успеха котируется настолько, высоко, что многие вполне здоровые служащие начинают симулировать его симптомы, создавая впечатление, будто и они достигли своей конечной остановки.

НЕМЕДИЦИНСКИЕ ПРИЗНАКИ КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ

ДАВНО НАЗРЕВШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Часто бывает полезно знать, кто в иерархии достиг или не достиг своей конечной остановки. К сожалению, не всегда имеется доступ к медицинским карточкам служащих, что позволило бы узнать, кто из них уже обзавелся синдромом конечной остановки. Ниже перечисляется ряд немедицинских признаков, по которым вы можете ориентироваться в этих случаях.

Аномальная столология

Аномальная столология — важная и весомая ветвь иерархиологии.

Компетентный служащий обычно держит на своем столе только те книги, бумагу и аппаратуру, которые ему необходимы для работы. После того как он попадает на свою конечную остановку, его рабочий стол очень скоро приобретает весьма необычный и о многом говорящий вид.

Папирофобия

Папирофоб не терпит на своем столе ни бумаг, ни книг, а в острых случаях — и нигде вокруг. Возможно, любой клочок бумаги напоминает ему о работе, которую он не в состоянии выполнять: не удивительно, что он не выносит даже вида бумаги!

Однако он превращает свою фобию в добродетель, и, «держа стол чистым», как он выражается, папирофоб надеется создать впечатление, будто он расправляется со своей работой невероятно быстро.

Папиромания

Папиромания является полной противоположностью папирофобии и заставляет служащего загромождать свой рабочий стол кипами бумаг и книг, которыми он никогда не пользуется. Сознательно или бессознательно он таким путем пытается замаскировать свою некомпетентность, создавая впечатление, будто ему приходится выполнять работу, вообще для человека непосильную.

Архивофилия

Здесь мы сталкиваемся с маниакальным стремлением к упорядочению и классификации бумаг, которому обычно сопутствует болезненный страх потерять какой-нибудь документ.

Занятый постоянным перекладыванием и сортировкой прошлых дел, архивофил не дает ни другим, ни себе возможности понять, что он практически не делает ничего полезного. Увлечение архивом обращает его взгляд в прошлое, так что к настоящему он возвращается лишь с огромной неохотой.

Стологигантизм

Маниакальное стремление иметь стол большего размера, чем у коллег.

Столофобия

Полное изгнание столов из служебного помещения. Этот симптом наблюдается лишь на очень высоких ступенях иерархии.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Занимаясь своими исследованиями, я провел немало времени в приемных, опрашивая посетителей и коллег, покидавших административные кабинеты. Таким образом я открыл несколько интересных психологических проявлений состояния конечной остановки.

ЛОУРЕНС ДЖ. ПИТЕР,
РЕЙМОНД ХАЛЛ
ПРИНЦИП ПИТЕРА

Жалость к себе

На многих совещаниях представители администрации только и делают, что сетуют на невыносимые условия, в которых им сейчас приходится работать:

«Никто по-настоящему меня не ценит»,

«Никто не сотрудничает со мной»,

«Никто не хочет понять, что постоянное давление сверху и безнадежная некомпетентность снизу лишают меня какой бы то ни было возможности выполнять мою работу и держать стол чистым».

Эта жалость к себе обычно сочетается с ярко выраженной склонностью вспоминать о «добром старом времени», когда пускающий слезу не занимал нынешнего поста и находился на своем уровне компетенции. Этот эмоциональный комплекс — сентиментальная жалость к себе, жажда чернить настоящее и неумеренно восхвалять прошлое — я называю *комплексом добрых старых времен.*

Интересная особенность этого комплекса заключается в следующем: каким бы мучеником ни выставлял себя человек, страдающий этим комплексом, он ни при каких обстоятельствах не скажет, что с его работой лучше справится другой.

Фиксация на схемах

У служащих, находящихся на уровне некомпетентности, я часто наблюдал фиксацию на схемах — ненормальный интерес к составлению всевозможных организационных и производственных схем и диаграмм, сочетающийся с безапелляционным требованием выполнять даже мельчайшую операцию в строгом соответствии с линиями и стрелками на схеме, независимо от того, какие задержки и потери это вызывает. Больной этой манией часто развешивает схемы на стенах своего кабинета, и нередко можно наблюдать, что работа его заброшена, а он в молитвенном раздумье стоит перед своими иконами.

Выведение из равновесия

Некоторые служащие, добравшись до своей конечной остановки, пытаются замаскировать свою некомпетентность, держа подчиненных в состоянии перманентной неуверенности. Когда руководителю такого типа подают письменный отчет, он отодвигает его в сторону и говорит: «У меня нет времени разбираться во всей этой мути. Изложите мне суть дела своими словами, и покороче». Если же подчиненный хочет высказать свои соображения устно, то начальник затыкает ему рот на полуслове, заявляя: «Я не стану вникать в это, пока вы не изложите все в письменной форме».

Самоуверенного служащего он подчеркнуто ставит на место, робкого смущает простецкой фамильярностью.

О таком человеке подчиненные говорят: «Никогда не знаешь, чего от него ждать».

Качельный синдром

Качельный синдром состоит в полной неспособности принимать решения, соответствующие положению больных. Служащий такого типа может бесконечно взвешивать все «за» и «против», но не способен окончательно принять ту или иную точку зрения. Он обычно объясняет свое бездействие торжественными ссылками на «демократическую процедуру» или на необходимость выработать «перспективный взгляд на вопрос». Обычно он откладывает поступающие к нему дела под сукно, пока кто-нибудь другой не примет нужного решения или пока решать вообще будет уже поздно.

Между прочим, я заметил, что жертвы качельного синдрома часто бывают и папирофобами, так что им приходится выдумывать способы избавления от бумаг. Для этого обычно служат *выбросы вниз, вверх и наружу.*

При выбросе вниз бумаги направляются подчиненному с резолюцией «Не беспокойте меня такими пустяками». Таким образом, подчиненный оказывается вынужденным решать вопрос, который находится вне его компетенции.

Для выброса вверх требуется изобретательность: жертва качелей должна изучать дело до тех пор, пока не обнаружит в нем крохотную зацепку, которая оправдывает передачу решения высшим инстанциям.

Выброс наружу сводится к тому, чтобы организовать комиссию, состоящую из равных по рангу жертве качельного синдрома, и следовать решению большинства.

Вариантом этого приема является обращение к общественному мнению: бумаги направляются кому-то, кто должен провести обследование, которое покажет, что думает об этом средний гражданин.

Некий государственный служащий, страдавший синдромом качелей, нашел для себя весьма оригинальный выход: когда ему попадало дело, которое он не мог решить, он просто выкрадывал ночью папку из кабинета и выбрасывал ее.

Классический случай

В. Шекспир описал интересное проявление состояния конечной остановки — иррациональное предубеждение против подчиненных и коллег из-за каких-то внешних черт, не имеющих ничего общего с тем, как они исполняют свою работу. Шекспир цитирует Юлия Цезаря:

> Хочу я видеть в свите только тучных...
> А Кассий тощ, в глазах холодный блеск.
> Он много думает, такой опасен.

Согласно весьма надежному источнику, Н. Бонапарт в конце своей карьеры начал судить о людях по размеру их носа и отдавал предпочтение тем, чей нос был больше.

У некоторых одержимых этой манией может развиться совершенно беспричинная идиосинкразия к таким пустякам, как форма подбородка, местный говор, покрой пиджака или ширина галстука. В то же время они полностью игнорируют деловые качества человека. Такого рода предубеждение я называю *Цезаревым сдвигом.*

Инерция смешливости

Характерный признак конечной остановки — привычка рассказывать анекдоты, вместо того чтобы заниматься делом.

Строефилия

Строефилия — это маниакальный интерес к зданиям — их планировке, постройке, эксплуатации и реконструкции,—прогрессирующее отсутствие интереса к работе, которая ведется или должна вестись внутри этих зданий. Я наблюдал строефилию на всех иерархических уровнях, но наиболее остро она, несомненно, проявляется у политических деятелей и ректоров университетов. В своей крайней, патологической форме *(Gargantuan monumentalis)* она вызывает у жертвы потребность строить огромные надгробья и мемориальные статуи. Древние египтяне и современные обитатели Южной Калифорнии, по-видимому, особенно подвержены этому недугу.

Некоторые неосведомленные люди путают строефилию с комплексом зодчего. Однако необходимо различать это простое увлечение строительством и комплекс зодчего, который представляет собой чрезвычайно хитрое сплетение разнообразных стремлений, находящихся в сложной взаимосвязи. Комплекс зодчего часто развивается у филантропов, желающих улучшить деятельность учебных заведений, медицинских учреждений или систему религиозного воспитания. Они консультируются с экспертами, среди которых уже такое количество достигло своего уровня некомпетентности, что сформулировать позитивную программу усовершенствований оказывается невозможно. Все сходятся только в одном — необходимо построить новое здание. Те, к кому они обращаются — будь то педагоги, врачи или священники,— нередко страдают строефилией, а потому они дают жертвователю такую рекомендацию: «Дайте мне новое здание». Церковные советы, школьные попечители и советы директоров фондов попадают в одинаково сложную ситуацию. Они видят в своей области такой разгул профессиональной некомпетентности, что в конце концов решают тратить деньги на здания, а не на людей и программы. Как и в случае других психологических комплексов, это приводит к непоследовательности в поведении.

Что есть что

Обычно жертва строефилии патологически жаждет, чтобы какому-нибудь зданию или монументу было присвоено ее имя, тогда как комплекс зодчего развивается у тех, кто пытается помочь каким-либо человеческим дерзаниям, но в конце концов строит еще одно здание.

ТИК И НЕОБЫЧНЫЕ ПРИВЫЧКИ

После того, как служащий достиг своей конечной остановки, у него часто развиваются эксцентричные привычки и тик. Известным примером этого служит потирание ладоней Урией Гипом, так остро подмеченное и живо описанное Ч. Диккенсом.

Сюда же я хочу отнести манеру грызть ногти, барабанить пальцами или постукивать карандашом по столу, щелкать пальцами и вертеть в них ручки, карандаши или скрепки, бесцельно растягивать и отпускать со щелчком резинки и тяжело вздыхать без видимых причин для грусти. Часто синдром конечной остановки остается незамеченным, потому что больной вырабатывает привычку подолгу неподвижно сидеть с отсутствующим взглядом. Наблюдатели-неспециалисты склонны в этом случае считать, что он поглощен размышлениями над внушающими благоговейный страх проблемами, решение которых доступно лишь тем, кто стоит так высоко. Иерархиологи же знают истинную причину.

ХАРАКТЕРНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ПРИЕМЫ

Ошарашивание слушателя

Инициальная и цифровая кодофилия представляет собой маниакальную потребность изъясняться не словами, а буквами и

числами. Возьмем, например, фразу «ФОВ сейчас в Н-Й как ОК ЦУМ ГУ по 802».

К тому времени, когда слушатель поймет (если он вообще когда-нибудь это поймет), что Фредерик Орвилл Виноватс находится сейчас в Нью-Йорке в качестве оперативного координатора Центра учебных материалов Гуляйдокского университета, где занимается вопросом о федеральном билле номер 802, он явно упустит возможность разобраться, что сказавший это, по существу, мало что знает. Кодофилы умеют придать внушительность самым пустым фразам, а именно этого они и добиваются.

СОВЕТ ИМЕЮЩЕМУ УШИ

Внимательно высматривайте вокруг себя описанные выше признаки. Они помогут вам разобраться в ваших коллегах. Однако наиболее трудной задачей будет самоанализ. Иерархиолог, исцелися сам!

МОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И СЧАСТЬЕ ПРИ НУЛЕВОМ КП?

Когда служащий достигает своего уровня некомпетентности (плато Питера), его коэффициент повышения (КП) становится равным нулю. В этой главе я покажу, как реагируют на эту ситуацию служащие разного склада.

СМОТРЕТЬ НЕПРИЯТНОЙ ПРАВДЕ В ГЛАЗА (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ)

Служащий полностью осознает, что находится на конечной остановке, достиг своего уровня некомпетентности, откусил больше, чем может прожевать, или забрался слишком высоко (все эти термины являются синонимами).

Служащий того типа, который способен понять эту истину, обычно склонен ставить знак равенства между некомпетентностью и ленью, он приходит к выводу, что работает недостаточно упорно, и чувствует себя виноватым.

Он начинает думать, что, прилагая больше усилий, сумеет преодолеть начальные трудности, с которыми ему пришлось столкнуться на новом посту, и стать вполне компетентным. И он начинает работать сверх сил — не поднимает головы от бумаг, трудится весь обеденный перерыв и берет работу домой, чтобы докончить ее вечером или в воскресенье.

Очень скоро у него появляется синдром конечной остановки.

Неведение есть благо

Многие служащие остаются до самого конца в неведении, что они уже достигли своего уровня некомпетентности. Такие люди постоянно чем-то заняты и не теряют надежды на дальнейшее продвижение, а потому остаются *счастливыми и здоровыми.*

Вы спросите: «Как же им это удается?»

СПАСИТЕЛЬНАЯ ПОДМЕНА

Вместо того чтобы выполнять обязанности, связанные с занимаемым постом, такой служащий подменяет их рядом других обязанностей, которые и выполняет безупречно.

Я опишу несколько приемов подмены.

Прием первый: нескончаемая подготовка

Столкнувшись с важной проблемой, компетентный служащий попросту приступает к ее разрешению. Подменщик же предпочтет заняться подготовительной работой. Вот несколько испытанных методов.

а) Поиски подтверждения тому, что данная проблема вообще требует разрешения. Истинный подменщик никогда не бывает в этом уверен. Его девизы — «Семь раз отмерь, один раз отрежь» и «Тише едешь, дальше будешь».

Затратьте достаточно времени на поиски дополнительных подтверждений возникшей необходимости, и она исчезнет сама собой. (Прогноз Питера.)

Так, например, при организации помощи голодающим не спешите заканчивать изучение проблемы необходимости этой помощи, и в конце концов окажется, что помогать больше никому уже не нужно.

б) Изучение альтернативных способов достижения того, чего требуется достигнуть.

Предположим, что в результате предварительных исследований необходимость разрешения проблемы больше не вызывает сомнений. Теперь подменщик начинает поиски наиболее эффективного способа ее разрешения, независимо от того, сколько на это уходит времени. Сам прием с «альтернативными методами» является разновидностью качельного синдрома, свободного от элемента паники.

в) Экспертиза, призванная гарантировать, что выбранный план удастся эффективно воплотить в жизнь. С этой целью организуются комитеты, и вопросы подвергаются изучению. Вариант этого метода с упором не на здравствующих, а на былых экспертов — *поиск прецедентов.*

г) Исчерпывающая подготовка. Этот метод основан на исключительно тщательном, поглощающем массу времени

скрупулезном подходе к каждой фазе подготовки к работе: создаются мощные резервы чистых бланков, запасных частей, денежных средств и т. п., с тем чтобы *укрепить занимаемые позиции* перед наступлением, которое должно привести к намеченной цели.

Поучительный пример нескончаемой подготовки

Вот интересный случай, демонстрирующий использование нескольких из описанных методов. Дар Черпач, заместитель директора отдела социального обеспечения муниципалитета Дрёминг Сити, считался высококомпетентным человеком, так как обладал замечательной способностью убеждать государственные и частные благотворительные организации раскошеливаться на всяческие достойные начинания местных властей.

Была объявлена война с бедностью. Черпача назначили директором-координатором Дрёмингской программы содействия обездоленным, руководствуясь тем, что раз он хорошо понимает сильных мира сего, то сумеет оказывать помощь сирым.

В тот момент, когда эта книга уходит в печать, Черпач все еще энергично собирает средства, чтобы воздвигнуть здание, в котором он собирается разместить свой штат и которое должно служить вечным символом духа помощи обездоленным. (Метод исчерпывающей подготовки.)

«Мы хотим показать неимущим, что они не забыты своим правительством»,— объясняет Черпач. Затем он планирует создать Дрёмингский консультационный комитет содействия обездоленным (экспертиза), собрать деньги на проведение обследования проблемы обездоленности (поиск подтверждений необходимости решать проблему) и совершить поездку по Западной Европе и Латинской Америке с целью изучения подготовки и проведения подобных программ в других странах (изучение альтернативных методов).

Нужно подчеркнуть, что Черпач занят с утра до ночи, очень счастлив на своем новом посту и искренне верит, что делает полезное дело. Он скромно отказывается от любых предложений воспользоваться своей доброй славой и выставить свою кандидатуру на выборную должность. Короче говоря, ему удалось найти исключительно удачную *подмену*.

Прием второй: побочная специализация

П. Радмен был назначен директором устаревшего нерентабельного предприятия «Сагаморская компания мягкой мебели» с конкретным заданием повысить производительность и добиться прибыльности.

Он не обладал необходимой для этого компетентностью, сразу же это понял и перестал заниматься вопросами производительности. Он *подменил* эту проблему ревностными заботами о внутренней реорганизации предприятия и своей конторы.

Он тратил дни на то, чтобы уверять себя, будто между администрацией и рабочими не существует никаких трений, будто условия труда прекрасны и все работники предприятия составляют, как он выражался, «одну большую счастливую семью».

К счастью для Радмена, он взял с собой в качестве заместителя Ш. Шустринга, молодого человека, еще не достигшего своего уровня некомпетентности. Благодаря энергичным действиям Шустринга предприятие было поставлено на ноги и принесло солидную прибыль.

Вся честь досталась Радмену, который был очень горд своим «успехом». Он совершил удачную *подмену* и в результате обрел счастье.

Девиз всех специалистов по подмене: *присматривай за кочками, а горы за собой и сами присмотрят.*

У. Шагай считался вполне компетентным заместителем директора начальной школы города Просперити — умным, способным поддерживать в своей школе хорошую дисциплину и высокий уровень преподавания. Когда его назначили директором, он достиг своего уровня некомпетентности: у него отсутствовал такт, необходимый для связей с родительскими организациями, репортерами, инспекторами и членами школьного совета. Он утратил благосклонность начальства, и репутация его школы в глазах широкой публики начала падать.

Шагай весьма изобретательно занялся побочной специализацией. У него развилось маниакальное стремление разрешить проблему управления людскими потоками, устранить завихрения, столкновения и пробки, которые возникают, когда масса школьников и учителей несется по вестибюлям, коридорам и лестницам школы.

На крупномасштабные планы школьного здания он нанес сложнейшую схему людских потоков. На стенах и полах школы появились разноцветные линии и стрелки. Он настаивал на строгом соблюдении своих правил внутришкольного движения. Школьникам строжайше воспрещалось пересекать белые разделительные линии. Например, во время урока какого-нибудь мальчика посылают с поручением в класс напротив. Перешагнуть через линию, проходящую посередине коридора, он не может, а потому должен пройти весь коридор и вернуться назад уже по другой стороне.

Шагай неустанно подкарауливал нарушителей созданной им системы; он опубликовал о ней много статей в педагогических журналах; он с гордостью водил по школе знакомящиеся с его опытом группы педагогов, также занятых побочной специализацией, а в настоящее время он пишет о своей системе книгу, которая будет иллюстрирована множеством планов и фотографий.

Он всегда занят, доволен собой и наслаждается отличным здоровьем, не обнаруживая ни малейших признаков синдрома конечной остановки. Это еще один триумф *побочной специализации.*

Прием третий: видимость вместо сути

Миссис Витрин, учительница математики средней школы города Просперити, большую часть урока обычно тратит на рассказы о том, как интересна и важна математика. Она сообщает ученикам всевозможные сведения из истории математики, обрисовывает ее современное состояние и вероятные направления развития. На изучение же самого предмета она отводит самостоятельные домашние занятия.

Уроки миссис Витрин ярки и интересны; ученики считают ее хорошим педагогом. Правда, у них не очень ладится с самим предметом, но они объясняют это его трудностью.

Миссис Витрин тоже твердо верит, что она — хороший педагог, и убеждена, что ее продвижению мешает лишь зависть менее компетентных учителей, стоящих в иерархии над ней. Поэтому она пребывает в состоянии приятного опьянения сознанием собственных достоинств.

Миссис Витрин занимается *подменой.* Ее прием довольно распространен и может применяться сознательно и бессознательно. Правило таково: для получения личного удовлетворения *грамм видимости всегда полезней килограмма сути.* (Плацебо Питера.)

Заметьте: хотя этот прием приносит удовлетворение тому, кто им пользуется, он отнюдь не обязательно удовлетворяет начальство.

Плацебо Питера популярно у политических деятелей всех рангов. Они ораторствуют о важности, святости и величественности статутов демократической системы (будь она монархической или племенной, в зависимости от обстановки), но и не думают выполнять свои прямые обязанности.

Этот прием чрезвычайно широко используется также и в искусстве. А. Фреско, художник из города Просперити, написал несколько удачных полотен, после чего у него, по-видимому, иссякло творческое вдохновение. Тогда он сделал своей профессией разговоры о ценности живописи. Типичным для этой категории людей искусства является *писатель-завсегдатай,* который весь день напролет просиживает в баре, как у себя на родине, так и за границей, распространяясь о важности литературы, о недостатках других писателей и о великих произведениях, которые он со временем создаст.

Прием четвертый: открытое переключение на другое дело

Весьма смелый прием и именно по этой причине часто ведет к успеху.

Как мы видели, представители трех предыдущих категорий не выполняют никакой полезной работы — по крайней мере не делают того, что они должны были бы делать,— но они либо занимаются чем-то связанным с их основной работой, либо охотно о ней говорят. Иногда случайные наблюдатели и даже коллеги не в состоянии заметить, что эти люди прибегают к *подмене* настоящей работы.

Ф. Добр, президент компании «Смещенная ось», все свое время отдает деятельности благотворительных обществ, членом правления которых он состоит: организует кампании по сбору средств, изыскивает новые области для филантропической деятельности, воодушевляет добровольцев и контролирует профессионалов. В свой служебный кабинет он заглядывает только для того, чтобы подписать какую-нибудь важную бумагу.

На поприще *благотворительности* Добр постоянно сталкивается со своим бывшим противником, а ныне хорошим приятелем Т. Эталоном, пожизненным вице-президентом Национального общества юстировщиков осей. Эталон состоит членом большинства благотворительных комитетов, в которых подвизается Добр, и тоже не делает ничего полезного на своем основном поприще.

Прием пятый: администралогия на час

В больших организациях со сложной структурой некомпетентному служащему высокого ранга иногда удается получить *временное назначение* на пост и. о. директора другого отделения или и. о. председателя какой-нибудь комиссии. Эта временная работа существенно отличается от его постоянной работы.

В результате служащему больше не нужно заниматься основной работой (которую он все равно не в состоянии выполнять, поскольку достиг своего уровня некомпетентности), а на новом посту он может с полным основанием воздерживаться от сколько-нибудь решительных шагов, мотивируя свое бездействие следующим образом:

«Этот вопрос я решить не могу. Оставим его на усмотрение постоянного директора, когда его назначат».

Умелый *администратор на час* может существовать так годами, сменяя один временный пост на другой и получая искреннее удовлетворение от такой подмены.

Прием шестой: сверхузкая специализация

Чувствуя свою неспособность выполнять все, что требует его должность, *сверхузкий специалист* просто *игнорирует* большую часть прямых обязанностей и сосредоточивает все внимание и все усилия на решении одной небольшой задачи. Если он справляется с ней, он ею и будет постоянно заниматься; если нет, то сузит ее еще больше.

С. Толяр, директор картинной галереи города Просперити, не уделял никакого внимания приобретению картин, организации выставок и финансовой стороне дела. Здание галереи находилось в запущенном состоянии, а сам он проводил все свое время, работая в мастерской картинных рам при галерее или же сочиняя «Историю картинных рам» в своем кабинете. По последним сведениям, С. Толяр пришел к выводу, что охватить всего материала о рамах он не может, и решил сосредоточиться на изучении различных *типов клеев,* которые применяются при изготовлении рам.

Некий историк стал ведущим специалистом мира по первым тридцати минутам Реформации.

Ряд врачей сделали себе имя, изучая болезнь, которая наблюдалась всего три или четыре раза, а другие превратились в специалистов по крохотным кусочкам организма.

Литературовед, не способный ни понять, ни оценить литературное произведение, может написать трактат, озаглавленный «Сравнительное исследование использования запятой в литературных трудах Отто Кляксlера».

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПОДМЕНЫ

Примеры, которые я привел, и многие другие, которые несомненно вам известны, показывают, что с точки зрения служащего *подмена* является, по-видимому, наиболее удачным приемом приспособления к конечной остановке.

Эффективная *подмена* обычно исключает развитие синдрома конечной остановки и позволяет служащему, находящемуся на уровне некомпетентности, сохранять до конца карьеры здоровье и удовлетворенность самим собой.

СИМУЛИРУЕМАЯ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ

Восприняли ли вы мое изложение Принципа Питера как философию отчаяния? Не пробегают ли у вас мурашки по спине при мысли, что любая карьера завершается конечной остановкой с ее тяжкими физическими и психическими расстройствами? Задав эти вопросы, я буду рад вручить читателю нож, которым он сможет разрубить этот философский гордиев узел.

ЛУЧШЕ ЗАЖЕЧЬ СВЕЧУ, ЧЕМ ПРОКЛИНАТЬ ЭЛЕКТРОКОМПАНИЮ

Помилуйте, возразите вы мне, да ведь человек может просто отказаться от предложенного ему повышения и продолжать делать то, на что он способен, получая от этого полное удовлетворение.

Интересный пример

Прямой отказ от предложенного повышения известен как *уклонение Питера.* Бесспорно, на первый взгляд все представляется достаточно простым. Однако мне известен всего один случай его успешного использования.

Т. Пило, плотник «Строительной компании Балкиса», работал с таким усердием, добросовестностью и знанием дела, что ему уже не раз предлагали должность мастера.

Пило уважал своего хозяина и был бы рад выполнить его желание. Однако положение простого плотника приносило ему полное удовлетворение. Он не ведал никаких забот и каждый день в 16.30 мог забыть о своей работе.

Он знал, что, став мастером, будет по вечерам и в воскресенье постоянно терзаться мыслями о том, что сделать на следующий день или на следующей неделе. И упорно отказывался от повышения.

Пило, следует заметить, был холост, не имел близких родственников и друзей. Он, естественно, мог поступать как ему вздумается.

Для большинства людей уклонение Питера — недоступный прием. Рассмотрим случай Б. Инертмена, типичного законопослушного гражданина и семейного человека, который отказался от повышения.

Его сразу же начала пилить жена: «Подумай о будущем своих детей! Что скажут соседи, если они об этом узнают? Если бы ты любил меня, ты бы так не поступил» и т. д.

Чтобы выяснить мнение соседей, миссис Инертмен сообщила по секрету о своем огорчении нескольким близким друзьям. Новость быстро распространилась по всей округе. Младший сын Инертмена, пытаясь защитить честь отца, подрался с одноклассником и вышиб ему два зуба. Последовавшая тяжба и оплата счетов дантиста обошлись Инертмену в тысячу долларов.

Теща Инертмена так взвинтила свою дочь, что миссис Инертмен развелась с ним. Не вынеся одиночества, позора и отчаяния, он покончил самоубийством.

Нет, отказ от повышения нельзя считать легким путем к счастью и здоровью. Еще на ранней стадии моих исследований я убедился, что большинству людей *уклонение Питера не приносит успеха.*

ЛОУРЕНС ДЖ. ПИТЕР,
РЕЙМОНД ХАЛЛ
ПРИНЦИП ПИТЕРА

Поучительное наблюдение, проливающее свет

Когда я изучал иерархическую структуру и скорость продвижения рабочих и служащих фирмы «Совершенные скобяные изделия», я обратил внимание, что вокруг административного здания разбит прекрасный сад. Бархатные газоны и пышные клумбы свидетельствовали о высокой компетентности садовника, которого, как я узнал, звали Р. Лист. Он оказался счастливым симпатичным человеком, любящим свои растения и инструменты. Он занимался тем, что любил больше всего,— садоводством.

Он был компетентным во всех отношениях, кроме одного: он почти всегда терял или неизвестно куда прятал копии накладных и квитанций на получаемый им инвентарь, семена и прочее. Это приводило в ужас бухгалтерию, и управляющий несколько раз делал Листу выговоры. Тот оправдывался довольно туманно:

«Возможно, я эти бумажки закопал вместе с луковицами».

«А не сгрызли ли их мыши, которых полным-полно в оранжерее».

Из-за этой небрежности кандидатура Листа на должность старшего садовника даже не рассматривалась.

Я беседовал с Листом несколько раз. Он был любезен и общителен, однако утверждал, что теряет документы по рассеянности. Я поговорил с его женой. Она сказала, что Лист тщательно фиксирует все расходы на собственный сад и может совершенно точно рассчитать стоимость всего, что он выращивает в огороде и оранжерее.

Сходный случай?

Мне пришлось интервьюировать О. Эралаша, мастера фирмы «Тресклейское литье», чья малюсенькая контора находилась в вопиющем беспорядке. Тем не менее проведенный мной хронометраж показал, что грозящие падением горы старых счетных книг и папок, набитых измятыми и изодранными нарядами, заполненные до отказа неведомыми делами шкафы и приколотые к стенам давно устаревшие планы, по существу, не имели никакого отношения к весьма эффективному и оперативному стилю работы Эралаша.

Я не берусь сказать, сознательно или бессознательно он этим беспорядком маскировал свою компетентность, чтобы избежать назначения на должность начальника цеха.

Его метод — сумасшествие?

Дж. Буквар был компетентным учителем. Его профессиональная репутация была безупречна, тем не менее ему никогда не предлагали пост заместителя директора школы. Меня это удивило, и я начал наводить справки.

Директор школы сказал мне:

— Буквар забывает получать жалованье. Каждые три месяца нам приходится напоминать ему, чтобы он пошел в банк и получил свои деньги, иначе у нашей бухгалтерии возникнут лишние хлопоты. Я просто не могу понять человека, который забывает получать жалованье.

Я задал еще вопрос.

— Нет, нет. Что вы! Мы вполне ему доверяем. Но, естественно, начинаем думать, нет ли у него дополнительных источников дохода.

Тогда я спросил: «Вы подозреваете его в каких-нибудь темных операциях?»

«Конечно нет. У нас нет ни малейших оснований подозревать его в чем-нибудь подобном. Превосходный учитель! Прекрасный человек! Кристальная репутация!»

Вопреки этим заверениям, я сделал вывод, что иерархия не способна доверять человеку, который ведет свои денежные дела так, что ему не приходится сразу же бежать в банк получать деньги, как только ему выдадут платежный чек на жалованье. Буквар оказался некомпетентным в следующем отношении: он вел себя не как типичный служащий, а потому лишился шансов на продвижение.

Можно ли считать *только* совпадением то, что Буквар любит свою работу и не имеет ни малейшего влечения к административным обязанностям, которые стали бы его уделом после повышения?

Есть ли в подобном поведении своя система?

Мне довелось исследовать много сходных случаев того, что казалось преднамеренной некомпетентностью, однако я так и не мог решить, являлось ли такое поведение сознательным или же возникло из подсознательных побуждений.

Одно совершенно ясно: эти служащие избегали продвижения, не отказываясь от него — мы уже видели, какими бедами чреват такой отказ,— а сумев поставить себя так, что им вообще не предлагают повышения.

ЭВРИКА!

Таков верный способ *предотвращения повышения,* в нем *залог здоровья и счастья* на работе и дома. Название ему — *симулируемая некомпетентность.*

Проверенная тактика

Не имеет значения, сознательно или бессознательно избегают последнего повышения Лист, Эралаш, Буквар и другие служащие, оказавшиеся в такой же ситуации. Существенно то, что у них мы можем научиться тому, как достичь этой жизненно важной цели. («Жизненно важная» здесь не просто фигура речи — выбор правильного метода может спасти вашу жизнь.)

Суть этого метода сводится к следующему: *создавайте впечатление, что вы уже достигли своего уровня некомпетентности.*

Это достигается демонстрацией одного или нескольких симптомов конечной остановки.

Симулируемая некомпетентность даст оптимальные результаты, если вы изберете тот вид некомпетентности, который *никак не препятствует выполнению основных обязанностей, связанных с вашим теперешним положением.*

Некоторые тонкие приемы

В некоторых иерархиях служащий может достичь желаемого эффекта, если, уходя с работы, будет упорно оставлять ящики своего рабочего стола выдвинутыми.

Другой эффективный маневр — назойливая демонстрация мелочной экономии: гасите свет, закручивайте водопроводные краны, поднимайте с пола и извлекайте из мусорных корзин бумажные скрепки и резинки, сопровождая такие действия проповедями о пользе бережливости.

Не смешивайтесь с толпой

Отказывайтесь делать взносы в Общественный фонд фирмы или отделения; не пейте кофе во время официальных перерывов для питья кофе; носите на работу завтраки из дома, если все остальные пользуются столовой; упорно отключайте батареи центрального отопления и открывайте окна; отказывайтесь давать деньги на свадебные и памятные подарки своим коллегам.

Такие проявления пренебрежительной эксцентричности (комплекс Диогена) создадут вокруг вас легкую атмосферу подозрений и недоверия, которая лишит вас шансов на дальнейшее продвижение.

Тактический прием с автомобилем

Один весьма компетентный начальник отдела избегал повышения тем, что нередко как бы случайно ставил свою машину на том месте фирменной стоянки, которое было отведено для президента фирмы. Автомашина другого высокопоставленного служащего всегда была на год старее и на 500 долларов дешевле, чем машины равных ему по рангу.

Внешний вид

Большинство людей *в принципе* согласны с тем, что по одежде встречают, а по уму провожают, однако на практике о служащем судят по внешнему виду. Вот почему здесь есть где разгуляться симулируемой некомпетентности.

Носите немодный или слегка потрепанный костюм, принимайте ванну не ежедневно, время от времени забывайте посещать парикмахерскую или не очень тщательно брейтесь (неплох небольшой, но заметный порез с каплей засохшей крови или небольшой островок щетины, обойденный бритвой) — все это весьма действенные приемы.

Женщинам рекомендуется слегка злоупотреблять гримом или наоборот почти им не пользоваться, а также время от времени прибегать к неуместной или некрасивой прическе. Во многих случаях полезен избыток духов и сверкающих украшений.

Несколько примеров

Вот еще несколько превосходных и назидательных примеров симулируемой некомпетентности, которые я наблюдал [1].

Мистер Ф. сделал предложение дочери президента фирмы на ежегодном приеме, устраиваемом фирмой по случаю дня рождения ее основателя. Девушка только что вернулась из Европы, где заканчивала школу, и Ф. никогда прежде ее не видел. Естественно, он получил отказ, а заодно лишился и шанса на продвижение по службе.

Служащая той же фирмы мисс Л. сумела на том же приеме оскорбить супругу президента фирмы, передразнив ее манеру смеяться, когда та находилась поблизости.

Мистер П. попросил своего друга позвонить ему на службу и устроить розыгрыш. На виду у своих коллег П. изображал испуг, просил «пощадить» и «дать время подумать». Умолял: «Не говорите моей жене. Если она об этом узнает, это убьет ее». Было ли это одной из дурацких шуток П. или же вдохновенным шедевром симулируемой некомпетентности?

Важное предостережение

Я должен подчеркнуть, что решающее значение имеет умение скрыть то, что вы хотите избежать повышения.

[1] По крайней мере мне кажется, что я их наблюдал. Совершенная симулируемая некомпетентность тем и замечательна, что даже наблюдающий ее опытный иерархиолог никогда не может быть абсолютно уверен в том, что не имеет дело с обычной некомпетентностью.

ЛОУРЕНС ДЖ. ПИТЕР,
РЕЙМОНД ХАЛЛ
ПРИНЦИП ПИТЕРА

Для маскировки вы можете даже при случае поворчать, обращаясь к своим коллегам: «Черт возьми, некоторых тут то и дело повышают, а вот других постоянно обходят».

ХВАТИТ ЛИ У ВАС МУЖЕСТВА ПОЙТИ НА ЭТО

Если вы еще не добрались до конечной остановки на плато Питера, то вы можете открыть для себя область некомпетентности, не связанную с вашей основной сферой деятельности.

Найдите ее и усердно в ней практикуйтесь. Таким путем вы удержитесь на уровне компетентности, что будет гарантировать вам глубокое личное удовлетворение, которое дает регулярное выполнение полезной работы.

Нет сомнения в том, что симулируемая некомпетентность таит в себе не менее увлекательные возможности, чем традиционное стремление подняться наверх.

ЭВОЛЮЦИОННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Обсуждая компетентность и некомпетентность, мы до сих пор занимались главным образом профессиональными проблемами — приемами и уловками, которыми пользуются люди, чтобы зарабатывать на хлеб насущный в развитом индустриальном обществе.

В этой главе я применю Принцип Питера для решения более общего вопроса — жизнекомпетентности. Способно ли человечество сохранить свое положение или идти вперед в эволюционном смысле?

ПИТЕРОВО ИСТОЛКОВАНИЕ ИСТОРИИ

В жизненной иерархии человек шел от повышения к повышению. До сих пор каждое его продвижение — от обитателя деревьев к пещерному жителю, к добывателю огня, к обкалывателю кремней, к шлифовщику камней, к бронзоплавильщику, к железолитейщику и т. д.— увеличивало перспективы выживания человека как вида.

Наиболее самодовольные особи людского рода представляют себе этот процесс в виде бесконечного восхождения. Я же со своей стороны хочу предостеречь, что раньше или позже *человек должен достичь своего уровня жизненекомпетентности.*

Этому могут помешать два обстоятельства: человечеству не хватит времени или же в жизненной иерархии не окажется достаточного числа ступеней. Но, насколько мы можем судить, впереди у нас бесконечно много времени (независимо от того, сумеем мы им воспользоваться или нет) и бесконечное число ступеней — реальных и потенциальных (различные религии описывали целые иерархии ангелов, полубогов и богов, стоящих выше нынешнего уровня человека).

Другие виды шли от повышения к повышению для того лишь, чтобы добраться до своего уровня некомпетентности. Динозавр, саблезубый тигр, птеродактиль, мамонт развивались и процветали благодаря некоторым особенностям своего строения — массивности, клыкам, крыльям, бивням. Однако та же самая черта, которая вначале обеспечивала им повышение, в конце концов сделала их жизненекомпетентными. Можно сказать, что *компетентность всегда содержит в себе зародыш некомпетентности.* За эрой неуклонного эволюционного продвижения у различных видов животных следовал застой или же они достигали сверхнекомпетентности и вымирали.

То же случалось со многими людскими обществами и цивилизациями. Некоторые нации, доказавшие свою способность к самоуправлению, будучи городами-республиками, просто республиками или монархиями, не смогли выжить, став империями. Цивилизации, процветавшие в невыносимо трудных условиях, не выдержали напряжения, вызванного успехами и изобилием.

Что можно сказать о человечестве в целом? Ум — вот качество, обеспечивавшее ему одно повышение за другим. Не станет ли ум преградой на пути его дальнейшего продвижения? Не сделает ли он человечество сверхнекомпетентным, послужив таким образом причиной его быстрого устранения из жизненной иерархии?

ДВА ЗЛОВЕЩИХ ПРИЗНАКА

1. Иерархический регресс

Для формирования и обучения новых членов человеческого рода общество использует школы. Я уже анализировал типичную школьную систему в той мере, в какой это касается работающих в ней учителей. Теперь же взглянем на то, как школа воздействует на учеников.

Старомодная школьная система была чистейшим воплощением Принципа Питера. Ученик продвигался из одного класса в другой, пока не достигал своего уровня некомпетентности. В этом случае говорилось, что он не смог перейти в 5, 8 или 11-й класс. Ему приходилось оставаться на второй год, то есть он застревал на своем уровне некомпетентности. В некоторых случаях, поскольку умственное развитие ребенка продолжалось, его интеллектуальная компетентность во время повторного пребывания в том же классе возрастала, и его можно было «повысить», то есть перевести в следующий класс. Если же нет, школьник опять «проваливался» и оставался в том же классе.

(Стоит отметить, что этот «провал» эквивалентен тому, что в профессионально-организационной сфере мы называем «успехом», то есть достижению конечной остановки на уровне некомпетентности.)

Школьная администрация не любит этой системы: она считает, что накопление некомпетентных учеников ведет к снижению процента успеваемости. Один директор школы сказал мне: «Я бы с удовольствием выпускал тупиц и оставлял на второй год способных: это сразу бы повысило процент успеваемости. Эти полчища тупиц снижают средний показатель моей школы».

Такая радикальная политика, естественно, не нашла бы широкой поддержки. Поэтому, чтобы избежать накопления некомпетентных учеников, школьная администрация выработала прием перевода в следующий класс всех учеников, как компетентных, так и некомпетентных, оправдывая такую линию с психологических позиций: считается, что таким образом дети оберегаются от душевных травм, связанных с провалом на экзаменах.

На самом же деле некомпетентных учеников продвигают ударной возгонкой.

В результате этой оптовой ударной возгонки юноши и девушки, получающие сегодня аттестат зрелости, по своим знаниям стоят не выше тех школьников одиннадцатого класса, которые учились там несколько лет назад. Со временем ценность аттестата снизится до уровня сначала десятого класса, затем девятого и т. д.

Это явление я называю *иерархическим регрессом.*

Следствия иерархического регресса

Аттестаты, дипломы и ученые степени все больше утрачивают ценность как показатели компетентности. При старой системе мы знали, что ученик, который не смог одолеть восьмого класса, во всяком случае знает программу седьмого. Мы знали, что студент, не справившийся с программой первого курса университета, по крайней мере обладает знаниями в объеме средней школы, и т. д.

Но теперь мы не можем предполагать ничего подобного. Современное свидетельство об образовании доказывает лишь одно: ученик обладал достаточной компетенцией только на то, чтобы высидеть в школе определенное число лет.

Аттестат зрелости, бывший прежде признанным свидетельством компетентности, в настоящее время превратился в свидетельство отсутствия компетентности, которое требуется для занятия большинства ответственных и хорошо оплачиваемых должностей [1].

Такое же положение наблюдается и в области высшего образования. Ценность дипломов бакалавра и магистра также регрессировала. Только докторский диплом еще хранит былой ореол компетентности. Однако даже его ценность пошла на убыль из-за появления более высоких ученых степеней. Но много ли потребуется времени, чтобы и эти степени также превратились в признак некомпетентности?

Процесс деградации ускоряется эскалацией образования. Так, например, во многих университетах в настоящее время развилась система студентов-преподавателей (старшекурсники обучают студентов младших курсов), которая еще пятьдесят лет назад была осуждена в средней школе!

Эскалация в любой профессиональной области дает такие же результаты. Стремясь поскорее увеличить число инженеров, ученых, священников, учителей, автомобилей, яблок и т. д., общество, естественно, снижает требования к этой разнообразной продукции, и начинается иерархический регресс.

Как потребитель, предприниматель или учитель, вы, конечно, ощущаете результаты иерархического регресса. Я вернусь к этой теме позже, чтобы предложить средства, способные приостановить этот процесс.

---

[1] Стоит отметить, что иерархический регресс нельзя считать чисто современным явлением. Много лет назад простая грамотность считалась вполне достаточным свидетельством компетентности во многих областях и позволяла ее обладателю занимать весьма важные должности. Затем обнаружилось, что число грамотных дураков непрерывно растет, и предприниматели начали повышать образовательный ценз, сначала до пяти классов, затем до восьми и т. д. Каждый из этих уровней поначалу признавался свидетельством компетентности, и на каждый из них в конце концов начинали смотреть как на свидетельство некомпетентности.

2. *Электронно-вычислительная машина и некомпетентность*

Пьяный человек временно теряет способность идти по прямой линии. Пока средством передвижения ему служат собственные ноги, главную опасность он представляет для себя самого. Но посадите его за руль, и, прежде чем он сломает себе шею, он может убить десяток других людей.

Это положение не требует особых разъяснений. Чем мощнее средства в моем распоряжении, тем больше добра или зла можно от меня ожидать в зависимости от моей компетентности или некомпетентности — это совершенно очевидно.

Печатный станок, радио и телевидение последовательно расширяли возможности человека распространять и увековечивать свою некомпетентность. Теперь настала очередь электронно-вычислительной машины.

Картотека использования ЭВМ, случай № 11. Р. Смог, основатель и директор фирмы «Микроблоки Смога», был инженером-изобретателем, достигшим своего уровня некомпетентности на административном посту. Смог постоянно жаловался на неудовлетворительную работу своего управляющего, клерков и бухгалтеров. Он не понимал, что они трудятся не менее эффективно, чем большинство служащих этих категорий в других фирмах. Некоторые из них еще не достигли своего уровня некомпетентности; их работа давала полезные результаты, и благодаря им фирма продолжала существовать. Они ухитрялись, получая путаные распоряжения Смога, выделять из них то, что могло быть полезным фирме, игнорируя все прочее, и затем принимали соответствующие меры.

Некий коммивояжер убедил Смога, что большую часть работы его центрального аппарата может выполнять ЭВМ, которая, кроме того, позволит ему повысить производительность всего предприятия. Смог заказал вычислительную машину, она была установлена, а «лишний» персонал уволен.

Однако Смог вскоре обнаружил, что фирма перестала справляться с прежним объемом работы. В работе ЭВМ были два момента, которых он не понимал. (По крайней мере, он не понимал, что они имеют отношение и к нему самому.)

а) ЭВМ не воспринимает нечетких распоряжений и просто мигает лампочками, дожидаясь разъяснений.

б) ЭВМ лишена такта. Она не льстит. У нее отсутствует здравый смысл. Получив вредные для дела указания, она не скажет: «Слушаю, будет исполнено, сэр!» — а затем, удалившись, не выполнит все как надо. Она безоговорочно выполняет любые распоряжения, если они даются ей в четкой форме.

Фирма Смога быстро покатилась по наклонной плоскости и за какой-нибудь год обанкротилась. Так Смог пал жертвой некомпетентности, заложенной им в электронно-вычислительную машину.

Более страшные примеры. Квебекский отдел народного просвещения переплатил по студенческим займам 275 864 доллара. Ошибка была допущена службой размножения документов, работой которой управляет ЭВМ.

В Нью-Йорке банковская ЭВМ приказала долго жить, и счета на 3 миллиарда долларов сутки оставались неучтенными.

ЭВМ, принадлежащая авиалинии, вместо десяти заказов на поставку мятного шоколада напечатала 6000.

Исследование, проведенное в 1966 году, показывает, что более 70% ЭВМ, установленных к тому времени в Англии, можно было считать коммерчески невыгодными.

Одна ЭВМ оказалась столь чувствительной к статическому электричеству, что делала ошибку каждый раз, как только к ней приближалась женщина в нейлоновом белье.

Три наблюдения. 1) ЭВМ может быть некомпетентна сама по себе, то есть не будет в состоянии регулярно и аккуратно выполнять работу, для которой она создана. Некомпетентность такого рода никогда нельзя полностью исключить, поскольку действие Принципа Питера распространяется и на предприятия, конструирующие и изготовляющие вычислительные машины.

2) Если даже ЭВМ квалифицированно справляется со своими собственными задачами, она способна увеличить до колоссальных размеров некомпетентность своих владельцев или же оператора.

3) Принцип Питера воздействует на ЭВМ, как и на людей. Если поначалу машина делает полезную работу, то возникает стремление поручать ей все более серьезные задания, и этот процесс останавливается лишь тогда, когда она достигает своего уровня некомпетентности.

Как это можно истолковать

Эти два признака — быстрое распространение иерархического регресса и некомпетентности, осуществляющейся через ЭВМ,— являются лишь частью общей тенденции, которая, если она сохранится, приведет человечество на уровень полной жизненекомпетентности. Бездумная эскалация образования и автоматизация устаревших или просто неправильных методов представляют собой пример бессмысленного вклада в жизнь общества ради самого вклада. Наши руководители в области политики, науки, образования, промышленности и вооруженных сил требуют, чтобы мы двигались как можно быстрее и дальше, но при этом они опираются лишь на слепое убеждение, что чем больше вложишь, тем больше получишь.

Познакомившись с иерархиологией, вам теперь не трудно понять, что продолжение непрерывной эскалации вложений со стороны общества есть не что иное, как *инверсия Питера* в гигантском масштабе.

КОЛЕСО — ПЕРВАЯ ОШИБКА ЧЕЛОВЕКА

Посмотрите на результаты. Возможно, мы все обречены из-за нашего ума и стремления к эскалации вложений. Еще несколько десятилетий назад наша страна была усеяна кристально чистыми озерами и опутана кружевной паутиной прозрачных рек. Почва рождала здоровые плоды. Горожанам была доступна спокойная красота сельского ландшафта.

Сегодня озера и реки превратились в сточные ямы. Воздух насыщен дымом и сажей. Почва и вода отравлены ядохимикатами, и птицы, пчелы, рыба, скот вымирают. Сельские местности превращаются в огромную свалку мусора и старых автомашин.

И это называется прогрессом! Мы добились такого прогресса, что у нас даже исчезла уверенность в перспективе выживания самого человека. Мы разбили все надежды этого столетия и на науку, вызывавшую раньше восхищение своими чудесами, смотрим теперь с ужасом как на создательницу смертельной ядерной ловушки для всего человечества. Если мы и дальше будем лихорадочно планировать, изобретать, строить и реконструировать во имя такого прогресса, то вскоре достигнем уровня *полной жизненекомпетентности.*

Где же выход?

Не возникает ли у вас иногда чувства, что вам предстоит встреча с забвением и вы бы предпочли, чтобы она расстроилась?

Иерархиология подскажет вам способ.

Из всех теорий улучшения условий жизни и устранения угрозы гибели человечества только Принцип Питера правильно учитывает реальные данные о природе человека. Иерархиология обнажает истинную натуру человека, постоянное и непрерывное создание иерархий, нескончаемые поиски средств для их поддержания и столь же сильное противоборствующее стремление разрушать эти иерархии.

СРЕДСТВА ПИТЕРА

Должно ли человечество достичь жизненекомпетентности и быть уволенным из жизненной иерархии?

Прежде чем вы дадите ответ на этот вопрос, спросите себя: «Какова цель (продуктивность) человеческой иерархии?»

В моей лекции «Решает будущее» я говорю студентам: «Если вы не знаете, куда идете, то, вероятнее всего, попадете туда, куда и не рассчитывали попасть».

Если цель жизненной иерархии — истребление человеческого рода, то очевидно, что в средствах Питера нет никакой нужды. Однако, если мы хотим выжить и улучшить условия нашей жизни, средства Питера, от профилактических до целебных, указывают возможный выход.

Я предлагаю:

1. Профилактику Питера — средства, позволяющие избежать достижения своего уровня некомпетентности.
2. Паллиативы Питера — средства продления жизни и сохранения здоровья и счастья для тех, кто уже достиг своего уровня некомпетентности.
3. Плацебо Питера—средства подавления симптомов СКО (синдрома конечной остановки).
4. Рецепты Питера — способы исцеления болезней нашей цивилизации.

1. ПРОФИЛАКТИКА ПИТЕРА — ГРАММ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР

В иерархиологическом смысле профилактика — это совокупность предупредительных мер, применяемых до возникновения синдрома конечной остановки или наступления иерархического регресса.

Сила негативного подхода

Я усиленно рекомендую оздоровляющее влияние негативного подхода на восстановление здоровья. Если бы Мол Демар подумал о негативных сторонах положения генерального директора, разве согласился бы он тогда занять этот пост?

Предположим, он задал бы себе такие вопросы: «Что подумает обо мне совет директоров? Чего будут ждать от меня мои подчиненные? Чего будет ждать от меня моя жена?»

Если бы Мол упорно анализировал отрицательные стороны повышения, разве бы он не смог изменить тот пагубный для себя курс, который разрушил его здоровье?

В интеллектуальном плане он был вполне компетентным и мог легко суммировать все эти отрицательные компоненты: противоречивые требования, которые ему предстоит удовлетворять, и изменение отношений с друзьями, и общественное давление, уступая которому придется записаться в загородный клуб, и необходимость обзавестись фраком, и требования жены, обновляющей свой гардероб, и неизбежность того, что ему придется возглавлять различные благотворительные кампании, и все прочее, с чем он столкнется в результате повышения.

Учтя все это, он, возможно, решил бы, что его жизнь на теперешнем уровне можно считать свершением всех его прежних надежд, что он вполне удовлетворен тем, что имеет, и что ему следует сохранить и уберечь его нынешние блага: репутацию, положение в обществе, склонности и — главное — здоровье.

Сами примените негативный подход и спросите себя: «Хотел бы я стать непосредственным подчиненным начальника моего начальника?»

Смотрите не на своего начальника, которого, по вашему мнению, вам нетрудно заменить, а на его начальника. Хотели бы вы стать непосредственным подчиненным человека, от которого вас отделяют пока две ступеньки иерархической лестницы? Ответ на этот вопрос часто оказывается профилактически благотворным.

Негативный подход обладает огромными возможностями для разрешения проблем, порожденных некомпетентностью, как в масштабе личных судеб, так и в масштабе всего мира.

Рассмотрите, например, достоинства весьма дорогостоящей программы подводных исследований. Поразмыслите над неудобствами и опасностями жизни на морском дне; сравните это с комфортом и безопасностью вечера, проведенного в плавательном бассейне или на морском пляже.

Подумайте об удушающем зловонии и опасностях, которые связаны с распылением ядохимикатов с самолета; сравните их с бесхитростной радостью, которую приносит такое терапевтическое упражнение, как ручное опрыскивание сада.

Негативный подход поможет нам избежать эскалации до уровня жизненекомпетентности и тем самым избежать дальнейшего уничтожения природных ресурсов.

Другой профилактический метод — симулируемая некомпетентность

В качестве иного подхода к решению проблемы жизненекомпетентности человека рассмотрим возможность применения симулируемой некомпетентности. Внешне мы по-прежнему можем делать вид, будто стремимся продвинуться в жизненной иерархии, но в то же время намеренно практиковать побочную компетентность в такой степени, чтобы избавить себя от следующего повышения.

(Под «побочной» я подразумеваю деятельность, не связанную с добыванием пищи, обеспечением тепла, сохранением здоровой окружающей среды и воспитанием детей, то есть с тем, что необходимо для нашего выживания как вида.)

Вот вам пример. Человек компетентно разрешил множество проблем наземного и воздушного сообщения в мире своего обитания. В самое короткое время он может попасть в любую точку земного шара, причем это не более трудно и опасно, чем прогулка по улицам родного города. (Или даже менее опасно, если он живет в большом городе.)

Можно было бы ожидать, что продвижение в транспортной иерархии сделает наземного путешественника космическим. Но это было бы продвижением ради самого продвижения. Человеку нет необходимости самому исследовать Луну, Марс и Венеру. Он уже послал туда радиолокаторы, телевизионные камеры и фотографическую аппаратуру, которые передают яркие изображения этих небесных тел, а также исчерпывающие сведения о них. Полученные данные говорят, что все это — весьма малогостеприимные места.

Для человека предпочтительнее, если он не будет повышен в космические путешественники. Но как мы уже видели, отказаться от повышения — весьма не простое дело. Более верный, приятный и эффективный путь — казаться не заслуживающим повышения. Это и есть симулируемая некомпетентность.

Возьмем другой пример. В лечебной иерархии человек от первобытного знахарства поднялся до современной ортодоксальной медицины. Сегодня он весьма близок к изготовлению людей из запасных частей, как натуральных, так и синтетических. Этот шаг превратит человека из целителя в творца.

Но в обстановке демографического взрыва и широко распространенного голодания стоит ли человеку принимать такое повышение?

Не подоспело ли время проявить здесь симулируемую некомпетентность, подорвать доверие к творческим методам и тем самым избежать потенциально опасного повышения?

ДЕЛО ЗА ВАМИ

Немного подумав, вы сможете найти и другие области приложения симулируемой некомпетентности.

Если нам грозит повышение до уровня полной жизненекомпетентности — скажем, в результате загрязнения атмосферы, ядерной войны, всемирного голода или вторжения марсианских бактерий,— значит, нам следует прибегнуть к профилактике Питера.

Если мы будем практиковать негативный подход и симулируемую некомпетентность, уклоняясь тем самым от последнего шага, возможность выживания рода человеческого возрастет. Профилактика Питера позволит предотвратить патологические повышения.

2. ПАЛЛИАТИВ ПИТЕРА — ГРАММ ОБЛЕГЧЕНИЯ

Хотя человечество в целом еще не достигло уровня полной жизненекомпетентности, многие отдельные его представители, как мы видели выше, достигают этого уровня и затем очень быстро покидают сей мир.

Я уже обсуждал ряд возможных паллиативов для этих людей, то есть меры, которые позволят им прожить жизнь счастливо и спокойно. Теперь посмотрим, как будут действовать эти рецепты в более широком масштабе.

Как приостановить иерархический регресс?

Как мы видели выше, причиной иерархического регресса в системе народного просвещения является массированная ударная возгонка учеников, которых прежде просто оставили бы на второй год.

Я предлагаю вместо ударной возгонки применять к таким учащимся пас в сторону.

В настоящее время ученик, не одолевший программу восьмого класса, выбрасывается в девятый. По моему плану после восьмого класса его отпасуют, скажем, на годичные курсы Академии углубленного изучения. Там он повторит программу, причем с особым упором на те разделы, которые ему не давались раньше. Дополнительный опыт, рост его собственной зрелости и — если ему повезет — более компетентное преподавание, возможно, подготовят его к девятому классу.

Если же и это не поможет, то его родители едва ли будут возражать против направления его на специальные двухлетние курсы углубленного изучения.

И, наконец, если ученик, никак не продвигаясь, достигает возраста, когда пора заканчивать школу, ему выдают диплом пожизненного члена академических курсов углубленного изучения.

Таким образом, пас в сторону позволит ему покинуть школу боковым путем. Это никак не нарушит процесс обучения школьников, которые все еще продолжают продвигаться вверх, и не снизит ценность свидетельств и аттестатов, которые получают успевающие ученики.

Этот метод оказался действенным в применении к отдельным лицам в профессиональной сфере. Почему не испробовать его в массовом масштабе в сфере образования? *Паллиатив Питера устраняет ударную возгонку.*

3. ПЛАЦЕБО ПИТЕРА — ГРАММ ВИДИМОСТИ

С точки зрения иерархиологии плацебо — это применение нейтрального приема для подавления нежелательных эффектов, порожденных достижением уровня некомпетентности.

Я хотел бы вернуться к случаю миссис Витрин, о котором говорилось выше. Миссис Витрин, достигнув своего уровня некомпетентности, тратила время не на преподавание математики, а на ее восхваление.

Миссис Витрин подменяла суть видимостью. Рецепт плацебо Питера: грамм видимости стоит килограмма сути.

Теперь посмотрим, как можно применить плацебо в широком масштабе. Некомпетентные работники вместо того, чтобы добиваться повышения любой ценой, начнут читать красноречивые лекции о величии труда. Некомпетентные педагоги бросят преподавание и все свое время посвятят превознесению ценности образования. Некомпетентные художники займутся пропагандой живописи.

Все те, кто воспользуется плацебо Питера, возможно, и не принесут никакой пользы, но они, по крайней мере, не причинят и никакого вреда и — самое важное — не помешают работе компетентных специалистов в соответствующих областях. *Плацебо Питера устраняет опасность профессионального паралича.*

4. РЕЦЕПТ ПИТЕРА — КИЛОГРАММ ПАНАЦЕЙ

Чего добьется род человеческий, если воспользуется рецептом Питера?

Профилактика Питера помешает миллионам людей достигнуть своего уровня некомпетентности. Таким образом, те миллионы, которые в современных условиях страдают невротическими расстройствами и не занимаются производительным трудом, на всю жизнь останутся счастливыми и полезными членами общества.

Благодаря паллиативам и плацебо Питера те, кто уже достиг своего уровня некомпетентности, будут заняты безобидной деятельностью и вернут себе счастье и здоровье. Такая перемена освободит для производительного труда миллионы людей, которые в настоящее время заняты тем, что лечат некомпетентных работников или исправляют их промахи и ошибки.

Что же мы получим в итоге? Для конструктивной работы высвободятся колоссальные резервы человеко-часов, творческой энергии и энтузиазма.

Мы сможем, например, разработать безопасные, удобные, эффективные скоростные транспортные системы для наших крупнейших городов. (Они обойдутся дешевле лунных кораблей и смогут обслуживать куда больше людей.) Мы сможем создать чистые и дешевые источники энергии (например, электростанции, работающие на отходах, сжигаемых в бездымных топках), которые не будут загрязнять атмосферу. Тем самым мы будем содействовать укреплению здоровья людей, восстановим красоту природы.

Мы можем улучшить качество и безопасность наших автомашин, дорог, автострад и городских магистралей, что вновь превратит поездки и путешествия из муки в удовольствие.

Мы можем найти удобрения, которые, обогащая почву, не будут ее отравлять.

Значительную часть отбросов, вывозимых сегодня на свалки, можно использовать и перерабатывать в новые изделия, для чего понадобится столь же сложная система сбора вторичного сырья, какой в настоящее время является торгово-распределительная сеть.

Мусор же, для которого не найдется употребления, нужно сбрасывать в выработанные карьеры, и затем эту землю можно будет использовать для строительства.

Применяйте сами

Рамки книги не дают простора для более детального изложения моих взглядов. Но серьезный читатель сам найдет возможность применения рецепта Питера в своей жизни и в труде, а также в жизни и труде своего города, страны и планеты.

Совершенно очевидно, что человек никогда не достигнет своих заветных целей, стремясь к количеству ради количества. Осуществить их он может, только улучшая качество жизни, другими словами,— избегая жизненекомпетентности.

Рецепт Питера указывает, как улучшить качество жизни, отказавшись от бездумного продвижения в царство забвения.

ИЕРАРХИОЛОГИЯ НА ПОДЪЕМЕ

По-моему, сказано достаточно, чтобы каждому стало ясно, что ваше счастье, здоровье и радость, приносимая полезным трудом, а также самое будущее человечества зависят от правильного понимания Принципа Питера, от умелого применения принципов иерархиологии и от использования рецепта Питера для решения проблем, встающих перед человеком.

Я написал эту книгу так, чтобы вы могли понять и усвоить Принцип Питера. От вас зависит его широкое признание и успешное применение. Несомненно, последуют и другие книги по этому предмету. Пока же будем надеяться, что какой-нибудь филантроп пожертвует деньги на основание кафедры иерархиологии в одном из ведущих университетов. Дело только за ним, так как я готов ее возглавить в любую минуту, обладая для этого достаточной квалификацией, свидетельством чему служит эта книга.

Безумный мир бюрократической рациональности

В бурном водовороте нашего века ирония подобна спасательному кругу. Не будь ее, нас захлестнул бы каскад столь же броских, сколь и разношерстных явлений, каждое из которых выдает себя за доподлиннейшее воплощение прогресса. Книга, которую вы только что прочли, иронична насквозь. Ироничен сам Принцип Питера, который авторы, посмеиваясь, выдают за вселенскую отмычку — ключ к пониманию всего и вся в человеческом обществе. Ироничны подкрепляющие этот Принцип основные и побочные законы, рожденные веселой игрой Л. Дж. Питера и Р. Халла в науку, игрой, пародирующей изначальную склонность ученых к классификации, к развешиванию табличек на всех клетках своего профессионального зверинца. Старому читателю «Иностранной литературы» правила этой игры напомнят о саркастическом «Законе Паркинсона», который давно уже взят на вооружение и юмористами, и социологами.

Пестрый шутовской наряд с незапамятных времен был лучшей кольчугой для социальных критиков. Подтрунивая не только над обществом, но и над своим глубокомысленным Принципом, Питер и Халл завоевали широкую читательскую аудиторию в США, Англии, Канаде. Их книга, выдержав за короткий срок 20 изданий (первый американский бестселлер 1969 года!), снискала у критиков хвалебные отзывы. Журнал «Лайф» предсказал, что Принцип Питера вслед за Законом Паркинсона войдет в обиходный язык. Похоже, что предсказание точное.

Такого успеха, конечно, не было бы, если бы Питер с Халлом не заглянули, вслед за Паркинсоном, в гущу социальной повседневности, не распознали повального

недуга переорганизованности и бюрократизма, поразившего, подобно склерозу, все сосуды общества, в котором они живут. «Принцип Питера» жалит больно и потому интересен вдвойне, так что авторам легко прощаешь длинноты и повторения.

Испокон веков стало привычным парадоксом, что общество не прячет шрамы от ювеналова бича сатиры, а в мазохистском восторге выставляет их напоказ. (Впрочем, нередко самим бичевателям основательно доставалось от правосудия, но это уже издержки истории.) Сатирические стрелы Питера и Халла попали точно в цель — в болевые точки западной цивилизации. Поэтому Запад и смеется над книгой — чтобы не принимать ее всерьез, иначе впору было бы плакать.

Ибо смех Питера и Халла действительно — дело серьезное. Ведь сочиненный ими свод законов — это социальная апологетика наоборот. Авторы как бы нарочно поставили на голову ученые концепции западных социологов, сменив знак + на —. Иронические «средства Питера», долженствующие придать устойчивость ковчегу буржуазного общества,— разве они не перекликаются, например, со знаменитыми 14 принципами Анри Файоля, отца теории управления? Инициатива по Файолю и негативный подход по Питеру, дисциплина и власть по Файолю, показуха по Питеру — разве не напоминает эта озорная имитация о том, что от великого до смешного всего один шаг?

Авторы Принципа Питера торжественно возвещают о создании ими новой науки — иерархиологии. Если принять эту торжественность всерьез, можно было бы подумать, что они занимаются плагиатом. Ибо восприятие общества как строгой иерархии стало исходным для западных специалистов по проблемам социальной структуры. Американский социолог У. Уайт, автор бестселлера 1956 года «Человек организации» (символический, между прочим, заголовок), строит свою книгу на аналогии бюрократической структуры в Соединенных Штатах с социальной иерархией средневековья. Собрат Уайта по профессии Вэнс Паккард книгу о бюрократии, выпущенную в 1962 году, так и назвал «Влезающие на пирамиду».

Ударная возгонка, которая у Питера и Халла фигурирует как одна из основ их учения, во «Введении в науку управления» француза Б. Гурне (1966) рассматривается как распространенный административный прием.

Будто зеркальное отражение в комнате смеха, принцип всеобщей некомпетентности вызывающе противостоит тезису Макса Вебера, основоположника современной западной социологии, о профессиональной компетентности как неотъемлемом качестве идеальной бюрократии. Лишнее свидетельство того, сколь мало общего между идеалом и его воплощением в жизни!

И «Принцип Питера», и «Закон Паркинсона» нарочито механистичны. Стоит ли удивляться, что они были сформулированы именно в то время, когда психология выявляет неисчерпаемую сложность человеческого сознания? Но это потому, что там, где действуют эти законы, нет человека. Шекспир считал, что мир — это театр. Бюрократический мир — это монотонная комедия масок, где ничего не происходит, или, может быть, пляска марионеток, театр абсурда.

Из Принципа Питера следует, что бюрократическая организация по самой своей природе ориентирована на посредственность, способную не мудрствуя лукаво выполнять неукоснительно указания начальства. Подавлять в себе отклоняющиеся от бесцветной усредненной нормы признаки индивидуальности — такова молчаливо принятая социальная этика подобной организации. Она обладает безотказно работающим механизмом проверки совместимости, позволяющим ей отторгнуть чужеродное тело. В подобных случаях происходит то, что можно было бы назвать эффектом пробки от шампанского: чужеродный элемент может удерживаться в бюрократической структуре лишь немалыми внешними усилиями, но стоит снять их, эту проволоку, закрепляющую пробку, как та с треском вылетит из бутылки.

Впрочем, роль проволоки может выполнять и тщательная мимикрия. Когда подчиненный умнее начальника, это плохо, поскольку идет вразрез с иерархиологией,— американский специалист по теории организации Э. Голднер недаром считает, что такое несходство является основным мотивом «организационной напряженности». И все же это терпимо, если подчиненный сумеет успешно замаскироваться под тупицу, подобно тому как живая гусеница выдает себя за мертвый сучок. Впрочем, чаще всего самомаскировка настолько входит в плоть и кровь, что индивидуальность улетучивается начисто и происходит то, что другой американский эксперт, Уорнотт, называл «профессиональной деформацией» личности. Но будучи прискорбным с индивидуальной точки зрения, это полезно для организации в целом. Можно поверить на слово такому знатоку «коридоров власти», как сенатор США Дж. Фулбрайт, который пишет: «В большинстве правительственных учреждений, если не во всех, оригинальность мышления, особенно на низших ступенях служебной лестницы, считается одним из проявлений наглости, а то и хуже. Ценным и выгодным для карьеры качеством является «здравомыслие», под которым почти всегда подразумевается педантизм и посредственность».

Фрейд, как известно, сравнивал сознание человека, его Я — с лошадью, а стандарты человеческого поведения, моральные ценности и нормы, цензурирующие Я,— со всадником, сдерживающим лошадь. Используя этот образ, можно было бы уподобить

сознание бюрократической личности одновременно ишаку и его наезднику: этот «кентавр» сам себя пришпоривает, что снимает опасность выхода из-под самоконтроля.

Из всего этого ясно, что Питер ошибается, когда считает сверхнекомпетентность столь же опасной, как и сверхкомпетентность. Вторая действительно подрывает систему, тогда как первая лишь доводит ее до логического конца и к тому же является выгодным фоном для ограниченной компетентности. Рассказывают, что в одной стране при утверждении нового посла один из членов высшей иерархии воскликнул: «Но он же непроходимо глуп». На что председательствующий философски заметил: «Отличная характеристика для посла». Утвердили.

Наше возражение Питеру косвенно подтверждается и тем фактом, что провокация сверхкомпетентности есть, бесспорно, лучший способ расправиться с конкурентом. Чиновник А умнее своего начальника Б. Коллега А, некий В, нарочито подчеркивает ум А. Конец ясен: А упало, Б, может быть, пропадет со временем, но В — никогда.

Принцип Питера подводит нас к осознанию закрытости бюрократии, ее непроницаемости к внешним влияниям, которая проистекает из ее бессодержательности и пустоты. Памятные по школе магдебургские полушария, разделить которые не дает внутренний вакуум,— прекрасная иллюстрация стойкости бюрократических организаций. Нет необходимости приводить примеры того, как усилия самых динамичных реформаторов разбивались о стену, казалось бы, нелепой, исторически обреченной косности бюрократических структур. Преобразования оставались лишь внешними и поэтому легко отменялись впоследствии. Это можно назвать эффектом Мертвого моря: как бы энергично ни действовал пловец, что бы он ни вытворял на поверхности, он не в силах нарушить невозмутимость вод.

Враждебность новому не означает, что бюрократия отвергает всякие изменения. Она модернизирует, хотя и медленно и неохотно, свой профессиональный жаргон, что маскирует ее замшелость и вселяет почтение в ее клиентов.

Можно считать изменением и склонность исследуемых организаций к разбуханию по Закону Паркинсона. Подобно тому как скорость при свободном падении без учета сопротивления воздуха растет беспредельно, так и всякая бюрократическая организация, абстрактно говоря, стремится охватить все человечество. Однако здесь роль сопротивления играют аналогичные организации, каждая из которых нуждается в своем месте под солнцем. Тем не менее Питер и Халл неправы в своем споре с Паркинсоном, когда полагают, что разбухание аппарата лимитируется рациональными соображениями. Скорее наоборот: и при успешной и при неудачной работе организация одинаково склонна к расширению. (Ибо неудача в житейском, вульгарном понимании может означать успех в бюрократическом смысле.) Американский профессор Р. Фенно подтверждает: «Рост правительственного аппарата США происходит без всякой внутренней логики и продуманной структуры». Правда, процесс разбухания нередко маскируется дроблением организации. Но разве живучесть обеих половинок дождевого червя не есть своеобразное подтверждение Закона Паркинсона на примере животного мира?

Дисциплина — вот цемент организаторского здания. Один из социологических бардов современной Америки, Э. Шилз, утверждая в полном соответствии с Законом Паркинсона, что «общество... нуждается в разветвленной бюрократической администрации», считает свой идеал осуществимым, лишь если широкие слои населения «обретут способность быть дисциплинированными». Мечта профессора Шилза, конечно же, не дисциплина труда, а дисциплина ради нее самой. Другой американский социолог, Р. Мертон, замечает, что дисциплина становится «самодовлеющей ценностью в образе жизни бюрократа... Конечным продуктом этого процесса смещения целей оказывается бюрократический виртуоз, который никогда не забывает ни одного из правил своей деятельности и поэтому не способен оказать какое-либо содействие многим своим клиентам». Подобные бюрократические виртуозы ведут, сами того не сознавая, повседневную стачку наоборот. Такая забастовка отличается тем, что, не лишая стачечников зарплаты, успешно парализует работу соответствующей организации.

Строя свою идеальную модель бюрократической организации, Макс Вебер подводил под нее трех китов: точность, надежность, эффективность. Повседневность бюрократической забастовки, наоборот, побуждает говорить скорее об «антиките» — неэффективности.

В ходе бюрократического ничегонеделанья рождается явление, которое социология определяет как «ритуалы уклонения» (меткая характеристика: ритуал свидетельствует о включенности в дисциплину, уклонение — об идиосинкразии к содержательной работе). Среди этих ритуалов, поясняет уже упомянутый Голднер, «наибольшее распространение в современной организации получил, несомненно, «перерыв на кофе» (нечего и говорить, что в этот перерыв могут потребляться и другие напитки)...» Явление естественное, ибо оно ослабляет опасность эффективности.

Западные апологеты менеджмента говорят о нейтральности как неотъемлемом качестве бюрократии. Но она нейтральна лишь постольку, поскольку нейтральна организация, что немыслимо. Бездействующий бюрократ, как и робот, не может быть оценен ни положительно, ни отрицательно. Но в своих действиях и тот и другой запрограммированы вполне определенным образом. Поверить апологетам менеджмента,

так бюрократия должна стремиться к оптимальным действиям, искать и воплощать Истину. Практика показывает, однако, что дело обстоит совсем наоборот. Здесь полезно обратиться к категории б ю р о к р а т и ч е с к о й п р а в д ы, которая чаще всего не совпадает с истинным положением вещей, но зато отвечает логике организации. Предложивший этот термин профессор Дж. К. Гэлбрейт (сам немало претерпевший от американской бюрократической машины) писал: «Бюрократия руководствуется не правдой, а своей собственной правдой. Она защищает эту правду против действительности». Нет бога, кроме Организации, и бюрократ — пророк его!

А поскольку эта организация по самой своей сути консервативна, мировоззрение бюрократа носит охранительный характер. Он — столп общества, а столп не может быть революционным. Для Маркса и Энгельса чиновничество и мещанская добропорядочность являлись синонимами. Мы говорили о роботах, но эту параллель нельзя заводить слишком далеко. Ибо автомат бесстрастен, тогда как бюрократу присуща страстная неприязнь к нормальным человеческим качествам. Перефразируя известный афоризм, можно было бы сказать, что все человеческое ему чуждо. Если уж искать модель бюрократической иерархии, то это скорее ферма животных.

Строя прогноз на 80-е годы, американские теоретики в области менеджмента Ливитт и Уислер предсказывают смену единовластия в организациях олигархическим правлением, «своего рода коллегиальностью». До логического конца будет доведен, таким образом, маскировочный принцип буржуазной демократии (вспомним, что Маркс и Энгельс называли современное им государство «суррогатом коллективности»). Но повысит ли это эффективность организации? Японская пословица гласит: «Если у корабля много рулевых, то корабль лезет на гору». Такой вариант управления смешивает сферы компетенции, порождает раздоры между лидерами, наконец, усиливает самостоятельность организации. В результате решения предопределяются позицией анонимного аппарата.

Перспективы «коллегиальности», которую предвидят Ливитт и Уислер, как видно, безрадостны. Но история свидетельствует, что и харизматическая личность, о которой мечтал Вебер, порождает такие неисчислимые последствия, которые тягостно и долго расхлебывать. В общем, судьба подведомственных бюрократическим организациям примерно та же, что у рыцаря из сказки: направо пойти — головы не сносить, налево пойти — убитым быть. Не лучше ли заниматься неторопливым бегом на месте, по мере сил обращая себе на пользу Принцип Питера?

Попытаемся теперь набросать словесный портрет модернизированного бюрократического лидера среднего уровня, отвечающего требованиям иерархиологии Паркинсона — Питера. Назовем эту личность мистером Ттт, о котором по «Марсианским хроникам» Рэя Брэдбери нам главным образом было известно, что он вечно занят. Занятость эта объясняется стремлением максимально использовать общественные связи в целях личного продвижения, действуя одинаково успешно Рукой и Локтями. Можно даже сказать, что у м-ра Ттт, как у индийской богини, несколько Рук. В своем личном тотализаторе он ставит сразу на разных лошадей и безошибочно выигрывает.

М-р Ттт не просто угодлив — он динамичен в соответствии с требованиями времени. Уподобляясь по эффективности белке в колесе, он осуществляет бесконечные перестройки, сохраняющие у сотрудников ощущение неуверенности и прикрывающие бесплодность организации. Он постоянно говорит о необходимости применять новые методы и не прочь при случае упомянуть о теории игр или мозговой атаке, однако вносит в дело лишь хаос и неразбериху. Профессор Мичиганского университета Дж. Одиорне характеризует человека типа м-ра Ттт как «экзистенциального менеджера», который не столько соблюдает общепринятые правила поведения, сколько нарушает их и благодаря этому добивается успеха. Мир такого менеджера «часто оказывается безответственным и недисциплинированным», но эта импульсивность, ошарашивая других, выручает его.

К м-ру Ттт подходит определение, данное выдающимся критиком американского общества Торстейном Вебленом,— «Trained Incapacity» (натренированная бездарность). Тип личности, хотя и теряющейся в ответственных коллизиях, но отлично себя чувствующей в рутинной обстановке мелких интриг. В таких случаях социальная ловкость, естественно, предпочтительнее ума. Как капитализм предполагает отделение производителя от собственности на средства производства, так и бюрократическая структура предполагает отделение работника от интеллекта.

Дополнительная характеристика м-ра Ттт и ему подобных почерпнута нами из учебника по социальной психологии американца Шибутани (русский перевод вышел в 1969 году): «Они чувствительны к неуважению и невниманию, проявляют большой интерес к символам статуса, внешним признакам успеха и постоянно озабочены тем, какое впечатление они производят на окружающих... Как непрофессионалы, так и психиатры нередко высказывают подозрение, что ч р е з м е р н а я а м б и ц и я — э т о с п о с о б к о м п е н с а ц и и н и з к о г о у р о в н я с о б с т в е н н о г о д о с т о и н с т в а. Власть рассматривается как страхование от подспудного чувства неполноценности». Можно догадаться, что при всей своей амбиции м-р Ттт порядком труслив.

В отличие от бюрократа старого образца м-р Ттт обладает располагающей внешностью и живыми манерами, сохраняя вид радушия и даже веселья. «Печальный ди-

ректор не имеет шансов» (Жозеф Базиль. Образование и культура кадров и руководителей. Париж, 1965).

Со своей личной точки зрения, поведение м-ра Ттт строго рационально. В общественном же плане такой социальный тип концентрирует, как в фокусе, иррациональность бюрократии, организации, иерархиологии, наконец, всего того мира, в котором действует Принцип Питера. Контакт с этим миром создает ощущение путешествия в страну чудес Льюиса Кэрролла, где смысл превращается в бессмыслицу, а бессмыслица наполняется осмысленным содержанием. Эта страна подвержена своим канонам кривологики, которые столь же разнятся от изучаемой в школах формальной логики, как законы микромира и макромира. Кривологика для непосвященного человека выглядит издевательством над здравым смыслом, зато «человеку организации» только она и кажется истинной. Организация, где царствует кривологика, по-своему рациональна, хотя полностью противоположна интересам общества, на теле которого произрастает.

«Действительная наука представляется бюрократу бессодержательной, как действительная жизнь — мертвой, ибо это мнимое знание и эта мнимая жизнь принимаются им за самую сущность» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 272). Но мнимая жизнь обретает вполне реальную силу, зловещая мистика вторгается в повседневность, мертвый хватает живого. Жуткое зрелище: персонажи фильмов Хичкока сошли с экрана и навязывают людям свои законы.

Публицист и профессор Макдермотт с горечью восклицает по поводу бюрократизированной Америки: «Паранойя становится общим явлением... Социальная иррациональность лишь увеличивается личной интеллигентностью людей, вовлеченных в систему».

Слово найдено: социальная иррациональность.

Где же выход? Питер и Халл предлагают: занять некомпетентных бесполезной работой и не обращать на них внимания. Впрочем, авторы этой антибюрократической утопии тут же дают понять, что шутят. Ибо в мире бюрократической рациональности компетентность лишь льет воду на мельницу некомпетентности.

Западные социологи, рассуждающие всерьез, давно уже опустили руки. Француз Мишель Крозье считает бюрократизм порочным кругом, из которого никто не может выскочить: ликвидация бюрократии приведет к социальному распаду и взрыву, а ее дальнейшее развитие усиливает социальную напряженность. Швейцарский экономист Герберт Люти называет бюрократию «скалой, по которой безрезультатно и напрасно бьют политические бури». Американский ученый Эрих Фромм пишет: «Хуже всего, что чиновники так же необходимы и неизбежны, как и тонны бумаги, истребляемые при их господстве». Число подобных ламентаций можно продолжить до бесконечности. Впрочем, сами же Питер и Халл, не теряя чувства юмора, попытки устранить некомпетентность относят к категории «напрасных усилий».

По отношению к безумному миру, который предстает со страниц их книги, универсальный закон рационального действия, сформулированный Максом Вебером, вызывает только горькую усмешку. Можно, конечно, объяснить это врожденной иррациональностью человеческого поведения, как считали многие мыслители — от Екклесиаста до Фрейда и Берталанфи. Но логично было бы искать социальные корни. Ибо иррационален общественный строй, в котором действует Принцип Питера. Этот строй и породил всепроникающую власть бюрократии, вызвал к жизни тиранию организации, сделал социальное сумасшествие нормальной формой существования.

Е. АМБАРЦУМОВ

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

«ВСЕМИРНАЯ ДЕРЕВНЯ» В ОКЕАНЕ ИНФОРМАЦИИ

Ровно сто лет тому назад, летом 1871 года Жюль Верн начал писать свой увлекательный роман «Вокруг света в 80 дней», в котором намеревался рассказать «о путешествии, проделанном с максимальной быстротой, какая только возможна в наше время». С тех пор расстояния стремительно сократились: с изобретением авиации накануне второй мировой войны стало возможным совершить кругосветное путешествие за восемьдесят часов, а сейчас космонавты облетают земной шар немногим дольше, чем за восемьдесят минут. Не менее разительны успехи в распространении информации. Еще во времена Наполеона сообщение вынуждено было передвигаться ногами гонцов, верхом либо под парусами, так что нередко о важных событиях люди узнавали недели и месяцы спустя. Теперь благодаря спутникам связи человечество может получать «немедленную информацию» по телевидению практически из любой части света. В этом смысле наша планета уже в предстоящем десятилетии действительно уподобится «всемирной деревне» («the global village» — по образному выражению Маклюэна), которую со всеми ее угодьями можно будет обойти в течение дня и тотчас узнать о всех новостях и событиях.

Этот «информационный взрыв» одних заставляет восторгаться, других — сокрушаться. Так или иначе, но он ставит человечество перед серьезными социальными, политическими и культурными проблемами и все больше привлекает к себе внимание мировой общественности, о чем, в частности, свидетельствует интересная подборка статей, опубликованная недавно американским еженедельником «Сатердей ревью». Под общим названием «Навстречу всемирной деревне» в журнале помещены статьи известного писателя-фантаста А. Азимова, председателя международного института радиовещания С. Майкелсона, директора отдела радио и телевидения при ООН Ж. д'Арси и, наконец, самого редактора и издателя журнала Нормана Казенса.

Современный этап в развитии средств массовой информации Азимов называет «четвертой революцией», сравнимой по своему значению и социальным последствиям с возникновением речи, созданием письменности и изобретением книгопечатания. Повсеместное распространение «немедленной информации» с помощью всемирной системы телевидения, по его мнению, уже в ближайшие десятилетия окажет колоссальное и необратимое влияние на образ жизни и сознание людей, на человеческую культуру в целом.

Со времени своего возникновения, отмечает он, цивилизация была неотделима от информации. Его последующие рассуждения фактически иллюстрируют известное марксистское положение, что каждому способу производства, каждой общественно-экономической формации присущи свои, специфические формы социальных отношений и общения между людьми. Древние цивилизации на берегах великих рек так же тесно жались к скудным источникам информации, как и к оросительным системам, а ее переработка, хранение и распространение были столь же важны для самого существования людей и развития культуры, как обработка почвы, хранение зерна и распределение воды для полива. Рабовладельческая Римская империя, как и вся античная

культура, была бы немыслима без письменности, а капитализм не мог бы возникнуть и развиваться без изобретения книгопечатания и связанной с ним хотя бы элементарной грамотности населения.

К настоящему времени однако, считает Азимов, возможности для развития человеческой цивилизации в рамках «третьей революции» практически исчерпаны:

> «В самом деле, зловещие признаки надвигающейся катастрофы видны повсюду, ибо проблемы, порожденные современной технологией, выглядят непреодолимыми. Численность населения не только чрезмерно велика, но оно к тому же невыносимо скученно в столичных центрах. По мере того как цивилизация становится все более сложной, все больше людей требуется для управления ее нервными центрами, а поскольку именно в этих нервных центрах преимущества культуры и технологии наиболее очевидны, все больше людей устремляется туда, чтобы воспользоваться ими,— пока, наконец, не возникают города-гиганты, которые оказываются социологически больны, технологически отравлены, культурно упадочны и умирающими от центра к периферии. В Соединенных Штатах это более очевидно, чем где бы то ни было еще...»

Только широкое внедрение достижений «четвертой революции», по мнению Азимова, позволит человечеству сделать новый гигантский шаг в развитии цивилизации:

> «Мы испытываем сейчас настоятельную потребность в таком переломе, который был бы аналогичен переходу от письменности к книгопечатанию. Электронные коммуникации должны стать столь распространенными, чтобы возникла своеобразная «электронная грамотность»... Только тогда четвертая революция сможет по-настоящему утвердиться, только тогда скажутся ее последствия, и, весьма возможно, цивилизация поднимется на новый уровень сложности и эффективности, и будет исправлено зло технологического развития, вышедшего за оптимальные рамки своей основы...
>
> Представим себе,— продолжает Азимов,— что четвертая революция свершилась прежде, чем наша цивилизация потерпела катастрофу. Чего мы вправе ожидать от ее воплощения в жизнь?
>
> С появлением неограниченного количества каналов для передачи звука и изображений каждый человек сможет обладать своим индивидуальным переносным видеофоном и вызывать любой номер на Земле. Обладая таким видеофоном, никто не рискует оказаться заброшенным, ибо, случись с ним несчастье, экстренный сигнал бедствия будет немедленно услышан в любой точке Земли.
>
> С помощью вычислительных машин и космической телесвязи печатное слово может быть передано столь же легко и широко, как и голос, так что письма-факсимиле смогут пересылаться из пункта в пункт в доли секунды... В перспективе видится возможность создания всемирной вычислительной машины, хранящей в своей электронной памяти общечеловеческую библиотеку, которая будет доступна любому человеку в любое время».

Такова картина жизни, которая в изображении Азимова ожидает человечество в не столь уж отдаленном будущем — во всяком случае до конца нашего столетия. В том, что с технологической точки зрения эта перспектива — отнюдь не плод воображения писателя-фантаста, а осуществимая практически цель, опирающаяся на достижения современной науки и техники, убеждает нас следующая статья подборки, озаглавленная «Первые восемь лет» (со времени запуска спутника связи) и принадлежащая перу Сига Майкелсона, человека, по своим знаниям компетентного в данной области. Впрочем, не будем подвергать сомнению способность научной фантастики самой по себе предвосхищать будущее. Ведь не кто иной, как Артур Кларк, еще в 1945 году, задолго до появления первых спутников, подробно описал систему всемирной телесвязи, так что известный авторитет в области научно-технического прогнозирования Эрих Янч имел все основания включить фантастическую и утопическую литературу в число методов предвидения будущего. Заметим, кстати, что ведущие монополистические корпорации на Западе охотно берут к себе на службу писателей-фантастов с вполне определенной целью — их идеи могут натолкнуть на многообещающие в коммерческом отношении открытия и изобретения.

Майкелсон подробно излагает технические возможности развития всемирной системы радиовещания и телевидения с помощью спутников связи. Прогресс в этом направлении, как он пишет, столь стремителен и невероятен, что трудно даже представить себе его ход в ближайшем десятилетии. Если первый коммерческий спутник связи «Ранняя птаха», запущенный в 1965 году, мог обеспечить одновременную передачу либо по 240 звуковым каналам, либо по одному телевизионному, то шесть лет спустя четвертое поколение спутников связи обладает уже пропускной способностью в 6000 звуковых и 12 телевизионных каналов. Непрерывно совершенствуются и наземные средства обеспечения системы «немедленной информации». В результате — стоимость создания и поддержания в течение года одного канала сократилась за последние пять лет в 25 раз и стала значительно дешевле обеспечения связи на дальние ди-

станции прежними техническими средствами. Теперь, продолжает Майкелсон, мы находимся на пороге новых захватывающих достижений в использовании спутников связи:

«Третьей стадией в их развитии станет непосредственное вещание на дом (минуя наземные усилительные станции) с помощью устройства, которое принято называть вещающим спутником. Технически это возможно будет сделать в конце 70-х годов, однако вследствие необходимости принятия целого комплекса предварительных экономических, политических и законодательных мер это вряд ли будет осуществлено и получит широкое распространение ранее 1985 года».

Развитие всемирной системы связи через спутники, отмечает Майкелсон, сулит весьма значительные выгоды развивающимся странам Латинской Америки, Африки и Азии, которые все еще находятся в стороне от основных международных кабелей, вдали от наиболее мощных радиостанций и не располагают достаточными средствами для создания своих национальных систем информации и коммуникации. Благодаря спутникам связи эти страны не только смогут приобщиться к мировому потоку информации, но и получат возможность создать общенациональную и региональную системы связи без необходимости прибегать к прокладыванию наземных и подводных кабелей, к строительству разветвленной сети релейных станций и прочих дорогостоящих сооружений.

Подавляющее большинство западных ученых и общественных деятелей, причастных к развитию всемирной системы информации, связывают с ней свои надежды на дальнейшее сближение и взаимопонимание между народами, на ускорение социального прогресса и интенсивный культурный обмен, на укрепление мирного сотрудничества в разных сферах деятельности. Однако эти надежды могут быть серьезно подорваны теми силами на Западе, которые с вожделением рассматривают спутники связи как дополнительное мощное оружие «холодной» войны. Своевременным предостережением о подобной реальной угрозе служит статья основателя Евровидения Жана д'Арси «Вызов сотрудничеству», осуждающая намерение превратить космос в плацдарм психологической войны и идеологических диверсий. В этой связи он напоминает о недальновидности тех, кто в свое время положил начало «холодной» войне на радиоволнах:

«Показательно, что результаты пропагандистской войны, которую вели после второй мировой войны на коротких радиоволнах, разочаровали тех, кто вложил в нее столько усилий, не говоря уже о расхищении значительной части ограниченного естественного богатства — спектра радиочастот... Соотношение затрат и эффективности всей этой деятельности, если ее измерить в количестве обращенных душ и покоренных умов, крайне низкое. Вот почему... стоит тщательно взвесить, оправдана ли эта ставка».

Всемирная система информации с помощью спутников связи, по утверждению д'Арси, отвечает интересам всех стран и народов и вместе с тем предполагает тесное международное и региональное сотрудничество. В качестве обнадеживающего примера подобного плодотворного сотрудничества в области телевидения между странами, принадлежащими к разным системам, он ссылается на пятнадцатилетний опыт Евровидения и Интервидения в Европе, которые смогли успешно решать стоящие перед ними проблемы, ни разу не вызвав протестов со стороны заинтересованных правительств. Полное развитие всемирной системы информации, заключает д'Арси, возможно лишь при условии заключения и строгого соблюдения соответствующих международных соглашений. В конечном счете создание всемирной системы «немедленной информации» из научно-технической проблемы все больше превращается в проблему политическую, дипломатическую и правовую. И эти проблемы должны быть решены незамедлительно, ибо

«через три года или пять лет новое поколение спутников будет способно вещать программы, невзирая на национальные границы, прямо в простой, дешевый, общедоступный телевизор...»

Если к этому времени не будут достигнуты специальные соглашения, то это лишь поощрит поборников «холодной» войны, которые в космических спутниках связи видят нечто вроде острова Лапуты, одним своим видом приводящего к послушанию правительства и народы.

«Четвертая революция» в средствах информации открывает перед человечеством новые и поистине безграничные перспективы развития. Но одновременно она ставит перед правительствами сложные международные проблемы, которые явятся серьезным испытанием доброй воли, политической зрелости и мудрости государственных деятелей.

Некогда Руссо утверждал, что непосредственная демократия возможна лишь в рамках непосредственного общения, и ратовал за карликовые государства, позволяющие всему населению общаться друг с другом, знать взаимные интересы и нужды и совместно принимать участие в управлении. Идеи Руссо пользовались большим успехом у его современников. И когда во Франции после буржуазной революции было

введено новое территориальное деление, то размеры департамента были определены с тем расчетом, чтобы каждый житель мог в течение дня добраться до административного центра и вернуться домой. С точки зрения возможностей общения и расстояний вся наша планета вскоре смогла бы уместиться в границах одного такого департамента. Однако этот общечеловеческий департамент расчленен государственными границами на полтораста самостоятельных частей с различной социальной структурой, а его жители говорят на двухстах языках, если считать только национальности с более чем миллионом представителей. Это, разумеется, не может не породить исключительно сложных международных проблем. Трудно поэтому согласиться с Азимовом, когда он пытается предвосхитить политическое развитие «всемирной деревни», изображая отдаленную перспективу в качестве непосредственного будущего:

«Земля впервые будет связана воедино не только на правительственном, но и на личном уровне. Своеобразная непосредственность в общении, доступная прежде лишь в рамках деревни, распространится на весь мир. В сущности, это и будет то самое, что называют «всемирной деревней»...

Во всемирной деревне не будет границ. Все проблемы станут такими же личными для людей, как свои собственные. Ни одна проблема не сможет где-либо возникнуть, не затронув немедленно и эмоционально всех, и мировое правительство станет свершившимся фактом даже в том случае, если из-за предубеждений прошлого никто особенно и не будет желать его, даже, быть может, не обратит особого внимания на его возникновение...

...Мы все однажды проснемся утром и обнаружим, что вот уже некоторое время весь мир действует в разумном соглашении».

Наивно полагать, как это делает Азимов, будто развитие всемирной системы связи автоматически повлечет за собой создание мирового правительства.

Вряд ли также можно удовлетвориться тем объяснением, которое д'Арси дает трудностям и препятствиям, связанным с международно-правовым оформлением всемирной системы связи:

«Редко, когда... ученые и техники настолько опережали законодателей».

Дело в том, что международные проблемы, о которых идет речь,— это в первую очередь социальные и политические проблемы, порожденные сосуществованием в мире двух социальных систем, а уже затем проблемы юридические. Их окончательное решение зависит не от компетентности и изощренности юристов, а от реального соотношения сил в мире и от исхода классовой борьбы. И здесь редактор «Сатердей ревью» Норман Казенс обнаруживает гораздо больше здравого смысла. В своем заключительном комментарии «Деревня или тюрьма?» он подчеркивает, что вопрос состоит не в том, возможно ли на уровне современной техники обеспечить функционирование эффективной мировой администрации. То, что это в принципе возможно технически, мало у кого вызывает сомнения. Воспользуемся, предлагает Казенс, историческими критериями: когда-то Аристотель утверждал, что естественные границы политической единицы совпадают с расстоянием, на котором можно расслышать человеческий голос, так чтобы все граждане смогли собраться в одном месте и лично принять участие в обсуждении государственных дел.

«Согласно данному критерию,— заявляет Казенс,— весь мир сегодня потенциально является единой общиной; на земном шаре нет такого места, которое было бы вне досягаемости голоса любого человека. Отсюда следует, что тесный союз слов и электроники в конечном счете предписывает переход к правительству в мировом масштабе. Однако это влечет за собой следующие коренные вопросы: какого рода силы создадут его? Какой философией они будут руководствоваться? Возвысит или умалит это правительство человеческую личность?»

Наука и техника предоставляют в распоряжение человечества могущественные средства социального воздействия. Они неизмеримо увеличивают власть человека над стихийными силами природы и над другими людьми. И судьба цивилизации в конечном итоге зависит от того, как справедливо отмечает Казенс, в чьих руках окажутся эти средства и в каких целях их будут использовать:

«Перспективы управления миром одновременно и величественны и устрашающи. Тот же самый механизм, который может призывать к здравому смыслу и вдохновению практически в любой части нашей планеты, может также нести сообщение, предназначенное для манипулирования человеческим родом... Вычислительные машины могут освободить человека от изнурительной работы — и могут превратить его в занумерованную единицу... Спутники, вращающиеся в космосе, могут приводить в действие аппараты, воспроизводящие образы прямо на дому, которые в свою очередь будут развлекать либо гипнотизировать. Короче говоря, человек может достигнуть наивысшего развития или же скатиться в эпоху обезличивания... и очень многое предстоит сделать для того, чтобы всемирная деревня не превратилась во всемирную тюрьму».

Норману Казенсу нельзя отказать в дальновидности и тогда, когда он перечисляет опасности, подстерегающие человечество в эпоху научно-технической революции. Вме-

сте с тем сформулированные им альтернативы носят крайне абстрактный характер вечной борьбы между доброй волей и мировым злом, между просвещением и невежеством, оставляют без ответа вопрос, какие социальные и политические силы в современном мире являются конкретными носителями общественного прогресса и реакции. Какая из названных им альтернатив одержит верх — это, в конечном счете, зависит от исхода исторического соревнования двух социальных систем — социализма и капитализма. Угроза человеческому достоинству и мировой культуре исходит не от «машин и катодных ламп», а от государственно-монополистического капитализма, стремящегося присвоить плоды «четвертой революции» в области информации, как и научно-технической революции вообще.

Идея непосредственной демократии, как она видится Азимову, технически вполне реальна, и ее установлению препятствуют не наши знания, а социальные конфликты и национальные противоречия, порождаемые классово-антагонистическим обществом, корыстные интересы господствующих в нем слоев, пытающихся сохранить за собой монополию на власть в обществе, на необходимые для ее осуществления технические средства, в том числе не в последнюю очередь на средства информации.

В начале нашего века теория относительности безжалостно расправилась с эфиром — бестелесной и вездесущей субстанцией, пленявшей воображение физиков, метафизиков и поэтов на протяжении двух с половиной тысяч лет. Однако упраздненный наукой эфир, как это ни парадоксально, возродился, подобно Фениксу, в новом и еще более сверкающем оперении: благодаря радиовещанию и телевидению наша планета обрела еще одну оболочку, с каждым годом выходящую все дальше за пределы пятого океана, или земной атмосферы. Уже сейчас, по расчетам советских астрономов, Земля по мощности радиоизлучения может поспорить с Солнцем, а к концу столетия превзойдет его. Человечество научилось поддерживать радиосвязь на такие космические расстояния, с которых даже в лучшие телескопы неразличимы материки и океаны на поверхности нашей планеты, а радиоволны шестого, рукотворного, океана информации устремляются в космос дальше, чем солнечные протуберанцы. Этот шестой океан также может быть загрязнен и отравлен, как и остальные пять, причем даже быстрее и легче. И для того чтобы наша цивилизация и мировая культура не захлебнулись в его волнах, подобно новой Атлантиде XX века, надо уже сейчас позаботиться о его чистоте.

Э. АРАБ-ОГЛЫ

В ПОИСКАХ АВТОНОМНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Споры о том, «кто главнее» в наши дни: физики или лирики,— а вернее, о том, есть ли серьезная необходимость в искусстве в век технической цивилизации,— давно утратили прелесть новизны. Тем не менее, поутихнув ненадолго, они с новой силой вспыхивают на всякого рода симпозиумах, на газетных и журнальных полосах. Это доказывает, что дело тут не в моде, а в объективных серьезных противоречиях, имеющихся в жизни. В противоречиях, которые не только не разрешены, но, наоборот, только-только начинают выявлять свою подлинную остроту. Научно-технический бум захватывает все новые сферы, проявляя тенденцию вытеснить традиционные гуманистические представления и методы даже оттуда, где они всегда считались единственно возможными.

Водораздел между тем, чем озабочена техническая интеллигенция и чем — гуманитарная, в развитых капиталистических странах давно уже превратился в пропасть. В слаборазвитых, в общем-то, тоже, но там эта пропасть пока никого особенно не пугает, совсем наоборот.

Чрезвычайно показательна в этом отношении статья гватемальского писателя Мигеля Анхеля Астуриаса «Наука и литература», опубликованная в воскресном приложении к мадридской газете «АБЦ».

В статье говорится и об отрыве, и о расколе, и о пропасти, но автор ее явно готов согласиться с любым расколом культуры, лишь бы страна его побыстрее вырвалась из плена экономической отсталости. Возможность этого связывается Астуриасом с наукой, и только наукой. Статья от первой строки до последней — хвалебный гимн во славу науки и техники, мольба к всемогущему божеству осыпать милостями народ, который «из-за убыточного сельского хозяйства и ужасающих условий жизни страдает от голода среди сказочно богатой природы», народ, «до предела истощенный» и «бичуемый болезнями».

> «Латинская Америка и весь «третий мир» должны стряхнуть с себя груз устаревших традиционных понятий о культуре и повернуться лицом к удивительному и безграничному миру науки...
>
> ...истинная революция в наших странах, лишенных сейчас будущего,— это научная революция. Именно она позволила бы с головой погрузиться в занятия и думать над научными проблемами, решение которых в мгновение ока — я не

оговорился,— в мгновение ока изменило бы судьбу наших стран... Больше инженеров и меньше юристов, больше технических специалистов и меньше гуманитариев! Теперь, когда человек вышел в космос, этот мир, далекий от современной технической революции, этот кусок земли, за который мы, бедняки, так цепляемся, уходит в прошлое. Уже не имеют ценности изношенные идеи, которые губят нас, как кокон бабочку, когда она хочет вырваться, но не может разорвать оболочку своей темницы. И помочь нам может только наука... Без науки у нас нет завтрашнего дня, без науки у нас нет будущего».

Чтобы позиция Астуриаса стала ясной до конца, надо подчеркнуть, что разрешение всех наболевших идейных, культурных, художественных проблем, замена «изношенных идей» новыми, живыми тоже связываются им с расцветом науки. Не случайно сам он последнее время

«учился писать стихи и прозу, поэмы и романы об энергии живой материи, движении, механике, проникаясь новым пониманием красоты и эмоций.

...именно техническая цивилизация открывает новые возможности для создания гуманистической культуры...

...без связи с современной наукой творцы художественных произведений, деятели культуры и художники неизбежно сужают свой горизонт, лишаются творческой любознательности, превращаются в невежд. Они думают, что их знание о мире и человеке полно и совершенно, а оно, устаревая, теряет свою ценность и все больше отбрасывает их назад...»

Надежда «в мгновение ока» разрешить все проблемы может вызвать только улыбку. Нет, не злую — сочувственную. Путь, который предстоит еще проделать странам «третьего мира», столь долог и труден, что желание несколько облегчить его хотя бы в мыслях по-человечески понять не трудно. Однако сочувствие — сочувствием, а истина — истиной.

Среди развитых капиталистических стран вполне достаточно таких, которые давно уже выпускают «больше инженеров и меньше юристов», которые и техникой овладели и науку развили до пределов, почти немыслимых. Увы, у представителей этих стран при разговоре о «золотом царстве», в которое приведет людей наука, восторга в голосе значительно меньше.

Вот одно из многих выступлений на эту тему — лекция профессора Ф. Р. Ливиса, прочитанная им в Бристольском университете и опубликованная затем в литературном приложении к лондонской газете «Таймс». Называлась лекция «"Литературизм" против "научнизма." Лжепонятие и угроза». Нет, Ливис не отрицает важность и благотворность науки, но культуры, оказывается, она заменить все-таки не может! Ливис не против роботов — пусть себе обеспечивают жизнь людей, но автоматизация мыслей и чувств, которая наблюдается вокруг, представляется ему «концом цивилизации». С грустью говорит профессор о том, что

«...люди образованные и культурные сдались, не устояли перед веяниями нашего технического века...

Что же касается компьютерного будущего, которое, по официальному мнению, должно спасти нас как государство, то бездушная ирония этого предположения не может не удручать. Не будет ли спасение достигнуто ценой добровольного разрушения всего того, что могло бы сделать спасение стоящим борьбы? Нам предлагается помогать процессу, в результате которого страна не только Шекспира, Диккенса, Лоуренса и Блейка, но и Ньютона, Локка и Джонсона (когда я говорю о «единой культуре», я думаю и о них) станет американской провинцией. Мои слова направлены отнюдь не против американцев, а лишь против сути американизации, от которой они сами задыхаются...»

Любопытная деталь: Астуриас, чья страна пока еще не отведала по-настоящему плодов науки, приход «золотого века» связывает с будущим. Ф. Ливис представляет общество, уже хлебнувшее «научнизма» в полную меру. В результате «золотой век», век органического сообщества, ему грезится в прошлом. Круг мечтаний замкнулся.

Насколько трудно сойти с этой круговой орбиты, может показать точка зрении известного французского писателя Веркора, изложенная им на международной встрече писателей в Пиране (Югославия), проходившей под девизом «Бог в машине — бог из машины». По его мнению, инженеры и техники сейчас

«...столь холодно и жестоко оперируют техническими проблемами, что забывают об истинном назначении и целях всякой машины — оставаться слугой человека, рабом, существом, призванным облегчить труд и страдания. При такой забывчивости трудно избавиться от невероятного абсурда: инженеры дойдут до того, что человек будет превращен в раба их машины только ради того, чтобы добиться, по их выражению, «элегантного» решения. Эта опасность, как мы знаем, удесятерилась в связи с бурным проникновением автоматики».

В этом Веркору, инженеру по образованию, можно поверить. Опасность «обесчеловечивания», считает он, нависла и над литературой. Попытки добиться того, чтобы

слова существовали в художественном произведении «сами по себе», могут привести к «чистой риторике». В нынешнем буржуазном обществе

«слишком явным становится риск появления нового рода схоластики, ибо уже четко вырисовываются контуры одного из ее весьма опасных атрибутов — нетерпимость...»

Для такого общества, считает Веркор, «нет иного спасения, кроме церкви...» (разрядка моя.— А. Н.)

Что и говорить, стоило объявлять все старые идеи «изношенными», избавляться от них, как бабочке от кокона, чтобы, придя к финишу, все надежды возлагать на столь «неизношенную» идею!

Осознанная обществом задача — задача наполовину решенная. Бесконечные дискуссии в буржуазной прессе о подавлении технической цивилизацией человеческой духовности, гуманистических принципов, эстетических потребностей и т. д. создают иллюзию, что вопрос о спасении высоких духовных ценностей от чумы рационализма, прагматизма, потребительства и пошлости, таким образом, наполовину решен. Но стоит вникнуть в содержание этих дискуссий и видишь: ничего еще по-настоящему не осознано. «Бунт» против технократизации общества развивается, в общем-то, в рамках бесплодного негативизма.

Наверно, опасность технократической идеологии не стоило бы всерьез именовать опасностью, если бы технократически мыслили только инженеры и представители естественных и точных наук. Но сами бунтари, гуманитарии, не устающие обличать техническую цивилизацию, сплошь и рядом мыслят технократически, вот в чем беда.

Прежде всего, во всех выступлениях подспудно или открыто звучит уверенность в том, что, как там ни крути, а для XX века наука несравненно важнее искусства, что ни говори, а без науки нынче шагу не ступишь. Даже в выпадах против науки и техники ощущается почтительность младшего по званию, доходящая порой до самоуничижения.

Мигель Астуриас начинает свою статью со слов:

«Поэт или писатель смотрит на все, что относится к науке, с боязливым уважением. В лучшем случае он осмеливается робко поднять глаза и взглянуть на удивительные открытия ученых».

Западногерманский писатель Зигфрид Ленц всю заключительную часть своей речи, произнесенной при получении им литературной премии «Немецких масонов» и кольца Лессинга, посвятил рассуждениям о том, как важно писателю нашего времени «учитывать достижения науки», «отражать проблемы науки», «пользоваться завоеваниями научного познания» и т. д. О том, что ученым нужна литература, он не сказал ни слова. (Речь З. Ленца опубликована в гамбургском еженедельнике «Цейт».)

Югославский критик Света Лукич свое пылкое выступление на упоминавшейся уже встрече в Пиране фактически свел к обличению писателей в научном невежестве, вызывающем у них панический страх перед тем, как бы не произошло массовое проникновение в искусство науки и технологии.

«...в своих заботах о судьбе человека и о собственной судьбе искусство — и в этом-то, видимо, и кроются все беды (разрядка моя.— А. Н.) — подвержено чрезмерному страху, страху, идущему от невежества, незнания научных истин. Оно осмеливается осуждать науку, о которой не в состоянии или не смеет судить. Почти все жанры искусства обходят в наши дни науку, формы познания, присущие нашей эпохе, «духу времени». Проявляя полное равнодушие к ним, искусство переживает своеобразный период, оно как бы увлечено традицией «здравого смысла» и чувством привязанности к прошлому. Не желая примириться с ограничением своей абсолютности, испытывая страх перед любыми переменами, искусство постоянно и упорно провозглашает себя единственным носителем и защитником гуманных целей...»

Как видим, обе команды забивают голы в одни ворота. Наука олицетворяет формы познания, присущие эпохе, выражает «дух времени», а искусство сопротивляется, проявляет косность. Перейдет оно на формы познания науки — и установится гармония.

Разумеется, не все настроены столь капитулянтски. Большая часть гуманитариев старается найти все же сферы и области, в которые искусство могло бы отступить, чтобы считаться там хозяином. С разрешения науки, разумеется. Зигфрид Ленц, например, уверяет, что

«знания ученого и писателя взаимно не уничтожаются, они дополняют друг друга. Поэтому я думаю, что между наукой и литературой просто не существует конкуренции, как это может показаться на первый взгляд непосвященному человеку».

Зигфрид Ленц — хороший писатель, его позиция как художника не может не вызывать симпатию: в своих произведениях он отстаивает идеи добра, гуманизма, человеч-

ности, он страстно ненавидит фашизм, но с его теоретическими попытками «примирить» науку и искусство мы все-таки согласиться не можем.

По мнению З. Ленца, наука ищет только закономерности, пренебрегая случайным, литература — нет. Для нее случайное, детали, эпизоды — не «вспомогательные средства». Наука требует достоверности, четкости, однозначности, обязательности суждения — в литературе же «не исключается двойственность, мимолетность, неясность»... она «мирится с тем, что существуют неразрешимые вопросы», «литературное познание — это познание субъективное, непостоянное, изменчивое».

> «Наука ставит вопросы от собственного имени. Литература же, как посредник,— от имени читателя...
>
> В мире, где царят науки, литература прежде всего обращается к деформированному и притаившемуся индивиду... Здесь уже научная теория беспомощна...»

Писатель вовсе не обязан быть и теоретиком, но раз он берется за теорию, нарушать логику ему все-таки не стоит. В поисках закономерного наука никогда не пренебрегала случайным, единичным, деталями. От наблюдений (над частным, единичным) к обобщениям, от них к экспериментальной проверке, к практике — такова общая схема познания. Для литературы случайное — это тоже путь постижения и раскрытия общего (в этом отношении детали, эпизоды — именно «вспомогательные средства»). Двойственность, неясность в науке встречаются на каждом шагу, в то же время в литературе вполне достаточно четких, достоверных, однозначных суждений и оценок. Наука, раскрывающая объективные закономерности, ведущая речь от лица абстрактного разума, вообще более способна говорить «от лица читателя», чем литература, продукция которой о б я з а н а быть пронизанной л и ч н ы м авторским отношением. То же и с индивидом. Медицина, педагогика, психология, психиатрия, статистика гораздо в большей степени интересуются своеобразием каждого индивида, чем литература, для которой индивид все-таки не цель, а средство, путь раскрытия общего, путь к обобщению, типизации.

Но все эти логические неточности, неувязки, оговорки не случайны. Если к ним приглядеться как следует, то выявляется объединяющая их довольно четкая и грустная логика. За попытками разговаривать с наукой на равных вырисовывается откровенная сдача на милость победителя, достаточно униженное выторговывание владений, н е н у ж н ы х для победителя, ввиду их полной никчемности, территорий, на которых побежденному для сохранения реноме позволено было бы именовать себя «полновластным хозяином». (Чрезвычайно знаменательно, что в речи З. Ленца говорится о «небольшой, но суверенной территории»!) Вдумайтесь, что именно предлагает писатель считать подведомственным литературе: двойственное, случайное, субъективное, смутное, индивидуальное, необязательное, мимолетное, непостоянное... В словаре синонимов все эти слова следует искать в одной группе с «несерьезным», не достойным внимания деловых людей. Представители искусства словно молят: ну х о т ь э т о - т о оставьте нам, все равно ведь вам-то это ни к чему! Если подобное поведение и можно назвать бунтом, то разве что «бунтом на коленях».

В заключение хотелось бы поделиться некоторыми соображениями об исходном тезисе, лежащем в основе всех дискуссий о «физиках и лириках». Этот тезис гласит: главная беда технической цивилизации и корень кризиса современной буржуазной культуры состоят в том, что наука отделилась от искусства,— ученые недостаточно гуманны и лиричны, а писатели недостаточно учены. Если же их объединить, то (учитывая, какие поистине неограниченные возможности дают человечеству современные наука и техника) возникнет гармоническое общество. Воистину только в наш «высоконаучный» век столь наивная схема может вызвать столь широкое распространение!

В дискуссиях фигурируют понятия «наука», «искусство». Какие наука и искусство? А никакие, просто наука, вообще искусство. А если их брать вообще, в абстрактном вневременном виде, то спорить не о чем — по своей человеческой природе (если ее брать тоже «вообще») наука и искусство составляют единое целое — духовную жизнь общества, разъединиться они не могут, противоречий между ними нет, а есть гармония и взаимозависимость, как между разумом (вообще) и чувствами (вообще).

Тем не менее мы видим самый настоящий раскол между наукой и искусством. Почему? Потому, что речь идет не об абстрактных искусстве и науке, а о науке и искусстве конкретного периода развития общества, о буржуазной науке, о буржуазном искусстве конца XX века. А это очень своеобразные явления, несущие на себе блеск и нищету «технической цивилизации».

Начнем с науки. В сферах точных и естественных дисциплин, в области техники человеческая мысль развивается, обгоняя самое себя, а в понимании вопросов социальных, политических, духовных она упорно держится на уровне «подросткового возраста». Это ужасно однобокая наука. Но не только. Кроме того (а точнее, в результате того), это слепая наука, наука, не способная и не желающая предвидеть последствия своих открытий и изобретений, ей воистину ничего не стоит превратить людей в рабов машины ради «элегантного решения» научно-технической задачи, как точно констатировал Веркор. Это ущербная по своей обесчеловеченности, безответственная, кастовая наука. Если не столь давно специалист был подобен флюсу, то сейчас он больше похож на

шило. Его огромная эрудиция столь узко направлена, что он сплошь и рядом является невеждой во всех остальных сферах, и прежде всего — именно социальной и духовной.

В разговоре о современной буржуазной науке мы, естественно, имеем в виду, что в ее рядах есть немало настоящих ученых, но подавляющую массу составляют, увы, «цеховые» ученые. И общее направление развития буржуазной науки селекционирует именно их, а не «настоящих».

Абсолютизация «чисто научного» познания, характерная для века технической культуры, приводит к попыткам вопросы социальные, эстетические, идеологические решать тоже методами точных и естественных наук. Это создает иллюзию достоверности и демократичности, за которой стоит философская безграмотность. Социология, к примеру,— наука точная, никто спорить не будет, но... представьте себе, что проект идеального устройства общества стали бы создавать путем социологического опроса. Это было бы очень «демократично» — не навязывать людям своей мечты и идеалов, но не свелась ли бы мечта о будущем при этом к мечте о туалете с мягким подогреваемым стульчаком и телевизором во всю дверь?

Буржуазные теоретики разрабатывают планы «всенародного» управления обществом, при котором каждый получит возможность подойти к компьютеру, раскритиковать обнаруженные недостатки, внести предложения. Компьютер все учтет, все запомнит, отберет все рациональное и... Что — и? А ничего. Решать-то вопросы будут по-прежнему уполномоченные господствующего класса. Право же, однодолларовая акция ничуть не хуже приобщает к управлению синдикатом, чем такой компьютер.

Вот во Франции издана еще одна книжка (Ж. А. Ривель. «Ни Маркс, ни Иисус?»). В ней (в который уже раз!) поясняется, что Маркс «устарел», ибо с его времени в мире сделано больше открытий, а в технике — изобретений, чем от Иисуса до Маркса. Действительно, наука ушла эвон куда! В технике — вообще ничего похожего от тех времен не осталось, теорий всяких создано и забыто — пропасть, как же Маркс может объяснять нам нашу жизнь? Такова «железная логика» технократа. А марксизм и не был никогда только наукой. Он — учение. Конечно, учение создается не вопреки науке. Маркс, Энгельс, Ленин синтезировали главнейшие достижения наук своего времени, но их детище — нечто более системное, целостное, человечное, чем просто сумма знаний. Учение не только объясняет то, что есть и каковы механизмы развития общества, но и учит, как жить, во имя чего жить, как повернуть объективные законы истории на службу мечте.

Учение это вовлекает в борьбу за будущее не только ученых, но и политиков, и художников-поэтов, и все слои трудящихся. Научное понимание мира уточняется непрестанно, но понимание целей и смысла жизни, принципов взаимоотношения людей, мечты и идеалы от мощности синхрофазотронов не зависят. Учения, верно уловившие тенденции развития и народные чаяния, могут сплачивать людей и вести их за собой века и даже тысячелетия.

«Цеховые» ученые признают только науку. Учений для них не существует. И до тех пор, пока это так, им не только не объединиться с искусством, но и друг с другом тоже. До тех пор они останутся властелинами и рабами каждый своего колеса.

В принципе в этом же беда и буржуазного искусства. Среди его представителей тоже немало людей, честных, талантливых, преданных своему делу, но если брать искусство в целом, картина получается довольно похожая. Масса частных находок, удач, поисков, принципов, добрых пожеланий, низвержений, а того центрального кристалла, который бы придал структуру этой мешанине доброго и злого, красивого и безобразного, нет. А искусство особенно нуждается в целостной идеологии, в учении. Оно ведь существует для оценки жизни, для выработки отношения к ней. В этом деле нужна система координат, какие-то отправные и перспективные точки отсчета, высшие, незыблемые при всяких мелких катаклизмах ценности, могущие служить критерием, мерой. Без этого очень легко запутаться, разменяться, потерять ориентировку и масштаб.

Возьмем такой пример. Веркор назвал нетерпимость одним из опаснейших симптомов обесчеловечивания литературы. Но известно, что нетерпимость особенно часто встречается у людей, горячо увлеченных какой-то идеей, доброй или злой. Не вытекает ли из этого, что люди, не увлеченные идеей, более человечны, а значит — и нравственны? Нетерпимость по мелочам, нежелание считаться с чужим мнением, неумение беречь достоинство тех, кому «хочешь добра», способны свести на нет самые благие намерения и идеи. Но разве можно быть терпимым к эксплуатации, тирании, подлости, лицемерию и т. д. и т. п.? А утрата идейности, веры в возможность иной, справедливой организации общества порождает именно терпимость ко всему этому. Стоит поверить в то, что все зло в жизни проистекает от природного несовершенства людей, как невольно преступления начинают казаться шалостями, гнусности — слабостями, а пороки и подлость — чуть ли не нормой. Из доброго качества — терпимости — с утерей идейности вырастает всеядность, беспринципность, полный нравственный релятивизм... А для искусства — это смерть.

«Многие наиболее экстремистские проявления в искусстве нашего века,— говорит С. Лукич,— не исключая рождения тех или иных новых направлений и ориентаций, можно легко объяснить этим чувством страха (страха перед наукой,

точным знанием.— **А. Н.**): и бегство в область спонтанного, гипертрофированного творчества примитивистов, аномальных субъектов, детей, и антиэстетические выводы в области реализма, и сюрреализм».

Так объяснить, может быть, и легко, но вряд ли это стоит делать. Не из-за нехватки научных знаний шарахаются художники в разные модные крайности, увлекаются формалистическими вывертами, а из-за отсутствия больших идеалов, из-за бесструктурности их мировоззрения, неспособности разобраться в жизни и дать ее явлениям четкую оценку. У них очень часто нет позиций, с которых можно оценивать.

Современные «цеховые» писатели — такой же продукт технической цивилизации, как и «цеховые» ученые.

Западногерманский врач и социолог Иоахим Бодамер в книге «Современный мужчина» так характеризует среднего представителя сильного пола буржуазного общества:

«Техническое мышление стало настолько всеобъемлющей формой его духовного самовыражения, что, воспринимая мир и отдельных людей, он опирается при этом исключительно на технические категории. Он уклоняется от всех задач, которые по своему характеру не укладываются в эти категории и не могут быть разрешены техническим путем... Он охотно и чуть ли не с энтузиазмом готов взять на себя ответственность за организацию и успех производства, за бесперебойное функционирование техники и высокие технические показатели, но он страшится всякой личной ответственности, ответственности за какого-нибудь другого человека...»

Далее разъясняется, что он боится брать на себя долг отца, не в состоянии стать твердой опорой в жизни женщины, «редко способен на дружбу» и т. д.

Характеристика типичного представителя технической цивилизации как-то очень перекликается с характеристикой современных буржуазных науки и искусства в целом. Художники, к примеру, охотно и смело берутся за техническую сторону своего дела — за поиски новых форм, жанров, средств выразительности. Но как доходит до того, что ими выражать, они становятся неуверенными, нерешительными, бесплодными.

Короче говоря, сколько ни добавляй к нынешнему «литературизму» нынешнего «научнизма», гармонии не получится. Сколько ни веди дискуссий о расколе, союз этого искусства с этой наукой общество не возродит, ибо корни кризиса культуры не в них, а в нездоровом социальном устройстве общества. Измените его или хотя бы укажите путь, цель этих изменений — и наука с искусством сами собой найдут общий язык и восстановят надлежащую внутреннюю гармонию.

АНДРЕЙ НУЙКИН

НЕИСТОВЫЕ РЕВНИТЕЛИ «НОВЫХ ПРАКТИК»

Парадоксальное положение возникло во Франции в последние годы: одни книги читаются, о других бесконечно говорят, пишут и спорят. Авансцену литературной жизни захватили решительные молодые люди, объявившие, что в результате совершенной ими революции с литературой, как ее понимали до сих пор, покончено раз и навсегда. Возглавляют все это громкокипение Филипп Соллерс и писатели, группирующиеся вокруг журнала «Тель кель», однако образчики их ниспровергательских деклараций, интервью и статей можно встретить не только в этом журнале, но и на страницах любого издания, прямо или косвенно занимающегося вопросами культуры. В высказываниях неистовых ревнителей «революционной текстуальной практики» поражает прежде всего претенциозная уверенность в том, что они и только они представляют «подлинный марксизм», «подлинный диалектический материализм» и осуществляют «подлинный научный подход» к «письму», которое «культурная революция» ставит на место «литературы», этого прогнившего плода и гнусного орудия буржуазной идеологии.

При том, что «тексты» телькелевцев, как правило, крайне наукообразны и почти недоступны пониманию читателя, не наторевшего в терминологии новейшего психоанализа и структуральной лингвистики, метод их аргументации на удивление прост: отметается вся сложность опосредований между экономическим базисом и культурой, отбрасывается начисто диалектика взаимосвязей между личностью и обществом, между самодеятельностью индивидов и ходом исторического развития, строятся на диво простые уравнения и положение считается неопровержимо доказанным. Так, с устарелыми понятиями вроде «литература», «творчество», «автор», «произведение» неоавангардисты непринужденно расправляются путем прямого переноса экономических

категорий в область искусства,— все эти понятия признаются «буржуазными» и «идеалистическими», как проявления «товарных отношений» в области культуры.

> «Термин «литература» отсылает нас к эпохе, которая сейчас является символом гниения»,—

заявляет, например, в своем ответе на недавнюю анкету «Леттр франсэз» о положении во французской литературе один из редакторов «Тель кель» Жан-Луи Бодри. Ему вторит на страницах этого журнала Жан Анрик, утверждающий, что

> «существует решающая однородность и глубокое сообщничество между речью буржуазной политической экономики и речью той системы средств выражения, на которой базируется «литература»,— тут и там упор делается на ОБМЕНЕ, КОММУНИКАТИВНОСТИ[1] (ценность, смысл), замалчиваются ПРОДУКТИВНЫЙ ЖЕСТ, «следы труда», средства производства и производственные отношения».

Итак, «буржуазным» объявляется самое стремление пишущего сообщить читающему нечто осмысленное, намерение собеседовать с ним о своем отношении к миру, опирающееся на определенную систему ценностных представлений, короче говоря, литература предается анафеме за то, что несет в себе этическую и эстетическую нагрузку.

Что же предлагается на место литературы? «Текст», «текстуальная практика», «новое письмо». В ответе на ту же анкету «Леттр франсэз» молодая романистка Элен Сиксус, преподающая, кстати, литературу в Венсенском университете, определяет «текст» как

> «некую материальность, значимую протяженность, ткань, находящуюся в безостановочном движении, которое мешает письму и чтению отложиться (или расположиться на отдых)»,

иначе говоря, отлиться в этот самый распроклятый смысл, который, очевидно, сделал бы из «текста» орудие буржуазной идеологии, даже если бы он заключал в себе критику буржуазных отношений.

Жан Анрик советует читать его «текст»,

> «рассматривая каждый кусок как динамическую энергетическую аккумуляцию, подготавливающую удар, который так и не осуществляется... Никогда не задавать себе вопроса, кто целится, кто стреляет, кто здесь мишень, лук, стрела, кто читает, кто пишет, в кого попадает стрела, кто ее пустил. И, наконец, одна практическая деталь — понимать все БУКВАЛЬНО, как написано в тексте: когда чтение прерывается (оно должно быть продолжено в другом МЕСТЕ, в других «книгах», «подписанных» другими именами), чувствовать себя ничем не связанным, готовым перейти к другим УДАРАМ. Рассматривать БИБЛИОТЕКУ как ОТХОЖЕЕ место».

Между тем «письменные практики» призваны разрешить грандиозные и, главное, строго научные задачи. Жан-Луи Бодри считает, что цель «текстуальных практик» —

> «перестройка всей западной философии» и «разработка теории письменной продукции», опровергающей порочную «идеологическую концепцию знака, связь произведения и автора, а также избавляющей литературу от ее традиционного концептуального референта».

В переводе на понятный язык это значит, что отбрасывается — как крайне реакционное — представление, что предмет литературы — жизнь.

Такого рода радикальное переустройство «письма» опирается, внушают нам, на новейшие научные открытия, в частности, на достижения структурализма (оговорим сразу, что структурализм как метод научного анализа не может отвечать за те философские построения и идеологические переносы, которые якобы из него вытекают), психоанализа, главным образом того его ответвления, которое представлено Жаном Лаканом, а также, доказывают нам, на диалектический и исторический материализм.

> «Эти тексты пишутся ПОСЛЕ Соссюра и Фрейда, после Лакана и Деррида (автор ряда работ по структуральной лингвистике.— **Л. З.**), после Маркса и Ницше и с полным пониманием этого»,— объясняет Элен Сиксус. «Эффективность всех этих различных полей (действия «новых практик».— **Л. З.**) удваивается в самой своей основе распространением марксизма-ленинизма»,— не отстает от нее Жан-Луи Бодри.

Надо сказать, что при всей эклектичности «опорных» имен, которые фигурируют в писаниях неоавангардистов, имя Маркса повторяется в них с неизменной настойчивостью, как некое «Сезам, отворись», как заговор, произносимый знахарем, чтобы подействовало изготовленное им зелье.

Что же означает, однако, «полное понимание» «научного контекста», о котором говорит Элен Сиксус? А означает это, оказывается, что пишущий (не будем называть

[1] Здесь и далее в цитатах слова выделены авторами.—Л. З.

его скомпрометированным словом «автор», дабы не оскорбить этой «буржуазной категорией» ревнителей «культурной революции») исходит из того, что

> причинность и самотождество личности лопнули по всем швам, и нельзя больше закрывать глаза на размытость контуров субъекта, мыслимого отныне только как эффект, как нечто децентрированное».

Пониманию человека как существа единичного, неповторимого и самодеятельного, как субъекта Истории — или историй, облеченных в форму романов,— противополагается понимание его как обезличенного объекта, поведение которого строго обусловлено и предопределено бессознательными сексуальными и социальными структурами. К чему же ведет такое понимание на практике? Чтобы дать нашему совершенно неискушенному в «новых практиках» читателю хотя бы некоторое представление о том, как выглядит конкретно обновление «письма», приведем выдержки из пространного интервью Пьера Гюйота́, помещенного в мартовском иомере «Нувель критик» за этот год. Мы вправе считать этот пример достаточно показательным, так как и Филипп Соллерс, и Жан-Луи Бодри, и другие неоавангардисты называют роман «Эдем, Эдем. Эдем» Гюйота́, запрещенный цензурой за порнографию, образцом «беспрецедентно революционной практики». Прямолинейная механистическая логика и тут срабатывает безотказно: раз запрещен буржуазной цензурой, значит, беспрецедентно революционен.

> «В моей практике,— объясняет Пьер Гюйота,— есть три слоя письма. Прежде всего, «дикий» текст, который я пишу с 14 лет и который связан с мастурбацией... создается непосредственно в момент сексуального опыта... Затем огромный текст, состоящий из разнообразных заметок... и, наконец, так называемый «ученый» текст».

Как видим, при такой схеме «письма» действительно трудно говорить о творчестве, об индивидуальности пишущего, о роли личности художника в развитии культуры, о таланте и тому подобных «идеалистических категориях», которые могли бы позволить «социал-демократии или буржуазии присвоить себе писателя», как того опасается Пьер Гюйота.

В «текстуальной практике» Гюйота «материализм» торжествует по всей линии.

> «Основополагающее значение в тексте имеют процессы пишущего тела,— говорит Гюйота.— Существует непосредственный опыт моего тела в момент, когда оно пишет. Иными словами, какое-то органическое изменение нередко дает импульс тексту: скажем, урчание в животе, лихорадка немедленно вызывают в тексте изменение направления в клиническом производстве изобразительной структуры... Текст СИМУЛЬТАННО коренится в теле, которое действует, и в том же самом теле, которое пишет».

Невозможно упрекнуть Гюйота в малейшей уступке мифам буржуазного индивидуализма. Он настоятельно и многократно оговаривает, что материалистические процессы, происходящие в его теле и столь же материалистически осуществляющиеся в его тексте, не есть проявления какой-либо особости:

> «Все, что происходит внутри меня,— вся эта внутренняя борьба (имеется в виду внутренняя борьба в животе, разумеется, а не в сознании.— **Л. З.**), эта эвакуация, эта секреция подавленной сексуальности, взятая на пределе эффективности,— специфично не для меня одного». И далее: «Дикий» текст эвакуирует в неочищенном виде подавленную сексуальность (экономически он «проституционен», синтаксически — риторичен, лингвистически — арготичен), что позволяет «ученому» тексту разрабатываться свободно и обезличенно».

«Размытость контуров» личности обеспечена, текст полностью «деиндивидуализирован», «анонимен».

Может, конечно, возникиуть вопрос, как при подобной «децентрации» личности пишущего и сведении «письменной практики» к «эвакуации подавленной сексуальности» при полной отключенности сознания осуществляется в «тексте» революционное обновление письма. Да проще простого.

> «Я не пишу от руки, я печатаю на машинке,— разъясняет Гюйота.— Когда в машинописный текст механически вкрадывается новация фонетического, лингвистического или иного порядка, я останавливаюсь, чтобы немедленно взять на заметку это открытие...»

Подумать только, какую бездну открытий можно было бы извлечь по методу Гюйота из знаменитой машинки с турецким акцентом, которой пользовалась незабвенной памяти контора «Рога и копыта»!

Ничуть не сложнее оказывается и ответ на вопрос, каким образом достигается марксистская направленность текста. Какие-либо сомнения тут просто неуместны, ведь

> «текст был написан,— как говорит Гюйота,— организмом, а этот организм, насколько я могу судить о себе, был организмом марксиста».

Гюйота рассказывает, что в мае 1968 года он

«почувствовал себя ДЕЙСТВИТЕЛЬНО связанным с массами, с определенным классом, с определенным мировоззрением, и, с другой стороны, заметил, что опыт повседневной борьбы с четко детерминированными и устаревшими синтаксисом, грамматикой и словарем... превращает его работу в часть всеобщей борьбы против власти и господствующей идеологии, против идеализма».

Гюйота считает, что классовая сущность его текста обнаруживается и в плане языковом:

«Я работаю над устранением, уничтожением некоторых слов, некоторых оборотов, предлогов, союзов, местоимений и т. д. Это — работа по тотальному пересозданию языка: написать текст в 280 страниц, пользуясь только теми словами, которые я считаю достойными фигурировать в материалистическом лексиконе, это — титанический труд... Речь идет о непосредственном опыте БОРЬБЫ, отсюда мой окончательный отказ от понятий, подобных понятию «творчество».

И в плане, так сказать, содержания:

«В совокупности моего текста,— утверждает Гюйота,— все сексуальные отношения — отношения классовые, вплоть до мельчайших деталей; достаточно проследить в совокупности текста... кто получает удовлетворение, а кто используется, КТО находится СВЕРХУ, А КТО ВНИЗУ и т. д... достаточно тщательно обозреть всю сексуальную сценографию, чтобы различить в ней множество эмбриональных движений возмущения на уровне свободного распоряжения телом...»

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. К сожалению, высказывания Гюйота не просто чудачество или оригинальничание. Суждения других неоавангардистов ничуть не менее сокрушительны. В этом безумии есть своя спекулятивная система, строящаяся на идее «смерти человека». Естественно, что, отрицая человека и его историческую активность, неоавангардисты отрицают и духовные ценности, отрицают преемственность культуры, обогащаемой каждым поколением и каждой творческой личностью.

Анализируя «мифическое мышление» дикаря, крупнейший французский этнолог-структуралист Клод Леви-Стросс сравнивает его со своего рода интеллектуальной склонностью мастерить всяческие поделки. Как известно, особенностью этого рода занятий является то, что вещь сооружается из материала, имеющегося под рукой. В советах любителям мастерить, печатаемых в популярных журналах под рубрикой «Сделай сам», обычно содержится простейшая схема того, как смастерить из частей сложных предметов фабричного производства игрушку-самоделку или какую-нибудь нехитрую хозяйственную утварь. Правда, при этом, как правило, рекомендуется использовать вещи поломанные и уже негодные к своему прямому употреблению. Нынешние неоавангардисты с завидной бездумностью объявляют негодным к употреблению психологический и социальный роман, литературу, опирающуюся «на существование психологического субъекта, характера и личности» (Жан-Луи Бодри): наивысший расцвет этой литературы относится к периоду господства буржуазных отношений, значит она буржуазна, значит она — орудие буржуазной идеологии, значит ее место на свалке.

«Революционные тексты» мастерятся из клочков «эвакуируемого», бессознательного и осколков чужих писаний — только в таком «обезвреженном» поломкой виде культура прошлого получает право допуска в новое «письмо»: у Гюйота в «ученый» текст включены куски из учебных пособий по естественным дисциплинам, у Анрика — раскавыченные цитаты из Данте и Малларме. Главное, чтобы мысль писателя не оказалась опосредующим звеном, не была тем тиглем, где сплавляются прежние достижения человеческого духа и то новое, что привносит в общую сокровищницу художник. Если в самоделках детали предметов, послуживших материалом, организуются по-новому и приобретают новые функции, если первобытное сознание использует детали уже существующих структур для конструирования новых целостных структур — мифов, служащих способом освоения и организации мира, то для неистовых радикалов из «Тель кель» их «текстуальные практики» должны быть неким интеллектуальным калейдоскопом, неким перпетуум-мобиле, непрерывно пересыпающим стекляшки из фигуры в фигуру, которые так и не отливаются в осмысленное содержание.

Может быть, от всей этой белиберды следует просто отмахнуться, как от надоедливой мухи? Ведь «текстуальная практика» вряд ли завоюет читателя. И все же к телькелевскому «шумим, братцы, шумим» нельзя отнестись как к пустому шуму из ничего. Прежде всего потому, что неоавангардисты требуют внимания к себе, упирая на то, что отношение к ним представляет собой критерий революционности. Тот же Аирик, например, утверждает, что

«усилие, необходимое для чтения» его текста, или «отказ сделать это усилие... в конечном итоге — свидетельство ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЫБОРА».

Но главное, ко всем этим «теориям» следует отнестись со вниманием потому, что в них находят крайнее выражение тенденции антигуманизма и разрушения культуры, в которых телькелевцы далеко не одиноки.

Как ни парадоксально это может показаться на первый взгляд, неистовые ревнители литературной революции смыкаются здесь с апологетами буржуазной литературы — в самом деле буржуазной! — они сходятся на отождествлении культуры с тем «культурным ширпотребом», который тиражируется потребительской цивилизацией. Вся разница только в том, что «ультралевые» ниспровергают литературу, сводя ее всю к дешевому чтиву, проникнутому буржуазной идеологией, а «правые» защищают «массовую культуру», выдавая ее за культуру подлинную. Можно для примера упомянуть ответ на анкету «Леттр франсэз» Жана Фрёстье, автора романа «Изабель», удостоенного премии Ренодо за 1970 год. Никакого кризиса в литературе нет и в помине, сыто благодушествует Фрёстье, романы издаются и покупаются, газеты уделяют место беллетристике, «интерес к вымыслу проявляется повсеместно — тому свидетельством широкое распространение комиксов». Разрыв между вкусом широкой публики и интеллектуальной элитой? Да ведь так было во все времена и пребудет вовек. Небо безоблачно, «будущее открыто перед литературой», средства массовой информации только обостряют вкус к чтению, все хорошо, прекрасная маркиза...

Стандартизованное производство «массовой культуры», которое направлено на оболванивание человека, на клиширование его вкусов, потребностей, манеры поведения, не может не привести к бунту тех, кто не желает превратиться в пассивного потребителя этой псевдокультуры. Однако инерция, возникающая в процессе сокрушения буржуазных ценностей, предпринимаемого ради освобождения и во имя подлинных интересов масс, нередко приводит к нигилистическим перехлестам, и тогда вместо тщательного сохранения и обогащения духовных ценностей, выработанных человечеством на всем протяжении его истории, происходит подмена одних стереотипов обесчеловечивания другими, смещается только спектр клиширования. Радикальная антибуржуазность оборачивается изнанкой той же «потребительской цивилизации», поскольку она отрицает особость и самоценность личности, ее сознательную активность, ее роль в общественном развитии. Апологетика «массовой культуры» смыкается с революционаризмом неистовых ревнителей «культурной революции».

Кстати, эта взаимосвязь «кризиса» в литературе с молодежным движением подмечена в ответе Элен Сиксус, которая считает, что

> «майские события 1968 года привели к расколу так называемой «левой», составлявшей большую часть традиционной читательской публики,— либералы, интеллигенты, гуманисты, университарии отступили и заняли оборонительные позиции по отношению к продукции авангарда, которая не дает им субъективного удовлетворения и посягает на их ценности».

Известно, что значительная часть «взрослой» интеллигенции не только приветствовала студенческое движение против закоснелой буржуазной системы образования, но и сама выступила с рядом прогрессивных требований: весной 1968 года во Франции впервые бастовали в таком масштабе ученые, работники радио и телевидения, преподаватели средней и высшей школы. Впоследствии у «либералов, гуманистов, интеллигентов, университариев» (ряд для Элен Сиксус, очевидно, бранный) действительно возникли опасения, что нигилистический экстремизм неплодотворен, однако обвинять их в буржуазной охранительности потому лишь, что они не приветствуют изничтожения культуры,— обычный демагогический прием адептов «культурной революции».

Можно поэтому только приветствовать инициативу теоретического органа ФКП «Нувель критик», который, поместив интервью с Пьером Гюйота, предварил его редакционной врезкой, настаивающей на необходимости рассматривать процессы культурной жизни

> «обдуманно, с учетом всей сложности явлений, опираясь на достижения исторического и диалектического материализма, что исключает какой бы то ни было сектантский субъективизм в теории, эклектическое легкомыслие в отношении буржуазной идеологии, а также ту претензию на монополию, которая присуща одностороннему взгляду на всю совокупность общественных, идеологических и культурных процессов».

В апрельском номере «Нувель критик» помещен первый отклик на интервью с Гюйота. Жозеф Вентурини справедливо ставит под сомнение «обнажение животного начала в человеке» как «основной и единственный» подход к нему и замечает, что теории такого рода «идут вразрез с марксистским мировоззрением».

> «Как бы радикальна ни была социалистическая революция,— пишет Вентурини,— этот радикализм ставит перед собой цель наиболее полного развития человеческих ценностей в новом историческом и социальном контексте, создающем наилучшие условия для этого развития».

Нельзя не согласиться с Вентурини, который отказывает «теоретическим» выкладкам Гюйота в праве присваивать себе имя «марксистской науки».

«Можно принять письменную практику Гюйота как крик, как жажду нового подхода, новой морали, новой науки, но принять ее, когда она выдает себя за этот новый подход, новую мораль, новую науку — а она это делает,— невозможно».

Вентурини выражает обоснованную тревогу, что произведения, подобные тексту Гюйота, если они выдают себя за единственно марксистские,

«опасны в том смысле, что дают искаженное представление о марксизме и марксистах...».

«Возможность совершенствования человека в процессе исторического развития нельзя понять, исходя из животного начала,— пишет Вентурини,— даже если это животное начало рассматривается как бы под углом зрения классового господства. Подобного рода tabula rasa по отношению к прошлому и настоящему, даже если речь идет о буржуазном прошлом и настоящем, не может быть отправным пунктом построения будущего... Разоблачать все скопом значит не разоблачать ничего. Только сохраняя культурное наследие, наследие, которое, возможно, является самой действенной революционной пружиной, освободительная революция может двигаться вперед. Существующая сейчас тенденция разоблачения под знаком секса, некая псевдонаука, неизвестно почему присвоившая себе имя марксо-фрейдизма, не только не является ни разоблачением, ни наукой, но, напротив, объективно оказывается в своих крайних проявлениях новым походом против разума, и в особенности против разума диалектического».

Идеология авангардизма, демагогически присваивающего себе монополию на революционность, требует серьезного анализа со стороны марксистских теоретиков, и мы не сомневаемся, что спор, завязавшийся на страницах «Нувель критик», привлечет к себе внимание общественности.

Л. ЗОНИНА

Наши гости

ПИСАТЕЛЬ «НЕПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ»

(Макс Вальтер Шульц в «Иностранной литературе»)

Когда несколько лет назад Макс Вальтер Шульц был в редакции журнала «Иностранная литература», разговор шел о его романе «Мы не пыль на ветру», тогда только что вышедшем на русском языке.

Поэтому, естественно, на этот раз наш разговор начался с вопроса о второй книге романа, над которой писатель работал в последние годы и которую теперь с нетерпением ждут читатели. Макс Вальтер Шульц в своем творчестве предпочитает большие формы. «Я не верю в кризис реалистического социального романа»,— писал он несколько лет назад на страницах нашего журнала. Продолжая разговор о судьбах романа, отвечая тем, кто пытается «хоронить» роман, он говорил: «Разве плотнику теперь уже не нужно настилать полы, потому что человек летает так высоко? Разве писатель не должен больше писать романы, потому что наше время такое сложное?» Творчество М. Шульца — ответ на эти вопросы. Именно в романе он нашел для себя наилучшую возможность отражать жизнь в ее многообразии, раскрывать сложные взаимоотношения личности и общества.

— Моя книга начинается с событий августа 1968 года в Чехословакии,— сказал Шульц.— Разное отношение к этим событиям героев романа — мужа и жены — определяет сюжет романа. Я хочу показать ретроспективно, как каждый из них жил все эти 23 года, начиная с 1945 года, как сложились их взгляды, какие события были в их жизни главными. Мне не хочется вдаваться в детали, могу только сказать, что я стремился вскрыть внутреннюю закономерность противоречивого развития человека. Эта книга будет продолжать историю поколения, к которому принадлежу я сам — историю «непотерянного поколения». Я хотел бы, чтобы ее могли читать и те, кто не читал первого романа. Это — вполне самостоятельный роман, поэтому я дал ему другое название. На титульном листе не будет даже указано, что это продолжение, и лишь из аннотации читатель узнает, что существует первая книга.

На наш вопрос, считает ли писатель свой роман романом раздумий, писатель ответил:

— Я бы так его не назвал. Это — скорей роман действия, чем размышлений. Но, конечно, раздумья будут занимать в нем много места. Сейчас моя задача — связать прошлое и нашу действительность. Я считаю, что романист не должен обходить серьезные исторические события. Отличие романиста от историка в том, что он может претворить исторические события в художественный вымысел, показать их через судьбы людей во всей сложности диалектических противоречий.

Быстрый технический прогресс, огромное количество информации требуют переоценки многих ценностей. В сознании человека этот процесс переоценки происходит очень медленно, и задача писателя — передать ощущение человеком вечно движущейся, изменяющейся жизни. Эту мысль высказывал Горький, который никогда не был хроникером событий, а отражал их через мироощущение человека.

Я пишу трудно, медленно и долго все обдумываю, а материал все накапливается, диктует свои законы, и иногда мне кажется, что я уже не могу распоряжаться поведением того или иного персонажа.

Поскольку по профессии я учитель — а учителя, как известно, склонны к дидактизму,— я стараюсь в своих книгах не слишком поучать, не делать из автора святого. Читатель сам должен судить о героях по их поступкам, по их характерам, сам должен делать выводы.

Нужно еще добавить, что для меня, как, наверное, и для всякого романиста, очень важно, чтобы мой роман не был скучным.

На вопрос о том, насколько сам писатель в романе приоткрывает свое лицо и не прячется ли он за своими героями, Шульц ответил, что совсем спрятаться автор никогда не может.

— Читатель все равно узнает, что это написала Криста Вольф, это — Дитер Нолль, а это — Шульц.

Заключая разговор о своем новом романе, наш гость сказал, что немецкие читатели уже смогли познакомиться с отдельными главами, опубликованными в двух номерах журнала «Нейе дейче литератур».

Как всегда бывает на подобных встречах, разговор зашел о литературных новинках.

Шульц назвал несколько сборников рассказов, которые привлекли внимание читателей Германской Демократической Республики. Среди них — сборник Эрика Нейча «Три дня нашей жизни».

— У нас нет традиции небольших рассказов,— сказал писатель.— У нас пишут в основном толстые романы или стихи. Когда выходят рассказы, то тиражи их значительно меньше, чем тиражи романов. А это иногда очень несправедливо. Ведь, например, рассказы Анны Зегерс не менее значительны, чем ее романы. Я имею в виду, главным образом, ее сборник «Сила слабых», название которого показательно для всего ее творчества. Или недавно вышедшие рассказы Франца Фюмана «Жонглер в кино». Это же просто маленькие жемчужины!

Сейчас среди писателей молодого поколения появилась, правда, тенденция писать рассказы, но они по объему скорее относятся к жанру небольших повестей. За последнее время в этом жанре усилилась склонность к юмористическому направлению.

Из других произведений я могу отметить книгу Йохо «Встреча одноклассников». Над новым романом, главный герой которого — химик Киппенберг, работает Дитер Нолль; тема романа — проблемы технического прогресса, интеллигенции, ученых. Юрий Брезан собирается написать большой философский роман.

Макс Вальтер Шульц — не только писатель, но и видный общественный деятель. Наряду с тем что он директор Литературного института имени Бехера в Лейпциге и заместитель председателя Союза немецких писателей, он — участник многих международных встреч.

Естественно, что и об этом заходит разговор. Наш гость вспоминает о конференции в Дели, на которой он был в конце прошлого года.

— Я подружился там со многими писателями из разных африканских стран, брал интервью для журнала «Зинн унд форм», открыл для себя очень интересного турецкого драматурга, часть пьес которого запрещена в Турции. На него большое влияние оказал Бертольт Брехт, он связал брехтовские элементы в своих пьесах со старотурецкими театральными традициями.

Бывал я и на других конференциях и конгрессах: в Ташкенте, Каире, Бейруте. Я считаю, что эти встречи очень способствуют объединению афро-азиатских писателей. Мне только кажется, что нужно больше уделять внимания молодым прогрессивным писателям афро-азиатских стран. Однажды целую ночь я разговаривал с одним индийским поэтом, который истратил почти все свои деньги, чтобы приехать на конгресс. Ему 24 года. Он привез маленькую книжку, написанную на английском языке,— «Традиции и новаторство». Он очень стремился выступить и был крайне огорчен, что до него не дошла очередь. Я читал эту книжку, в ней много идеализма, но она умно написана, а главное: видно, что у этого молодого человека богатая духовная жизнь. У меня тогда возникло большое желание пригласить к себе в институт на обучение несколько таких поэтов и писателей.

Из европейских встреч мне запомнились коллоквиумы в Берлине и в Вильнюсе. После каждой подобной встречи во мне все сильнее укрепляется мысль о создании международной европейской организации писателей. На мой взгляд, нам необходимы постоянные контакты. Мы должны встречаться регулярно — и по общим вопросам и по частным, например, для обсуждения отдельных книг. А больше всего нам не хватает совместного журнала, так как социалистическая литература становится все более и более интернациональной. Мы все сильнее испытываем необходимость друг в друге. Такой журнал мог бы в короткое время стать представительным органом, печататься в нем было бы честью для всех писателей социалистических стран. Самое трудное,— смеется Шульц,— найти волшебника, который помог бы выбрать главного редактора.

Этим и завершается разговор с писателем, который много делает и еще больше хочет сделать для международного сотрудничества литераторов.

Л. ХАРЛАП

Очерки

РОЛАНД РОБИНСОН

АБОРИГЕНЫ СЕГОДНЯ

Для аборигенов, живущих в миссии Милинджимби на Крокодиловых островах, это был день торговли.

Желтый полукруг берега окаймляли давно посаженные здесь огромные тамаринды. Светло-зеленое море, лениво поплескиваясь и шурша, лежало спокойно после прилива. А около лавки на голой, вытоптанной земле, испещренной солнечными бликами, толпились аборигены. Женщины, обнаженные как обычно до пояса, были одеты в оранжевые, розовато-лиловые, красные и желтые юбки. На молодых людях — разноцветные набедренные повязки, на стариках с традиционными бородками клинышком — либо старые шорты, либо просто полоска ткани, «нага».

Вокруг бегали дети, совершенно голые. Я помню мальчишку, на шоколадно-коричневом животе которого желтой охрой по диагонали была нарисована яркая рыба. Эта рыба казалась живой — она дышала и извивалась вслед за движениями мальчика.

Аборигены стояли группками и разговаривали. Обитатели буша[1] держались обособленно, расположившись под деревьями. Люди принесли с собой все, что успели сделать за истекшую неделю — образцы своего искусства и ремесла,— и теперь ждали открытия лавки.

В лавке — большом сарае из оцинкованного железа — жена миссионера оценит их изделия, и тогда аборигены смогут купить чай, сахар, муку, консервы, ножи и топоры, табак и материю на платье. Женщины держали большие круглые циновки, хозяйственные корзины, сумки, сплетенные из волокна пандануосовой пальмы. Мужчины принесли резные фигурки из дерева, крохотные каноэ, раскрашенные стрелы и бумеранги, рисунки на коре.

Примерно раз в шесть недель из Дарвина приходил люгер. Это небольшое парусное судно доставляло сюда товары, и дня через два, нагруженное изделиями аборигенов, предназначавшимися для продажи туристам, оно возвращалось в Дарвин.

А сейчас мы сидели со старым Джонни Дэй-нгунг-нгунгом на бревне неподалеку от собравшихся. Джонни называл меня своим сыном; он рассказывал мне мифы аборигенов, помогал перевести те, что мне удалось собрать самому. Но вот Джонни поднялся и подал знак следовать за ним. «Слушайте меня, братья из буша,— сказал он, когда мы приблизились к толпе.— Это друг, мой друг». Мы подошли, Джонни сел рядом с ними, и я пристроился на корточках. Это были охотники на крокодилов, совсем молодые ребята. У них были скуластые, чистые лица, опушенные бородками, их длинные волосы влажно поблескивали и волнистыми прядями спускались до самых плеч...

Джонни сказал мне, что эти люди не долго пробудут в миссии. Продав шкуры крокодилов и взяв все, что им нужно, они уйдут.

— Это для них дрянь место,— объяснил Джонни.— Они пойдут назад, на свою землю.

Я зашел в лавочку, чтобы посмотреть на принесенные рисунки. Две аборигенки помогали торговать миссис Белл, жене миссионера. Снаружи, из открытого окна, кото-

[1] Буш — внутренние районы Австралии.

гуртовщик.

рое служило своеобразным прилавком, доносился гул возбужденных голосов: аборигены что-то обсуждали, торговались. Потом чей-то женский голос перекрыл все остальные. И словно бы ожидая стычки, все замолчали.

Говорила Джинджинейр. Было время, когда она с мужем плавала на каноэ вдоль этих опасных берегов, добираясь до Дарвина. Муж умер в Дарвине «от кашля», а вдова осталась там работать в доме у белой женщины. Тогда ей часто приходилось бывать в магазине, где торговали изделиями аборигенов. Человек наблюдательный, она заметила, по какой цене продавались рисунки, корзины и циновки, изготовленные руками ее земляков.

Эти цены во много раз превосходили сумму, которую получали аборигены здесь, в поселке. И теперь, когда Джинджинейр вернулась в миссию, она высказала миссис Белл все, что думает по этому поводу. Разница между ценами в Дарвине и Милинджимби была так велика, что миссис Белл вынуждена была оправдываться...

— Поймите,— говорила она,— все эти деньги возвращаются сюда, на них строят эту миссию для вас и для вашего народа.

— Это каким же путем деньги возвращаются сюда? — возмущалась аборигенка.— Как бы не так! Вы обманщица, наживаетесь на этих корзинках.

— Ну, как же вы можете так говорить? — возражала миссис Белл, принимаясь искать носовой платок.— Ведь мы с мистером Беллом приехали сюда создавать эту миссию для вашего же народа, для...— И она расплакалась.

Но Джинджинейр была не из тех, кого можно тронуть слезами:

— Нечего тут плакать. Я вам еще не то скажу...

К середине дня основные дела в лавке заканчивались. Потом заходили лишь одиночки, за свои изделия они получали все те же гроши...

Резервации аборигенов лишены, по существу, права на неприкосновенность. В официальном заявлении, сделанном в 1963 году сенатором Спонером в ответ на запрос в парламент, по этому поводу говорится: «Аборигены не имеют прав на земельные владения, выделенные им в качестве резерваций. Согласно закону Северной Территории все права на использование минеральных и лесных богатств закреплены за английской короной; арендная плата за разработку недр устанавливается законодательным путем». (Из официального отчета о заседаниях парламента.)

В северо-западной Австралии под руководством белого, Дона Маклеода, аборигены создали шахтерский и сельскохозяйственный кооператив.

Года два назад я побывал в этом кооперативе... Маклеод рассказал мне о долгой, полной горечи борьбе с властями за права аборигенов. Это был рассказ о том, как власти препятствовали созданию кооператива. Передо мной словно живые вставали картины. Я видел огромные митинги аборигенов, их столкновения с властями. Я слышал речи, которые там произносились, начинал разбираться в разногласиях, которые возникали между вожаками аборигенов.

— Мы шли подчас с голыми руками,— рассказывал Маклеод.— Жили впроголодь, питались пресными лепешками, испеченными в золе, да мясом кенгуру. «Мы готовы голодать с тобой, Маклеод»,— говорили мне аборигены.

Трудно передать здесь весь его рассказ. Меня покорил этот человек, босой, небритый, покрытый рыжей пылью, он говорил с увлечением, порой переходя на настоящее время — так что я путался в последовательности событий.

Девушка-аборигенка принесла в палатку чаю в котелке и тарелку с лепешками. Я сказал ей, что вовсе не для того приехал, чтобы меня тут угощали,— у них и без меня с едой туго. По законам ее народа, возразила девушка — и я не мог не заметить, как она правильно говорит по-английски,— гостя надо накормить. Абориген по имени Томми тоже пришел, нагруженный едой. Другой абориген, его звали Панч, притащил в жестянке воду.

Стояла ночь, и в поселке слышались голоса, смех. Откуда-то из темноты пришел Тихоня. Это был рыжий кенгуру, мне рассказывали о нем аборигены. Прямо с руки он взял у меня лепешку. Я погладил его по мягкой, приятной шерстке. Он съел лепешку и прыгнул в темноту, в заросли спинифекса.

А утром почти все мужчины и женщины отправились на рудники. В середине участка, где шла разработка, прямо под открытым небом стояла кухня. Сегодня дежурил Панч. Он объяснил мне, что они работают на кухне по очереди.

Там, где возвышались груды красного песка, под низким деревом сидела старая Моди. У нее в руках был примитивный инструмент, с его помощью она «выуживала» из песка и железной руды кристаллы танталита. Это был тот же способ, которым люди ее племени очищали от сорняков семена травы.

Я пошел дальше, пытаясь найти место, где аборигены вели разработку открытых залежей берилла. В долине среди цветов и спинифекса я встретил группу женщин и детей: вокруг них были разбросаны осколки белых камней. Они сидели и дробили эти белые камни молотками или оборотной стороной старых томагавков. На редкие кусты, под которыми лежали грудные дети, были брошены охапки спинифекса, чтобы создать более густую тень.

— Здесь техника невыгодна,— объяснил Дон,— пришлось бы прокладывать дороги.— А так — сунул томагавк под мышку и пошел.

«Неужели это тот самый человек, который поднял пастухов-аборигенов на забастовку, требуя повышения зарплаты и улучшения условий жизни? — думал я.— Неужели это тот самый Маклеод, который выступил против скваттеров [1], правительства и полиции, борясь за права аборигенов? Тот самый человек, который сидел за все это в тюрьме и о котором написали роман и поэму?»

Мне довелось беседовать о Маклеоде в полицейском участке Порт-Хэдлэнда. Инспектор сказал мне о нем:

---

[1] Скваттеры — крупные землевладельцы-скотоводы.

Стоянка аборигенов.

Исполнитель ритуальных песен.

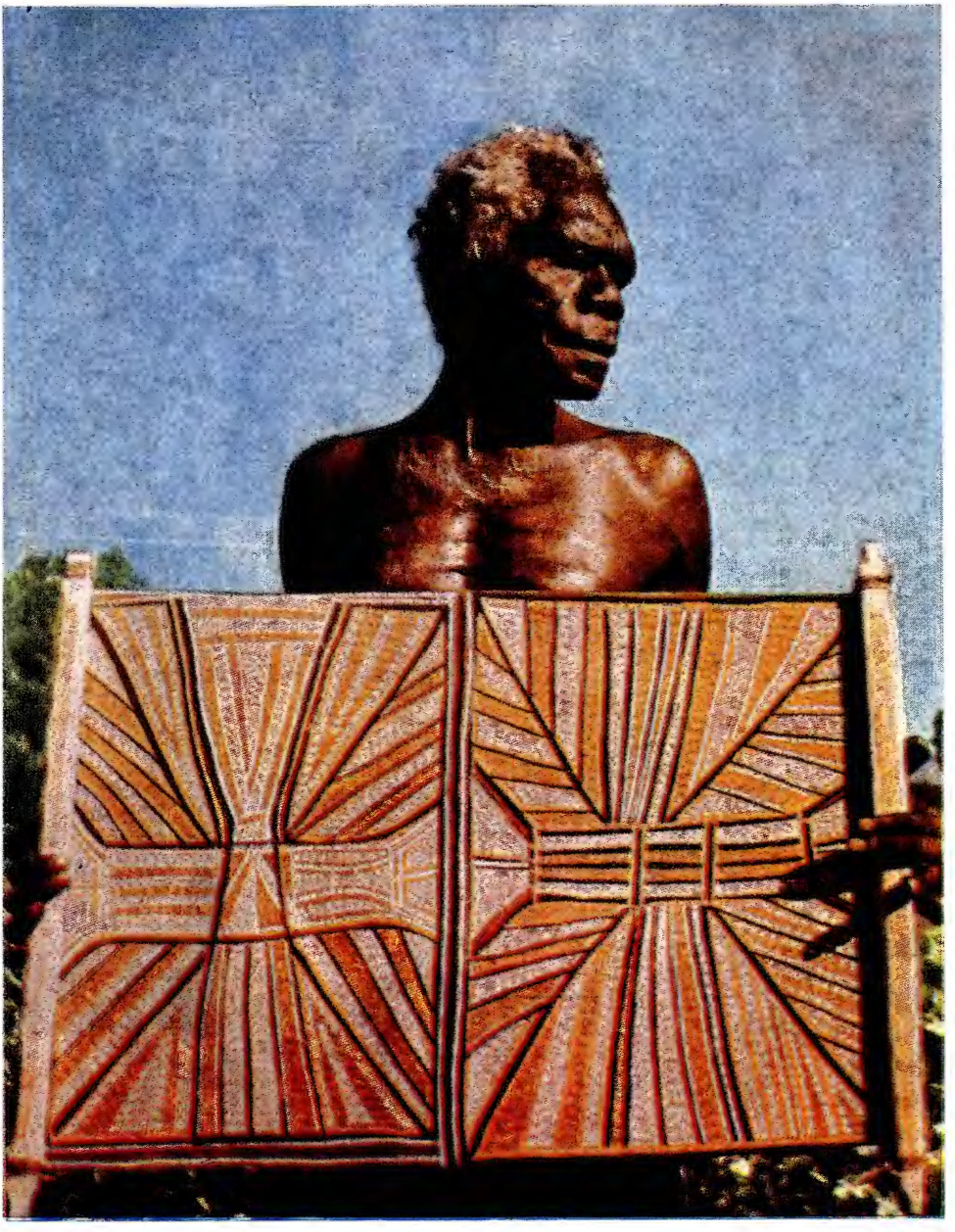


Рисунок на коре, иллюстрирующий миф о северо-восточном ветре.

Дома, которые строят для аборигенов.

Дети аборигенов в католической миссии.

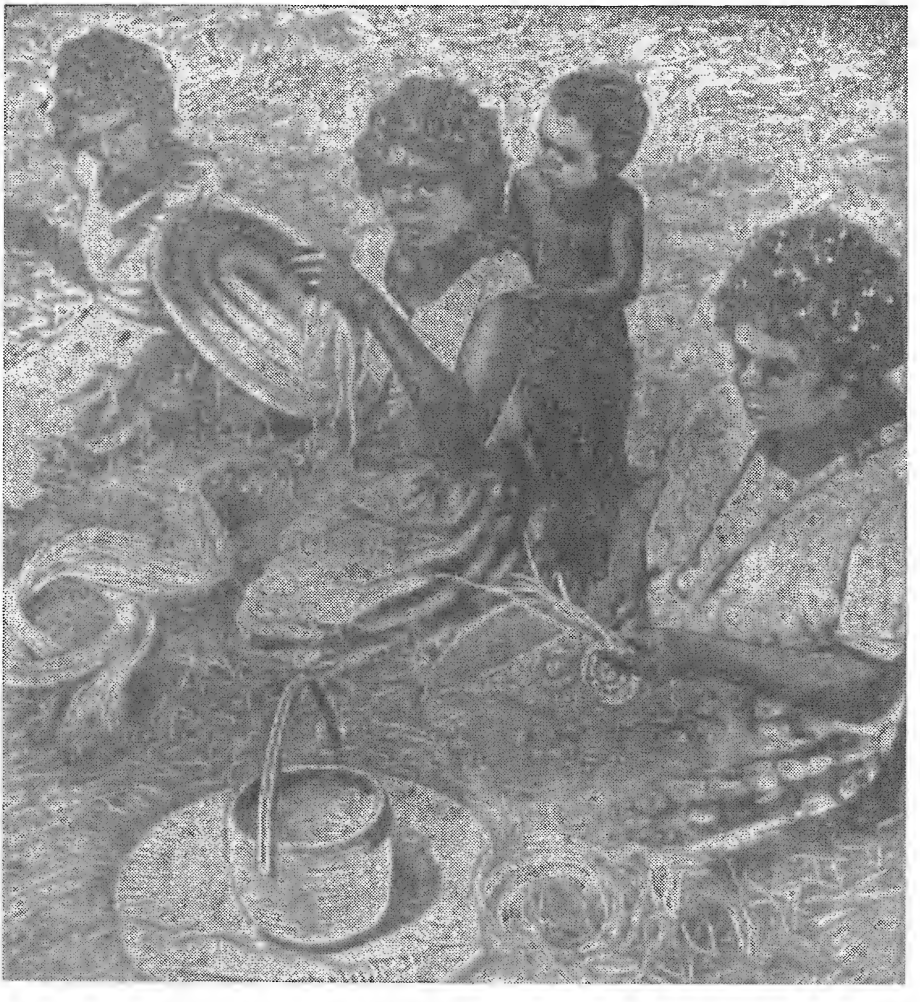
— Я уже давно имею возможность наблюдать за Маклеодом и наблюдаю за ним с восхищением. У него в поселке нет пьянства, он не позволяет себе баловаться с туземными женщинами. Скваттеры слышать о нем не могут, потому что он отвлекает у них со скотоводческих станций рабочую силу.

Когда мы спустились в поселок, из Роберна пришел грузовик, полный аборигенов. Один из них заговорил со мной. Его звали Джекоб. Он был выбрит, одет в выглаженную рубаху и шорты цвета хаки, на ногах у него были носки и ботинки. Он спросил, понравилось ли мне у них. Не успели мы разговориться, как к нам подошла его жена с ребенком.

— Люди здесь, в кооперативе,— сказал Джекоб,— любят, когда к ним приезжают. Это значит, что белые со стороны интересуются нами. Я работал на станции, когда забастовка началась,— продолжал Джекоб.— Тогда-то я и повстречался с Доном...

— А я,— вставила свое слово жена Джекоба,— выросла во время забастовки, вышла замуж во время забастовки и живу во время забастовки.

На следующее утро я должен был уезжать. Мне сказали, что вечером в мою честь жители поселка собираются спеть прощальную песню. Когда я вышел, было светло от звезд. Меня уже ждали. На голой каменистой площадке в середине поселка мы уселись полукругом лицом к танцующим. Рядом горел костер, в который бросали хворост и спинифекс. Певец отбивал такт жестянками из-под табака; созывая танцоров, он затянул песню племени.



За плетением корзин и циновок.

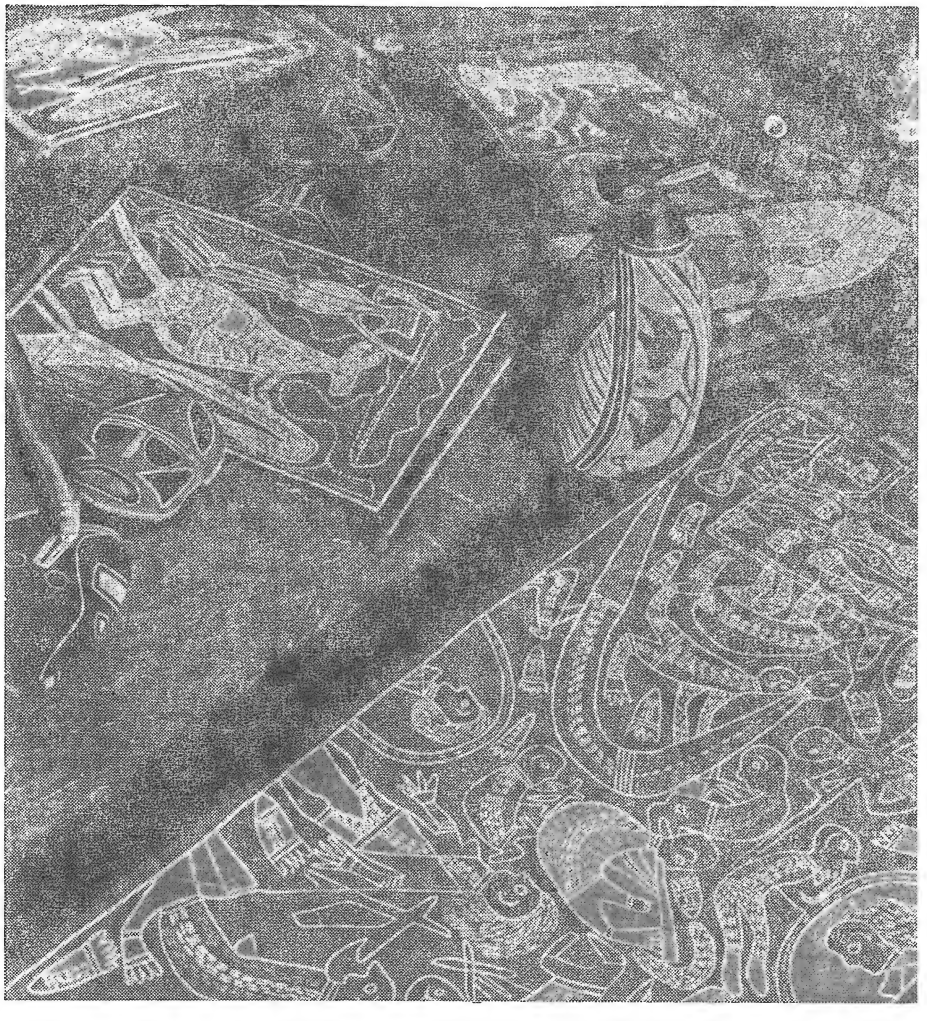
Спросите любого пастуха из тех, что живут во внутренних или пограничных районах Австралии, и он скажет вам, что здесь нельзя всерьез заниматься разведением скота без аборигенов. Там, где белые зачастую не согласятся да и просто не смогут работать, прекрасно справляются аборигены...

Я остановился однажды на скотоводческой станции, где буквально все делали аборигены. Они осматривали скот, клеймили и перегоняли его. Это были пастухи и объездчики высшего класса.

В апреле 1967 года такие же пастухи-аборигены со станции Ньюкасл-Уотерс протестовали против решения арбитражного суда, по которому повышение заработной платы аборигенам должно было производиться лишь с декабря 1968 года. Аналогичные забастовки произошли потом в Уэйв-Хилле, Маунт-Сэнфорде и Хелен-Спрингсе.

Два аборигена, Декстер Дэниелс, председатель Совета защиты прав аборигенов Северной Австралии, и Капитан-Майор, главный пастух Ньюкасл-Уотерса, совершили поездку по южным штатам, надеясь получить помощь бастующим. Они выступали на многих профсоюзных собраниях и рассказывали о тяжелых условиях жизни аборигенов на скотоводческих станциях Северной Территории — об их жалких жилищах и ничтожной зарплате, о хижинах, сделанных из жести и мешковины, размером с собачью конуру, о скудном питании — сухой хлеб да кусок солонины.

По новому постановлению, им должны были платить четырнадцать с половиной долларов при семидневной рабочей неделе с десяти- или двенадцатичасовым рабочим



Живопись аборигенов и резьба по дереву.

днем, в то время как белым рабочим платили тридцать четыре доллара при пятидневной рабочей неделе и восьмичасовом рабочем дне. (Домашней прислуге в исключительных случаях платили четыре доллара тридцать пять центов в неделю — рабочий день начинался в четыре утра и заканчивался в шесть вечера.) Это означало, что у пастухов-аборигенов скотопромышленники ежегодно выкрадывали миллионы долларов.

Декстер Дэниелс обратился тогда с письмом к У Тану в Организацию Объединенных Наций. В этом письме, рисовавшем бедственное положение аборигенов, говорилось: «После многих лет нищеты и бесправия нам дали права гражданства и право голоса. Но это равенство останется на бумаге до тех пор, пока мы не будем получать равную плату за равный труд, сносные жилища, образование и производственное обучение, до тех пор, пока мы не будем иметь возможность распоряжаться по крайней мере священными землями своего племени.

Мы боремся за самое наше существование как народа. Во имя человеколюбия, пожалуйста, помогите нам...»

Года два назад я совершил поездку с лекциями по Западной Австралии от Литературного фонда Австралийского Союза, и я обнаружил, что начальную школу посещало довольно много детей аборигенов, а в средней школе не было ни одного. Я коснулся этого вопроса в одной из лекций, и некоторые директора средних школ под-

держали мою мысль о том, что это происходит вовсе не из-за недостатка интеллекта у детей аборигенов. Когда дети аборигенов подрастают, они особенно остро реагируют на проявление расового неравенства по отношению к ним со стороны белых детей и их родителей. И это, а не что-либо иное, приводит к тому, что постепенно они теряют интерес к занятиям и возвращаются к родителям, на «задворки цивилизации».

Правда, в последние годы в этом смысле произошли кое-какие сдвиги. Например, растет число детей аборигенов, посещающих среднюю школу в Новом Южном Уэльсе. Несколько аборигенов успешно закончили педагогический колледж, есть несколько учеников медицинских и торговых училищ. Один абориген, Чарльз Перкинс, закончил университет.

Альберт Наматжира стал всемирно известным художником [1], а певец-абориген Гарольд Блейр преподает в Мельбурнской консерватории.

И в литературе уже заявили о себе два аборигена. У поэтессы Кэт Уокер недавно вышли сборники стихов [2]. Они разошлись в таком количестве экземпляров, которого не знали книги ни одного другого современного поэта Австралии. По своему характеру это поэзия социального протеста. Творчество Кэт Уокер, уходящее корнями в традиции седой старины, служит борьбе за права ее народа.

В 1965 году вышел первый роман другого молодого аборигена, Колина Джонсона, «Падение дикого кота». Роман начинается с того, как юноша-абориген выходит из тюрьмы, чтобы вновь окунуться в тот самый мир, который толкнул его на преступление. Как ни печальна эта история, в ней есть надежда на перемены к лучшему.

Об этом романе, восторженно встреченном критикой, Колин Симпсон писал: «Молодому интеллигенту, в котором течет кровь аборигена, впервые удалось, если так можно сказать, пробить брешь в австралийской литературе... Его талант потрясает — в нем таится огромный потенциал».

Перемены, происходящие сегодня, вряд ли были бы возможны без людей, подобных тем, о которых я рассказал. Разумеется, не все имена энтузиастов сплочения и просвещения аборигенов названы и вообще известны нам.

Коренные жители Австралии получили сейчас гражданские права, по крайней мере конституционно, на бумаге. Однако «проблема аборигенов» все еще ждет своего решения — слишком глубоки ее корни в истории Австралии.

До самого последнего времени аборигены считались вымирающей расой. Ожидали, что вопрос решится сам собой, когда они постепенно вымрут, а те немногие, что останутся, будут поглощены обществом белых. Но аборигены отказываются вымирать... И не от общества ли белых австралийцев зависит сейчас, уподобится ли проблема аборигенов проблеме негров в Соединенных Штатах Америки?

Перевод с английского И. З.

---

[1] В журнале «Иностранная литература» № 4 за 1968 год в сопровождении статьи Д. Гранина были опубликованы работы А. Наматжиры.

[2] Рецензию на эти сборники см. в журнале «Иностранная литература» № 11 за 1965 год.

Среди книг

Издано в СССР

СЛОВНО В КАПЛЕ ВОДЫ...

Портрет в гостиной. Рассказы африканских писателей. Перевод с английского В. Б. Рамзеса. Предисловие Ю. Нагибина. Москва, «Наука», 1971. 133 стр.

Современная Африка... Не только огромный континент, но и одно из величайших обиталищ человеческого рода, место грандиозных исторических событий, широких потоков миграций, родина неповторимых созданий искусства, философских систем, целых цивилизаций и место, где колониализм не скрывал своего гнусного лица, открыто унижал многомиллионные народы, пытаясь их свести к роли рабочего скота, экзотических достопримечательностей тропического леса... Место, где началось необыкновенной мощи освободительное движение, которое до сегодняшнего дня держит внимание всего мира, где возникают все новые и новые независимые государства, украшая созвездие народов планеты, решивших жить собственным разумом, и, наконец, место, где сошлись крайности современного мира — страны, строящие социалистическое общество, и режимы откровенно фашистского толка. К этому еще надо добавить и то, что империалистические страны, когда-то господствовавшие на Африканском континенте, сегодня ищут новые пути, чтобы снова овладеть — уже на современном этапе неоколониализма — народами, познавшими свободу и независимость.

Природа настоящего искусства такова, что даже самое малое произведение отражает в себе, словно в капле воды, противоречия того мира, который окружает писателя.

«Портрет в гостиной» включает в себя рассказы писателей Нигерии, Кении, Ганы, Сьерра-Леоне и ЮАР. Это только часть Африки, но картина действительности, нарисованная писателями этих стран, дает представление многих о проблемах, которые она решает сегодня.

Как ни далеко отстоит Африканский континент от Советского Союза, ленинские идеи освободительного движения проникли туда еще задолго до изобретения реактивных лайнеров, еще в первые годы существования республики Советов. Об этом трогательно и сердечно повествуется в рассказе одного из крупнейших современных южноафриканских писателей Алекса Ла Гумы «Портрет в гостиной». Алекс Ла Гума широко известен в нашей стране по переведенным на русский язык книгам: «Скитания в ночи», «И нитка, втрое скрученная...», «Каменная страна»[1]. В 1970 году Алекс Ла Гума был удостоен международной премии «Лотос», присуждаемой Ассоциацией писателей стран Азии и Африки.

Пожалуй, раньше литературных произведений африканских писателей миру стали известны образцы фольклора африканских

[1] Последние две были опубликованы в «Иностранной литературе» № 12 за 1965 г. и № 11 за 1969 г.

народов. Эти сокровища использовали еще американские писатели, слушая из уст своих сограждан-негров сказания их предков.

И в современных произведениях африканских писателей обращение к устному поэтическому творчеству является закономерным и плодотворным, ибо народные произведения всегда оптимистичны, светлы и полны надежд на лучшее будущее. Прекрасный рассказ ганского прозаика Менса Апеду «Откуда грибы берутся» построен на сказочном материале.

Борьба отживающих традиций с современным взглядом на мир нашла свое отражение в рассказе кенийской писательницы Грейс Огот «В ожидании дождей». Ритуальное убийство, бытовавшее почти у всех племен, находившихся на стадии разложения первобытно-общинного строя, вызывает естественное сопротивление молодежи, и герои рассказа бросают открытый вызов неповиновения.

Опасны, коварны и «пережитки», привнесенные в африканский мир извне: жестокая грызня политических группировок, время от времени демагогически взывающих к народу, проникновение обычаев и привычек разлагающегося буржуазного мира.

В произведении видного нигерийского писателя Никема Нванкво «Игрок» рассказана история маленького служащего Околи, мечтающего единым ударом покончить со своим жалким существованием зависимого человека. Ему надо только выиграть крупную сумму денег, чтобы иметь возможность зажить не хуже, чем сильные мира сего. «Американский автомобиль... Женщины... Политика... Много-много женщин... Министерский пост... Куча денег... Эх, выиграть бы!» В этих скачущих мыслях героя рассказа отразился продажный мир, где политика стоит в ряду с девицами легкого поведения и министерский пост — это лишь ступень, с которой легко запускать руку в государственную казну.

О том, какие «блага» несет новая цивилизация так называемого свободного мира трудовому люду Африки, ярко написано в рассказе южноафриканского писателя Ричарда Рива «Сон наркомана». Это крик души человека, задавленного жестоким обращением, вечным попранием его человеческого достоинства. Всего раз, всего только один раз в жизни, да и то не наяву, а лишь в причудливых сновидениях затуманенного мозга, герой выражает протест, и этот протест страшен, ибо показывает, как расизм может порождать ответный расизм.

Небольшая книжка рассказов «Портрет в гостиной» — это как бы мгновенный карандашный набросок портрета современной Африки, ее бурного «сегодня». Рассказы сделаны руками настоящих мастеров, умеющих держать перо.

И хотя эти произведения написаны авторами на английском языке, каждый из них предстает перед нами в его национальном облике, с присущей ему одному авторской интонацией, со своим словарем. В этом, несомненно, есть и заслуга переводчика В. Рамзеса, внимательно следящего за развитием новых африканских литератур.

ЮРИЙ РЫТХЭУ

НОВЕЛЛЫ РИКАРДЫ ХУХ

Рикарда Хух. Светопреставление. Перевод с немецкого. Вступительная статья А. Русаковой. Ленинград, «Художественная литература», 1970. 232 стр.

Томас Манн в речи по случаю шестидесятилетия Рикарды Хух (1864—1947) назвал писательницу «первой женщиной Германии», а может быть, и «первой женщиной Европы». Он с удовольствием цитировал слова из ее знаменитого исследования о немецком романтизме, не без задора напоминавшие, что именно Ева сорвала некогда плод с древа познания. Глубоко интеллектуальный характер творчества Р. Хух, ее гуманизм, широта и основательность культуры были Т. Манну особенно близки; в истории немецкоязычных литератур их имена, вместе с именами Г. Гессе или С. Цвейга, не случайно упоминаются в одном ряду.

Русский читатель сейчас, по существу, лишь начинает знакомство с творчеством этой весьма чтимой у себя на родине писательницы (вышедший у нас в 1926 году ее популярный детективно-психологический роман «Дело доктора Деруга» мало для нее показателен). Наследие Р. Хух на редкость разнообразно; новеллы сборника дают представление лишь о небольшом, хотя и важном, его разделе. Перу писательницы принадлежат стихи, романы, очерки и повести, а также серьезные исследования в области истории, философии и литературы; среди ее работ можно найти и сатирическую повесть о карьере лжесвятого («Житие пресвятого Воннебальда Пюка»), и роман из жизни триестских люмпенов, заставивший позднейших исследователей вспомнить об итальянском неореалистическом кино («С Триумфальной улицы»). Но, пожалуй, наиболее примечательным вкладом Р. Хух в немецкую литературу был осуществленный ею своеобразный синтез научного исследования и художественного творчества.

Р. Хух была одной из первых женщин, получивших в конце прошлого века степень доктора философии. Она умела оставаться ученым и в художественной прозе. И если сейчас роман-исследование или роман-биография — жанры вполне привычные, то в начале века многое из написанного Р. Хух воспринималось как смелый эксперимент. В таких ее произведениях, как серия романов об итальянском освободительном движении XIX века («Гарибальди», «Люди и судьбы итальянского Рисорджименто» и

др.), и особенно в монументальном, трехтомном труде о Тридцатилетней войне («Великая война в Германии») научная точность, убедительность концепции сочетаются с одухотворенным художническим проникновением во внутренний мир эпохи и ее людей.

Своеобразие пути, которым шла Р. Хух, вызывало у иных критиков соблазн объявить ее обособленной одиночкой; ее обращение к истории расценивалось как уход от действительности и острых социальных проблем. Стоит ли говорить, что современность подлинного искусства определяется отнюдь не материалом, которым оно пользуется. Для тех, кто в годы фашизма перечитывал страницы из «Великой войны», рассказывавшие о процессах ведьм, об оргии доносов, пыток, лжесвидетельств, о страданиях народа, они звучали, пожалуй, даже более злободневно, чем в те годы, когда писались. Суть дела — в том гуманистическом пафосе, который одухотворял все творчество писательницы и который делал ее противником мракобесия и человеконенавистничества, в какой бы форме и в какие бы времена они ни проявлялись.

Сказанное полностью относится и к новеллам Р. Хух.

Действие их перенесено в прошлое Германии (XVI—XVIII века), и почти все сюжеты посвящены, в сущности, одной теме: столкновению догматической нетерпимости, идиотических предрассудков с миром добрых, живых, естественных человеческих чувств и представлений.

Со свойственной ей умной и тонкой иронией пишет Р. Хух о бездарном художнике Либориусе, который из зависти к своему талантливому собрату объясняет его способность оживлять на полотне любые предметы помощью нечистого («Дьявольские козни»), о невежественных горожанах, которые во главе со священником устраивают комично-серьезный суд над петухом, якобы несущим яйца («Квакенбрюкский петух»), и других. Противопоставлены им, в общем-то, обычные люди, наделенные лишь здравым человеческим смыслом, отзывчивым сердцем, а также хитростью и изобретательностью, порой особенно нужными, чтобы защитить себя и своих близких. Лукавый, подчас по-своему интеллектуальный хитрец — излюбленный персонаж Р. Хух. (В этом смысле характерен опубликованный в 1905 году рассказ «Могила еврея».)

Понятно, что человек, писавший такие рассказы, не мог принять гитлеризм. Престарелая писательница оставалась все эти годы в Германии, и нацистам очень хотелось использовать в своих целях ее имя: знаменитое и уважаемое в стране, оно для многих отождествлялось с представлением о немецком патриотизме. Однако Р. Хух сразу же и недвусмысленно отвергла настойчивые попытки «нового режима» привлечь ее на свою сторону. В марте 1933 года она заявила о своем выходе из Академии искусств и на уговоры сотрудничать с правительством, являющимся «носителем национального подъема», ответила: «То, что нынешнее правительство предписывает в качестве национального образа мыслей,— это не моя Германия». На открытые репрессии против Хух нацисты не решились, однако они всячески травили ее.

В сборнике напечатана новелла, завершенная писательницей в 1940 году и увидевшая свет лишь в 1947-м—«Сомнительный предок». Соперники кандидата в бургомистры Хензихена пускают слух о его сомнительном происхождении: возможно, его дед был пастухом. Здравомыслящие люди пытаются заметить, что от этого Хензихен не стал ни лучше, ни хуже; но вокруг «позорного пятна» уже поднята свистопляска. Предубеждение растет и ширится; добровольные энтузиасты берутся проверить родословные всех граждан города и изгнать из него не только явных потомков пастухов, но и всех, кто носит чужеземные и вообще непривычные фамилии. Лишь изобретательность одного из друзей Хензихена отводит угрозу... Аналогии, как видим, предельно прозрачные. Техника создания и распространения массового психоза, подавляющего голоса разума, показана психологически убедительно и остроумно.

Первую новеллу сборника отделяет от последней ровно пятьдесят лет. Сюжеты из давней истории, воспринятые в одном случае как тревожное предостережение, в другом звучат злободневным намеком. На деле же писательница просто всегда оставалась верна себе. Утверждение идей гуманизма, защита разума и человеческого достоинства всегда составляли основное содержание ее работы, к каким бы жанрам и темам она ни обращалась. В этом смысле маленький сборник новелл дает возможность — пусть пока и не слишком обширную — познакомиться с существенными чертами творчества Рикарды Хух.

М. ХАРИТОНОВ

В ТРУДНОМ ПУТИ

Акутагава Рюноскэ. Избранное в 2-х томах. Перевод с японского. Составители В. Гривнин и А. Стругацкий. Предисловие и комментарий Н. Фельдман. Москва, «Художественная литература», 1971.

Творческая жизнь Акутагава Рюноскэ была недолгой. Со времени литературного дебюта (1916) до трагической гибели писателя прошло всего одиннадцать лет. Но за этот короткий промежуток он успел снискать прижизненную славу и обеспечить себе место классика новой японской литературы. Известность Акутага-

ва шагнула далеко за пределы Японии: его знают в Англии, США, Франции, Италии и других странах мира. Русская читательская аудитория познакомилась с Акутагава еще в 20-е годы. На протяжении минувших десятилетий его произведения не раз выходили в нашей стране. В нынешнее издание включены как вновь переведенные, так и уже хорошо известные у нас вещи: «Ворота Расёмон», «Лошадиные ноги», «В чаще», «Жизнь идиота». В настоящее время Акутагава представлен на русском языке значительно полнее, чем многие другие японские писатели.

Творчество Акутагава выделяется на фоне современной ему японской литературы. Подлинно национальный писатель, он ощущал биение сердца своего народа, тяжесть неразрешимых проблем отдавалась скорбью в его собственной душе, но Акутагава Рюноскэ оказался в стороне от той японской художественной интеллигенции, которая выступила в русле пролетарского литературного течения 20—30-х годов. По замечанию автора предисловия Н. И. Фельдман, Акутагава «владеет тоска по не существующей в действительности нравственной чистоте и высоким и цельным чувствам». И Акутагава находит идеалы добра и любви вне окружающей его жизни. Отсюда частое обращение к легендам о японских христианах — фанатиках веры, разработка полумифических сюжетов прошлого.

Непревзойденный мастер острой ситуации, он использует свое мастерство для того, чтобы заглянуть в самую душу человека, обнажить сокровенное, невидимое в повседневности чужим глазам. «Самое драгоценное в жизни человека — это неповторимое, мгновенное движение души. Оно подобно лучу еще не взошедшей луны, выхватывающему из мрака пенистую волну, всколыхнувшую океан страстей, которые живут в душе» («Смерть христианина»). Как бы разнообразны ни были формы его фантастических и квазиисторических новелл, он неизменно фиксирует внимание на «движении души». И сама фантазия Акутагава имеет пределы: условия места и времени, в которых протекает действие, чаще всего — Япония. Конкретная, осязаемая страна со своим колоритом и ароматом. Япония прошлого или настоящего, но всегда с приметами времени, с чисто национальными особенностями.

В тех случаях, когда Акутагава обращается к реальной жизни, его привлекает отзвук действительности в душе человека. Это может быть эмоциональный импульс, полученный от общения с истинным искусством: «За небольшой картиной маслом я разглядел несчастного ее художника, который стремился возможно острее показать самую суть природы. Эта желтая болотная растительность внушала мне такое же трагическое, такое же глубокое, рождающее востэрг чувство, какое внушает всякое выдающееся творение искусства» («Трясина»). Иногда — это непотускневшее воспоминание о событии, почему-либо поразившем воображение автора. Такое событие происходит в рассказе «Мандарины». Случайная попутчица автора, деревенская девочка-подросток, «уезжавшая, вероятно, на заработки, бросила из окна припрятанные за пазухой мандарины, чтобы отблагодарить братьев, которые вышли на переезд проводить ее». Мальчуганы, «заверещавшие, как птицы», золотая россыпь мандаринов, облик девочки — все это переполнило автора «непонятным светлым чувством». И ему «удалось хоть на время забыть о своей невыразимой усталости и тоске и о непонятной, низменной, скучной человеческой жизни».

Жизнь скучна, тосклива, ее озаряют лишь редкие мгновенья, но с течением времени, однако, обыденность все больше занимает Акутагава. Поворот к эгобеллетристике и бытописательству он сделает лишь в свои последние годы, но тенденция возникает значительно раньше. В рассказе «О себе в те годы» (1919) мы читаем: «Все, что вы прочитаете ниже, может быть, и нельзя отнести к жанру рассказа. Да я вообще затрудняюсь ответить на вопрос, к какому жанру это можно было бы отнести. Я просто попытался правдиво и по возможности без предубеждения рассказать о некоторых событиях, случившихся несколько лет тому назад. Боюсь, это может показаться скучным тем читателям, которые не питают интереса к моей жизни, жизни моих друзей и веяниям того времени».

Акутагава так и не нашел в жизни желанного нравственного идеала. Им почти безраздельно владеет тоска. Весьма характерен для душевного настроя автора поэтический рассказ о заблудившемся и насмерть перепуганном мальчугане. Много лет спустя, став взрослым, скучным человеком, Рёхэй «сидит в редакции одного журнала и читает корректуры. Но случается иногда, что, хоть и совершенно беспричинно, он вспоминает себя, каким он был в тот день. Совершенно беспричинно. Перед ним, усталым от житейских забот, и теперь, как тогда, тянется узкой лентой извилистая, с рощами, с подъемами и спусками, полутемная дорога» («Вагонетка»).

«Полутемная дорога» лежала и перед самим Акутагава. Она привела писателя к душевной болезни и творческому распаду.

Двухтомник дает достаточно полное представление о незаурядном даровании Акутагава, его трудном пути.

В издании принял участие целый коллектив советских японоведов. Их нелегкий труд увенчался успехом. С редкой тщательностью и мастерством выполнены составительство, предисловие, комментарии, переводы двухтомника. Следует отметить особо переводческий талант В. Н. Марковой и И. Л. Львовой. Вызывают досаду, однако, довольно многочисленные опечатки.

Наши знания о многоликой стране, ее литературе умножились. На страницах «Избранного» Акутагава Рюноскэ вновь состоялась встреча с Японией — Японией одного из талантливейших ее сыновей.

Л. ГРОМКОВСКАЯ

Издано за рубежом

РОМАН О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ

Mihailo Lalic. Pramen tame. Beograd, Prosveta, 1970.

Вот уже двадцать пять лет Михаило Лалич остается верным своей тематике: война, борьба за свободу, революция. Во многих произведениях он очень сильно, творчески убедительно и актуально ставит самые существенные вопросы поведения человека на войне, отношения к борьбе и революции. Очень часто он вскрывает противоречия в человеке, при этом главенствующей остается мысль о том, что истинную свою ценность человек утверждает в борьбе за правое дело. Лалич чаще всего изображал победителей в недавней войне. Анализируя их поступки, пытаясь вскрыть всю сложность их поведения, показать, что представления об идеалах у этих людей были порой неясными, писатель не боялся в то же время свой чистый реалистический метод «замутить» иногда кошмарными видениями, появлением, скажем, двойника-искусителя. Такой особый мир создал Лалич в своих лучших романах: «Свадьба», «Злая весна», «Разрыв», «Лелейская гора», «Облава»[1].

Новый роман «Клочья тьмы» Лалич посвятил изображению противников освободительной борьбы — то есть силам реакции и контрреволюции.

По своему содержанию это хорошо известная история разгрома предательского движения четников в Югославии, особенно в Черногории и Сербии, об идеологах и участниках этого движения. Окончательно разгромленные, они надеются на спасение с помощью англичан, но те передают их партизанам.

В рамках краткого и несложного сюжета Лалич сумел скупо, но тем не менее ярко и убедительно показать жизнь в лагере этого жалкого скопища людей, которые делают друг другу подлости, уничтожают один другого и мечтают о том, чтобы, используя хорошо знакомые им методы подкупа, взяток, лжи и предательства, спасти себе жизнь. В диалогах своих персонажей, в их исповедях о совершенных злодеяниях Лалич раскрывает их психологию и дополняет картину самообличением, когда у этих людей исчезают последние остатки человеческого уважения к самим себе. И эта «самокритика» оправдана, ибо она служит предупреждением: невозможно найти оправдание предательству, напрасны усилия хотя бы объяснить его особыми обстоятельствами, посторонним влиянием, страхом за жизнь, ослеплением или верой в ложные идеалы.

Из среды предателей автор выделяет старого Рико Гиздича, организатора и идеолога четников. Этот оборотень и авантюрист всегда использовал войну и военные столкновения для того, чтобы извлечь для себя как можно больше выгоды. Он достаточно образован, чтобы разобраться во взглядах тех, кто ему противостоит, и достаточно хитер, чтобы защищать свои «принципы», снисходительно-почтителен по отношению к тем, кто выше его, и немилосердно жесток к подчиненным. Лалич рисует эту фигуру широко, иногда даже излишне подробно, но всегда разоблачительно.

Однако автор пытается придать и трагические черты образу Гиздича. Это относится прежде всего к последним часам жизни Рико Гиздича, когда партизаны допрашивают его и тот припоминает совершенные им преступления. Стараясь любой ценой оттянуть свой конец, Рико пытается наговорить возможно больше; именно здесь он объясняет, как появились «клочья тьмы», этот страшный туман, эта мгла предательства, которыми окутано движение четников.

Эти последние его мучения словно бы принуждают Лалича изобразить Гиздича фигурой более трагической, чем он есть на самом деле, как бы снизойти к нему. Это может заставить и читателя, который уже вынес свой приговор предателю, в какой-то мере словно бы пожалеть о том, что через несколько минут Гиздич получит то, что он заслужил.

Однако позиция автора книги совершенно недвусмысленна: он осуждает и самих предателей, и мотивы предательства, не признает никаких объективных обстоятельств, которые оправдывали бы такие преступления. Лалич — это писатель, который словно бы лично присутствует в своем произведении, он воинственно настроен, иногда он оскорблен, очень часто рассержен и разгневан. Поэтому для него недостаточно дать сильное реалистическое описание жизни, художественно показать нам, как все это было. Занимая ярко выраженную позицию, он хочет напомнить своим современникам о том, что предательство — величайшее преступление, что это путь к обесчеловечению.

Некоторые югославские критики, ощущая эту позицию писателя — а сейчас кое-кто в Югославии считает «современным» вносить смягчающие черты в образы предателей,— упрекают Лалича за так называемую «черно-белую» обрисовку людей и событий. Однако в этой книге Лалич показал, что черное предательство ничем нель-

[1] Романы «Свадьба», «Лелейская гора», «Облава» переведены на русский язык.

зя обелить, что предательство нельзя оправдать, что для него не существует сроков давности.

Как романист Михаило Лалич сделал в этом произведении шаг вперед, сама художественная структура нового его романа помогает отображению жизненных конфликтов. Поэтому в романе довольно много обширных монологов — исповедей, наполненных самоосуждением, а диалоги кратки, как блеск ножа в темноте. Фраза Лалича чиста, прозрачна, очень часто музыкальна, походит интонацией и ритмом на поэзию, а его язык оригинален, богат содержанием и смыслом.

Взятый в целом, роман М. Лалича «Клочья тьмы» — не только очевидное достижение писателя, но и значительное произведение современной югославской литературы.

г. Нови Сад

ВАСИЛИЕ КАЛЕЗИЧ

УРОК МАДРИДА

Luis Enrique Délano. Sobre todo Madrid. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1970.

«Все города учат чему-то. Я понял это. Каждый из тех, в которых я жил, оставил мне что-либо: частицу тепла, урок того, что такое человеческое существование, что такое человек в дни радости и в тяжелые минуты жизни. Прежде всего — Мадрид».

В этом мимолетном, как всегда, раздумье, которым заканчивается книга «Прежде всего — Мадрид», мы узнаем Луиса Энрике Дэлано, чилийского писателя и журналиста, лауреата Национальной премии по журналистике за 1970 год. Книга эта, очевидно, только часть более обширного труда — долгожданных «Мемуаров» Дэлано. Читать ее — словно беседовать с ним самим, словно возобновить личный контакт, всегда столь теплый и приятный, словно видеть перед собой его обветренное лицо северного моряка, его светлые глаза, его трубку, его пожелтевшие от никотина усы.

Этот писатель, опубликовавший за тридцать лет около двух десятков сборников рассказов, романов и очерков, занимает в чилийской литературе особое место. И тем не менее, если его спросят о его профессии, он, несомненно, ответит: «Журналист». Не потому, что разделяет традиционное презрение чилийской буржуазии к «писателям», а потому, что честно и искренне всегда был, есть и будет до самой смерти профессиональным журналистом. Он стал им в пятнадцатилетнем возрасте и остается сейчас в свои шестьдесят два, когда — в маленьком домике, напоминающем по форме корабль, на берегу моря, в Картахене — радостно и самозабвенно продолжает каждую неделю писать свои колонки в центральном органе Компартии Чили — «Эль сигло», а также в «Ультима ора».

Живой свидетель начала гражданской войны в Испании, друг многих выдающихся испанских и американских писателей и артистов, пути которых, словно по прихоти судьбы, сошлись в Мадриде 30-х годов, Дэлано как автор никогда не старается выделиться, обратить на себя внимание. В книге «Прежде всего — Мадрид» рассказ течет свободно, без видимого усилия, язык ясный и чистый. В быстрой смене интересных, порой патетических, а чаще комических фактов проходят перед нами как живые Федерико Гарсиа Лорка, Габриэла Мистраль, Пабло Неруда, Мигель де Унамуно, Ромуло Гальегос, Мануэль Альтолагирре, Леон Фелипе, а также известный испанский скульптор Альберто Санчес, скончавшийся в Москве...

В противовес звонкой жизнерадостности и светлому оптимизму этой группы интеллигенции, почти единодушно связавшей свою судьбу с победой Народного фронта, наряду с веселым описанием мадридских таверн и «теплых компаний» короткие и точные мазки рисуют сложную картину политической и социальной жизни, постепенное скопление противоречий, появление черных туч, начало фашистской агрессии. Негромкий, как бы под сурдинку, тон беседы становится возвышенным и эмоциональным, когда речь идет о бомбардировках Мадрида и героизме народа.

Эти факты уже много раз описаны и пером больших мастеров: Хемингуэем, Лэнгстоном Хьюзом, Михаилом Кольцовым. Воспоминания Луиса Энрике Дэлано ценны прежде всего тем, что они дают нам написанную очевидцем картину литературной жизни тех лет и показывают процесс формирования самосознания некоторых крупных писателей нашего времени. Именно в Мадриде Неруда оставил «метафизику, покрытую маками» своей герметической поэзии, чтобы написать, как вспоминает Дэлано, свое «первое пролетарское стихотворение». И пастух из Ориуэлы Мигель Эрнандес (быть может, испанский Есенин?) ушел от своего пасторального миросозерцания и стал в Мадриде комиссаром пятого полка.

Молодой Луис Энрике приехал в Мадрид в 1934 году со своей женой Лолой Фалькон, чтобы изучать журналистику. Стипендия оказалась столь призрачно мала, что, чтобы просуществовать, молодые супруги были вынуждены заложить даже золотые кольца, удостоверявшие их гражданское состояние, а большую часть своих ночей проводили в далеко не героических, но жарких схватках с клопами, которыми кишело их жалкое жилище. И это Габриэла Мистраль, бывшая тогда консулом Чили в испанской столице, спасла обоих от истощения — сначала частыми приглашениями на завтрак, от которых вечно голодный молодой журналист и писатель обычно пытал-

ся уклониться, побуждаемый той знаменитой испанской гордостью, которая расцвела пышным цветом и на Американском континенте. А затем она предложила ему работу в качестве секретаря. Дэлано продолжал выполнять эту работу и позже, когда на посту консула Габриэлу сменил Пабло Неруда.

Список посетителей чилийского консульства в те годы напоминает каталог знаменитых людей испанского мира. Бывали и забавные случаи. Вот некоторые из них, происшедшие с известными писателями,— они описаны в книге Дэлано.

Маноло Альтолагирре «...тоже был постоянным посетителем. Он, казалось, всегда витал в облаках.

— Пабло, ты читал мою книгу о Гарсиласо?

— Нет, Маноло.

— Я тоже... То есть я ее написал, конечно. Я тебе принесу один экземпляр».

Мигель Эрнандес «...был высокий, худой и мускулистый юноша, с загорелым, обветренным лицом крестьянина, коротким носом, большими круглыми зелеными глазами и волосами, всегда торчащими ежиком, как после стрижки под машинку. Он ходил в вельветовом костюме и не носил галстука. Я не помню, чтобы видел его когда-либо в пальто, а тем более в шляпе.

Однажды вечером он не пришел в кафе, случай весьма странный, так как он никогда не пропускал наших встреч. На следующий день мы узнали причину его отсутствия: Мигель — этот молодой бычок на уединенном пастбище — отправился искупаться в заводи Мансанареса, пытаясь найти в ее мутных водах немного сельской прохлады своего родного Аликанте. Два дюжих гражданских гвардейца, не способных понять смысл этого невинного, но необычного одинокого купанья, ободренные видом бедного платья и грубых сапог Мигеля, не нашли ничего лучшего, как избить его дубинками, приняв за беглого преступника».

Дэлано говорит о том большом и особом месте, которое занимал в испанской культуре дон Мигель де Унамуно, и приводит одну из бесед с ним, которые были скорее лекциями: «Дон Мигель начал говорить, как бы обращаясь к целой аудитории. Рядом с ним не было надобности говорить, нужно было только слушать». Дэлано вспоминает Валье Инклана, который во времена Примо де Риверы был арестован по приказу, гласившему: «Арестовать знаменитого писателя и экстравагантного гражданина дона Рамона дель Валье Инклана». Диктатура Примо де Риверы в известной мере предвосхитила фашизм, но сохранила еще некоторое традиционное уважение испанского общества к интеллигенции. При Франко же девизом фашистов стал клич бесноватого Миллана Астрая: «Долой интеллигенцию!»

Заключительные страницы книги сильны и драматичны, хотя порой там встречаются и меланхолические интонации. Один из образов, который для самого Дэлано как бы подводит итог всем воспоминаниям тех лет, невозможно забыть: «Прекрасное здание в стиле барокко, Дворец связи на площади Сибелес, зияло своими черными, словно ослепшими глазами-окнами, выбитыми взрывами бомб. Широкий портал защищало заграждение из мешков с песком, ни одна из служб связи не работала. Поверх мешков с песком я бросил взгляд в сторону большого почтового зала, где караульные ополченцы спасались от холода, греясь вокруг зажженного прямо на плитах пола фугаса. Когда пламя начинало угасать, они ломали стулья и бросали обломки в огонь».

Несмотря на героическое сопротивление испанского народа, фашизм продолжит отсюда свое зловещее шествие, несшее миру угрозу средневекового варварства. И только мощь Советского Союза, стойкость и мужество советских людей спасут человечество от этой угрозы.

г. Сантьяго, Чили

ХОСЕ МИГЕЛЬ ВАРАС

ЭТАПЫ РЕВОЛЮЦИИ — РУБЕЖИ В ТВОРЧЕСТВЕ

С. Дашдэндэв. Улан неран. Хоёр дахь хэвлэл. Улаанбаатар, Улсын хэвлэлийн газар, 1969.
С. Дашдэндэв. Уургийн цолмон. Улаанбаатар, Улсын хэвлэлийн газар, 1971.

Восемь лет назад, в период бурного становления монгольского романа, появилось «Красное солнце» Санжмятавын Дашдэндэва. Это был первый роман одного из старейших писателей Монголии. Он вышел в свет и тотчас занял видное место среди произведений на историко-революционную тему.

Представитель новой монгольской интеллигенции, активный борец за утверждение социалистической культуры в стране, Дашдэндэв не случайно обращается к этой теме. Его первый роман, по сути, отражает взгляды, мысли человека, поднявшегося к жизни благодаря народной власти. Второй роман Дашдэндэва — «Утренняя звезда»— вышел в самом начале 1971 года. Если «Красное солнце» было посвящено сорокалетию революции, то выход «Утренней звезды» приурочен к ее пятидесятилетию. Этапы революции — рубежи в творчестве.

В первом романе — Монголия в канун и в период победы Народной революции. Второй высвечивает десятилетие, которое по своей значимости тоже можно отнести

к революционному. Это время движения за кооперацию, время объединения единоличных скотоводческих хозяйств. Здесь не представляется возможным рассказать обо всех событиях, охваченных романами. Однако хотелось бы поделиться мыслями о том, каким мне видится кредо писателя, в чем он видит основной смысл борьбы. Еще в сороковые годы Дашдэндэв создал поэму «Таймень из Толы», которая привлекла большое внимание. Это была поэма о том периоде, когда в Монголии только закладывались основы социализма и когда возникла опасность появления тайных сил, толкавших отсталую, феодальную страну на капиталистический путь развития. Эту опасность писатель показал в образе богача эксплуататора — они вновь стали появляться тогда на земле Монголии.

Рассматривая оба романа с этой точки зрения, совершенно ясно видишь позицию писателя, борца против всех тех, кто стремился жить за счет угнетения и эксплуатации народа. Данран из «Красного солнца» и Шарав из «Утренней звезды» — реалистическое воплощение подобного типа людей в монгольском романе. Недаром Дашдэндэв принадлежит к той категории людей, кому хорошо знаком образ мыслей и повадки данранов и шаравов. Можно сказать, что он с пристрастием наблюдал и изучал их.

«Красное солнце» — это роман и о победе революции, и о переплетении судеб русского и монгольского народов. Писатель показывает приход в революционную армию батрака Буяндэлгэра, его нелегкий, с заблуждениями, путь. Вообще-то Буяндэлгэр не выходит за рамки образов, характерных для монгольского историко-революционного романа. Конечно, плохо, когда в литературе существуют шаблоны, но ведь бывает, что и сама жизнь как бы устанавливает их.

О романе «Красное солнце» наши критики писали довольно много. Говорилось, между прочим, и о том, что роман тонет в обилии исторических фактов. В этом есть доля истины. Однако не надо забывать, что «Красное солнце» написано в традиционной форме старописьменных монгольских прозаических произведений, когда и правда и легенда свободно перемежаются и событие подробно и последовательно описывается словно бы с позиций стороннего наблюдателя. И в языке, и в стиле немало заимствовано из устного народного творчества. Собственно, реалистических в современном смысле слова романов в то время было мало. А вот «Утренняя звезда» полна уже подлинно реалистических черт современного романа. И читая его, с еще большей очевидностью убеждаешься в том, как глубоко знает Дашдэндэв жизнь простых аратов, как близки ему их горе и радости.

Приведу всего лишь два примера. В романе «Красное солнце» Данран дарит Буяндэлгэру лошадь из своего степного табуна, а когда выгоняет батрака с работы, то отрезает у лошади гриву и хвост: конский волос дорого ценится и всегда нужен в хозяйстве. Я не знаю, как лучше можно было рассказать монголу о скупости и жадности этого человека.

В «Утренней звезде» богач Шарав встречается в степи с возвращающимся с войны Доржем (это он впоследствии возглавит движение за создание сельскохозяйственных объединений), видит на груди у него латунные медали и говорит: «Это, наверное, золото, продай!» Есть в романе еще один персонаж — Даваа. У него много скота. Когда сорокалетняя жена Даваа перестает справляться с хозяйством, она остригает волосы и становится чавганц. (Обычно обет чавганц — избегать всех мирских радостей — принимают старые женщины.) Так, подавленный властью накопленного имущества человек теряет способность ощущать радость. И только потом, вступив в объединение, передав скот в общее хозяйство, она отказывается от принятого обета, ей открывается окружающий мир, красота новой жизни. В последнем романе много подобных примет из монгольской жизни, увиденных зорким глазом художника, который показал нелегкий процесс перемен в сознании людей.

Почти десять лет разделяют романы Дашдэндэва. И сопоставляя их, мы видим, как монгольская проза, освобождаясь от некоторых слабых сторон старой традиции, обретает силу в современном реалистическом романе. Это отмечают наши критики и литературоведы. К таким выводам нам позволяет прийти выход наших романов за рубежом на русском и других иностранных языках. Думается, что всеобщее внимание привлекает то произведение, в котором с подлинной глубиной и знанием жизни показана жизнь Монголии, монгольские характеры.

г. Улан-Батор

СЭНГИИН ЭРДЭНЭ

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

СОЗДАЕТСЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Писатели Австрии заявляют о стремлении объединиться в единый союз с целью защиты своих социальных и материальных прав.

Обозреватель журнала «Литератур унд критик» сообщает о первом заседании инициативной группы будущего союза. На заседание были приглашены представители правительства и политических партий. «Писатели Австрии стремятся к солидарности и единству на новой осиове,— заявила во вступительном слове член инициативной группы Хильде Шпиль.— Сейчас мы хотим конкретно сформулировать свои требования». В числе этих требований: более справедливая оплата литературного труда, создание фонда социального и пенсионного обеспечения и другие. В выступлениях Мило Дора, Петера Маргинтера, Гюнтера Неннинга говорилось о трудностях, с которыми связано существование профессионального писателя в Австрии. Жить литературным заработком сейчас могут практически лишь поставщики бульварного чтива. «Существующая финансовая политика принуждает писателя безостановочно фабриковать ходовой товар и низводит его до уровня простого подручного потребительской книжной индустрии»,— с горечью заявил Мило Дор.

В этих условиях идея создания единой писательской организации приобретает среди австрийских литераторов все больше сторонников.

АНГЛИЯ

ПОКАЗЫВАЕТ ТЕАТР «АГИТПРОП»

Театральный обозреватель Джек Сазерленд рассказывает на страницах газеты «Морнинг стар» о труппе под названием «Агитпроп» — одной из многих, представляющих сегодня пестрое направление «театра улицы». Большинство этих трупп, пишет Сазерленд, «очень далеки от жизни трудящихся», деятельность же «Агитпропа» непосредственно связана с повседневной жизнью и борьбой английских рабочих. Как и все подобные театральные коллективы, эта труппа не имеет постоянного помещения и играет бесплатно перед любой рабочей аудиторией, пожелавшей увидеть ее представление. Труппа существует уже два года и включает восемь постоянных актеров-любителей.

Театр «Агитпроп» выступает в лондонском Гайд-парке.
(Газета «Морнинг стар»)

«Наша труппа рассматривает театр как оружие в непосредственной борьбе против капитализма,— рассказал Сазерленду один из членов этого коллектива.— Мы работаем без директора, режиссера и литературного руководителя. Наши спектакли рождаются в ходе репетиций, дискуссий и импровизаций. Каждой сцене в спектакле предшествует песня на манер брехтовских «зонгов»; в пьесе обычно рассказывается о текущей борьбе профсоюзов, комментируются выступления прессы и телевидения».

По свидетельству Сазерленда, почти каждое представление «Агитпропа» заканчивается оживленным обсуждением актерами и зрителями роли профсоюзов в борьбе рабочих. Никто не станет утверждать, пишет далее обозреватель, что «театр улицы»—явление новое, ему несколько сотен лет. Подобный политический театр существовал в Англии и в 30-е годы, «но никогда он не был столь влиятельным. К сожалению, в нашей стране он был не в чести и никогда не был традиционным средством политической борьбы, потому что наши методы стали слишком респектабельными и ортодоксальными».

В заключение автор утверждает, что потребность в таком театре, как «Агитпроп», огромна, сомневаться в его популярности не приходится — ведь факты свидетельствуют о том, что рабочие тянутся именно к такому, народному театру.

БОЛГАРИЯ

«РОМЕН РОЛЛАН И ЕВРОПА»

В Варне состоялся коллоквиум «Ромен Роллан и Европа», организованный болгарским Национальным комитетом европейской безопасности и сотрудничества. В Почетный комитет коллоквиума вошли видные деятели культуры разных стран — Франс Мазереель, Луи Арагон, Андре Мальро, Константин Федин, Леонид Леонов, Ярослав Ивашкевич, Десанка Максимович, Георгий Джагаров и другие. Коллоквиум проходил под «почетным патронажем» Председателя Совета министров Болгарии Тодора Живкова и премьер-министра Франции Шабан-Дельмаса. Их приветствия были оглашены на торжественном открытии международного собрания в Варне.

Союз писателей СССР направил на коллоквиум в Варне делегацию во главе с Валентином Катаевым. В международной встрече участвовали писатели и литературоведы из Болгарии, Франции, Австрии, Швейцарии, Польши, Югославии и других стран. В числе болгарских участников коллоквиума были Людмил Стоянов, Елисавета Багряна, Анна Каменова, Георгий Димитров-Гошкин, Кристьо Белев.

С докладами, осветившими разные стороны общественной деятельности и мировоззрения Роллана как поборника мира, борца против фашизма и империализма, друга Советского Союза, выступили Пьер Абраам (Франция), Димитр Т. Братанов (Болгария), Тамара Мотылева (СССР). На протяжении трех дней работ коллоквиума был сделан ряд сообщений: «Европа в романе «Очарованная душа» (Жан Альбертини, Франция), «Театр революции Ромена Роллана и его судьба в Европе» (Зофья Карчевская-Маркевич, Польша), «Роллан и Чехословакия» (Яромир Ланг, Чехословакия), «Роллан и идея нации» (Ричард Френсис, Англия) и другие. Воспоминаниями о своих встречах или переписке с Ролланом поделились Валентин Катаев, Енё Крамер (Венгрия). Ветеран болгарского революционного движения Русин Филиппов выступил с сообщением на тему: «Читая «Жан-Кристофа» в траншеях первой мировой войны».

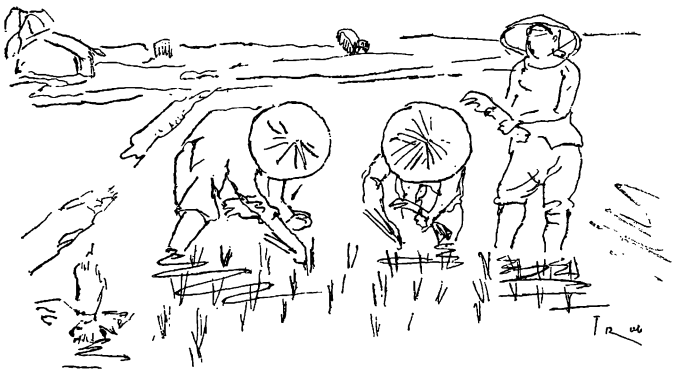
* * *

В издательстве «София-пресс» в переводе на французский язык вышла книга «Ромен Роллан и Болгария» Димитра Т. Братанова, председателя Национального комитета европейской безопасности и сотрудничества, и Светомира Д. Братанова. Выход книги был приурочен к открытию коллоквиума «Ромен Роллан и Европа».

«Гуманизм Ромена Роллана неразрывно связан с борьбой широких масс в Европе и во всем мире против войны, реакции и империализма, это гуманизм реалиста и революционера,— говорится в короткой аннотации, напечатанной на суперобложке книги.— Ромен Роллан и сегодня — наш современник. Его интернационализм, его любовь к человеку, его вера в будущее, в победоносные силы созидателей нового общества и нового человека — конструктивный фактор...» Книга состоит из трех частей: «Ромен Роллан и идейное движение в Болгарии», «Ромен Роллан и Георгий Димитров», «Ромен Роллан и Болгария». Среди важнейших документов, приводимых в книге,— обращение Ромена Роллана от 31 января 1934 года с требованием освободить Димитрова, Танева, Попова и Торглера, письмо Георгия Димитрова Ромену Роллану от 10 марта 1935 года, а также послание Горького Ромену Роллану от 29 января 1936 года.

Здесь же напечатано обращение Ромена Роллана к болгарским друзьям, датированное 12 июля 1936 года, которое звучит необыкновенно актуально и сегодня и также вынесено на суперобложку с тем, чтобы каждый берущий книгу в руки прочел эти слова: «Должен вам сказать, что я пацифист. В то же время я — антифашист и мой пацифизм революционен. Я призываю всех свободных людей и все страны объединиться против фашизма, который угрожает свободе в Европе и который неистово противится социальному прогрессу. Все виды фашизма базируются на смертоносной идеологии расизма и господствующего империализма, которая ведет к завоевательной войне и к порабощению других стран и других рас».

Ю. ВЬЕТНАМ



Будням патриотов Южного Вьетнама, отстаивающих независимость родины в борьбе против американских агрессоров, посвящены воспроизводимые здесь рисунки южновьетнамских художников, опубликованные газетой «Курьер дю Вьетнам».

ГДР

НОВАЯ СЕРИЯ «АУФБАУ»

В издательстве «Ауфбау» вышли первые шесть книг серии «Новые тексты». В интервью корреспонденту еженедельника «Зонntаг» редактор отдела современной литературы Гюнтер Шуберт рассказал: «С 1962 по 1968 год наше издательство выпускало ежегодный альманах «Новые тексты». Со временем это издание перестало нас удовлетворять. Оно было лимитировано сроками выпуска и все больше приобретало характер журнала. В последнее время стало появляться много новелл и другой прозы малых форм, нуждающихся в отдельных изданиях. Поэтому мы решили прекратить выпуск альманаха и начать издание этих произведений отдельной серией. Название «Новые тексты» свидетельствует, что мы сохраняем традиции альманаха, сыгравшего в свое время важную роль в нашей литературе. В этой серии, наряду с известными писателями, мы предоставим значительное место и нашим дебютантам».

Согласно плану издательства, новая серия будет включать короткие романы, рассказы, драмы, поэзию, репортажи, эссе. Ежегодно планируется издавать 15 выпусков. Помимо авторов ГДР, в серии будут представлены многие зарубежные писатели.

«Основная задача новой серии,— сказал в заключение Гюнтер Шуберт,— пропаганда современной литературы».

«НЕДЕЛЯ КНИГИ 1971»

В городе Карл-Маркс-штадт прошла традиционная «Неделя книги». На торжественном открытии с речью выступил министр культуры Клаус Гизи. Он отметил, что в ГДР сейчас насчитывается более четырех миллионов человек — постоянных читателей публичных библиотек. Министр подчеркнул огромную роль издательств, ставших в последние годы подлинными культурными центрами. «В формировании нашей литературы,— сказал далее Клаус Гизи,— важная роль принадлежит советской литературе».

Программа «Недели книги» включала встречи читателей — в том числе юных — с известными писателями на предприятиях, заводах, в учебных заведениях. Перед читателями выступили Эрик Нейч, Маргарет Нейман, Гельмут Прейслер, Ганс Вебер и другие писатели.

Были организованы выставки книги, проведены литературные чтения и дискуссии. Один из дней «Недели книги» был посвящен детской литературе.

АННА ЗЕГЕРС: ПОВЕСТЬ О ЛЮБВИ

Еще в 1964 году Анна Зегерс, делясь своими творческими планами, рассказала о намерении облечь в литературную форму впечатления от поездок в Бразилию. Но только недавно ей удалось закончить книгу, навеянную этими путешествиями. Неожиданно для многих вместо путевых зарисовок писательница создала повесть «Переезд», придав

«Молодые граждане социалистического общества» — так назвал свою линогравюру художник Хр. Янс. Она экспонировалась во Дворце культуры Дрездена в числе лучших работ народного искусства.

(Газета «Нейес Дейчланд»)

ей лирический подзаголовок «Любовная история».

Действие повести начинается перед второй мировой войной в Рио-де-Жанейро, куда эмигрировали родители Эрнста и Марии Луизы. Дружба этих двух детей, утративших родину, с годами перерастает в любовь. Но вот война кончается, и они расстаются, чтобы больше никогда не встретиться. Эрнст со своим отцом уезжает в советскую зону оккупации Германии, Мария Луиза остается в Бразилии.

Эрнст становится врачом, находит новых друзей, но его чувство к Марии Луизе не угасает. Однако вскоре он узнает, что Мария Луиза вышла замуж за богатого дельца. Долгое время Эрнст ничего не знает о любимой женщине. Он не верит, что она может быть счастлива без него, считает ее брак трагической ошибкой. Наконец ему удается поехать в Бразилию в качестве переводчика, и там он узнает страшную новость— Мария Луиза умерла в результате несчастного случая. Был ли это несчастный случай? Не покончила ли она с собой? Не виноват ли он в том, что не приехал раньше, не спас ее от отчаяния? На эти вопросы Эрнст не может найти ответа.

Повествование ведется от первого лица — от имени попутчика Эрнста Трибеля, которому тот рассказывает свою историю. «Эта новая повесть тесно связана со всем творчеством писательницы. Она вводит нас в мир хаоса и неразберихи, в которые повергли мир фашизм и вторая мировая война»,— пишет рецензент Фридрих Альберт в «Литератур-71». «Повесть «Переезд» — не просто история любви,— отмечает Гейнц Плавиус в журнале «Нейе дейче литератур».— Писательнице удалось показать два разных мира, в которых оказались ее герои, показать разные судьбы, разные мировоззрения».

ФРГ

МОЛОДОСТЬ, КОТОРУЮ ПРЕДАЛИ

В западногерманском издательстве «Гердер-ферлаг» вышла пьеса мюнхенского юриста Ф. И. Бертольда под названием «Молодость, которую предали» с подзаголовком «Сцены и разговоры времен немецкого Сопротивления».

Ф. И. Бертольд — бывший участник подпольной антифашистской группы «Белая роза» и нынешний председатель Центрального союза борцов Сопротивления и лиц, преследовавшихся при нацизме,— пишет в предисловии к книге: «Драматургическую форму я избрал потому, что она более непосредственна и доходчива; с

жизнью моих героев — профессора Хуберса, брата и сестры Шолль и других персонажей — сможет таким образом познакомиться более широкий круг слушателей и зрителей...»

В пьесе использованы сохранившиеся судебные протоколы и магнитофонные записи. Как пишет рецензент газеты «Франкфуртер альгемейне цейтунг», Бертольд выступает здесь не только как юрист: люди, послужившие прототипами героев пьесы, были его друзьями и соратниками в борьбе.

ВОЛЬФГАНГ КЁППЕН: «МОИ МАНИФЕСТЫ — ЭТО МОИ КНИГИ»

«Писать — всегда было для Вольфганга Кёппена делом политическим, однако и его молчание могло служить оружием,— пишет литературный критик Кристиан Линдер, посвятивший анализу творчества этого выдающегося писателя целую полосу в газете «Франкфуртер рундшау».— Когда палач Адольф Гитлер пришел к власти, Кёппен эмигрировал в Голландию и не опубликовал ни строчки...» После войны он както раз ответил на вопросы корреспондентов о его взгляде на прошлое и настоящее Германии. Тогда он, в частности, заявил: «Все мы с головой ушли в политику, являемся ее объектами, а зачастую и жертвами. Речь идет о жизни и смерти. И это не слова, нет. Так как же смеет писатель подражать страусу и кто, если не писатель, должен в нашем обществе играть роль Кассандры?»

После 1954 года, когда вышел роман «Смерть в Риме» (см. ИЛ № 10 за 1965 г.), Кёппен опубликовал лишь несколько небольших вещей в периодике и путевые заметки «Образцы немецкой прозы». С тех пор он не выпустил ни одной книги, отмечает Линдер, даже интервью дает неохотно. В последние годы Кёппен отказывался также ставить свою подпись под различными манифестами и петициями. На вопрос Линдера, чем это вызвано, Кёппен ответил: «Прежде я подписывал многие манифесты, «за» и «против», и был глубоко убежден в их бесполезности. Тешиться, что твоя фамилия фигурирует в ряду блистательных имен,— для меня пройденный этап. Каждая строчка, которую я пишу,— против войны, против угнетения, бесчеловечности, бессердечия, против убийства. Мои манифесты — это мои книги. Как человек, я чувствую себя бессильным, как писатель — нет...»

Кёппен сообщил Линдеру, что вскоре закончит работу над новым романом. Правда, это будет еще не тот «большой» роман, который он пишет уже много лет и который, по словам писателя, «должен стать его книгой, его вкладом» в литературу.

ЕЩЕ ОДИН ПРОВАЛ

Прекратил свое существование журнал «Монат», который издавался с 1948 года в Западной Германии. Как стало известно в 1964 году, издание журнала финансировалось Центральным разведывательным управлением США. Об этом сообщил американский еженедельник «Ньюсуик» в статье под заголовком «Дитя «холодной войны».

Стремясь завоевать расположение читателя, первый редактор «Монат» — Мелвин Ласки — по согласованию с ЦРУ снизил стоимость одного номера журнала до трех марок при тираже в 8 тыс. экземпляров. Однако «Монат» так и не стал популярным изданием. Журналы левого направления, пишет корреспондент «Ньюсуик», охотно раскупались по цене в восемь марок за номер при вдвое большем тираже, а «Монат» становился все более и более убыточным, число его читателей неизменно сокращалось. Не помогли броские обложки, яркая реклама...

Характерная деталь: Мелвин Ласки ныне редактирует журнал «Энкаунтер», который, как сообщает корреспондент «Ньюсуик», подобно «Прев» и «Форум», издается в странах Западной Европы на средства ЦРУ.

«ДОКУМЕНТ ЖИЗНЕННОГО КРИЗИСА»

Долго не напоминала о себе немецкая писательница Ингеборг Бахман, известная читателям своими стихами (см. ИЛ № 12 за 1965 г.) и рассказами. В свое время большой успех имел сборник ее рассказов «Тридцатый год».

Теперь писательница выступила со своим первым романом «Малина», который издан во Франкфурте, в «Зуркамп-ферлаг». Это — роман о любви, произведение с явно автобиографическими чертами. Героиня его — писательница. Повествование ведется от первого лица, и это усиливает ощущение, что Бахман пишет о себе. Любовь героини к человеку по имени Иван все время переплетается с рассказом о совместной жизни ее с человеком по имени Малина. Читателю вначале непонятна ситуация, которая не похожа на обычный «любовный треугольник», пока постепенно не выясняется, что Малина — своеобразный двойник героини, ее alter ego.

Уже в сборнике «Тридцатый год» Ингеборг Бахман писала об одиночестве, отчаянии, о жизни как о ловушке и о смерти как о единственном избавлении. Мотивы пессимизма в романе резко усилились.

Неудовлетворенность, депрессия и глубокие переживания — вот что характерно для ее героини. «Почему я раньше не замечала, что не могу выносить людей,— спрашивает героиня романа.— Когда это случилось? Что со мной произошло?»

Рецензент еженедельника «Цейт» называет первый роман талантливой немецкой писательницы «документом глубокого отчаяния и жизненного кризиса».

ИНДИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ ХИНДИ

В административном центре штата Раджастан — городе Джайпуре — состоялась конференция местной организации «Ассоциации литературы хинди» (АЛХ), основанной еще в 1910 году. Эта Ассоциация завоевала признание в стране благодаря вкладу в развитие языка и литературы хинди. Среди основателей и активных членов АЛХ были широко известные деятели национально-освободительного движения: Махатма Ганди, Мадан Мохан Малавия и Пурушоттамдас Тандан.

Нынешняя конференция АЛХ приняла решение о присвоении некоторым писателям Раджастана почетных званий и премий. Одно из заседаний было посвящено проблемам популяризации языка и литературы хинди в разных районах Индии.

К ЮБИЛЕЮ ГУРБАХША СИНГХА

Корреспондент журнала «Арси» сообщает о выходе сборника статей, который был приурочен к семидесятилетию со дня рождения выдающегося пенджабского писателя и общественного деятеля Гурбахша Сингха. Сборник имеет важное значение не только как свидетельство уважения индийской общественности к писателю, широко отметившей эту дату, но и как важная литературоведческая публикация. В сборнике приняли участие более пятидесяти деятелей культуры и литературы, общественные и государственные деятели. Среди них — Президент Республики Индии В. В. Гири, министр иностранных дел Сваран Сингх, киноактер Балрадж Сахни, поэтесса Амрита Притам, литературовед Сант Сингх Секхон и другие. В сборник включены также несколько рассказов писателя.

На экраны Индии вышел новый фильм Раджа Капура «Мое имя — клоун», созданный по сценарию Х. А. Аббаса. Фильм состоит из трех новелл. В главной роли — Радж Капур (на снимке).

(Еженедельник «Линк»)

Профессор Делийского университета литературовед Аттар Сингх характеризует писателя как выдающегося реформатора пенджабского языка, деятеля, стоящего на последовательно демократических и гуманистических позициях, придавшего культуре пенджабского народа современные черты. Прозаик Картар Сингх Дуггал обращает внимание на исключительно важную роль, сыгранную в развитии пенджабской культуры и литературы журналом «Прит лари», издаваемым Гурбахшем Сингхом на протяжении сорока лет.

Президент Литературной академии Пенджаба Мохиндар Сингх Рандхава в предисловии к сборнику писал: «Не все мечты Гурбахша Сингха исполнились, но и в его неосуществившихся мечтах тысячи людей нашли вдохновение. Он создал пенджабскую прозу и сделал ее изящной. Он вывел пенджабцев из тупика и открыл перед ними широкие горизонты науки. Навсегда сохранится в пенджабском языке, в пенджабской культуре и литературе след деятельности Гурбахша Сингха».

НОВЫЙ РОМАН МУЛК РАДЖ АНАНДА

Вышел в свет новый роман Мулк Радж Ананда «Утреннее лицо» — второй из серии, которую критики называют «автобиографической». Первый роман назывался «Семь летних сезонов».

Жизнь главного героя — юноши Кришана Чандра — показана на фоне и в тесном переплетении с событиями, происходившими в Пенджабе и во всей Индии в период первой мировой войны и сразу же после ее окончания.

ИСЛАНДИЯ

ЗАТЯНУВШИЙСЯ СПОР

Недавно завершился спор между Исландией и Данией, затянувшийся на несколько десятилетий, из-за обладания исландской частью

средневековых рукописей, хранившихся в Копенгагене.

В результате Дания передала университету в Рейкьявике и Новому институту рукописей Исландии «две ценнейшие книги мира», как пишет об этом корреспондент газеты «Интернешнел геральд трибюн»: «Книгу Флатей» и «Старшую Эдду».

«Книга Флатей» — двухтомный рукописный историко-литературный труд, написанный в XIV веке двумя монахами с исландского острова Флатей, входившего тогда в обширное Норвежское королевство. Это летопись исторических событий, содержащая богатый материал, в частности, рассказ об открытии Америки Эриком Красным.

«Старшая Эдда» — знаменитый литературный памятник, сборник более 30 самых распространенных нордических мифов — «ядро нордическо-германской поэзии».

Обе эти книги входили в знаменитую коллекцию Королевской библиотеки в Копенгагене, которая была основана в XVII веке по указанию датского короля Фредерика III. Стремясь упрочить роль Дании среди европейских государств, Фредерик собирал в Копенгагене памятники средневековой скандинавской письменности, ценной частью которой были литературные рукописи и летописи древних исландцев. Однако большая часть этой ценнейшей коллекции была собрана позже, в XVIII веке, работавшим в Копенгагене исландским ученым Арне Магнуссоном. На протяжении 600 лет Исландия была политически и культурно объединена с Данией, и датчане считали коллекцию частью своего национального культурного наследства.

По настоянию исландского альтинга в 1965 году датский парламент принял решение о передаче части коллекции Исландии, однако ее хранители, как пишет корреспондент, всячески тормозили выполнение этого решения (дело дошло даже до судебного разбирательства, на что ушло несколько лет). Первые, названные выше, книги были переданы Исландии лишь недавно. В соответствии с существующей договоренностью, ученые Дании будут постепенно (в течение 25 лет) передавать рукописи Исландии, поскольку многие из них еще не полностью изучены.

«Король Олаф убивает морского дракона» — иллюстрация к одному из древних нордических мифов из собрания исландских рукописей.

(Газета «Интернешнел геральд трибюн»)

ИТАЛИЯ

«ДЖОРНИ» СМЕНЯЕТ «ВИЕ НУОВЕ»

В Милане вышел первый номер нового иллюстрированного еженедельника «Джорни» («Дни»). Журнал «Джорни» пришел на смену популярному еженедельнику «Вие нуове» («Новые пути»), издававшемуся в течение многих лет. Генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии Луиджи Лонго, который был первым главным редактором «Вие нуове», так объясняет причины изменения названия журнала и его оформления: «Ныне мы переживаем период политического и социального созревания. Мы стремимся к тому, чтобы наша страна жила и шла вперед в атмосфере справедливости и свободы... Сейчас более чем когда-либо необходимо, чтобы наш журнал соответствовал этим серьезным требованиям и новым чаяниям».

Луиджи Лонго в открытом письме обратился с призывом ко всем читателям журнала оказывать ему помощь и поддержку.

Объем «Джорни» увеличен на 32 страницы, возросло число как сотрудников редакции, так и авторов, расширился круг вопросов, находящих отражение на его страницах.

«КЕЙМАДА» — ФИЛЬМ ДЖИЛЛО ПОНТЕКОРВО

В Париже состоялась премьера нового исторического фильма «Кеймада», созданного известным итальянским кинорежиссером Джилло Понтекорво. Действие относится к началу XIX века и развертывается на Кеймаде — одном из Подветренных островов у берегов Латинской Америки. Необозримые плантации сахарного тростника, принадлежащие португальцам, обрабатываются неграми, предки которых были завезены сюда из Африки в XVI веке. Эти-то плантации и влекут к себе заправил лондонского Сити, которые направляют на Кеймаду своего тайного эмиссара Уильяма Уокера (роль его, как свидетельствуют рецензенты, блестяще исполнена амери-

канским актером Марлоном Брандо).

Уокер делает все от него зависящее, чтобы поднять восстание негров против португальцев (он даже снабжает восставших оружием). Во главе восстания становится негр Хосе Долорес (в его роли выступил непрофессиональный актер, колумбиец-негр Эварист Маркес). Пока губернатор острова занят борьбой против повстанцев, Уокер организует дворцовый переворот в главном городе Кеймады; остров провозглашается республикой. Новое правительство, созданное не без участия Уокера, передало плантации сахарного тростника на 99 лет в концессию английской компании «Антилл юнайтед шугар компани». Англичане, утвердившись на Кеймаде, начали еще безжалостнее, чем португальцы, эксплуатировать негритянское население.

Десять лет спустя Хосе Долорес поднимает восстание против англичан. Уокер участвует в подавлении этого восстания. Хосе Долорес гибнет на виселице, а Уокера настигает месть народа...

«Обвинительным актом против империализма» называет фильм «Кеймада» обозреватель французского еженедельника «Актюалите». «Кеймада»—убедительный и талантливый фильм, воздающий должное тем, кто сражается за свободу, рвет цепи колониализма,— пишет критик газеты «Юманите».— Это, по-видимому, лучший фильм Понтекорво, изображающий ужасы колониальной войны». Рецензент «Леттр франсэз» обращает внимание на актуальность фильма.

Вслед за премьерой в Париже фильм вышел на экраны Италии. Итальянские критики в целом положительно оценили новую работу Джилло Понтекорво.

ОБНОВЛЕНИЕ «ШКОЛЬНОГО ЧТЕНИЯ»

В последние годы прогрессивные силы в Италии ведут борьбу за расширение и обновление списков литературы для обязательного школьного чтения, за включение в них наиболее значительных произведений современных итальянских писателей. Вслед за книгами Леви, Кальвино, Кассолы и других видных авторов в список для школьного чтения недавно включены еще два значительных произведения. Первое — документальная повесть о семи братьях-партизанах Черви «Семь моих сыновей» (литературная запись рассказа национального героя Италии Алчиде Черви, осуществленная писателем Ренато Николаи, опубликована в «Иностранной литературе» №№8—9, 1956). Второе — сатирическая сказка для детей и для взрослых «Добряк Тото» Чезаре Дзаваттини (на основе этой повести-сказки некогда был поставлен остросоциальный фильм «Чудо в Милане» режиссером Витторио Де Сика по сценарию Дзаваттини). Написанное в последние годы господства фашизма, это произведение было выпущено маленьким тиражом, потом не переиздавалось и ныне стало в Италии библиографической редкостью. Новое издание его привлекло внимание критики и читателей, как бы заново открывших Дзаваттини — не только знаменитого кинодраматурга, но и видного писателя-сатирика. Одновременно «Добряк Тото» вышел во Франции и в некоторых странах Латинской Америки.

СЕНСАЦИОННАЯ НАХОДКА — ПИСЬМО ПЕТРАРКИ

Находку нового автографа Франческо Петрарки — чистовой рукописи его письма папе Урбану V — итальянская печать называет исключительно важным, сенсационным событием. Письмо обнаружил профессор литературного факультета Флорентийского университета Эмануэле Казамассима. Письмо найдено в одном из древнейших хранилищ рукописей Флоренции — Библиотеке Риккардиана, которая в течение многих веков помещается в палаццо Медичи-Риккарди. Речь идет о пространном (на 16 страницах) письме, адресованном поэтом папе Урбану V в 1368 г. Петрарка поздравляет папу с возвращением папского престола из Авиньона в Рим (возвращение это было кратковременным, ибо через два года возобновилось авиньонское пленение) и призывает его, решительно осуждая французских кардиналов, не уступать и настаивать на том, чтобы папской столицей оставался Рим. Тщательное исследование — графическое, смысловое, сравнение с другими авто-

Кадр из фильма «Кеймада»; верхом — Уильям Уокер (Марлон Брандо).

(Еженедельник «Леттр франсэз»)

Многие работы итальянского художника Джанджакомо Спадари посвящены жизни трудящихся. На снимке: работа Д. Спадари из серии «Строители».

(Газета «Унита»)

графами Петрарки — полностью подтвердило подлинность письма. Это первая находка рукописи Петрарки почти за сто лет — последние его автографы были обнаружены в прошлом веке. Всего известны, считая и это письмо, шесть рукописей Петрарки — три из них хранятся в библиотеке Ватикана, четвертая — вновь найденная — в Библиотеке Риккардиана и две за границей—одна во Франции и одна — в Западном Берлине.

ЛИВАН

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ КНИГИ

Как сообщает корреспондент журнала «Аль-Адаб», в Бейруте состоялось собрание Общества друзей книги, на котором были присуждены очередные премии за 1970 год.

Высшая премия — премия президента республики — присуждена видному ливанскому ученому, автору многих книг по истории арабской литературы и философии доктору Омару Фарруху. (На русский язык переведена книга О. Фарруха «Миссионеры и империализм в арабских странах», написанная им в соавторстве с М. аль Халиди.)

Премия «Ливан во всем мире», присуждаемая за лучшие произведения на французском языке, вручена поэту Виктору Халлату.

Третьей премии — премии муниципального совета Бейрута, присуждаемой Обществом друзей книги за две лучшие работы, опубликованные ливанскими авторами на арабском языке в течение последних двух лет, удостоены поэт Халиль Саркис — автор книги «Джаита» — и составители нового французско-арабского словаря «Аль-Манхаль» — лексикограф Джабур Абд ан-Нур и писатель Сухейль Идрис.

На собрании с отчетом выступил президент Общества друзей книги Фуад Нажжар, который рассказал об основных моментах деятельности этой культурной организации за одиннадцать лет существования. За этот период, сообщил он, Общество присудило премии 72 авторам; в его конкурсах принимало участие 337 человек. Обществом издано несколько актуальных книг, в том числе — книга ливанского публициста Рене Ажури «Борьба Палестины». Значительная работа проведена Обществом по распространению книг в ливанской деревне.

В планах Общества — издание большого био-библиографического словаря ливанских авторов с 1800 по 1970 год, в работе над которым участвуют видные ливанские ученые, а также выпуск периодического бюллетеня «Друзья книги», который будет публиковать рецензии на новые издания ливанских и зарубежных авторов.

МОНГОЛИЯ

«ПАН ТАДЕУШ» И «КРЕСТОНОСЦЫ» НА МОНГОЛЬСКОМ

В Улан-Баторе вышел и быстро разошелся «Пан Тадеуш» Адама Мицкевича в переводе с польского языка академика Б. Ринчена.

Б. Ринчен — известный ученый-лингвист, поэт, историк. Польскую культуру он начал изучать в 1939 году, когда сотрудничал в газете «Унэн».

— Перевод «Пана Тадеуша» был нелегкой работой,— сказал Б. Ринчен в беседе с корреспондентом польского журнала «Пер-

спективы» М. Грифином.— Полное удовлетворение я испытал только после окончания этого труда. Мне очень хотелось познакомить молодое поколение Монголии с шедеврами польской поэзии.

Мицкевич, Словацкий, Сенкевич и особенно Крашевский — любимые писатели Б. Ринчена.

— Перед Крашевским я преклоняюсь,— говорит переводчик.— Именно он внушил мне мысль о создании многотомной эпопеи об истории моей родины, и я воплощаю ее в своих исторических романах.

У профессора Ринчена есть последователи — его ученики, которые с увлеченностью изучают польскую литературу. Молодая переводчица Альтангерел, например, переводит сейчас «Крестоносцев» Генрика Сенкевича. Знаменитое произведение выйдет в свет под редакцией академика Ринчена.

ОАР

ПОЭМА МАЯКОВСКОГО НА АРАБСКОМ

Каирское издательство «Дар эль-Сакафа эль-Джедида» впервые полностью опубликовало на арабском языке поэму В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Перевод осуществлен египетским поэтом Камал Абдель Халимом. Поэма войдет затем в четырехтомное собрание произведений советских авторов, которое готовится к выпуску.

ИЗДАЮТСЯ КНИГИ ПИСАТЕЛЕЙ ГДР

В журнале «Аль-Адаб» опубликована рецензия критика Набиля Фарага на вышедший в Каире сборник «Последняя ночь XX века. Современные немецкие новеллы». Сборник включает 11 рассказов писателей ГДР в переводе на арабский Фаузи Сулеймана и Набиля Рагиба (им же принадлежат вступление и послесловие, посвященные современной литературе ГДР).

К числу лучших рецензент относит рассказы: «Последняя ночь XX века» Стефана Гейма, «Бедуинская девушка» Максимилиана Шеера; рассказ Шеера посвящен национально - освободительной борьбе алжирского народа. Основная тема произведений сборника — антифашистское Сопротивление. Как отмечается в рецензии, «сборник рассказов писателей демократической Германии изображает борьбу немецкого народа, выпавшие на его долю испытания, его усилия в преодолении трудностей...

Сборник,— говорится далее,— принадлежит к литературе Сопротивления, которая приобретает особую ценность в арабских странах, ныне борющихся против колониализма и империализма».

По сообщениям арабской прессы, в Каире вышли также два романа писателей ГДР — «Восстание рыбаков» Анны Зегерс (перевод Н. Рагиба и Ф. Сулеймана) и роман «Дом под дождем» Герберта Нахбара (перевод Мухаммеда Али Абд аль-Вахида).

ПОЛЬША

«ЛИТЕРАТУРА НА СВЕТЕ» — НОВОЕ ИЗДАНИЕ

В Польше начал издаваться новый ежемесячник «Литература на свете» («Всемирная литература»). Журнал будет знакомить польских читателей с наиболее значительными произведениями современной мировой литературы, а также с различными течениями и явлениями искусства и литературы за рубежом. В журнале имеется раздел «Литературное наследие».

«Литература на свете» будет также информировать своих читателей о том, переводы каких произведений польских писателей опубликованы и получили признание за рубежом.

В первом номере журнала представлены многие известные писатели: Грэхем Грин, Евгений Евтушенко, Роберт Фрост, Милан Кундера, Жан Фоллен, Джон Апдайк, Мирослав Валяк, Анри Мишо, поэты Греции и стран Африки.

Главный редактор журнала — писатель и крнтик Вацлав Кубацкий.

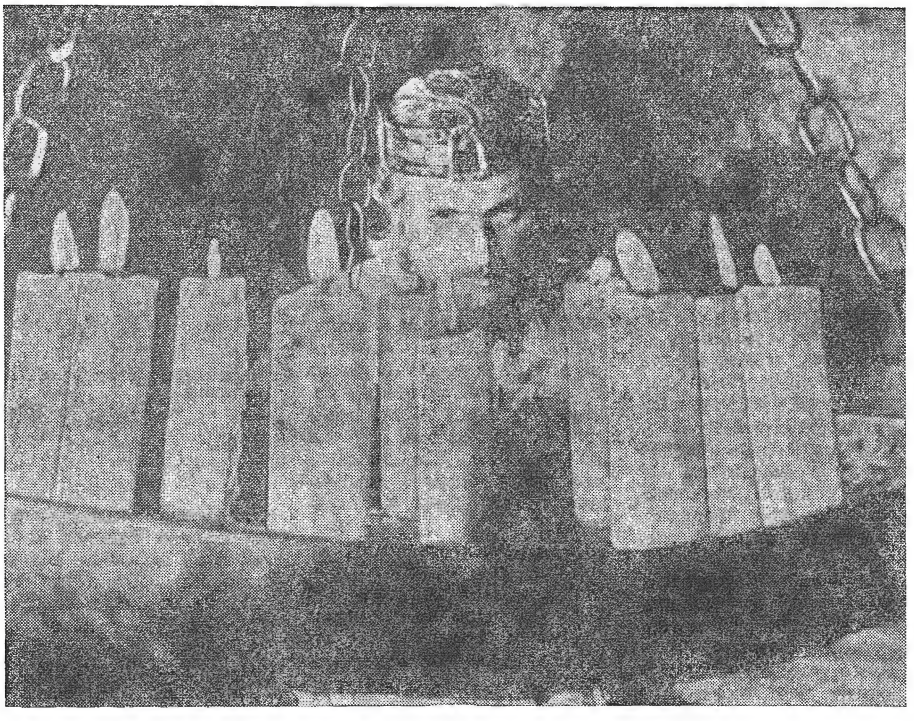
ПОВЕСТЬ О ТАРАСЕ ШЕВЧЕНКО

Варшавское издательство «Людова спулдзельня выдавнича» вторым изданием выпустило книгу «Украинские ночи, или Родословная гения» известного переводчика русской, украинской, итальянской и немецкой литературы Ежи Енджеевича. Этот труд, которому автор отдал много лет, посвящен жизни и творчеству Т. Г. Шевченко. Е. Енджеевич использовал многочисленные документы, дневники, архивные материалы. Он освещает историю Украины XIX века, анализирует основные исторические события в Западной и Восточной Европе того времени. Немало внимания уделено Е. Енджеевичем связям Шевченко с представителями русской, белорусской и польской литератур.

Как пишет Влодзимеж Стохель в еженедельнике «Польское обозрение», автор «Родословной гения» «пытается по-новому увидеть и осмыслить жизнь и творчество величайшего представителя украинской культуры XIX века, поэта, художника и революционера — Тараса Шевченко».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛОВО

В редакции еженедельника «Культура» прошла дискуссия, в которой приняли участие известный публицист Кароль Мальцужинский, редактор еженедельника «Политика» Мечислав Раковский, вице-президент Комитета по делам радио и телевидения, старейший журналист и писатель Мель-



Известный польский кинорежиссер Витольд Лесевич снимает исторический фильм «Болеслав Смелый». В роли польского короля — Игнацы Гоголевский (на снимке).

(Журнал «Кино»)

хиор Ванькович, заместитель главного редактора газеты «Жице Варшавы» Рышард Война, а также главный редактор еженедельника «Культура» Януш Вильгельми.

«Тема нашей дискуссии — ответственность за слово,— сказал Януш Вильгельми.— Следует уточнить, что речь в данном случае идет об ответственности всех журналистов — пишущих, выступающих по радио и телевидению, редактирующих,— всех, работающих в прессе и других средствах массовой информации.

Я считаю, и каждый из присутствующих это подтвердит,— продолжал Вильгельми,— что после декабрьских событий на прессу легла несравненно бо́льшая ответственность, чем прежде. В этой обстановке, как мне кажется, журналист в полной мере должен ощутить личную ответственность за печатное слово».

Мельхиор Ванькович в своем выступлении говорил о том, что журналистам следует учитывать запросы людей нового поколения, новые требования времени, нельзя использовать одни и те же методы в течение четверти века.

Кароль Мальцужинский высказал мнение, что пресса должна постоянно ощущать контакт с общественным мнением, должна играть роль открытого канала информации, а когда надо — подавать сигнал тревоги.

ВЫПУСКАЕТСЯ НОВАЯ СЕРИЯ КЛАССИКОВ

В нынешнем году ведущие польские издательства выпустят произведения Гомера, Вольтера, Флобера, Андерсена, Дефо, Свифта, Мелвилла, Сент-Экзюпери, Томаса Манна, а также Достоевского, Гоголя, Чехова, Горького. Издание осуществляется в рамках новой большой серии «Библиотека классиков польской и зарубежной литературы».

В 1971 году в этой серии увидят свет 30 произведений, в будущем году — более 40. Обычным будет тираж 20—40 тыс. экземпляров, а в некоторых случаях — до 100 тыс.

Каждый том серии будет снабжен вступительным очерком и биографической справкой об авторе.

РУМЫНИЯ

«ПОУЧЕНИЯ НЯГОЕ БАССАРАБА»

Издательство «Минерва» выпустило недавно научное издание книги «Поучения

Нягое Бассараба своему сыну Теодосию»—уникальный памятник румынской литературы XVI века. Подлинник был написан по-славянски, что было обычным в то время при составлении официальных документов. Новый перевод текста на румынский язык принадлежит Г. Михэилэ. Научная редактура текста осуществлена Ф. Мойсил и Д. Замфиреску.

В обширном предисловии рассказывается история памятника. Там говорится, в частности, о том, что долгие годы шли споры относительно авторства «Поучений». Благодаря работам исследователей в настоящее время бесспорно доказано, что автор этого оригинального творения румынской средневековой мысли — Нягое Бассараб.

«Поучения» — произведение, затрагивающее политические, нравственные и теологические проблемы. В то же время, по мнению исследователей, оно несомненно содержит элементы художественного произведения. Многое свидетельствует о большой эрудиции Нягое, которого ученый Богдан Петричейку-Хашдеу назвал «Марком Аврелием Валахии, государем, художником и философом».

ПЕРЕВОДЫ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

К 75-летию со дня рождения Сергея Есенина журнал «Секолул 20» опубликовал новые переводы Захарии Станку и Мадлен Фортунеску. Подборке предпослано краткое вступительное слово о переводах поэзии Есенина в Румынии.

Есенинская поэзия всегда пользовалась большой популярностью у румынского читателя. Впервые стихи Сергея Есенина были переведены в Румынии в 30-е годы. Первым переводчиком, опубликовавшим в 1934 году сборник, включавший 30 стихотворений и поэм, был Захария Станку, ныне известный прозаик и поэт. В те годы несколько есенинских стихов перевел поэт Лучиан Блага. Позднее к поэзии Есенина обращались и другие румынские поэты и переводчики — Джордже Лесня (переводил также Пушкина, Лермонтова), Иоаникие Олтяну. В 1969 году в Румынии была опубликована первая монография о жизни и творчестве Сергея Есенина, написанная Штефаном Битаном.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ ГОДА

Присуждены премии Союза писателей Румынии за 1970 год. Лучшими книгами года признаны: романы «Отсутствующие» Аугустина Бузуры и «Безумец и цветок» Ромулуса Гуги, сборник стихотворений «Третья тайна» Аны Бландианы и сборник «Холмы с демонами» поэта Илие Константина.

В области драматургии премии получили: Фэнуш Нягу за «Команду шумов» и Георге Асталош за пьесы «Идут солдаты», «Серебряная чайная», «Колодец» и другие.

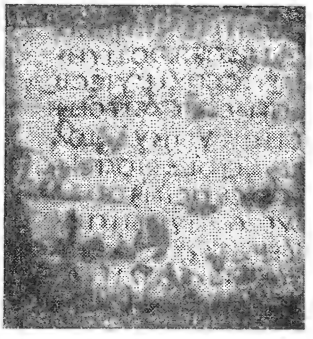
Среди произведений для детей и юношества лучшими признаны книги Октава Панку-Ящь и Иордана Кимета, а в области критики и литературоведения — Николае Манолеску (работа «Противоречия Майореску») и С. Дамиана (исследование «Вход во дворец»).

Присуждены также премии молодым писателям и писателям, выступившим в новом для них жанре. В их числе премии получили: Раду Петреску — за роман «Матей Илиеску», Эмиль Бутнару — за сборник «Стихотворения», А. Палеологу и В. Кристя — за критические исследования.

США

НАЙДЕН ПЕРГАМЕНТ С ТЕКСТОМ ПЛАТОНА

Профессор Дьюкского университета, председатель американского общества папирусологов У. Х. Уиллис обнаружил маленький кусочек пергамента со строками из диалога Платона «Парменид», датированный примерно 130 годом н. э. «Этот пергамент—один из древнейших литературных «мостов» между свитками папируса и рукописными книгами, которыми пользовалось человечество на протяжении средних веков до момента изобретения печатного станка,— пишет корреспондент американской газеты «Интернешнел геральд трибюн».— Именно пергаментные книги сохранили для человечества сокровища греко-римской культуры, так как папирус оказался непрочным и за 20 столетий превратился в пыль. Специалисты считают, что до нас дошло лишь 3 процента этого наследия, например, из 120 пьес Софокла (48 из них в свое время были удостоены высших наград) известны только 7».



Пергамент со строками из Платона
(Газета «Интернешнел геральд трибюн»)

У. Х. Уиллис и другие специалисты считают, что последняя находка — самая ранняя из известных работ Платона на пергаменте в форме рукописных книг. В Европе и Америке имеется около 100 тысяч кусков папируса с древними рукописными произведениями, в разных состояниях сохранности, от свитков до разрозненных обрывков. В настоящее время исследована лишь одна пятая их часть, ввиду сложности предварительной технической обработки, однако лишь немногие представляют подлинно литературную ценность, подобно недавно найденному, признанному «недостающим звеном» в истории развития книги. Ученые считают, что эта находка станет ве-

хой в современной палеографии — науке о древних рукописях. Она поможет установить даты создания многих литературных памятников.

«УБИЙСТВО ФРЕДА ХЕМПТОНА»

Фильм под таким названием вышел на экраны США. Он рассказывает о трагических событиях, развернувшихся в ночь на 6 декабря 1969 года на небольшой улочке Монро-стрит в негритянском гетто Чикаго.

Крупный отряд полицейских окружил дом, в котором находилось руководство чикагского отделения негритянской организации «Черные пантеры», и без предупреждения открыл огонь. Когда стрельба прекратилась, выяснилось, что убиты председатель организации «Черные пантеры» штата Иллинойс Фред Хемптон и один из ее лидеров Фрэнк Кларк. Остальные, находившиеся в квартире, были арестованы...

В фильме использовано множество документальных кадров, рассказывающих о деятельности «Черных пантер». С экрана звучат речи лидеров этой организации, в том числе — ее председателя Роберта Сила, который обвиняется ныне по сфабрикованному делу в убийстве. Затем следует рассказ о том, как была совершена расправа на улице Монро-стрит. Пророчески звучат слова Фреда Хемптона: «Если я умру, то умру за дело народа. Я верю, что смогу умереть как революционер, участвующий в международной революционной борьбе пролетариата». И тут же кадр: полицейские выносят окровавленное тело Фреда...

Фильм свидетельствует: это было политическое убийство, направленное на подавление боевой негритянской организации и борьбы негритянского народа за свои права. Ответственность за это преступление несут власти Чикаго.

Знаменательно, как отмечает печать, что еще ни один полицейский в США, убивший негра, не понес за это наказание.

«ПТИЦЫ АМЕРИКИ» МЭРИ МАККАРТИ

Внимание американской критики привлек новый роман известной американской писательницы Мэри Маккарти — «Птицы Америки». Критик Джон Олдридж опубликовал в связи с этим в журнале «Сатердей ревью» статью под заголовком «Сноб от равноправия». Олдридж отмечает, что писательница, как всегда, очень точно, со свойственным ей политическим и социальным чутьем выбрала тему. Материал ее книг, по словам рецензента, позволяет вскрыть «анатомию целого социального слоя — интеллигенции, на деле же это, как всегда, эпически спокойное повествование об опасностях отчужденности элиты и психологический анализ краха личности».

Герои романа «Птицы Америки» — молодой американский студент и его мать, известная пианистка. Их волнует проблема губительных изменений, которые принесли технический прогресс и «массовая культура» в современное американское общество. Студент и его мать, олицетворяющие в романе гуманитарную интеллигенцию, видят социальный идеал в равноправии всех людей, однако в их собственных взглядах много путаницы и идеализма.

К сожалению, пишет в заключение статьи Джон Олдридж, Мэри Маккарти не сумела сделать из этого значительного материала глубоких и, возможно, страшных выводов о разладе современного социального идеализма американцев с реальной действительностью. Писательница изображает своего молодого героя предельно наивным и идеалистически настроенным, что делает его типичным представителем своего поколения. «Дилемма, возникающая перед героем, отразила бы при соответственной ее трактовке проблемы, стоящие не только перед его поколением, но и перед интеллигенцией в целом. Он мог бы стать современным Кандидом... но голос писательницы заглушили голоса ее героев, и простительные для них заблуждения становятся ее поражением».

ТУНИС

СОЗДАНО ОБЪЕДИНЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ

Как сообщает корреспондент журнала «Аль-Адиб», в стране создан Союз тунисских писателей, провозгласивший своей задачей объединение всех писателей, независимо от направлений, к которым они принадлежат. В манифесте, опубликованном Союзом, говорится, что он «ставит своей главной целью защиту свободы мысли и уважение ко всем идейным и художественным течениям».

В манифесте подчеркивается ответственность тунисских писателей «перед борющейся арабской нацией, устремленной к счастливому будущему, и перед бурно обновляющейся арабской культурой».

В состав правления Союза тунисских писателей вошли: главный редактор ведущего тунисского литературного журнала «Аль-Фикр» критик Мохаммед Мзали (председатель), писатель-романист и поэт Мохаммед Ларуси эль-Матви (заместитель председателя), писатель Мустафа эль-Ферси (генеральный секретарь), историк литературы Абу-ль-Касем Мохаммед Карру (заместитель генерального секретаря) и шесть других тунисских литераторов — поэтов, новеллистов, драматургов и критиков.

ТУРЦИЯ

ИЗДАНИЯ РУССКИХ КЛАССИКОВ

Как сообщает газета «Джумхуриет», стамбульское издательство «Золотое перо» выпустило в последнее время несколько произведений классиков русской литературы: «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, «Живой труп» Л. Н. Толстого, «Отцы и дети» И. С. Тургенева. В издательстве вышли

«Белые ночи» Ф. М. Достоевского, а также сборник произведений А. П. Чехова.

ФРАНЦИЯ

ПЬЕСЫ М. ГОРЬКОГО НА ФРАНЦУЗСКОЙ СЦЕНЕ

Пьеса М. Горького «Враги», поставленная театральной труппой «Гильд», с большим успехом идет на сцене Театра Восточного Парижа (квартал Менильмонтан, на баррикадах которого сражались в последнем бою коммунары). Руководитель театра «Гильд» Ги Реторе, известный во Франции оригинальными режиссерскими работами, своему сценическому прочтению «Врагов» придал актуальное звучание.

Критики отмечают удачное, темпераментное исполнение ролей Захара Бардина (Жак Альрик), Нади (молодая актриса Женевьева Мних), Татьяны (Лоле Беллон) и Синцова (Морис Барье), которое придало спектаклю особую выразительность.

«Враги» нашли горячий прием у зрителей и получили высокую оценку театральных критиков, многие из которых обычно скупы на похвалы и не проявляют особых симпатий к театрам «красного пояса» французской столицы. Критик газеты «Монд» высказывает мнение, что постановка «Врагов» «достойна первых французских и зарубежных театральных сцен». Рецензент «Юманите» подчеркивает актуальное значение пьесы для Франции, а также то, что спектакль представляет собой знаменательное событие в нынешнем сезоне, ведь пьесу о рабочем классе редко увидишь на театральной сцене. Обозреватель «Франс суар» отмечает, что «Враги» — социальная драма 1905 года, идеям которой зрители сегодня идут аплодировать в Театр Восточного Парижа. Критик еженедельника «Леттр франсэз» пишет, что горьковская пьеса, показывающая борьбу, которая привела в России к Октябрьской революции, необычайно актуальна и в наши дни.

Пьесы М. Горького на протяжении многих лет пользуются во Франции неизменным успехом. Так, в 1963 году значительным событием театральной жизни Парижа была постановка пьесы «Дети солнца» в Национальном народном театре. В 1968 году этот театр начал сезон инсценировкой романа М. Горького «Мать». На французской сцене шли также «Мещане». Кинорежиссер Пьер Бадель закончил недавно телевизионный фильм по пьесе «Васса Железнова» в переводе Артюра Адамова, с известной актрисой Рози Варт в главной роли.

НОВОЕ В ЛУВРЕ

Работы по расширению парижского музея Лувр, продолжавшиеся в течение четырех лет, недавно закончились. Состоялось торжественное открытие новых помещений, которые ранее были заняты французским министерством финансов. Посетители музея могут ознакомиться теперь с новым крылом музея, которое соединит Большую галерею Лувра с павильоном Флоры, два года тому назад открытым для посещения публики и разместившим под своими сводами испанскую живопись Лувра, пастели известных французских художников и кабинет рисунка.

Сообщая об этом событии, обозреватель литературного приложения газеты «Фигаро» указывает, что на втором этаже нового крыла музея будет размещена итальянская живопись XVII и XVIII веков и так называемая коллекция Бейстеги. Эта коллекция портретов, среди которой находятся шедевры Гойи, Ван-Дейка, Фрагонара, Давида и других художников, была передана Лувру мексиканцем испанского происхождения Бейстеги и, согласно его завещанию, должна экспонироваться в одном месте.

В галереях третьего этажа выставлено около трехсот произведений различных художников, находившихся до сих пор в запасниках Лувра. На этом же этаже два зала отводятся под так называемые «выставки-досье», которые отныне будут практиковаться в музее. На этих экспериментальных выставках предполагается экспонировать отдельные картины художников, к которым будет подобрана различная документация, раскрывающая историю зарождения картины, процесс работы над ней художника и ее последующее влияние на историю искусства (этюды, зарисовки, гравюры, фотографии и т. д.).

Для первой «выставки-досье» дирекция Лувра выбрала картину художника Энгра «Турецкая баня». Одновременно выставляются многочисленные работы Энгра, предшествовавшие созданию этой картины, а также различные материалы, обнаруженные в ателье художника, свидетельствующие о том, как тщательно изучал художник материалы о Востоке перед написанием своей картины. Во втором зале выставки размещены картины более поздних и современных художников, которые были созданы под влиянием картины Энгра. Автор статьи отмечает, что хотя Энгру, казалось бы, могли следовать только приверженцы традиционной живописи, на самом деле его произведения оказали влияние на импрессионистов, в частности на Дега и Ренуара, и на современных художников, в том числе Пикассо.

Следующая «выставка-досье» будет посвящена французскому художнику Буше в связи с 200-летней годовщиной со дня его смерти. На ней будут выставлены 25 картин художника, принадлежащие Лувру.

ПИСАТЕЛИ БОРЮТСЯ ЗА СВОИ ПРАВА

По свидетельству французской прессы, в настоящее время в стране насчитывается не более 400 писателей

Известный французский актер и режиссер кино Жак Тати, автор и неизменный участник — в роли господина Юло — фильмов «Праздничный день», «Мой дядя», «Время игры», «Каникулы», работает над своей новой кинокомедией «График движения». На снимке: Мария Кемберли и Жак Тати в новом фильме.
(Еженедельник «Леттр франсэз»)

(из общего числа примерно 5 тысяч), которые способны обеспечить себя за счет гонораров. Остальные должны иметь «отхожий промысел», чтобы существовать и заниматься писательской работой.

На пресс-конференции в Париже председатель Общества французских писателей Жан Альбер-Сорель заявил, что литераторы Франции «буквально раздавлены налоговым бременем». Налоги и отчисления в кассу пособий по старости настолько велики, что зачастую отбивают охоту заниматься литературным трудом.

Писатели, лишенные права на пенсию, которым пользуются французские трудящиеся, требуют введения для них новой пенсионной системы — за счет отчислений от авторских гонораров. Они требуют также, чтобы их уравняли в правах в отношении уплаты налогов с теми, кто работает по найму.

«Французские литераторы не хотят больше, чтобы их считали гражданами второго сорта,— пишет в своих комментариях обозреватель еженедельника «Нувель литтерер».— Они в отчаянном положении и доведены до предела».

ПЕРЕИЗДАНИЕ КНИГИ ЖАНА ЛАФФИТА

В «Эдитер франсе реюни» вышло новое, дополненное издание книги Жана Лаффита «Живые борются» (со времени первой публикации этого произведения прошло 25 лет). Как известно, писатель рассказывает в этой документальной повести о своем участии в борьбе французских коммунистов за свободу и независимость Франции в годы гитлеровской оккупации. Книга Лаффита неоднократно издавалась в Советском Союзе.

Жан Лаффит дополнил книгу двумя новыми главами, в которых рассказывается об его аресте в 1942 году, о пытках, которые ему пришлось вынести во время допросов, о том, как он томился в заключении в тюрьмах Санте и Фрэн, в казематах Роменвилля.

По мнению рецензента «Юманите», книга «Живые борются» остается одним из наиболее впечатляющих произведений среди тех, которые созданы писателями Сопротивления. Для молодежи, которая успела вырасти за четверть века, отделяющую первое издание от нынешнего, книга Жана Лаффита станет «живой страницей истории».

КОНЧИНА ЖАНА ВИЛАРА

Скончался известный французский актер и режиссер Жан Вилар, с которым, как говорится в специальном заявлении министерства культуры Франции, связана целая эпоха в развитии французского театра.

Вилар пришел в театр в 1932 году 20-летним юношей. Он работал статистом в парижском театре «Ателье», которым руководил один из лучших режиссеров Франции — Шарль Дюллен.

В годы нацистской оккупации вместе с друзьями Вилар создает бродячую труппу «Рулот» и совершает поездки по городам и деревням Франции. Играли в бараках, на постоялых дворах, под открытым небом, на маленьких площадях провинциальных городков...

Признание пришло к Вилару после войны, в 1947 году, когда он поставил в театре Авиньона пьесу английского поэта Элиота «Убийство в соборе». Работа Вилара была удостоена премии критиков. Эта постановка положила начало Авиньонским фестивалям драматического искусства, бессменным руководителем которых был Вилар.

В 1951 году Жан Вилар становится директором Национального народного театра (ТНП). В своем творчестве он всегда стремился воплотить в жизнь идеи народного театра, выдвинутые Р. Ролланом. Под руководством Вилара ТНП стал театром классического репертуара, обращенным к широкому зрителю.

Для режиссуры Жана Вилара, по словам критиков, было характерно соединение красочных условных форм старинного театра площадей с достижениями новейшей театральной культуры. Среди наиболее значительных режиссерских работ Вилара — «Ричард II» Шекспира, «Сид» Корнеля, «Мамаша Кураж и ее дети»

Брехта, «Платонов» Чехова и другие.

Большой друг Советского Союза, Жан Вилар не раз бывал с ТНП на гастролях в Москве, Ленинграде и других городах.

По сообщениям печати, вскоре выйдет в свет единственное литературное произведение Вилара — роман «Романтическая хроника»,— которое подготовлено к выпуску издательством «Грассе». Книга Вилара посвящена театру.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

СНИМАЕТСЯ ФИЛЬМ О КАПИТАНЕ НАЛЕПКЕ

Словацкая киностудия «Колиба» приступает к съемкам фильма о чехословацком патриоте, Герое Советского Союза капитане Яне Налепке. Фильм создается по сценарию А. Делендика (СССР) и М. Карно (Словакия), в основу которого положены события периода подпольной работы Яна Налепки. Как известно, во время Великой Отечественной войны капитан Налепка склонил чехословацкий полк к переходу на сторону советских партизан.

Съемки под руководством режиссера М. Тяпака будут вестись главным образом в белорусском Полесье. В фильме заняты словацкие и советские актеры.

«МАСКАРАД» ПОСТАВЛЕН В ПРАГЕ

В пражском Национальном театре — одном из старейших в стране — осуществлена постановка драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад». Спектакль поставил режиссер Братиславского народного театра Тибор Раковский.

В роли Арбенина выступает Народный артист ЧССР Карел Хегер, игре которого критика дает высокую оценку. Обаятельный образ жены Арбенина создала артистка Яна Главачева.

Чехословацкая печать отмечает великолепное музыкальное оформление пьесы, в котором использована музыка Арама Хачатуряна.

ЧИЛИ

«АМЕРИКА, АМЕРИКА, АМЕРИКА»

«Простые люди США все чаще начинают задумываться над тем, что происходит в их собственной стране, а также за ее пределами»,— заявил известный чилийский писатель Фернандо Алегриа на пресс-конференции в связи с выходом его новой книги «Америка, Америка, Америка». Книга состоит в основном из интервью, взятых писателем у американских граждан во время его поездок в США. Среди них — беседы с американскими военнослужащими, недавно вернувшимися из Вьетнама. Вчерашние «джи ай» с болью и гневом рассказывают о месяцах и годах, проведенных на полях сражений, о погибших товарищах, о стойкости вьетнамского народа, защищающего свою независимость.

«Война во Вьетнаме отрезвляюще подействовала на американскую нацию, — пишет в своей книге Ф. Алегриа.— Америка находится сейчас в порочном круге, из которого не видит выхода, хотя выход есть и состоит в том, чтобы как можно скорее набраться мужества и прекратить эту грязную войну».

Далее писатель рассказывает об угнетении американских негров: «Трудно себе представить, что в этом обществе, которое кичится своей респектабельностью, подвергаются унижению около 15 миллионов человек. Презирать человека только за то, что у него черная кожа,— это просто подло и низко».

Ф. Алегриа считает, что «молодежные и студенческие бунты» — проявление нарастающего в американском обществе недовольства. «Эти бунты порой возникают стихийно и не имеют определенной направленности,— пишет он.— Однако среди американской молодежи становится все больше юношей и девушек, которые ведут уже организованную борьбу и знают, за что борются».

ШВЕЙЦАРИЯ

НОВАЯ ПОВЕСТЬ ФРИДРИХА ДЮРРЕНМАТТА

Цюрихское издательство «Ферлаг дер архе» выпустило недавно новую повесть Фридриха Дюрренматта «Свержение».

На первой странице книги расположены в определенном порядке буквы от А до П, символизирующие некую «табель о рангах»: «А» — в центре, остальные буквы двумя столбиками слева и справа, как бы сидящие вдоль длинных сторон стола заседаний. В конце книги, на отдельной странице, снова воспроизведена эта схема, правда, несколько измененная: на месте «А» — теперь «Д», вся «табель» соответственно переместилась, «А» отсутствует, его «свергли»...

«А» был ловким тактиком,— говорится в повести Дюрренматта.— Его хитроумные ходы в борьбе за власть сбивали с толку всех, даже «Б»... И в конце: «Ты сам себе поставил мат, «А»,— говорит ему «Б».

«В повести «Свержение» Дюрренматт дает типологию высших чиновников некоего вымышленного тоталитарного государства,— пишет рецензент «Нейе цюрихер цейтунг».— Перед взором читателя — предельно ясные психограммы этих чиновников... Отсюда и стиль повествования — трезвый, четкий, как формулы».

«За «столом заседаний» отсутствует «О», атомный министр. Что с ним? Он смещен или... арестован? А может, это только слухи? Каждый взвешивает, «считает варианты»: как отразится арест «О» на его собственной карьере — продвижение, отставка или тоже... арест? Тон, поведение, жесты — все точно скалькулировано. Поздороваться или нет? Если да, то как — сухо, приветли-

во или сердечно? Чему поверить — интуиции или хладнокровному расчету?..

Автор ведет читателя по лабиринту всевозможных хитросплетений и страстей, мастерски рисуя гротескные фигуры высокопоставленных бюрократов,— этих полулюдей-полусхем. Фридриха Дюрренматта интересует суть тоталитаризма, суть человеко-схем, людей, оказавшихся не на своем месте и — как это ни парадоксально — потому нашедших себе применение.

ШВЕЦИЯ

«МАРТА, МАРТА» — НАРОДНАЯ САГА САРЫ ЛИДМАН

В Норботтенском театре в городе Питео на севере Швеции состоялась премьера пьесы известной шведской писательницы Сары Лидман «Марта, Марта». Пьеса написана в несколько непривычной и неожиданной для современного зрителя форме. Это — народная сага, рассказывающая о возникновении и развитии шведского рабочего движения с начала XIX века до наших дней.

«Коллектив Норботтенского театра по достоинству оценил пьесу Сары Лидман,— пишет рецензент газеты «Норшенс фламан».— Зритель видит на сцене сказку-быль, рассказывающую о народе и поставленную для народа». Спектакль с характерной для эпического народного произведения расстановкой сил «добра» и «зла» повествует об эксплуатируемых рабочих и получающих сказочные прибыли хозяевах, о продажных профсоюзных деятелях, о вековой мечте трудящихся — самим пользоваться плодами своего труда.

Действие пьесы начинается с забастовки 1879 года на лесопильном заводе в Сундсвалле. Именно там впервые в истории Швеции рабочие объединились и забастовали в знак протеста против снижения заработной платы, против нищеты и жесточайшей эксплуатации. Забастовка кончилась неудачей, ибо не существовало еще прочной рабочей организации, которая могла бы морально и материально поддерживать участников стачки в их борьбе с «власть имущими». Однако уроки забастовки не прошли даром. Формируется и растет рабочая организация, становясь реальной силой, крепнет пролетарская солидарность. От этой организации уже нельзя отмахнуться как от «незаконной и самозваной», предприниматели вынуждены вести с ней переговоры.

Три главных действующих лица: молодая работница Марта, член рабочей организации, профсоюзный деятель Агнар и один из заправил мира капитала — Поссидо, представляют в пьесе различные социальные группировки шведского общества. Марта и Агнар, связанные ранее общими идеалами и большим человеческим чувством, становятся чужими друг другу, поскольку Агнар предает интересы рабочих... Финал пьесы оптимистичен; несмотря на поражение, рабочие полны решимости продолжать борьбу. Эту готовность к дальнейшим классовым боям символизирует фигура Марты с красным знаменем в руках в заключительной сцене спектакля.

«Пьеса-сага Сары Лидман актуальна и злободневна,— подчеркивает рецензент «Норшенс фламан».— Ведь Марты, Агнары, Поссидо живут в сегодняшней Швеции, и задача пролетарского театра заключается в том, чтобы силой искусства как можно острее и решительнее вскрывать суть социальных явлений нашего общества».

ГУННАР АДОЛЬФССОН — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ СМОЛАНДА

Ежегодная премия Смоландского отделения шведских писателей присуждена в этом году писателю Гуннару Адольфссону. На церемонии вручения премии присутствовали известные шведские литераторы: Фольке Фридель, Улла Умен Нильсен, Туре Бругорд.

Герои книги Гуннара Адольфссона — простые труженики сурового края Швеции, Смоланда. Торпари — безземельные крестьяне, кустари-ремесленники, мальчики и девочки, с раннего возраста зарабатывающие на жизнь поденным трудом,— заполняют страницы его романов и повестей.

В 1964 году романом «Страна деревянных башмаков» писатель начал создание серии книг о своем родном Смоланде, а в прошлом году эта серия завершилась романом «Рожденные в нашей долине». Эта последняя работа писателя заслуживает, по словам литературного обозревателя газеты «Ню даг», самого пристального внимания и изучения. Как и прежде, в новой работе писателя привлекает простота, «обычность» персонажей. Это люди, которых встретишь в Швеции на каждом шагу. Вот почему один из членов жюри назвал Адольфссона «не только очень смоландским, выросшим из почвы Смоланда, писателем, но и очень шведским — плоть от плоти всей шведской земли».

Строки из произведений Гуннара Адольфссона любят цитировать по всей стране. Автор обладает необыкновенным даром передавать разговорную речь на бумаге, сохраняя красочность оборотов и выражений, даже интонации. Некоторым эта языковая манера Адольфссона кажется несколько старомодной. Объясняется же это тем, что в век всепоглощающего потока информации писатель сумел сохранить тот неторопливый стиль повествования, который был принят в дни его молодости. Телевидения и радио тогда не было и в помине. Детские книги в доме — редкость. Вся семья собиралась у домашнего очага. Глава семьи неутомимо вырезал деревянные башмаки, доводя их форму до совершенства, а хозяйка сидела с бесконечным вязанием — ведь надо было связать теплые носки для всех членов многочисленной семьи. Вот в такой обстановке будущий писатель и учился искусству «слушать», а позднее и за-

носить услышанное на бумагу.

Книги Адольфссона — это книги и о завтрашнем дне его родины. В своих произведениях писатель мечтает об обществе, в котором человек перестанет, наконец, бояться за завтрашний день, перестанет думать только о куске хлеба для семьи и для себя.

ЮГОСЛАВИЯ

ИЗДАЕТ «ПРОСВЕТА»

Белградское издательство «Просвета» предприняло выпуск избранных произведений виднейших писателей мира в 42 томах. В их числе, наряду с произведениями Томаса Манна, Анатоля Франса, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса,— произведения русских и советских писателей. Среди них — «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского, «Мертвые души» Н. В. Гоголя, «Война и мир» и «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «Тихий Дон» М. А. Шолохова, «Русский лес» Л. М. Леонова.

ЮНЕСКО

ЗАГАДКИ, ОСТАВЛЕННЫЕ ИСТОРИЕЙ

Гигантский Американский континент, раскинувшийся в двух полушариях, хранит в себе немало загадок истории. По сообщению обозревателя бюллетеня «Новости ЮНЕСКО», среди индейских племен Северной Америки существует более трехсот наречий, многие из которых до сих пор представляют для специалистов не до конца решенные проблемы. Живущее близ Тулы (США) племя отоми изъясняется на языке, напоминающем древнеяпонский или, возможно, язык айну, происхождение которого покрыто тайной.

Племя майя в Центральной Америке употребляет отдельные слова древнегреческого языка, а 13 иероглифов майя и половина всех иероглифов парагвайских гуарани тождественны египетским, причем употребляются в том же значении. Есть также необъяснимое сходство между многими корнями языков кечуа (Перу) и египтян.

Как утверждает профессор Л. Швенгаген в опубликованном им труде «Древняя история Бразилии» — большинство из найденных в бразильских джунглях доисторических надписей являются финикийскими текстами, начертанными еще клинописью и демотическими египетскими письменами. Некоторые из них высечены на языке древнего Шумера, на котором некогда говорили финикийские книжники.

В 1936 году на одной из труднодоступных горных вершин в нескольких километрах от Рио-де-Жанейро обнаружили древнюю надпись клинообразными знаками в два метра шириной. Она гласит: «Бадезир из Тира финикийского, первенец Иефваала». Известно, что Бадезир царствовал с 855 до 850 года до н. э. Рядом высечена из камня огромная бородатая голова в шлеме, однако не известно, изображает ли она царя Бадезира или титана Атласа.

Существуют данные, согласно которым народность, обитавшая раньше древних египтян на территории их страны, прибыла из Южной Америки. В бассейне реки Мадейра найдена надпись, повествующая о странствиях доегипетского жреца в этом районе.

Есть некоторые основания предполагать, что существовал материк или огромный остров, который в центре Атлантического океана некогда служил «мостом» между континентами, подобно тому как, видимо, в менее отдаленную эпоху подобный «мост» существовал в районе Тихого океана между Азией, Австралией и Америкой. В пользу гипотезы говорит недавнее открытие затонувшего близ Багамских островов города 6-тысячелетней давности, а также находка в 1961 году финикийских монет на острове Корву Азорского архипелага и открытие высокого изваяния всадника, простирающего руку в направлении Нового света.

Авторы этого номера

АРТУР ХЕЙЛИ — ARTHUR HAILEY (род. в 1920 г.).

Американский писатель, сценарист. Родился в Англии, много лет жил и работал в Канаде; там началась его литературная деятельность. Канадским Советом писателей и художников в 1956 г. его творчество было отмечено премией.

В шестидесятые годы А. Хейли переселился в США, живет в маленьком городке Сент-Элен в Калифорнии; много пишет для кино и телевидения, по его сценариям поставлено несколько фильмов. Автор романов: «Последний диагноз» («The Final Diagnosis», 1959), «В высоких сферах» («In High Places», 1962), «Отель» («Hotel», 1965), «Аэропорт» («Airport», 1968), журнальный вариант которого мы начинаем публиковать в этом номере.

В своих произведениях Артур Хейли касается острых проблем современности. Он тщательно изучает материал, прежде чем приступить к написанию того или иного романа. Работая над романом «Аэропорт», он целый год летал на самолетах по авиалиниям Северной Америки и Европы, взял сотни интервью у служащих аэропортов и летного персонала. Почти все его книги — бестселлеры, они вызывают живой интерес читателей и имеют большой успех не только в США, но и за их пределами.

■

АЛЬБЕРТО МОРАВИА — ALBERTO MORAVIA (род. в 1907 г.).

Видный итальянский писатель, автор множества романов, сборников рассказов, пьес, эссе, путевых заметок. Широкую известность принес А. Моравиа вышедший в 1929 г. антифашистский роман «Равнодушные» («Gli indifferenti»). Затем появились романы «Обманутые ожидания» («Le ambizioni sbagliate», 1935) и «Маскарад» («La mascherata», 1941), запрещенный фашистскими властями и конфискованный. Писатель вынужден был скрываться и к нормальной литературной работе вернулся лишь после освобождения Рима в 1944 г. В послевоенные годы вышли романы «Неповиновение» («La disubbidienza», 1948), «Супружеская любовь», («L'amore coniugale», 1949), «Приспособленец» («Il conformista», 1951), также имеющие антифашистскую направленность.

Важное место в творчестве А. Моравиа занимают романы «Чочара» (опубликован в «Иностранной литературе» №№ 1—3, 1958), «Презрение» (см. «Иностранную литературу» №№ 9—10, 1963), «Римские рассказы», также переведенные на русский язык. В нашем журнале печатались рассказы из его сборников «Автомат» (№ 1, 1964) и «Вещь — это вещь» (№ 12, 1967).

Книги А. Моравиа неоднократно отмечались литературными премиями, в частности, рассказы — премией «Стрега», роман «Скука» («La noia», 1960) — премией «Виареджо». Большинство его произведений экранизированы и переведены на многие языки.

В этом номере мы предлагаем вниманию читателя рассказы из его нового сборника «Рай» («Il paradiso», 1970).

■

РОЛАНД РОБИНСОН — ROLAND ROBINSON (род. в 1912 г.).

Австралийский поэт, собиратель фольклора. Автор нескольких книг, основанных на устном творчестве австралийских аборигенов.

Р. Робинсону принадлежат также пять поэтических сборников. Его стихи представлены почти во всех антологиях австралийской поэзии. В настоящее время он возглавляет Общество поэтов Австралии и является соредактором журнала поэзии «Poetry Magazine».

В этом номере мы публикуем в сокращении главу с иллюстрациями из книги «Австралийские аборигены в фотографиях» («The Australian Aboriginal in colour»), авторами которой являются Роланд Робинсон и Дуглас Бэглин—известный фоторепортер, чьи работы составили серию книг, имевших большой успех.

■

ВАСИЛИЕ КАЛЕЗИЧ (род. в 1931 г.).

Югославский литературный критик, закончил философский факультет в Белграде. В 1969 г. вышел сборник его статей «Критические споры» («Kritički sporovi»). В нашем журнале напечатана рецензия В. Калезича на книгу Антоние Исаковича «Папоротник и огонь» (№ 2, 1971). Статья «Роман о предательстве» получена в рукописи.

■

ХОСЕ МИГЕЛЬ ВАРАС—JOSÉ MIGUEL VARAS (род. в 1928 г.).

Чилийский писатель и журналист, автор сборника юмористических рассказов «Каупин» («Cahuín», 1946), повести «Случается» («Sucede», 1950), биографической повести о чилийском коммунисте «Чакон» («Chacón», 1968; см. рецензию в нашем журнале № 4, 1970). На русский язык переведена его повесть «Бывалый», в «Иностранной литературе» (№ 11, 1970) напечатаны рассказы из сборника «Общие места» («Lugares comunes», 1969).

Статья «Уроки Мадрида» получена редакцией в рукописи.

■

СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ (род. в 1929 г.).

Известный монгольский писатель — поэт и новеллист, секретарь Союза монгольских писателей, главный редактор газеты «Утха зохиол урлаг» («Литература и искусство»).

Произведения С. Эрдэнэ знакомы советским читателям, они печатались на русском языке в журналах и сборниках, в 1965 г. в СССР издана книга его рассказов «Чистый источник». «Иностранная литература» опубликовала рассказы: «Земля под яблонями» (№ 8, 1969), «Пожар» (№ 10, 1970).

Статья «Этапы революции — рубежи в творчестве» получена от автора в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 10282. Сдано в производство 7/VI-71 г. Подписано к печати 13/VII-71 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л.= 18 п. л. (25,2) + 1 вкл. Уч.-изд. листов 28.83. Зак. 2018.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394